

140
2501

ФИЛОСОФИЯ МАРКСИЗМА

и

неопозитивизм

ФИЛОСОФИЯ МАРКСИЗМА И НЕОПОЗИТИВИЗМ

ВОПРОСЫ КРИТИКИ СОВРЕМЕННОГО ПОЗИТИВИЗМА

Сборник статей

под редакцией Т. И. Ойзермана (председатель редколлегии),
А. С. Богомолова, В. С. Зенина, И. С. Нарского

ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1968

Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета
Московского университета

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Одной из важнейших задач, поставленных XXII съездом КПСС перед советскими учеными-специалистами в области общественных наук, является задача систематической научной критики реакционной идеологии современной буржуазии. «Общественные науки, — говорит Программа КПСС, — и впредь должны решительно выступать против буржуазной идеологии, против правосоциалистической теории и практики, против ревизионизма и догматизма, отстаивая чистоту принципов марксизма-ленинизма»¹. Мирное сосуществование противоположных социальных систем ни в малейшей мере не означает ослабления идеологической борьбы. Напротив, оно требует от советских ученых неустанного разоблачения антинародной, реакционной сущности современного капитализма и всех попыток его идеологов приукрасить этот уже осужденный историей общественный строй.

Современная буржуазная идеология переживает глубокий кризис. Она уже не в силах выдвинуть идеи, которые могли бы увлечь за собой массы. Идеологи современной буржуазии отреклись от прогрессивных идей, которые проповедовали буржуазные мыслители XVII и XVIII вв. Ныне идейным знаменем реакционной буржуазии стали оголтелый антикоммунизм, направленный не только против стран социалистического лагеря, но и против демократии вообще, иррационализм и фидеизм — наиболее реакционные формы идеалистического мировоззрения. Научная критика реакционной буржуазной философии составляет неотъемлемую часть

¹ Материалы XXII съезда КПСС. Госполитиздат, М., 1961, стр. 418.

научно-исследовательской и пропагандистской работы советских ученых, она способствует творческому овладению марксистско-ленинской теорией и выработке умения применять оружие диалектико-материалистического мировоззрения к решению новых проблем, встающих перед общественными и естественными науками. Большое значение для защиты и дальнейшего развития научного мировоззрения марксизма имеет в особенности борьба против тех идеалистических учений, которые паразитируют на новейших достижениях современного естествознания, выступают под флагом науки, используют научные данные, хотя по сути дела глубоко враждебны науке и ее выдающимся достижениям. Среди этих буржуазных идеалистических учений, маскирующих свою реакционную сущность наукообразной формой и аргументацией, наибольшим влиянием в современном капиталистическом мире пользуется неопозитивизм, или логический позитивизм.

Принимая, особенно за последнее время, различные обличья, включая эклектически в свою доктрину (что опять-таки наиболее характерно для последних лет) элементы из различных других буржуазных философских концепций, неопозитивизм остается тем не менее одним из самых серьезных противников марксизма в теоретической области. Неопозитивистские воззрения наиболее влиятельны в среде научной интеллигенции капиталистических стран, они проникли в целый ряд наук, в особенности в логику, математику, физику, языковедение и социологию. В известной мере эти воззрения разделяют или разделяли на отдельных этапах своей творческой биографии некоторые выдающиеся представители современного естествознания и математики, произведения которых переводятся на русский язык и имеют широкое распространение среди советских студентов и преподавателей. Это создало некоторые условия для проникновения позитивистского понимания науки в среду советской интеллигенции.

Если для прежнего агностицизма и позитивизма было характерно, что он в основном спекулировал на **пробелах** в системе теоретического знания, то в отношении неопозитивизма XX в. можно отметить ту характерную его особенность, что он в значительной мере паразитирует также и на **самых достижениях** современной

науки. Эту двойственную, противоречивую связь позитивизма XX в. с достижениями наук отметил В. И. Ленин в труде «Материализм и эмпириокритицизм», исследуя гносеологические корни и естественноисторические источники махизма. Неопозитивизм в этом отношении не менее яркий пример. Успехи математической логики, субатомной физики и кибернетики показали, что законы объективного мира и его познания значительно более сложны, чем предполагали представители метафизического естествознания, и поставили целую гамму новых вопросов перед теорией наук и их методологией. В этой связи возникает задача философской интерпретации достижений современного естествознания, решение которой требует активизации нашей работы в области диалектического материализма, марксистско-ленинской теории познания и методологии наук.

Большой вред неопозитивизм принес и в области социологических дисциплин, распространяя неверие в познаваемость объективных законов общественного развития, отвергая научную идею социального прогресса, возможность научного предвидения общественных явлений и т. д. В социологии неопозитивизм выступает как методологическая основа теорий о «трансформации» капитализма, реакционную сущность которых разоблачил Н. С. Хрущев в своих докладах на XXII съезде КПСС. Не случайно ревизионисты с немалой охотой используют неопозитивистские идейки для подкрепления своих тлетворных концепций. Постановка конкретных социальных исследований в области исторического материализма, несомненно, требует в качестве необходимой своей теоретической предпосылки научной критики неопозитивистского идеализма и агностицизма в понимании общественной жизни.

В феврале 1961 г. по инициативе философского факультета МГУ была проведена Всероссийская научная конференция по теме «Диалектический материализм и современный позитивизм». В работе конференции участвовало свыше 300 преподавателей и научных работников высших учебных заведений Российской Федерации. Наряду с преподавателями и научными работниками-философами с докладами и сообщениями выступали также представители математики, физики, языкознания и ряда других наук. Эта коллективная работа, взаимо-

помощь ученых различных специальностей, в особенности сотрудничество философов и естествоиспытателей, весьма способствовали успеху научной конференции, итоги работы которой получили положительную оценку в ряде специальных научных журналов, а также в приказе министра высшего и среднего специального образования РСФСР.

Настоящий сборник — продукт коллективной работы участников конференции. В нем помещена значительная часть докладов и выступлений, дающих в совокупности всестороннюю критику неопозитивизма и противопоставляющих ему диалектико-материалистическое понимание тех проблем, на которых паразитирует это субъективно-идеалистическое учение. Авторы докладов и сообщений в процессе подготовки данного сборника дополняли и дорабатывали свои выступления, благодаря чему настоящее издание существенно отличается от сборника тезисов докладов и выступлений «Диалектический материализм и современный позитивизм», опубликованного Оргкомитетом конференции незадолго до начала ее работы. Ряд статей сборника — М. Б. Митина, И. С. Нарского, В. А. Звегинцева, С. А. Яновской, Л. О. Резникова — в сокращенном виде были опубликованы в журнале «Вопросы философии». Рекомендую читателям коллективный научный труд, посвященный систематической научной критике неопозитивистской философии, мы надеемся, что эта книга послужит благородному делу идейного разоблачения реакционной философии современной буржуазии.

Акад. И. Г. Петровский

В. И. ЛЕНИН И БОРЬБА ПРОТИВ СОВРЕМЕННОГО ПОЗИТИВИЗМА

Ленин неоднократно подчеркивал роль передового мировоззрения для всех отраслей науки и знания и вредность попыток обособить науку от передовой философии. Книга В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» принадлежит к самым выдающимся философским произведениям. В. И. Ленин подверг глубокой критике все основные буржуазные философские школы и школы конца XIX и начала XX в., обратив особое внимание в связи с задачами политической и теоретической борьбы начала века на критику махизма как одного из течений позитивизма.

В своей книге «Материализм и эмпириокритицизм» В. И. Ленин доказал, что махистская философия, несмотря на свои претензии быть «философией науки», на деле является врагом подлинной науки, вооружающей человечество знанием объективных закономерностей развития природы и общества; что, несмотря на все свои попытки стать «выше» основных направлений в философии — материализма и идеализма, — махизм продолжал оставаться типичной философией субъективного идеализма в духе берклианства; что махистская философия, спекулируя на кризисе естествознания и в особенности на кризисе физики в связи с ломкой ее старых формул и понятий, в типично идеалистическом духе трактовала новые открытия в естествознании, отрицала объективное значение знания, объективность причинности, скатываясь на позиции агностицизма и фидеизма. В. И. Ленин мудро указал, что о философах надо судить не по вывескам, которые они на себя напяливают, а по их делам, по тому, как они на деле решают основной вопрос философии, к чему они призывают, с кем они выступают вместе по главным философским вопросам.

Тот кризис буржуазной философии, на который прозорливо указывал В. И. Ленин, в настоящее время углубился еще более. Причины этого лежат в общем упадке буржуазной идеологии. Как указано в Программе Коммунистической партии Советского Союза, принятой на XXII съезде КПСС, «буржуазные учения и школы не выдержали исторической проверки. Они не смогли и не могут дать ответа на вопросы, выдвигаемые жизнью. Буржуазия уже не в состоянии выдвинуть идеи, которые могли бы увлечь за собой народные массы»¹.

Эти основные линии критики В. И. Лениным махизма полностью сохраняют свое значение применительно к критике всех школ и школок современного позитивизма.

Под современным позитивизмом, или неопозитивизмом, мы имеем в виду одно из течений современной философии, возникшее в 20—30-х годах XX в. в так называемом «Венском кружке» (Шлик, Карнап, Франк и др.) и примыкавшей к нему берлинской группе неопозитивистов (Райхенбах, Мизес и др.). На позициях неопозитивизма стояли такие видные английские философы, как Бертран Рассел и Айер, как Айдукевич в Польше и др.

Получившая наибольшее распространение в США философия прагматизма с ее грубым, пренебрежительным отношением к теоретическому мышлению, откровенным оправданием бизнеса, агрессивной внутренней и внешней политики империализма, колониализма и атомного вооружения (например, в писаниях Сиднея Хука и др.) оттолкнула от себя многих представителей буржуазной интеллигенции. Неопозитивизму же, выступающему под флагом «философии науки», присуще, как однажды выразился Рассел, «очарование интеллектуальной респектабельности». Однако неопозитивизм во всех своих основных проявлениях, отрицая *мировоззренческий характер философии как науки* и выступая под знаменем «антионтологизма», на деле пропагандирует *субъективный идеализм*. В принципе он, таким образом, не отличается от прагматизма, сливаясь с ним в общем субъективно-идеалистическом течении буржуазной философии.

¹ Материалы XXII съезда КПСС, стр. 357.

Современные позитивисты отрицают научное значение основного вопроса философии. Уже Витгенштейн в качестве главной задачи философии выдвинул *логический анализ языка*. Бертран Рассел считает, что никакое научное познание ничего не может доказать нам относительно внешнего, объективного мира. Несмотря на всевозможные оговорки, к которым то и дело прибегает Рассел, он фактически не выходит за пределы утверждений, что философия должна ограничиться лишь *анализом логической структуры науки*. Карнап в ряде статей убеждал своих читателей в том, что основной вопрос философии — это «псевдовопрос» и что он «абсурден». Филипп Франк полагает, что ни материализм, ни антиматериализм как философские учения не связаны с наукой и ее достижениями, а вызываются исключительно лишь социальными, политическими и религиозными устремлениями. Айер много лет занимался популяризацией в Англии идей Карнапа о бессмысленности утверждений философов относительно существования или несуществования объективного мира.

Этот список неопозитивистов, ополчившихся против мировоззренческого характера философии, против основного вопроса философии, может быть значительно расширен. Неопозитивисты, выступающие под флагом борьбы против так называемой «метафизики» (то есть против незаконного, по их мнению, выхода за пределы эмпирического знания в сторону общих мировоззренческих вопросов), против «онтологизации» нашего знания о вещах, против «субстанциальности», считают, что они якобы преодолевают «ограниченность» материализма и идеализма и поднимаются выше этих направлений, стоят над ними. На деле же они не только проповедают субъективно-идеалистическую философию, но скатываются к прямому солипсизму. Об этом свидетельствуют такие работы, как «Логико-философский трактат» Витгенштейна, «Логическая структура мира» Карнапа и др.

Все течения современного позитивизма гипостазируют логическую и лингвистическую стороны познания, игнорируют и выхолащивают объективное содержание науки. Развивая до крайности эти черты, позитивизм уже к 30-м годам превратился в настоящую *гносеологическую схоластику XX в.*

В своем труде «Материализм и эмпириокритицизм»

В. И. Ленин отмечал, что современная буржуазная философия особенно специализируется на гносеологии и, усваивая в односторонней и искаженной форме некоторые составные части диалектики (например, тезис о релятивности знаний), преимущественное внимание обращает на защиту или восстановление идеализма «внизу», то есть в самом фундаменте философской методологии. «По крайней мере позитивизм вообще и махизм в частности гораздо больше занимались тонкой фальсификацией гносеологии, подделываясь под материализм, пряча идеализм за якобы материалистическую терминологию, — и мало сравнительно обращали внимания на философию истории»².

Это положение В. И. Ленина о «специализации» целого ряда буржуазных течений философии на гносеологии, на тонкой фальсификации гносеологических проблем полностью может быть отнесено к современному позитивизму. Следует добавить, что своей фальсификацией гносеологических проблем неопозитивисты создали весьма удобные возможности для всевозможных спекуляций и в области общественных наук. И этими возможностями не замедлили воспользоваться буржуазные социологи и всякого рода ревизионисты.

Все современные школы позитивизма, различаясь одна от другой известными оттенками и особенностями, характеризуются следующими общими чертами: субъективно-идеалистическим решением основного вопроса философии, отрицанием возможности познания существенных отношений вещей, объективных закономерностей и причинно-следственных связей, утверждением, что в науке мы не можем существенно уйти вперед от внешнего, феноменалистического описания событий, фактов, явлений. Все неопозитивисты прикрываются флагом «современной науки» и объявляют, что именно они дают подлинно философскую трактовку науки.

Утверждая, что философия должна заниматься логическим анализом «языка» наук, под которым они понимают совокупность терминов, символов и знаков, употребляемых в той или иной науке, неопозитивисты делают вид, что они якобы «открыли» новые функции философской деятельности. Ставя таким образом вопрос,

² В. И. Ленин. Соч., т. 14, стр. 316.

неопозитивисты в конечном счете фактически подменяют философию формальной логикой. Говоря же о предмете специальных наук, неопозитивизм даже не претендует на какое-либо «открытие». Логические позитивисты почти дословно повторяют идущую от Конта и Маха концепцию, что специальные науки должны сами заниматься упорядочением так называемого нейтрального материала науки. Перед нами лишь несколько видоизмененный вид махизма: если с точки зрения Маха и Авенариуса «нейтрален» (в философском смысле) сам мир, то с точки зрения неопозитивистов «нейтрален» материал науки (то есть то, с чем имеет дело наука). «Прогресс» состоит только в одном: махисты делали упор на чувственном моменте в познании, неопозитивисты же — на рациональном, говоря точнее, на языковой форме рациональной ступени познания, предлагая субъекту, занявшемуся философией, замкнуться в узкую сферу изучения языка, отгородиться от исследования объективного мира. Отсюда прямой путь к солипсизму. Таким образом, неопозитивизм не только не устранил, но, наоборот, усугубил субъективно-идеалистический характер идей махизма.

В качестве критерия истины неопозитивизм выдвинул «новый» принцип — принцип *верификации*. Неопозитивисты утверждают, что критерием истинности или ложности предложений (истинные и ложные предложения в совокупности неопозитивисты называют «научно осмысленными») является сравнение их с «нейтральными» фактами (Витгенштейн, Шлик, Карнап), или же с «нейтральными» событиями (Рассел). В случае если предложение в принципе такому сравнению не поддается, его объявляют лишенным научного смысла. В своем учении о верификации неопозитивисты спекулируют на том обстоятельстве, что практическая проверка утверждений наук включает в себя как один из моментов сопоставление этих утверждений с данными опыта, экспериментов и т. д. Неопозитивисты абсолютизировали этот момент и тем самым извратили его роль в процессе познания. В субъективистском духе ими извращено и само понятие «опыта».

Принцип верификации внешне представляется в равной мере враждебным и идеализму и материализму, поскольку с точки зрения этого принципа в одинаковой

мере непроверяемыми считаются утверждения как о существовании объективной реальности, так и о существовании какого-либо духовного начала. В действительности же это принцип субъективно-идеалистический, играющий на руку религии. Так, заявляя, например, что тезисы религии лишены научного смысла в силу их непроверяемости, неопозитивисты отнюдь не покушаются на фидеизм как таковой, поскольку они одновременно считают, что религия имеет свое особое значение и не нуждается в научном обосновании. Наоборот, «каждый успех науки, — утверждает Филипп Франк, — есть успех в нашем познании управления мира богом»³.

Заявляя же, что положение материализма о существовании объективной, независимой от субъекта реальности не верифицируемо (то есть не поддается проверке), неопозитивисты вступают тем самым в резкий конфликт с научным мировоззрением. Неопозитивист Шлик в свое время, до всяких искусственных спутников и ракет, заявлял, что обратная сторона Луны — всего лишь условная конструкция, которая не поддается верификации. Шлик выдвигал этот пример в качестве важнейшего аргумента для «обоснования» и «защиты» своей точки зрения. Но советская ракета, сфотографировавшая обратную сторону Луны, на практике доказала ее материальное, объективное существование, а тем самым роль, ценность и объективное значение научного познания. Так живая жизнь, развитие науки и техники опровергают схоластические хитросплетения современных позитивистов.

Антинаучность принципа верификации видна также и в ответе неопозитивистов на вопрос, существовала ли природа до человека. Они полагают, что о существовании Земли до человечества можно говорить условно, то есть в том смысле, что такое утверждение есть лишь «логическая конструкция», удобная для предсказаний (на основе ее) будущих ощущений геологов, астрофизиков, палеонтологов и т. д.

Учение о «логических конструкциях» следует рассматривать как новую разновидность пресловутой концепции «принципиальной координации» Авенариуса, так

³ Ph. Frank. Wahrheit — relativ oder absolut? Zürich, Pan-Verl., 1952.

как эти конструкции мыслятся существующими лишь в зависимости от сознания логика. Блестящие положения В. И. Ленина в «Материализме и эмпириокритицизме», направленные против «принципиальной координации» Авенариуса, целиком и полностью действуют и против учения неопозитивистов о «логических конструкциях».

Одним из основных принципов неопозитивизма является принцип *конвенционализма*: исходные положения (аксиомы и правила вывода) в логике и математике суть результаты произвольного соглашения ученых друг с другом, которые ищут не «истинных», а лишь «удобных» теорий. Позднее конвенционализм был распространен на философию, эстетику, этику. Основываясь на так называемом «принципе терпимости», сначала относившемся только к логике, а затем перенесенном и на мораль, конвенционализм приводил к оправданию несправедливостей буржуазного общества, мерзости буржуазного аморализма.

Каковы гносеологические корни конвенционализма? Конвенционализм представляет собой результат абсолютизации факта относительной самостоятельности субъекта (ученого) в построении им научных теорий (в особенности исчислений в логике и математике). Создавая новые построения в математике и логике, ученые далеко не всегда видят их объективную основу и их прямое практическое применение. О субъективном характере конвенционализма говорит и то обстоятельство, что его представители в своих работах сводят понятие существования того или иного рассматриваемого в логике и математике предмета к существованию значения знака в сознании ученого; истинность же того или иного научного утверждения они сводят к факту условного принятия этого утверждения субъектом в данной научной системе.

Конвенционализм возник в результате спекуляций на факте построения неевклидовых геометрий (например, геометрия Лобачевского) и исчислений символической логики с различными значениями логических символов и с различным составом формальнологических законов. Неопозитивисты продолжили по сути дела конвенционалистические рассуждения А. Пуанкаре, подвергнутые в свое время критике В. И. Лениным, и стали утверждать, что «выбор» той или иной научной теории — дело-

де в принципе произвольное. Конвенционализм неопозитивистов связан с их (кантианской по своим истокам) попыткой резко противопоставить *формальное*, то есть логико-математическое, знание знанию *фактическому*, то есть эмпирическому. В конце концов роль эмпирического знания в учении неопозитивизма крайне преуменьшена, а роль формального знания крайне преувеличена. Поскольку же формальное знание согласно неопозитивистам считается продуктом конвенций, то вся система знания стала выглядеть в их изображении как продукт произвольного творчества субъекта.

Таким образом, неопозитивизм в основных своих гносеологических принципах — верификации и конвенционализма, — несмотря на чрезвычайное нагромождение новой терминологии и новых понятий, движется в узких рамках субъективного идеализма. И ленинская критика махизма целиком и полностью относится ко всем этим «новым» позитивистским концепциям.

* * *

Однако было бы неправильным и не соответствующим ленинским указаниям о борьбе против современной буржуазной философии, если бы мы начисто стали отрицать значение некоторых поднятых неопозитивизмом теоретических и гносеологических проблем, связанных с развитием современной науки. Неопозитивизм не просто чепуха или бред умалишенных. Эта философия паразитирует на живом древе человеческого познания. Неопозитивизм занимается гносеологическими спекуляциями на подлинных проблемах современной науки, которые требуют ответа с точки зрения диалектического материализма. Назовем эти проблемы.

1) Проблема гносеологического значения символической логики и ее места в ряду наук. Символическая логика оказалась необходимой, как это показал Бертран Рассел в своем труде «Principia Mathematica» при исследовании логических основ математики. Исходя из этого, неопозитивисты сделали попытку использовать символическую логику для разрешения философских проблем, то есть придать ей общепозитивистское значение, общеметодологический характер.

Как известно, математическая или символическая логика применяется при решении логических, собственно математических и даже технических проблем. Она играет немаловажную роль при разработке некоторых вопросов кибернетики. Высокая ступень абстракции, при помощи которой исследуются логические соотношения в символической логике, сделала возможным применение исчислений для выражения соотношений, имеющих место между элементами в системах самой различной природы. На первый взгляд может быть и неожиданным, но по существу очень закономерным является применение аппарата современной формальной логики не только в аксиоматически построенной математике, но и при решении ряда технических задач, связанных с созданием управляющих автоматических устройств, с конструкцией электронно-вычислительных механизмов, в нейрофизиологии и других областях. Современная автоматика, пожалуй, нагляднее всего показала важное значение (прежде всего в практически-производственном аспекте) формальных алгоритмов в деятельности познающего мышления человека.

Все это требует от диалектических материалистов правильного философского осмысления роли математической логики в развитии научного знания. Нельзя отрицать, в частности, возможности некоторого ее использования и при анализе собственно теоретико-познавательных проблем процесса мышления (анализ суждений, образование умозаключений, построение научных теорий и т. д.). Неопозитивисты, спекулируя на этой реальной проблематике, истолковывают математическую логику как некую универсальную науку, способную заменить собой философию вообще. Этой концепции диалектический материализм должен противопоставить детальную разработку вопроса о соотношении логики, математики и теории познания.

Следует заметить, что Б. Рассел, применив символическую логику к гносеологическим вопросам, руководствовался хотя и заманчивой, но методологически несостоятельной и ложной идеей — вывести из логики всю математику. На этом пути он потерпел явную неудачу. Несостоятельность этой установки логически была уже показана К. Геделем, доказавшим, что невозможно, например, целиком формализовать такую математическую

теорию, как содержательная арифметика натуральных чисел. Таким образом, претензия рассматривать математическую логику как науку наук потерпела крах. Это, конечно, нисколько не умалило значения математической логики, которая в определенных сферах и для определенных задач исследования остается существенным и весьма эффективным методом. С другой стороны, доказательство К. Геделя относится к специальному аспекту проблемы соотношения логики и математики. Многое предстоит сделать для того, чтобы разработать эту проблему с позиций диалектического материализма, то есть в гораздо более широком гносеологическом и методологическом плане.

2) В связи с вышесказанным стоит также и проблема роли математики в познании.

Современная наука характеризуется в высшей мере интенсивным проникновением математических методов исследования во все ее разделы. Это, пожалуй, одна из важнейших особенностей современного развития науки. Думается, что это свидетельствует не столько об увеличении удельного веса формального элемента в современном знании, сколько о том, что науки становятся на путь более глубокого и содержательного изучения закономерностей природы и общества. Ведь понятие естественного закона означает постижение того или иного качественного соотношения, выраженного в количественной форме, предполагает единство качественного и количественного рассмотрения. Без этого не может возрастать точность нашего познания объективного мира.

Современная формальная логика также характеризуется применением к исследованию логических объектов (понятий, суждений, умозаключений) математических методов исследования. Тем самым достигается более детальное познание логических законов и соотношений, такое познание, какое никогда не могло быть достигнуто чисто описательными методами, в значительной мере характеризовавшими всю формальную логику XIX в. и более раннего времени. Следовательно, перспективы, открывшиеся перед математической логикой, представляют собой в конечном счете результат огромных возможностей математических средств и методов познания. Но именно все это и требует более углубленного ответа с точки зрения диалектического материализма на вопро-

сы о современной роли математики в познании, о роли математической логики в познании объективного мира, его закономерностей.

3) Ряд важных вопросов возникает в связи с критикой конвенционализма. Факт существования различных геометрических и логических систем порождает потребность проанализировать, в каких условиях какая именно система более соответствует свойствам объективной реальности и тем задачам, которые мы ставили в процессе ее познания. Возникает необходимость всесторонней разработки с позиций марксистской философии вопросов об объективной основе различных исчислений и систем, а также конкретного исследования вопросов о том, что именно вносится в познание теми или иными системами и исчислениями. Эту реальную проблематику неопозитивисты решают субъективистски, заявляя о произвольности (конвенциональности) выбора систем (исчислений). Диалектические материалисты должны решать эту проблематику путем анализа вопроса о диалектическом соотношении единства и многообразия мира и формах отражения этого единства и многообразия мира в человеческом познании.

4) Современная физика оперирует большим количеством таких теоретических построений, которые не находят наглядного выражения в моделях. На этой основе возникает большой теоретико-познавательный вопрос о соотношении содержания ненаблюдаемых объектов и теоретического познания. Неопозитивисты разрешили этот вопрос чисто субъективистски, в духе идеи о произвольности «теоретических конструкций» субъекта. Задачи критики неопозитивистского учения о «теоретических конструкциях» влекут за собой всю цепь вопросов критики «физического» идеализма и, в частности, установок так называемой «копенгагенской школы» и т. д. Они влекут за собой также довольно сложную и мало у нас до сих пор разработанную проблематику о роли символов в процессе познания, о соотношении формул и законов, отдельных законов науки и научных теорий в целом, о внутренних закономерностях развития научных теорий и т. д. Этими вопросами занялись ныне со своих порочных позиций представители так называемой аналитической философии, одной из современных форм неопозитивизма

(в особенности в США). Задача состоит в том, чтобы взять это дело в наши руки. В. И. Ленин в свое время указывал, что символика иногда оказывается «удобным средством обойтись без того, чтобы охватить, указать, оправдать *определения понятий*»⁴, а последнее, собственно, и является задачей философии. Но вместе с тем В. И. Ленин отмечал, что «против них (символов. — М. М.) вообще ничего иметь нельзя» (там же). В этих глубоких ленинских замечаниях дано указание, в каком направлении надо вести работу.

5) Современные физики столкнулись с важной проблемой различения того, что проистекает в экспериментальных данных от самого изучаемого объекта и что есть результат действий экспериментатора, следствие его «вторжения» при помощи макроприборов в микромир. Ряд зарубежных физиков, придерживающихся в основном (если исключить несколько последних лет) неопозитивистских взглядов, ошибочно полагает, будто всякое наблюдение субъективно не только по форме, но и по своему содержанию. Отсюда физиками-позитивистами был сделан типично неопозитивистский вывод, что существование любых свойств в микрообъектах сводится к факту их наблюдаемости субъектом. В свою очередь философы-неопозитивисты, спекулируя на этих проблемах, развили субъективно-идеалистическое понимание принципа проверки (верификации) истинности научных утверждений. Принцип верификации сводит, как известно, существование вещей и их свойств к наблюдаемости. Это есть, по существу, как выше было показано, берклианский, субъективно-идеалистический принцип. Критика «принципа дополнительности» породила большую литературу в советской физике и стимулировала развитие науки как в общеметодологическом, так и конкретно-физическом отношениях. Но есть и другая область проблем, а именно проблем соотношения практики как широкой методологической категории и отдельного эксперимента, практики и наблюдения и т. д. Между тем в нашей литературе по теории познания эти вопросы до сих пор ставятся и решаются лишь в общем виде. Нельзя больше топтаться на месте, необходимо приняться за конкретную разработку всех этих вопросов.

⁴ В. И. Ленин. Философские тетради. Госполитиздат, М., 1947, стр. 93.

6) Значительный круг вопросов возникает в связи с критикой неопозитивизма и в языкознании. Уже при изучении обычных, естественных языков филологи столкнулись с тем обстоятельством, что хотя слова в этих языках нельзя отождествлять со знаками в искусственных символических построениях, однако некоторые черты знаков присущи и словам обычных языков. В связи с этим встал вопрос о необходимости конкретного анализа проблемы знаковости языка. Неопозитивисты же извратили эту проблематику, утверждая, что *всякий язык есть совокупность знаков, произвольно (конвенционально) установленных субъектом*. К этим идеям они шли своим путем: не от исследования конкретных языков, а от конструирования и анализа искусственных символических исчислений и семантических систем. На почве утверждений неопозитивистов о знаковом характере всех языков развились тлетворные идеи «семантических» идеалистов. Отсюда частично проистекает и тезис неопозитивистов о том, будто «научная философия» есть не что иное, как формальнологический анализ языка во всех его видах. Исследование подобий и различий в строении естественных и искусственных языков, изучение их внутренних структурных закономерностей тесно связано с проникновением математических методов в языкознание и сулит значительные перспективы. Налаживаемая сейчас работа в области организации машинного перевода с одного языка на другой — один из примеров практической «отдачи» теоретических исследований в этой области. Все это, само собой разумеется, требует серьезного анализа с точки зрения диалектического материализма⁵.

Следует сказать, что за последнее время у нас опубликован ряд работ, посвященных критике неопозитивизма: сборник «Современный субъективный идеализм», «Современный позитивизм» И. С. Нарского, «Теория познания общей семантики» Г. А. Брутяна, статьи Д. П. Горского, Т. Н. Горнштейн и др. В этих работах не только подвергаются критике враждебные нам концепции неопозитивизма, но и делаются попытки дать диалектико-

⁵ Что касается социологии, то здесь встает целый ряд вопросов критики эмпирической социологии, проникнутой духом позитивизма, вопросов разработки конкретных социологических исследований с позиций исторического материализма и т. д. Но эти проблемы выходят за рамки задач данной статьи.

материалистическую трактовку возникшей новой философской проблематики в связи с огромными достижениями современной науки и техники. Однако это только начало большой научной работы по освещению вышеуказанных проблем с точки зрения диалектического материализма.



В то время как развитие общественных и естественных наук во все более широком масштабе доказывает объективное содержание наших знаний, наличие объективных закономерностей в развитии природы и общества и всеобщность детерминизма, неопозитивизм проповедует отказ от детерминизма и уход в субъективистские дебри конвенционализма и гносеологической схоластики. Все это говорит о внутренней слабости современной буржуазной философии, о ее глубоко кризисном состоянии, о том, что она не может дать ответ на жизненные и насущные проблемы современности.

Развитие современной общественной жизни идет к социализму, а колоссальное развитие наук все более подчеркивает правоту наиболее передового философского мировоззрения — диалектического материализма. Неопозитивизм же в явном противоречии с развитием науки проповедует отказ от философии как общего мировоззрения и общей методологии, сводит философию к чисто формальным упражнениям в области конструирования и реконструирования языков и приводит своих последователей в тупик.

Неопозитивизм в наши дни переживает глубокий теоретический кризис. Одни его представители, вроде Гемпеля, догматически застыли на прежних позициях и теряют влияние, иные идут к религиозному идеализму, как, например, Франк, о чем свидетельствует его книга «Философия науки». Пап, Куайн и др. стали сочинять эклектическую окрошку из элементов субъективного и объективного идеализма. У ряда представителей «физического» идеализма, которые еще недавно были очень близки к неопозитивистам, ныне тоже налицо признаки глубокого кризиса. Некоторые из них, как, например, Иордан, в своем миропонимании доходят до открытой мистики.

Гейзенберг эволюционирует к объективному идеализ-

му платоновского типа. На философских высказываниях Гейзенберга следует остановиться особо. Вернер Гейзенберг в своем выступлении на страницах журнала «Вопросы философии» как участник IX Международной конференции по физике высоких энергий, состоявшейся в Киеве в июле 1959 г., заявил: «Кажется более правдоподобным допустить существование единого и, возможно, простого закона природы, которому подчинены все элементарные частицы, их свойства и их силовые поля. При попытке сформулировать такой закон природы физик должен исходить из таких общих положений: его математическая интерпретация должна выразить существование материи во времени и пространстве, будущее состояние которой в большей или меньшей степени есть следствие нынешнего состояния; существование сил и их изменчивого действия, причем действие возникает позднее причины, вызвавшей его, и т. д.»⁶.

Что означают эти положения? Во всяком случае это не позитивизм с его отрицанием материи, причинности, с его субъективизмом понятий времени и пространства и т. д. Но материализм ли это? Анализ этих, как и других, рассуждений Гейзенберга показывает, что это все же и не материализм, так как материя и силы рассматриваются им как следствие действия чисто математических общих законов. Гейзенберг приблизился к метафизике идеальных чисел и математических отношений, о которой в свое время рассуждал Платон. И действительно, сам Гейзенберг в докладе «Открытие Планка и основные философские вопросы учения об атомах» (1958 г.) говорил, что у него в последние годы совершается поворот к Платону. Однако он не мог при этом не отметить связи современного учения об атомах с материалистической философией. В упомянутом докладе он сказал: «Так как квантовая теория возникла в связи с учением об атомах, то она, несмотря на ее теоретико-познавательную структуру, находится также в тесной связи с теми философскими теориями, которые ставят материю в центр своих систем»⁷.

Известно, что возникновение и развитие квантовой теории истолковывались позитивистами в таком духе, что-

⁶ «Вопросы философии», 1959, № 12, стр. 159.

⁷ «Вопросы философии», 1958, № 11, стр. 65.

де новейшее развитие науки якобы подтвердило их философские позиции. Приведенное положение В. Гейзенберга опровергает эту концепцию. Неопозитивизм все более теряет свое былое очарование в глазах ученых-физиков буржуазного общества. Все более явно обнаруживается, что догматы позитивистского методологического и мировоззренческого нигилизма не могут быть реализованы в естественнонаучном исследовании и что попытки такой реализации приводят к краху.

Ведущие ученые капиталистических стран — физики, биологи, в мировоззрении которых неопозитивизм прежде играл главную роль, отходят от основных принципов позитивистской философии. Приведенный нами пример философской эволюции В. Гейзенберга не единичный случай. Этот весьма существенный процесс отхода естествоиспытателей капиталистических стран от позитивизма принял гораздо более широкий характер, однако он еще недостаточно исследуется в нашей литературе.

Факты говорят о том, что некоторые «физические» идеалисты делают хотя весьма еще неуверенные, однако вполне определенные и серьезные шаги к материализму. В журнале «Il nuovo cimento» была помещена статья Эрвина Шредингера «Философия эксперимента»⁸, которая свидетельствует о неудовлетворенности этого выдающегося физика позитивизмом и отходе от него. Шредингер ставил вопрос о выяснении объективной основы, данной физике в наблюдениях и измерениях, что, как известно, отвергается позитивизмом. Говоря о взглядах позитивизма относительно субъективистской природы наблюдений, Шредингер отмечал, что «такой взгляд не может быть признан разумным и не может претендовать на то, чтобы считаться серьезной философией»⁹. Подчеркивая важность признания закономерности и причинности в физике, Шредингер писал: «Экспериментальное исследование интересуется общими законами, а не случайными состояниями»¹⁰.

В «Успехах физических наук» за январь 1959 г. была опубликована статья Нильса Бора «Квантовая физика и философия» в переводе академика В. А. Фока, в которой Бор отказывается от неопозитивистских стремле-

⁸ «Il nuovo cimento», 1955, № 1.

⁹ «Вопросы философии», 1957, № 4, стр. 210.

¹⁰ Там же, стр. 209.

ний изолировать физику от философии. В предисловии академик В. А. Фок отмечает, что автор стал приближаться в этой статье к «материалистической трактовке основных положений квантовой физики»¹¹.

А. Эйнштейн, несмотря на прежние увлечения в отдельных вопросах махизмом, в 1949 г. в своей статье «Ответ на критику» писал: «Теория познания без контакта с точной наукой становится пустой схемой. Точная наука без теории познания, поскольку она вообще мыслима без нее, примитивна и беспорядочна»¹². Из этих высказываний мы видим, что Эйнштейн глубоко понимал необходимость гносеологического обоснования науки, необходимость философского мировоззрения для ученого. Приведенные высказывания прямо направлены против позитивизма, отрицающего теоретико-познавательную необходимость обоснования науки. В последние годы жизни Эйнштейн все чаще выступал против позитивизма. Он критиковал отрицание позитивистами объективной реальности, их «роковой страх перед метафизикой». Эйнштейн выступал против многих представителей западного естествознания и философии, которые, ссылаясь на его теорию относительности, утверждали, что в мире нет тел, вещей, а что существуют только «события». Он утверждал, что теория относительности, наоборот, исходит из объективной реальности.

Из двух школ в современной теории элементарных частиц одна школа — де Бройль, Вижье, Бом и др. — сознательно опирается на материалистические принципы. Вторая школа — Гейзенберг и др. — отходит от субъективистских принципов позитивизма, но она эволюционирует в немалой степени к объективному идеализму.

Как бы то ни было, на современном этапе уже нельзя считать, что позитивизм безраздельно господствует в физике капиталистических стран, как это еще недавно должен был констатировать в труде «Наука в истории общества» Дж. Бернал. В самой философии неопозитивизма ныне идет разложение по линии пересмотра принципов конвенционализма и верификации. В некоторых случаях этот пересмотр развивается в плане естественнонаучного материализма (об этом говорят высказывания

¹¹ «Успехи физических наук», 1959, т. XVII, вып. 1, стр. 37.

¹² «Философские вопросы современной физики». Изд-во АН СССР, М., 1952.

Айдукевича, некоторые заявления Айера и Тарского), но гораздо чаще дело не идет дальше туманного признания необходимости «онтологии вообще» (Куайн, Карнап и др.). Как философия неопозитивизм не имеет будущего, наиболее талантливые его представители предпочли ныне, как Карнап и Тарский, погрузиться в узкоспециальные логические исследования и со все большей неохотой выступают по общефилософским вопросам. Среди неопозитивистов в США наблюдается глубокое расслоение. Одни из них — Куайн, Нагель и др. — от конвенционализма пошли вспять к прагматизму, другие занялись позитивистской социологией «общих семантиков». В Англии, пожалуй, лишь Айер представляет группу неопозитивистов, которые еще немало сохранили от заветов «Венского кружка». Большинство же «британских аналитиков» пошли по следам позднего Витгенштейна и стали превращать философию в отрасль почти чисто филологического анализа слов и выражений. Признаки распада неопозитивистской концепции делаются все более явственными. Даже такой реакционный буржуазный историк философии, как Бохенский, заявляет, что односторонность неопозитивизма «просто ужасна» и его представители оказались перед проблемами XX в. «беззащитными».

Дух позитивизма, однако, далеко еще не умер. Его питает буржуазная действительность, число его сторонников еще велико. Вновь и вновь в их рассуждениях о внешнем, материальном, объективном мире звучат неопозитивистские мотивы. Вот типичные рассуждения, которые характерны и для Карнапа, и для Айера (например, в книге Айера «Проблема знания», 1956): «реалистическое» представление о том, что мир существует, является-де «слишком упрощенным»; то, что мы знаем о мире, целиком зависит от «наших концептуальных систем», поэтому возможны всякие «системы» представлений о мире, но никогда не удастся при этом выйти за рамки языка и с «внеязыковой» позиции рассматривать мир. Таков ход их мысли.

Чувствуя, что эта постановка вопроса целиком ведет в болото субъективного идеализма и солипсизма, неопозитивисты начинают приводить всякого рода оговорки. Конечно, говорят они, нет ни одного тела, существование которого логически зависело бы от того, описано оно или

нет; планеты двигались по своим орбитам, видимо, до того, как люди начали обращать на них внимание. Но мы, утверждают неопозитивисты, обязаңы исходить из того положения, что схема, в которую должны уложиться факты, чтобы для нас в науке имело смысл говорить о мире вообще, зависит от нашей общей системы, принимаемой нами условно.

Можно считать, что такие положения являются типичными и характерными для самых последних выступлений неопозитивистов по данным вопросам. Из этих положений видно, что позитивисты главную свою задачу усматривают в том, чтобы заниматься только анализом слов, знаков, предложений, «духовных элементов», отбрасывая объективную реальность. Мы, таким образом, еще и еще раз убеждаемся в том, насколько глубокими и меткими являлись ленинские разоблачения махизма, ибо махистская концепция сыграла роль родоначальника неопозитивистского стиля мышления.

* * *

✻

Подвергая критике современную буржуазную философию и в том числе неопозитивизм, было бы, однако, ошибкой ограничиваться декларативным порицанием критикуемых учений. Критика неопозитивизма должна быть связана с деловым разбором его аргументации и научным разрешением тех вопросов, которые схоластически запутали и извратили неопозитивисты. Только диалектический материализм в состоянии дать ответы на все эти вопросы. Но для этого необходимы углубленная творческая работа наших философов, физиков, лингвистов, социологов, их научные контакты и т. д.

Неопозитивизм, культивируя отрицательное отношение к общемировоззренческим вопросам, релятивистское отношение к истине, гипостазируя логический анализ науки, отрицая ее объективное содержание, создает психологическую неуверенность в ценности науки. Все это говорит о крайней вредности и реакционности неопозитивистской философии, тормозящей проникновение диалектического материализма в естествознание, а прогрессивных общественных идей — в сознание деятелей науки капиталистических стран. И хотя иногда отдельные пред-

ставители неопозитивизма в вопросах борьбы за мир выступают с прогрессивных позиций, ведут активную кампанию против атомного безумия сторонников «холодной войны», как, например, Бертран Рассел, что нами высоко оценивается, позитивизм как философия, как идеология крайне вреден, что требует от нас решительной борьбы с ним.

К сожалению, надо отметить, что некоторое влияние позитивизм в той или иной форме оказывает и на отдельных советских ученых, а также представителей нашей студенческой и аспирантской молодежи. В силу всех этих причин всестороннее выявление вредности и реакционности философских идей позитивизма даст возможность еще выше поднять знамя самого последовательного, самого передового мировоззрения нашей эпохи — диалектического материализма, раскрывающего перед человечеством безграничные перспективы овладения силами природы, покорения космоса. В борьбе против различных разновидностей современной буржуазной идеологии идейно закаляются наши научные кадры.

Исторический XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза еще раз подчеркнул значение творческого развития марксистского мировоззрения для успешного строительства коммунизма в нашей стране. Критическое исследование современного позитивизма и научное, материалистическое решение тех теоретических проблем, на которых он спекулирует, — один из путей реализации исторических решений XXII съезда КПСС в области идеологической и научной работы советских ученых.

О РОЛИ СОВРЕМЕННОГО ПОЗИТИВИЗМА
В ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

В Программе Коммунистической партии Советского Союза, принятой историческим XXII съездом КПСС, дана глубоко научная характеристика нового этапа общего кризиса капитализма. В условиях дальнейшего укрепления и роста могущества мировой социалистической системы, ослабления позиций капитализма в экономическом соревновании с социализмом, распада колониальной системы и обострения противоречий империализма наблюдается и глубочайший кризис политики и идеологии современной буржуазии.

Международная буржуазия и ее авангард — американский империализм мобилизуют все силы для того, чтобы задержать развитие общества по пути мира и прогресса. Успехи лагеря социализма, миролюбивых и свободолюбивых народов достигнуты в ходе ожесточенной борьбы с реакционными силами империализма. Несмотря на ряд жестоких поражений, империалисты не сложили оружие: эта борьба продолжается и обостряется. В области идеологии идет ожесточенная борьба между подлинно научной идеологией рабочего класса, всех трудящихся — марксизмом-ленинизмом и антинаучной, реакционной идеологией империалистической буржуазии. Идеи марксизма-ленинизма все глубже проникают в сознание масс, высвобождая их из духовной кабалы всех видов и форм буржуазной идеологии.

Укрепление могущества социалистической системы, рост армии коммунистов и их влияние на миллионные массы трудящихся вызывают лютую злобу со стороны врагов марксизма-ленинизма, заставляют буржуазию бесноваться еще больше. Ее антикоммунистическая пропаганда принимает все более ухищренный характер.

Главным идейно-политическим оружием империализ-

ма стал ныне антикоммунизм. «Нам нужно, — указывает Н. С. Хрущев, — решительно разоблачать эту антинаучную, от начала до конца фальшивую идеологию»¹.

В арсенале буржуазного пропагандистского аппарата, ведущего бешеную борьбу против коммунистической идеологии, видное место отводится идеалистической философии, одним из наиболее распространенных и влиятельных течений которой является неопозитивизм.

В своем существе буржуазная философия является идеалистической философией. Как в прошлом, так и ныне идеализм представляет собой идеологическое оружие отживающих, реакционных классов. Если в период своего восходящего развития буржуазия сумела выдвинуть ряд прогрессивных философских идей, то ныне философия буржуазии переживает такой же глубокий кризис, как и буржуазная идеология в целом. Свидетельство этого — отрицание буржуазными философами объективной реальности, отрицание возможности познания общественных закономерностей и социального прогресса, в особенности неверие в человеческий разум, проповедь субъективизма и мистики. Все это направлено на то, чтобы ослабить усилия народных масс в борьбе за свое социальное освобождение, толкнуть их в объятия религии и тем самым укрепить рушащиеся идеологические и политические устои обреченного историей буржуазного общества.

Эти общие для всего современного философского идеализма реакционные черты присущи и неопозитивизму.

Центром неопозитивизма в настоящее время являются США и Англия. Неопозитивисты пользуются поддержкой империалистических кругов и государственных деятелей капиталистических стран, издают большое количество книг и журналов, проводят специальные съезды и конгрессы, широко распространяют свои философские взгляды. И это неудивительно, поскольку утонченная пропаганда неопозитивистского идеализма, улавливающая в свои сети немало зарубежных ученых, весьма выгодна для господствующего класса — современной империалистической буржуазии.

¹ «Коммунист», 1961, № 1, стр. 32.

В отличие от фидеизма и иррационализма (бергсо-нианства, фрейдизма, экзистенциализма и т. д.), выступающих более или менее открыто против науки и научного мировоззрения, неопозитивизм, выступая под флагом «реализма», «научности», претендует на то, чтобы представлять собой философию современной науки. Псевдонаучное философское облачение, спекуляция на вопросах современной науки и связь с отдельными выдающимися представителями науки в буржуазном обществе (Н. Бор, В. Гейзенберг) позволили сторонникам позитивизма создавать видимость, что именно неопозитивизм есть новейшая, современная философия науки.

Неопозитивизм выдвинул требование пересмотреть всю прежнюю философию: ее предмет и место, цели и задачи. С точки зрения позитивизма философия не должна носить мировоззренческого характера, ее задача — истолкование и «разъяснение» результатов, достигнутых наукой. Одно из главных требований неопозитивизма — не заниматься исследованием действительности, предоставив это всецело естественным наукам, задача которых к тому же сводится к описанию внешних, эмпирически воспринимаемых явлений и фактов. Поэтому у позитивистов научное знание выступает не как познание связей и законов движения объективного мира, а как систематизация чувственного познания. Подобная философия ограничивает сферу науки, ставит преграду на пути человеческого познания. Основной смысл этой перестройки направлен против диалектического и исторического материализма. Он имеет целью замаскировать истинное субъективно-идеалистическое лицо неопозитивизма, сбить с толку ученых-естествоиспытателей, помешать формированию у них научного мировоззрения, нанести удар по марксизму-ленинизму.

Поскольку неопозитивизм выступает против диалектического материализма с позиций «новейшей современной философии», «философии науки», пытаясь доказать, что философия марксизма, материализм и диалектика вообще не согласуются с новейшими данными науки, важнейшей задачей научной критики неопозитивизма является разоблачение его псевдонаучности, доказательство того, что неопозитивизм по существу повторяет старые идеалистические и агностические положения.

Основы философских воззрений неопозитивистов, их

дóводы в борьбе против диалектического и исторического материализма, их программа перестройки философии не новы.

В разных вариантах они уже встречались у идеалистов (Беркли), эмпириков (Юм), махистов-эмпириокритиков (Мах, Авенариус) и были глубоко проанализированы и подвергнуты критике классиками марксизма-ленинизма.

В. И. Ленин в борьбе с позитивизмом Э. Маха и Р. Авенариуса создал свой классический труд «Материализм и эмпириокритицизм», дав образец глубокой научной и в то же время непримиримой партийной критики враждебных марксизму философских течений. Критика В. И. Лениным махизма всецело сохраняет свою силу и значение в отношении всех разновидностей современного позитивизма. В свете этой критики современные позитивисты в ряде вопросов могут быть охарактеризованы как неомахисты.

Чем же отличаются взгляды неопозитивистов по этим вопросам от взглядов позитивистов XIX в.?

Если позитивисты XIX в., признавая наличие основных философских проблем, объявляли их принципиально неразрешимыми, то современные позитивисты утверждают, что таковых проблем не существует вообще, то есть, что они являются мнимыми проблемами, вызванными неправильной структурой обыденного языка, не имеющего научного содержания. Один из крупнейших представителей неопозитивизма — Филипп Франк в вышедшей недавно книге «Философия науки» прямо говорит: «Понятия «материя», «сознание», «причина и действие» и им подобные являются теперь терминами только обыденного здравого смысла и не имеют места в строго научном рассуждении»². Сама постановка философских проблем, как утверждает Л. Витгенштейн, «основывается на неправильном понимании логики нашего языка»³.

Неопозитивисты всячески затушевывают борьбу партий в философии, но и в этом отношении они не оригинальны.

Позитивисты XIX в., признавая деление философов на материалистов и идеалистов, утверждали, что сами

² Ф. Франк. Философия науки. ИЛ, М., 1960, стр. 114.

³ Л. Витгенштейн. Логико-философский трактат. ИЛ, М., 1958, стр. 29.

они поднимаются над материализмом и идеализмом, преодолевают и ту и другую точки зрения в некоей более высокой и синтетической форме.

Современные позитивисты объявляют противоположность материализма и идеализма лишенной какого бы то ни было научного смысла и основанной на неверном употреблении терминов «материя» и «сознание».

Так, например, английский неопозитивист Альфред Айер утверждает: «В природе философии нет ничего, что может оправдать существование борющихся между собой философских партий или «школ»... Согласно этому мы, то есть те, кто заинтересован положением дел в философии, не можем больше признавать деление философов на партии»⁴.

Таким образом, неопозитивисты на новый лад возрождают старую буржуазную легенду о беспартийности философии и выступают в качестве философов, которые якобы действительно беспартийны. На деле же, как показал еще Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме», эта попытка преодолеть противоположность материализма и идеализма в конечном счете оказывается не чем иным, как замаскированным протаскиванием агностицизма и субъективного идеализма, защитой принципов буржуазной партийности.

Вопрос об объективном существовании предметов, явлений действительности, говорят позитивисты, с философской точки зрения лишен какого бы то ни было смысла. Соответственно этому и основной философский вопрос, то есть вопрос об отношении материи и сознания, природы и духа, также лишен какого бы то ни было смысла. Рудольф Карнап прямо утверждает, что неопозитивизм «отверг и тезис о реальности внешнего мира и тезис о его нереальности, как псевдоутверждения»⁵.

В отличие от классического эмпиризма, который стремился свести математику и логику к чувственным данным, неопозитивизм утверждает, что логико-математические предложения независимы от опыта и основываются на предпосылках, которые приняты учеными на основании договоренности друг с другом. Это субъек-

⁴ Цит. по кн.: М. Корнфорт. В защиту философии. ИЛ, М., 1951, стр. 35.

⁵ Р. Карнап. Значение и необходимость. ИЛ, М., 1959, стр. 312.

тивно-идеалистическое истолкование логических основоположений и исходных теоретических допущений вообще получило название конвенционализма.

Эта точка зрения по существу мало чем отличается от учения Канта об априорных формах мышления. Она является даже, пожалуй, еще более реакционной, так как кантовское положение об априорности форм мышления подчеркивало их всеобщий и необходимый характер, между тем как неопозитивистская, конвенционалистская концепция делает формы мышления и предпосылки, из которых исходит наука, произвольными и в конечном счете случайными.

Таким образом, характерной чертой неопозитивизма является неустранимый дуализм между логическим и чувственным. Однако к 50-м годам сами неопозитивисты почувствовали ошибочность такого противопоставления, поскольку любая эмпирическая опытная наука содержит в себе теоретические принципы и положения.

Учение о познании, которое считается основным содержанием неопозитивистской философии, крайне ограничено, сужено и обеднено. Это опять-таки связано с субъективно-идеалистическим пониманием чувственных данных, с крайне ограниченным пониманием логического процесса, который в основном сводится к математическому процессу.

Неопозитивисты пытаются построить всю теорию познания на базе математической логики. В силу субъективного идеализма и агностицизма теория познания неопозитивистов исключает такие важнейшие проблемы, как связь субъекта и объекта, единство чувственного и рационального, анализ практики как основы познания и критерий истины, и сводится к философскому истолкованию языка в рамках так называемого логического синтаксиса, а позднее — логической семантики и т. д.

Спору нет, что мышление и познание неразрывно связаны с языком, что открытие новых явлений, формирование новых понятий предполагают и новые слова и, следовательно, обогащение языка, возникновение новой терминологии. Однако сведение теории познания к изучению *одной лишь* языковой формы познания, которая к тому же отрывается от отражения в сознании объективного мира, принципиально закрывает путь к научной постановке коренных философских проблем.

Один из активных участников «Венского кружка» — Отто Нейрат говорит: «Предложения должны сравниваться только с предложениями, но ни с «опытом», ни «с миром», ни с чем-либо другим... В данной теории, — пишет он, — мы всегда остаемся внутри царства словесного мышления»⁶. И хотя некоторые неопозитивисты признали выводы Нейрата чрезмерными в том смысле, что они чересчур откровенны, однако в целом эволюция неопозитивизма шла по пути все большего формалистического извращения процесса познания, нанося огромный вред науке.

Из сказанного видно, что позитивисты ведут дело к ликвидации философии, но не говорят об этом прямо, а предлагают реформировать ее, создать так называемую «философию науки».

Что же понимают неопозитивисты под философией науки? На этот вопрос «по-новому» отвечает Филипп Франк во введении к указанной книге: «Для того, чтобы понять не только самое науку, но также и место науки в нашей цивилизации, ее отношение к этике, политике, религии, нам нужна, — пишет Франк, — стройная система понятий и законов, в которой и естественные науки, и философия, и гуманитарные науки занимали бы определенное место. Такая система во всех случаях может быть названа «Философией науки», она стала бы «недостающим звеном» между естественными и гуманитарными науками без введения какой-либо непреходящей философии»⁷.

Но это не более как туманные пожелания. Неопозитивизм и по сей день не смог выйти из рамок понимания философии как логического анализа языка науки, что позволило бы преодолеть принцип Витгенштейна: «Правильным методом философии был бы следующий: не говорить ничего, кроме того, что может быть сказано, — следовательно, кроме предложений естествознания, т. е. того, что не имеет ничего общего с философией...»⁸.

Если отбросить всю словесную шелуху и вникнуть в существо позитивизма, то не остается никакого сомнения в том, что это субъективно-идеалистическая филосо-

⁶ Цит. по кн.: И. Корнфорт. В защиту философии, стр. 32.

⁷ Ф. Франк. Философия науки, стр. 46.

⁸ Л. Витгенштейн. Логико-философский трактат, стр. 97.

фия, паразитирующая на здоровом теле науки. Как всякий паразит, она высасывает соки науки, задерживая ее рост и не давая ей ничего взамен. Однако попытки неопозитивистов найти третью линию в философии весьма симптоматичны. Они свидетельствуют о невозможности в современных условиях открыто проводить в философии субъективно-идеалистические взгляды, выражающие интересы буржуазии. Объективно они направлены также на то, чтобы, затушевав непримиримую борьбу партий в философии, борьбу материализма и идеализма, в завуалированной форме проводить идеализм.

Ответ неопозитивистов на вторую сторону основного вопроса философии также по существу выражает субъективно-идеалистические и агностические концепции прошлого. Неопозитивисты отрицают объективную истину. Возьмем одно из произведений позднего неопозитивизма — книгу Б. Рассела «Человеческое познание». В этой работе Б. Рассел категорически отрицает гносеологический принцип отражения, отвергая вместе с ним и признание объективного содержания научных представлений, то есть такого содержания, которое независимо от человека и человечества. «Большая часть наших убеждений и верований, — пишет Рассел, — основывается на привычке, самомнении, личном интересе и частом повторении»⁹. С его точки зрения, и истина, и ложь представляют собой разновидности веры, определенные субъективные убеждения. На этом основании Б. Рассел предлагает даже заменить понятие познания понятием веры, приводящей к успеху. В конечном счете он присоединяется к юмовскому скептицизму, заявляя, что аргументы Юма неопровержимы.

Неопозитивисты считают своей важнейшей задачей борьбу против «метафизики». Однако под «метафизикой» они понимают прежде всего признание объективной, независимой от сознания реальности, то есть материалистическое решение основного вопроса философии.

Они выступают и против объективного идеализма, но это как раз свидетельствует о том, что их учение — разновидность субъективного идеализма.

Как и их ближайшие предшественники Э. Мах и Р. Авенариус, неопозитивисты пытаются сочетать субъек-

⁹ Б. Рассел. Человеческое познание. ИЛ, М., 1957, стр. 87.

сктивный идеализм и агностицизм с элементами материалистического миропонимания; это делается ими в целях придания научной видимости своим антинаучным воззрениям. Тем не менее и Рассел, и другие представители неопозитивизма третируют материализм как лженаучную метафизику, якобы допускающую существование чего-то сверхчувственного, потустороннего, трансцендентного.

Уже из этого видно, что острие задуманной неопозитивистами реформы философии направлено против научной философии, против диалектического и исторического материализма, как мировоззрения рабочего класса и его авангарда — марксистско-ленинских партий.

Не выдерживают также критики попытки неопозитивистов изобразить себя друзьями науки, ее проповедниками и истолкователями.

На словах они ратуют за науку, называют свою философию философией науки. Фактически же, отрицая возможность познания объективного мира и закономерностей его развития, неопозитивисты ограничивают сферу человеческого знания, принижают роль науки, сводят ее на нет.

Чтобы убедиться в этом, можно привести десятки высказываний видных теоретиков неопозитивизма. Напомним лишь некоторые из них.

«Наука, — пишет Франк, — не отвечает на вопрос «почему»; она только отвечает на вопросы, касающиеся того, что происходит, а не почему происходит»¹⁰.

Таким образом, роль науки сводится лишь к описанию «того, что происходит». Перед ней даже не ставится задача раскрыть причинно-следственные связи происходящего, установить определенные объективные закономерности. Перед нами мотивы О. Конта...

«Наука, — продолжает Франк, — похожа на детективный рассказ. Все факты подтверждают определенную гипотезу, но правильной оказывается в конце концов совершенно другая гипотеза. Тем не менее следует сказать, что в науке нет никакого другого критерия истины, кроме этого»¹¹.

Даже когда на словах неопозитивисты выступают в защиту философии, они по существу принижают и фи-

¹⁰ Ф. Франк. Философия науки, стр. 84.

¹¹ Там же, стр. 76.

лософию, и науку. «Существуют... утверждения, — читаем мы в «Философии науки» Ф. Франка, — что философия имеет дело с гипотезами более спекулятивного характера, чем те, с которыми имеет дело наука. Я не думаю, что это верно, поскольку все гипотезы спекулятивны. Никакого различия нельзя провести между научными и спекулятивными гипотезами»¹².

Мы взяли эти цитаты из книги Филиппа Франка «Философия науки» не потому, что подобных высказываний нет у других неопозитивистов, а единственно потому, что эта книга является одним из последних произведений указанного и будто бы ныне «улучшенного» толка.

Антинаучный характер неопозитивизма ярко обнаруживается при рассмотрении отношения неопозитивизма к религии.

Общеизвестно, что материализм, и в особенности диалектический материализм, стоит на позициях последовательного атеизма, отвергающего какую бы то ни было сверхприродную реальность. В. И. Ленин показал в свое время, что позитивизм Э. Маха и Р. Авенариуса является утонченным философским фидеизмом, несмотря на свою формальную нейтральность по отношению к религии.

Как же относится к религии неопозитивизм? Одна из иллюзий, при помощи которой позитивизм вообще и неопозитивизм в особенности пытаются сохранить представление о себе как якобы о «научной философии», заключается именно в том, что позитивисты настойчиво доказывали и доказывают, что их теория будто бы не имеет ничего общего с религией. Используя свой принцип верификации, то есть сравнения предложений с чувственными данными, неопозитивисты подчеркивали, что утверждения теологии не поддаются такому сопоставлению, а потому они лишены научного смысла. Но когда неопозитивисты говорят, что те или иные положения лишены научного смысла, это совсем не значит, что они считают их ложными, ошибочными. Если положение лишено, как они говорят, научного смысла, это значит, что оно не относится к области научного знания — и только. Но ведь теоретики религии всегда заявляли, что религия

¹² Ф. Франк. Философия науки, стр. 102.

не есть наука, что религиозная вера выше, чем научное знание.

Таким образом, неопозитивисты не отрицают религию, а выводят ее из-под удара научной критики. Научная критика состоит в том, чтобы доказать, что те или иные критикуемые положения являются ложными. Неопозитивисты же утверждают, что ученый будто бы не имеет права квалифицировать религиозные положения как ложные. Даже такой видный английский философ-неопозитивист, как Бертран Рассел, который сам себя считает атеистом и противником христианской религии, в своей «Истории западной философии» заявляет: «Лично я не считаю, что философия может доказать или опровергнуть истинность религиозных догм»¹³.

Другой английский позитивист — Альфред Айер заявил, что почвы для спора между наукой и религией, а также почвы для спора между философией логического позитивизма и теологией нет и быть не может. Один из ведущих теоретиков «Венского кружка» — Рудольф Карнап, защищая ту же точку зрения, мотивирует это тем, что наука и религия заняты каждая своим делом: наука занимается упорядочением предложений о чувственных данных и конструированием из этих предложений внутренне непротиворечивых систем, а религия удовлетворяет потребности человеческого сердца.

Еще более определенно высказывался Витгенштейн. «Решение загадки жизни в пространстве и времени, — писал он, — лежит вне пространства и времени». «Чувствование мира как органического целого есть мистическое»¹⁴.

Неопозитивисты нередко связывают философию с религией, пытаются установить их родство. «...Философские принципы астрономии, — пишет Франк, — не очень полезны для технических целей, для действительного вычисления наблюдаемых положений на сфере. Но вера в это философское истолкование оказывает поддержку вере в божественные существа»¹⁵.

Перед нами новый вариант двойственного толкования истины, который в современных условиях является

¹³ Б. Рассел. История западной философии. ИЛ, М., 1959, стр. 842.

¹⁴ Л. Витгенштейн. Логико-философский трактат, стр. 96.

¹⁵ Ф. Франк. Философия науки, стр. 80.

крайне реакционным и представляет собой не что иное, как форму защиты религии от наступления науки. Такова хваленая «научность» неопозитивистской философии, которая начинает с заявлений о том, что наука должна быть освобождена от религии, а кончает требованиями, что ученые должны прекратить критику религии.

Реакционный характер неопозитивизма особенно ярко проявляется в их социологических воззрениях.

Неопозитивисты говорят, что только они внесли «научную ясность» в вопросы социологии. Что же это за ясность? Они утверждают, что не существует ни стадий общества, ни законов его развития, что невозможно представить развитие человеческой истории в будущем, и отвергают саму возможность существования исторической науки как науки о закономерном социальном прогрессе, выступают против принципа детерминизма, исторической необходимости. Австромарксист Отто Нейрат, который в течение ряда лет пытался привить австрийскому рабочему движению идеи неопозитивизма и подменить ими исторический материализм, в брошюре «Эмпирическая социология» и в ряде статей на страницах австромарксистского журнала «Кампф» и других органов многословно утверждал, что подлинной наукой об обществе должна стать эмпирическая социология, призванная заменить собой исторический материализм.

Но что же представляет собой та социология, которую пропагандируют Отто Нейрат, Карл Поппер и другие неопозитивисты? Позитивизм в социологии неразрывно связан с антикоммунизмом в политике, с отказом от таких понятий, как «закономерность», «причинность» и «прогресс» в общественной жизни, то есть с отказом от таких понятий, без которых действительная наука об обществе невозможна.

Методология позитивистского «социального исследования» прежде всего направлена против научного предвидения. «События будущего, — писал Л. Витгенштейн, — не могут выводиться из событий настоящего. Вера в причинную связь есть предрассудок»¹⁶. Карл Поппер утверждает вслед за ним, что понятия «движения» и «развития» принципиально неприменимы к обще-

¹⁶ Л. Витгенштейн. Логико-философский трактат, стр. 64.

ству, поскольку общество, в отличие от физического тела, не перемещается по какой-либо траектории. На этом положении им строится концепция антиисторизма. В работе «Нищета историзма» Поппер утверждает, что история характеризуется своим интересом скорее к реальным единичным или частным событиям, чем к обобщениям. В отличие от придерживавшихся той же точки зрения неокантианцев (В. Виндельбанд, Г. Риккерт), видевших критерий отбора исторических фактов для исследования в объективных, трансцендентных «ценностях», Поппер проповедует абсолютный субъективизм, призывая писать историю, «которая нас интересует».

Ясно, что с такой точки зрения нельзя создать науки. Но не менее важен *мотив* отрицания неопозитивизмом социальных закономерностей: ныне, когда ясна основная перспектива и основная тенденция современного общества — необходимая победа социализма и коммунизма, — признать закономерность общественного развития — значит признать неизбежность победы социализма. В попытке избежать этого вывода неопозитивизм и отрицает закономерность общественного процесса.

Вместе с тем подобные рассуждения являются утонченной апологией умирающего капитализма. Не удивительно, что на IV Международном социологическом конгрессе (1959) западногерманский социолог Г. Адорно прямо заявил, что позитивизм исходит из признания капиталистического порядка вещей. Позитивизм, говорил этот социолог, является такой точкой зрения, которая не только исходит из того, что дано, но и *положительно оценивает* данное, не подлежащее критике.

Неопозитивистская «социология» активно включалась в антикоммунистическую пропаганду, не уступая в этом отношении другим направлениям современной буржуазной философии. Так, канадский социолог-позитивист Г. Мэйо обвиняет коммунистов в антидемократизме. «Марксизм как всеобъемлющая философия истории имеет явно антидемократическое содержание, — пишет он. ...Демократия предполагает веру в будущее, которое открыто и которое может быть со временем тем, чем люди захотят его сделать, в то время как у марксизма будущее выливается в железную форму». Те же идеи «открытого» общества, судьбы которого якобы определяются «свободной» деятельностью людей, проводит

К. Поппер в книге «Открытое общество и его враги».

Спекулируя на приверженности широких народных масс к идеям демократии, неопозитивисты-социологи подменяют научное понимание демократии как формы классового государственного устройства понятием «демократии вообще», представляющей собой «социальное благоденствие и общественный интерес».

Однако буржуазные идеологи забывают, что не существует «демократии вообще». В. И. Ленин показал, что «чистая демократия» есть лживая фраза либерала, одурачивающего рабочих»¹⁷. Ныне эта фраза открыто ставится на службу империализму.

Это тем более очевидно, что в США многие социологи-позитивисты являются государственными служащими, идеологически обрабатывающими трудящихся. Это они создали миф об исключительности американского образа жизни, о преодолении классовых противоречий в капиталистической Америке, миф о «народном капитализме» и другие лживые теории, принятые на вооружение международным ревизионизмом.

Социологи-позитивисты активно поддерживают оппортунизм, реформизм и ревизионизм, измышляют разного рода клеветнические утверждения по адресу социалистических стран, всей системы социализма.

«Идеологи и политики империализма, — говорил Н. С. Хрущев на XXII съезде КПСС, — тщатся доказать, будто капитализм еще располагает большими возможностями и «резервами» для своего развития. Правосоциалистические и иные защитники империализма, спекулируя на новых явлениях в капиталистической экономике, изображают дело так, будто бы капитализм меняет свою природу и чуть ли не эволюционирует в сторону социализма. Все это, разумеется, вздор. В действительности эти новые явления как нельзя более ярко подтверждают ленинский анализ империализма. Они показывают, что не происходит никакой «трансформации» капитализма, а идет процесс все большего его ослабления, обострения противоречий, усиление загнивания и паразитизма»¹⁸.

¹⁷ В. И. Ленин. Соч., т. 28, стр. 222.

¹⁸ Н. С. Хрущев. О Программе Коммунистической партии Советского Союза. Материалы XXII съезда КПСС, стр. 132.

Жизнь беспощадно разоблачает лживые выдумки буржуазных идеологов и ревизионистов о том, что капитализм будто бы «меняет свою природу», превращается в «народный капитализм», создает государство «всеобщего благоденствия», способное преодолеть анархию производства и экономические кризисы, обеспечить благосостояние всех трудящихся.

Сейчас, когда на первый план в идеологической работе XXII съездом КПСС выдвинута задача глубокого разъяснения трудящимся новой Программы КПСС, вооружающей советских людей великим планом борьбы за полное торжество коммунизма, должна еще более настойчиво и убедительно разоблачаться буржуазная идеология «антикоммунизма».

Определяя главные задачи в области партийного строительства, Н. С. Хрущев особо подчеркнул необходимость «повышать уровень идеологической работы, как мощного фактора в борьбе за победу коммунизма». «Партия, — сказал Н. С. Хрущев, — и впредь будет разрабатывать новые теоретические вопросы, выдвигаемые жизнью, воспитывать всех советских людей в духе верности марксизму-ленинизму, непримиримости ко всем и всяким проявлениям буржуазной идеологии, в духе повышения политической бдительности к проискам врагов коммунизма»¹⁹.

В свете указаний XXII съезда КПСС борьба советских философов против лженаучной, реакционной философии неопозитивизма весьма актуальна и имеет большое теоретическое и политическое значение для достижения великой цели — построения коммунистического общества.

Ленин в труде «Материализм и эмпириокритицизм» подверг глубокой критике попытки русских ревизионистов марксизма использовать махистскую окрошку для фальсификации исторического материализма. Следуя заветам великого Ленина, мы должны еще более активно и обоснованно разоблачать совместные попытки ревизионистов и позитивистов фальсифицировать исторический материализм и заменить его неопозитивистскими рассуждениями.

¹⁹ Н. С. Хрущев. О Программе Коммунистической партии Советского Союза. Материалы XXII съезда КПСС, стр. 116—117.

И. С. НАРСКИИ

О ГЛАВНЫХ ИДЕЯХ ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ НЕОПОЗИТИВИЗМА

Сто двадцать лет тому назад на арену идеологической борьбы выступил позитивизм как своего рода «антифилософское» направление в философии, и он остается под этим флагом и по сей день. Поскольку позитивизм объявил себя врагом именно прежней, «традиционной», обветшалой и догматической философии, это выглядело как заслуга, а не недостаток позитивизма. И разве Карл Маркс на заре развития своего мировоззрения не писал, что пора ликвидировать разрыв между философией и уроками практики и перестать надеяться на «жареных рябчиков» абсолютной, то есть спекулятивной, философии, которая выступает в роли «науки наук» и обещает наделить своих последователей великими истинами, но дарит им вместо истин иллюзии? И если в числе разных значений термина «позитивный» Огюст Конт специально подчеркивал следующие: «достоверный», «опирающийся на факты», «обоснованный», то разве не именно таким должно быть миропонимание науки? Именно о таком миропонимании науки заявили в начале 20-х годов XX в. неопозитивисты из так называемого «Венского кружка».

В 1930 г. в первом номере журнала «Erkenntnis» появилась статья Морица Шлика, похвотившая первое десятилетие развития философии «Венского кружка» и озаглавленная «Поворотный пункт в философии». В этой статье объявлялось, что «Венский кружок» совершил революционный переворот в философии. В другой статье Шлик писал: «Позицию этой философии преодолеть невозможно. На своем фундаменте наша философия стоит очень надежно, как на твердой скале посреди бушующего моря разных философских мнений»¹.

¹ M. Schlick. A. New Philosophy of Experience. «Gesammelte Aufsätze. 1926—1936». Wien, 1938, S. 151.

Каково же было содержание пресловутого «переворота» в философии? Действительно ли неопозитивисты обрели твердую почву науки?

Многие исследователи считают, что неопозитивизм как философия сводится в основном к неопозитивистской теории познания. И это мнение не лишено оснований. Естественно поэтому при критическом рассмотрении неопозитивизма сосредоточить внимание на анализе его гносеологии.

Дадим предварительно сжатую характеристику взглядов трех основных носителей идей «логического анализа» — «Венского кружка», некоторых представителей «львовско-варшавской школы» и Бертрانا Рассела, — выявив их роль в становлении гносеологии неопозитивизма.

1. «Венский кружок» и его союзники

Основные принципы логического позитивизма были разработаны в «Венском кружке» австрийских неомахистов. Австрийский неопозитивизм — наиболее типичная форма позитивизма XX в.

«Венский кружок» был основан в 1923 г. физиком Морицем Шликом (1882—1936), который за год до этого получил кафедру философии индуктивных наук в Венском университете, основанную в 1895 г. для Э. Маха. Большое влияние на Шлика и других участников «Венского кружка» — О. Нейрата (1882—1945), Р. Карнапа (род. 1891), а также Г. Гана, Ф. Кауфмана, Г. Фейгля и др. — оказал Людвиг Витгенштейн (1889—1951), который сыграл роль как бы связующего звена между австрийским и британским неопозитивизмом. В своем «Логико-философском трактате» (1921) Витгенштейн осуществил своеобразную ревизию труда Б. Рассела и Л. Н. Уайтхеда «Principia Mathematica» в позитивистско-эмпирическом направлении, подвергнув анализу вопрос о том, можно ли рассматривать все утверждения научных теорий как логические комбинации элементарных предложений, и какова эмпирическая основа последних.

Лидеры «Венского кружка» совместно с берлинским «Обществом эмпирической философии» (Г. Райхенбах, Р. Мизес и др.) и пражской группой неопозитивистов (Ф. Франк и др.) в многочисленных публикациях 20—

30-х годов сформулировали главные идеи неопозитивизма: 1) превращение философии в логический анализ языка, 2) утверждение о гносеологической «нейтральности» материала науки и об «атомарном» его строении, 3) тезис о конвенциональном происхождении логики и математики, 4) учение о физикалистском единстве языка наук.

Рудольф Карнап в брошюре «Мнимые проблемы в философии» (1928) и в статье «Преодоление метафизики логическим анализом языка науки» (1931) утверждал, что положения всех существовавших и существующих философских учений лишены научного смысла (*sinnlos*), поскольку все они будто бы не поддаются ни подтверждению, ни опровержению через сравнение их с чувственно воспринимаемыми фактами. Если позитивисты XIX в. считали, что человек бессилён разрешить основной вопрос философии, а махисты видели его разрешение в признании пресловутой «нейтральности» мира, то неопозитивисты пошли по пути отрицания самого этого вопроса. С этой целью они попытались использовать идеи построения многозначных логик и прежде всего — логик с тремя логическими значимостями. Но если в трехзначных логиках в качестве третьей значимости применяется рубрика «неопределенно» или же: «вероятно», «возможно» и т. д., то в неопозитивистском учении о предмете философии третья рубрика выносится за пределы логики и науки вообще. Научная и логическая «неосмысленность» фигурирует в неопозитивистской концепции как внелогическая категория.

По мнению Карнапа и его единомышленников, науки должны заниматься только логическим упорядочением и переработкой фактов, то есть фиксируемых в предложениях *состояний* предметов. Под предметом понимается все то, что может быть обозначено подлежащим в предложении субъектно-предикатного строения. Под фактом, кратко говоря, понимается все то, что делает предложение истинным или ложным. Требуемая для фактов фиксация в предложениях означает, что фактом считается лишь такое состояние (положение, отношение, изменение) предмета, которое воспринимается (осознается) субъектом. Поэтому земля, стол и т. д. — это, с точки зрения неопозитивистов, не есть факты, тогда как утверждение «Я вижу, что стол стоит на земле» содер-

жит в себе факт. В конечном счете специальным наукам разрешается заниматься лишь логическим объединением восприятий субъекта и вообще данных его сознания. «Вещи, которые конструируются (konstituiert werden) из восприятий, — писал Ф. Франк, — не соответствуют никакой вне восприятий существующей реальности»².

Чем же было предложено заменить прежнюю философию? «Философию надлежит заменить, — писал Р. Карнап в книге «Логический синтаксис языка» (1934), — логикой науки, т. е. логическим анализом понятий и утверждений отдельных наук...»³, в особенности — аксиоматически-дедуктивных научных теорий. До 1936—1937 гг. Карнап понимал логический анализ «языка» наук как исследование посредством математической логики их логического синтаксиса; в последующие же годы — так же и как исследование их семантики, то есть значений терминов и символов, а также их отношений к обозначаемым предметам⁴.

Внешне дело выглядело так, что позитивисты «Венского кружка» включили в разряд не имеющих ничего общего с наукой положений (то есть положений, относительно которых невозможно установить ни их истинность, ни их ложность) не только предложения «традиционной» философии, но и всякую религиозную догматику. Однако по существу дела оказывалось, что учение «Венского кружка» о «новых» задачах философии, которое Шлик в 1930 г. провозгласил «поворотным пунктом» в истории философии, не только не враждебно к религии, но, наоборот, оправдывает существование ее, как и идеализма вообще. По мнению Карнапа, идеализм, а иррационалистические его формы в особенности, возник из потребности дать удовлетворение свойственному каждому человеку мистическому «чувству жизни». Так, лидер австрийского неопозитивизма возвратился к учению Спенсера об отсутствии спорных моментов между наукой и религией, с той, впрочем, разницей, что, со-

² «Erkenntnis», Bd. 2, 1931—1932, S. 186.

³ R. Carnap. The Logical Syntax of Language. London, 1937; p. XIII.

⁴ Это было вызвано успехами логической семантики — новой научной дисциплины, получившей бурное развитие после публикации в 1935 г. работы А. Тарского «Понятие истины в языках дедуктивных наук».

гласно взглядам Карнапа, компетенции религии подлежит область не «таинственного», но прежде всего — логически якобы «невыразимого».

В своей концепции предмета философии Шлик, Карнап и Нейрат извращенно истолковали тот факт, что в число обязанностей философии действительно входит задача помощи специальным наукам в уточнении их фундаментальных понятий, а также задача изучения связей между категориями науки и исследования категорий процесса познания, причем как первое, так и второе требует использования аппарата формальной логики. Теоретики «Венского кружка», пытаясь оторвать символическую логику от философско-материалистического ее обоснования, абсолютизировали тем самым ее относительную самостоятельность и превратили в своего рода новую «науку наук».

Но если считать предметом философии исключительно лишь логическую структуру языка наук, то придется признать, что границами языка определяются и границы мировоззрения. Отсюда вытекал солипсистский тезис, откровенно провозглашенный Витгенштейном: «Границы моего языка — это границы моего мира»⁵. Карнап в книге «Логическая конструкция мира» (1928) попытался несколько смягчить этот тезис, заявив, что речь идет не более как о «методологическом» солипсизме, и в течение десяти последующих лет искал критерия интерсубъективности (то есть объективности для науки) предложений о фактах. Поиски эти окончились полным фиаско, поскольку, как показала полемика на страницах «Эркентнис» в 1931—1934 гг., интерсубъективность не удалось обнаружить ни в содержании, ни в графической форме, ни в логической структуре предложений: не понимая зависимости познания от общественной практики человека, материальной по своей основе, логические позитивисты не могли проложить мостика от мыслительной и лингвистической деятельности одного субъекта к подобной же деятельности другого лица.

В качестве критерия научной осмысленности, а в рамках последней — истинности и ложности предложений, М. Шлик, а за ним и другие участники «Венского кружка» провозгласили принцип верификации (проверки), по-

⁵ Л. Витгенштейн. Логико-философский трактат, стр. 80.

лучивший вскоре формулировку в виде принципа *верифицируемости* (проверяемости). Он состоит в следующем: предложение считается научно осмысленным, если в принципе возможно установить его истинность или ложность путем сравнения с чувственным опытом субъекта. Принцип этот далеко не совпадает с бесспорным требованием научного исследования: сопоставлять утверждения с данными опыта.

Во-первых, под содержанием опыта, то есть реальным «материалом» науки, неопозитивисты «Венского кружка» понимали «атомарно» разрозненный конгломерат чувственных фактов (в указанном выше значении «факта»). Выдвинутая Витгенштейном концепция *«логического атомизма»* опиралась при этом на ложный тезис, будто бы структура «языка» символической логики является непосредственным слепком со структуры фактов. В действительности же Витгенштейн ошибочно приписал чувственно воспринимаемой действительности дискретную структуру логики, неправомерно раздробив первую на метафизические «атомы». Сами эти «атомы» — это восприятия субъекта как таковые. Вопрос о том, существует ли объективная реальность, то есть реальность за пределами восприятий и переживаний субъекта, был объявлен — в соответствии с общей позицией неопозитивизма по отношению к философии материализма — псевдо-вопросом. Что касается реальности в логике и математике, то здесь неопозитивисты удовлетворились понятием ее как *факта принятости* (приемлемости, допустимости) определенных сочетаний знаков в рамках ранее принятой аксиоматически-дедуктивной системы. Иными словами, речь идет здесь лишь о данности символа, формулы и т. д. сознанию логика: «реальным» считается то, что акцептировано логически мыслящим сознанием. Концепция «атомарности» опыта предопределяла взаимоизоляцию одних верификационных актов от других и позволяла соединять их для единого рассмотрения только посредством использования констант символической логики, в действительности далеко не достаточных для выражения всего богатства объективно-реальных связей и отношений между вещами.

Во-вторых, принцип верифицируемости страдал той узостью, что предполагал единичную (или n раз повторенную, где n — конечное число) проверку предложения,

чем в корне отличался от критерия общественно-исторической практики как активного воздействия коллектива людей на материальные объекты. Между тем большинство философских утверждений проверяется (положительно или отрицательно) не отдельными операциями, экспериментами и т. п., но всей совокупностью общественной практики человечества в длительном ее развитии.

Внешне дело выглядело так, что принцип верификации, провозглашенный М. Шликом и его последователями «бритвой Оккама XX в.», был направлен против домыслов и спекуляций идеалистов и религиозных мыслителей. Однако по существу дела оказывалось, что этот принцип используется не для того, чтобы утихомирить полемические страсти борьбы идеалистов против материалистов, но, наоборот, для того, чтобы обезоружить материалистов и только их. На самом деле, вынесение религиозных постулатов за пределы теоретического знания вполне приемлемо для верующих, ибо они уповают на «сверхтеоретическую» значимость своей веры. Исключение же из науки путем ссылки на действие принципа верифицируемости такого, например, важнейшего материалистического тезиса, что существует независимая от ощущений и прочих состояний сознания субъекта реальность, означает в принципе враждебную материализму попытку «отлучить» его как философию от науки и поставить его на одну доску с «эмоциональными верованиями».

По своей сущности принцип верификации представляет собой, во-первых, новый вариант «принципиальной координации» Р. Авенариуса, так как ставит утверждения о существовании тех или иных фактов в зависимости от субъекта, наблюдающего эти факты. Иными словами, из этого принципа вытекает, что нет фактов, если нет субъектов, эти факты воспринимающих. Аналогичным образом, в 20—30-х годах лидеры «копенгагенской школы» «физического» идеализма считали, что всякое наблюдение физических микрообъектов субъективно не только по форме, но и по своему содержанию, так что существование свойств микрообъектов сводится к их наблюдаемости субъектом. Принцип верификации при его применении в науке ведет, как это нетрудно показать, к тому, что обесценивает учения о потенциальной

энергии, о существовании физических полей, о гелиоцентризме в астрономии и т. д.

С позиции принципа верификации неопозитивисты выступают также против марксизма, утверждая, что марксизм состоит из принципиально не поддающихся опытной проверке догм не только в том смысле, что они не доступны положительной верификации, но и в том смысле, что они якобы вообще не допускают представления о таких фактах, которые, если бы они существовали, опровергали бы положения марксизма. Этот мотив критики марксизма содержится, например, в статье К. Поппера «Философия науки: личное сообщение»⁶.

По вопросу о том, как именно следует применять и понимать принцип верификации, в «Венском кружке» в начале 30-х годов велись жаркие споры. В ходе их сомнению подвергли возможность точной фиксации факта в предложении, точного сравнения фиксирующего, то есть «протокольного», предложения с тем предложением, которое подлежало проверке (особенно если эти два предложения формулируются разными лицами), возможность проверки предложений о событиях прошлого и будущего времени и т. д. Предложение «Земля существовала до человека» было истолковано при этом всего-навсего как выражение условной логической конструкции, из которой вытекают проверяемые наблюдениями геологов и палеонтологов следствия.

В процессе полемики все более обнаруживалась махистская, то есть субъективно-идеалистическая, сущность отождествления существования вещей с проверяемостью предложений о них, что было характерно для принципа верифицируемости. В статье «Проверяемость и значение» (1936—1937) Р. Карнап был вынужден подвергнуть ревизии названное отождествление и признал, что предложение науки может быть подтверждено (*confirmable*) косвенным путем, хотя бы конкретный способ его проверки и не был указан. Это была вынужденная уступка материализму, заключавшаяся в конечном счете в допущении существования истинных предложений независимо от их проверки данным субъектом⁷.

⁶ К. Popper. *Philosophy of science: Personal Report*. «British Philosophy in the Mid-Century». London, 1957.

⁷ Более подробно см. об этом: «Вопросы философии», 1960, № 9, стр. 81—82.

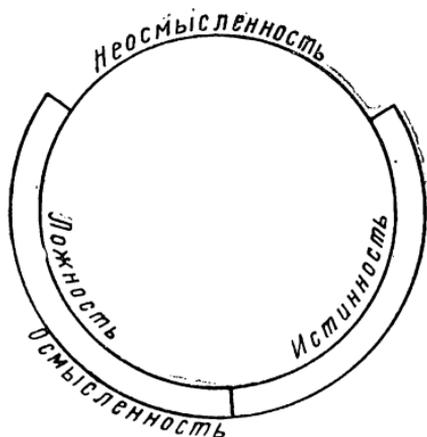
Разгорелась также и полемика по вопросу о том, что именно (ощущения, их осознание или же их фиксацию в протокольных предложениях и каких именно) следует считать за эмпирический базис научных теорий. Карнап и большинство участников «Венского кружка» признали, что эмпирический базис наук составляют «протокольные предложения», совокупность которых подвергается затем логической обработке. Однако никто не смог указать таких предложений, которые действительно были бы абсолютно изначальными и элементарными. В результате Карнап и Нейрат пришли к мнению, что выбор предложений в качестве «протокольных» — это дело произвольного соглашения (конвенции), так что основным принципом построения наук является не согласованность их с данными опыта, но взаимосогласованность научных предложений друг с другом. Это был вывод в духе субъективизма и крайнего релятивизма.

Соответственно изменилось и понимание принципа верифицируемости. Однако затем наметился и обратный процесс, как только неопозитивизм перешел в семантическую стадию своей эволюции: вновь приобрело значение понятие эмпирической истинности (*F*-истинности) в отличие от логической истинности (*L*-истинности). *L*-истинными предложениями в неопозитивизме, как, впрочем, и в символической логике, считаются всегда истинные в рамках данной формальной системы предложения. Разница, однако, состоит в том, что лидеры «Венского кружка» считали каждую такую систему чисто конвенционально принимаемой. Что же касается понятия *F*-истинности, то оно было интерпретировано как сравнение предложения с фиксацией факта опять-таки в предложении и притом как очередная гносеологическая конвенция.

Не следует, однако, упускать из виду, что гносеологический анализ по схеме трех значимостей принципа верификации (осмысленность как истинность и ложность и научная неосмысленность) имел определенное рациональное содержание (под анализом здесь будем понимать всякое прояснение содержания, его уточнение, перевод в более точное выражение, дефинирование).

Отметим, например, такие моменты: а) ложные предложения являются научно осмысленными в том отношении, что знание их ложности важно для науки; б) научно

не осмысленные, то есть непроверяемые, предложения нельзя отождествлять с абсурдом; в) в понятие научной осмысленности (проверяемости) входит не только принципиальная возможность установления истинности предложения, но и принципиальная возможность того, что оно оказалось бы ложным. Иными словами, если нельзя даже представить себе, какие факты могли бы опро-



Классификация значимостей предложений согласно логическому позитивизму

вергать данную теорию, то в таком случае данная теория не имеет отношения к науке. Эти моменты могут показаться интуитивно очевидными, но их отчетливая формулировка способствовала дальнейшему развитию теоретико-познавательных исследований, подобно тому как ошибочная в своей основе концепция анализа предложений привлекала внимание к изучению вопросов обратного воздействия языка на мышление и познание и на нашу деятельность. Заметим вместе с тем, что с точки зрения диалектического материализма рубрика «научной неосмысленности» не имеет самостоятельного значения, поскольку научно неосмысленные утверждения относятся к числу ложных.

Конвенционализм «Венского кружка» возник на основе субъективистского истолкования фактов открытия различных систем формальной логики и неевклидовых геометрий (заметим, что еще А. Пуанкаре различие между геометриями Эвклида и Лобачевского интерпре-

тировал как условное различие между определениями термина «параллельные линии»). Конвенционализм фактически связан с основными общефилософскими декларациями «Венского кружка», поскольку выглядел как философски «нейтральная» концепция, направленная как против материализма, так и против кантовского априоризма. В действительности же конвенционализм — это субъективно-идеалистический принцип, так как предлагает недетерминированность выбора (если не считать детерминацией туманную ссылку на «удобство» данной системы аксиом и т. п.). Наиболее резкие формулировки конвенционализма в лагере неопозитивистов были даны Карнапом, Гемпелем и Айдукевичем. Р. Карнап выдвинул так называемый «*принцип терпимости*» (1934): «...С языковыми формами в любом отношении можно обращаться совершенно свободно... не наше дело устанавливать запреты, мы хотим лишь выдвигать конвенции»⁸. Уже на досемантической стадии неопозитивизма конвенционализм был интерпретирован как принцип произвольного избрания дефиниций (определений) исходных понятий и соотношений между ними в науках.

Согласно неопозитивистскому конвенционализму логика и математика представляют собой собрание чисто аналитических предложений, «тавтологий», не имеющих никакого эмпирического содержания (*sinnleer*). Понятие «аналитичность» употребляется неопозитивистами, как правило, в соответствии с его собственно логическим значением (аналитические предложения истинны в данном логическом исчислении уже в силу своей формы) и отождествлено ими с понятием «тавтологичность» в аналогичном его значении. «Предложения логики и математики, — писал Р. Карнап, — суть тавтологии»⁹. Однако понятию «тавтологии» был придан ошибочно и оттенок смысла, связанный с повседневным значением слова («бессодержательность»). К «бессодержательному» же легко приложить признак «чисто конвенциональное». В действительности же тавтологии, то есть законы формальной логики, обладают определенным содержа-

⁸ R. Carnap. *Logische Syntax der Sprache*. Wien, 1934, SS. III—IV, ср. S. 45. Подробнее о конвенционализме см.: «Вестн. Моск. ун-та», серия VIII, 1961, № 1, стр. 84—97.

⁹ «*Erkenntnis*», Bd. 2, 1931—1932, S. 433.

нием, в конечном счете заимствованным из эмпирической действительности. Л. Витгенштейн иронизировал, например, по поводу того, что из закона « $p \vee \sim p$ » всегда истинно» вытекает, что на вопрос о погоде завтра мы можем ответить: «Завтра будет дождь или же не будет дождя». Но познавательное значение тавтологии « $p \vee \sim p$ » совсем иное: оно лежит в содержательном аспекте самой формы этой тавтологии, позволяющем исключать «третьи» случаи, кроме p и $\sim p$, а не в содержаниях, в нее вкладываемых.

Исходя из того что логика и математика применяются для обработки эмпирических данных в прочих науках, неопозитивисты перенесли конвенционализм и в эти последние. Конвенциональными были объявлены: выбор эмпирических протоколов, критерия истины и принципов теории познания вообще, а также предпочтение, оказываемое тому или иному мировоззрению.

Участники «Венского кружка» применили конвенционализм к этике и эстетике. Как правило, они отрицали право этики на существование в виде теоретической дисциплины, поскольку этика как наука о ценностях в принципе, по их мнению, должна была бы носить внеэмпирический, а следовательно неверифицируемый характер. Если этика с таким ее содержанием о чем-то и сообщает ученому, то якобы не более как о характере *эмоциональных* склонностей и антипатий ее автора. Так возникла «эмотивистская» трактовка этики. Г. Райхенбах сформулировал даже вариант «принципа терпимости» для этики: «Представитель научной философии в основе своей терпим и позволяет каждому думать, что он хочет... Каждый имеет право *выдвигать свои собственные этические императивы и требовать, чтобы все другие люди им следовали*»¹⁰.

С другой стороны, неопозитивисты допускали существование описательных наук о поведении людей и об оценках этого поведения в различные эпохи, о том, какие

¹⁰ H. Reichenbach. *Aufstieg der wissenschaftlichen Philosophie*. Berlin, 1957, SS. 289 u. 330. Вот, например, характерное заявление Г. Райхенбаха: «Понятийная импликация «из свободы вытекает война» принуждает его только к тому, чтобы принять выбор, но она отнюдь не говорит, что он должен выбрать» (Ibid., S. 359. Курсив мой. — И. Н.).

поступки ведут к определенным ранее задуманным целям (например, цели чувствовать себя счастливым) ¹¹.

Кроме того, теоретики «Венского кружка» в качестве научной дисциплины приняли анализ этического языка существующих и существовавших философий.

Особую позицию в этом вопросе занял М. Шлик, который в «Вопросах этики» (1930) сконструировал свою теоретическую систему этики индивидуалистического эвдемонизма ¹².

Основными тезисами этики Шлика являются: признание моральности стремления человека к «радостному состоянию души», указание на «злоупотребления разума» как на единственный источник зла и упование на «совершенное» буржуазно-либеральное государство. Абстрактный гуманизм Шлика не мог сыграть какой-либо действенной роли в борьбе против нарастающей угрозы фашизма, и гитлеровский «аншлюсс» это продемонстрировал со всей очевидностью.

Конвенциональной была признана в «Венском кружке» и концепция физикализма. *Физикализм* представлял собой попытку реализации задач философии в неопозитивистском ее понимании. «В том, чтобы установить единство познания, состоит историческая задача философии» ¹³.

Это единство мыслилось отнюдь не как отражение единства внешнего мира, но только лишь как унификация *языков* наук, их объединение. Принцип физикализма был изложен в статьях Р. Карнапа «Физикалистский язык как универсальный язык науки» (1931) и О. Нейрата «Социология в физикализме» (1931) и в середине 30-х годов занял видное место в доктрине «Венского кружка». Тезис физикализма гласит, что язык физики является универсальным языком науки; это означает, что каждый язык каждой рубрики науки может быть адекватно переведен на язык физики ¹⁴. Физикализм в его первоначальной «радикальной» форме вел к пропаганде бихевиоризма в психологии и социологических

¹¹«Erkenntnis», Bd. 2, 1931—1932, S. 418.

¹² См. M. Schlick. Fragen der Ethik. «Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffassung», Bd. IV, Wien, 1930.

¹³ V. Kraft. Der Wiener Kreis. Der Ursprung des Neopositivismus. Wien, 1950, S. 147.

¹⁴ См. R. Carnap. The Logical Syntax of Language. London, 1937, p. 320.

исследованиях. Р. Карнап заявил, что физикализм можно считать «методологическим материализмом», однако материализма здесь не было ни грама, что видно хотя бы уже из заявления Карнапа в его статье о физикалистском языке о том, что добавлением «методологический» подчеркивается, что речь идет о тезисах, говорящих исключительно о логической возможности осуществления определенных языковых преобразований.

По мере выявления невозможности практического осуществления «единства науки» на основе радикального физикализма, этот принцип стал все более отходить на задний план и приобретать «умеренную» трактовку. Однако «умеренность» ее вначале выразилась в том, что Нейрат и Карнап предложили установить «языковое» единство науки не в терминах физики, но в терминах логико-грамматических отношений между словами. Это был тезис о так называемом «формальном модусе языка» (1932). Возможность перевода в формальный модус Карнап объявил даже критерием осмысленности предложений, претендующих на философское значение. Так, от субъективно-идеалистического сенсуализма был сделан существенный шаг к субъективно-идеалистическому вербализму. Концепция формального модуса языка при последовательном ее применении вела к выхолащиванию реального содержания из науки и превращала, между прочим, философию самого «Венского кружка» лишь в собрание конвенциональных утверждений об отношениях между словами! С конца 30-х годов неопозитивисты возвратились к физикализму, но лишь в смысле признания желательности хотя бы частичного сведения эмпирического базиса наук к классу наблюдаемых или даже вообразаемых (поддающихся представлению) чувственных предикатов¹⁵.

В конце 30-х годов доктрина «Венского кружка» утратила свою первоначальную форму. Под влиянием К. Поппера и А. Тарского Карнап предпринял «смягчение» не только физикалистского, но и других тезисов логического позитивизма: он попытался преодолеть понимание верификации как чисто индивидуального акта

¹⁵ «International Encyclopedia of Unified Science», v. I, p. I. Chicago, 1955, p. 60; «Minnesota Studies in the Philosophy of Science», v. I. Minneapolis, 1956, p. 19.

субъекта, отказался от отождествления истинности и проверяемости, а позднее признал, что утверждение о неосмысленности всякого онтологического положения в философии является «чрезмерным». Это был уже кризис основ воззрений «Венского кружка».

Но в чем же состоит источник независимости истинности от проверяемости, то есть ее объективности? Какую именно онтологию следует предпочесть? Карнап, Гемпель и Райхенбах не нашли ничего лучшего, как вновь сослаться на конвенциональный характер решения этих вопросов. Но такое решение открывало путь к сближению и даже к сращению неопозитивизма с почти любой идеалистической философской системой. Представители неотомизма, экзистенциализма и прагматизма стали охотно использовать понятия, термины и методологические приемы логического позитивизма.

С другой стороны, среди естествоиспытателей, занимавших ранее неопозитивистские позиции, начался разброд. В различных комбинациях и их воззрениях возобладало сочетание субъективного и объективного идеализма. Это относится, в частности, к представителям бывшей «копенгагенской школы» «физического идеализма», как, например, П. Иордану и В. Гейзенбергу. Первый бросился в объятия католицизма и объявил материалистическое понимание физики «восстанием против бога». Второй включил в свою интерпретацию «физической реальности» понятия об универсалиях в близком к платонизму духе.

Как бы то ни было, в конвенционализме и тезисе о том, что логический анализ «языка» наук (в том числе логики) и различных философских систем есть единственная задача «научной» философии, идейный багаж «Венского кружка» сохранился до наших дней, продолжая влиять на многих представителей буржуазной мысли.

В ряде отношений параллельно деятельности «Венского кружка» в 20—30-х годах протекала деятельность так называемой Львовско-Варшавской школы в Польше. Представители этой школы стали развивать позитивизм в Польше уже в иной форме, чем у «варшавского позитивизма» 70-х годов XIX в., заимствовавшего идеи Дж. С. Милля и Г. Спенсера, а именно в логической форме. Почва для его распространения была под-

готовлена педагогической деятельностью А. Марбурга в Варшаве и в особенности К. Твардовского во Львове.

Деятельность К. Твардовского в свою очередь была опосредована философским творчеством австрийского неореалиста Франца Brentano (1838—1917), который стремился соединить принципы неосcholастической теории познания с эмпирически-позитивистской методологией, хотя сам себя не считал ни объективным идеалистом, ни позитивистом. Brentano заявлял, что философия станет «научной» только в том случае, если сможет стать «эмпирической». Он не создал законченной философской системы, остановившись на стадии психологического и логического анализа понятий. Но разработанная им методология этого анализа повлияла на Твардовского, а через него — на польских позитивистов XX в. Его учение об аналитическом характере логики и математики оказало воздействие на Л. Витгенштейна, а отрицание им предсказуемости существования предвосхищало дальнейшие исследования Б. Рассела.

На развитие неопозитивизма воздействовали также исследования ученика Ф. Brentano Алексиса Мейнонга (1853—1919). Разработанная им «теория предметов» должна была, по его замыслу, стать философией, которая возвысилась бы над всей прежней онтологией, так как сделала бы объектом своего исследования не только действительно существующие, но и не существующие предметы. Мейнонг писал, например, что «равенство», «различие» и т. п. суть особые объекты, и не физические, и не психические. «И поэтому имеется также знание о недействительном»¹⁶. Таким образом, Мейнонг выдвинул понятие «предмет вообще», родственное понятию «факт» у Рассела. Его призывы к преодолению узких рамок всех прежних онтологий перекликались с учением Шлика о «поворотном пункте» в философии.

К. Твардовский (1866—1938), основатель Львовско-Варшавской школы, занимался скрупулезным логическим анализом психологических и гносеологических понятий в духе идей Ф. Brentano и не создал определенной философской системы. Его учениками были Айдукевич, Ко-

¹⁶ A. Meinong. Untersuchungen zur Gegenstandstheorie und Psychologie. Leipzig, 1904, S. 37.

тарбинский, Чежовский и др. Твардовский воздержался и от открытых выступлений в пользу позитивизма, погрузившись в «хронические занятия пропедевтикой философии», что соответствовало мелкобуржуазной «обособленности, бегству от участия в общественной борьбе»¹⁷.

Тем не менее на главной работе Твардовского, относящейся к данному периоду, — «О сущности понятий» (1924) — лежит отчетливая печать позитивистской, а отчасти и неосхоластической гносеологии. Понятие «объекта», например, сводилось им к интенциональному существованию предмета внутри сферы человеческих представлений.

В Варшаве в начале 20-х годов сложилась группа теоретиков и преподавателей символической логики во главе с одним из создателей многозначной логики¹⁸ — Яном Лукасевичем (1878—1956), автором свободной от логических антиномий дедуктивной системы Станиславом Лесневским (1886—1939), основоположником исследований в области семантики искусственных языков Альфредом Тарским (род. 1901) и др. В отличие от Твардовского варшавские логики открыто провозгласили отрицательное отношение ко всем философским системам, и в этом отношении они увидели себе союзника в лице «Венского кружка». Однако с самого начала они критически отнеслись к «крайностям» конвенционализма и физикализма Карнапа, и у каждого из них сложился свой вариант мировоззрения. Общность методологии и теоретических интересов привела все же к тому, что варшавские логики вместе с группой Твардовского вошли в историю философии как «львовско-варшавская школа», деятельность которой как единого целого была прервана фашистским нашествием в 1939 г.

Наиболее далеко отошел от позитивизма к объективному идеализму Я. Лукасевич. Им же ранее провозглашенной (1927) логической ревизии всех философских

¹⁷ Т. Kotarbiński. Wybór pism, t. II. Warszawa, 1958, str. 204—205.

¹⁸ Впервые идею логик с иными, чем у Аристотеля, законами и значимостями выдвинул русский логик Н. А. Васильев в статье «Логика и металогика» («Логос», 1912—1913, кн. I, стр. 57). См. о нем статью В. А. Смирнова в сб. «Очерки по истории логики в России». Изд-во МГУ, 1962, стр. 242—257.

понятий он придал тот смысл, что символическая логика должна обосновать «истины» религии. В статье «Логистика и философия» (1936) он утверждал, что «логистика не только не есть философское направление, но и не связана ни с каким направлением в философии»¹⁹, но затем завершил свои рассуждения так: пусть за пределами логически мыслящего разума воцарятся «религиозные чувства и убеждения, которые, впрочем, должны пронизать и всю нашу разумную деятельность»²⁰.

А. Тарский в труде «Понятие истины в языках дедуктивных наук» (1931) осуществил детальное исследование этого фундаментального понятия логической семантики, показав, что при условии строгого разграничения уровней метаязыка и предметного языка можно пользоваться в теории дедукции «классическим» определением истины как соответствия предложения факту, не впадая в антиномию «лжец»²¹. Однако в интерпретации «классического» определения истины Тарский соединил материалистическую линию с позитивистской. Он прокламировал философскую «нейтральность» логической семантики и выбросил за борт собственно гносеологическую сторону проблемы истины, поставил истинность в зависимость от понятия «выполнимости» формул на некоторых группах объектов (тогда как с точки зрения диалектического материализма имеет место именно обратная зависимость).

Наиболее близок был по своим взглядам к «Венскому кружку» среди учеников Твардовского Казимеж Айдукевич (род. 1890). Если Тарский повлиял на Карнапа и других участников кружка лишь в собственно логическом отношении, то К. Айдукевич оказал на них и философское влияние. Айдукевич осуществил своего рода «личную унию» между «львовско-варшавской школой» и «Венским кружком». Он выдвинул принцип «радикального конвенционализма», согласно которому во всех науках результатами произвольного выбора являются *дефиниции* (определения) исходных понятий и отношений. Таким образом, именно К. Айдукевич придал кон-

¹⁹ J. Łukasiewicz. Logistyka i Filozofia. «Przegląd filozoficzny», t. XXXIX. Warszawa, 1936, str. 118.

²⁰ Ibid., str. 131.

²¹ A. Tarski. Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych. Warszawa, 1933.

венциям сугубо «языковую» интерпретацию. В статье «Картина мира и понятийная аппаратура» (1934) он заявил, что «мы можем выбирать ту или же иную понятийную аппаратуру, вследствие чего изменяется вся наша картина мира (Weltbild, obraz świata)»²². От выбора терминологической аппаратуры «языка» зависит содержание не только ответов, но и самих вопросов, которые ставит ученый или философ и которые, по мнению Айдукевича, для различных философских концепций оказываются в принципе несовместимыми и даже необъяснимыми друг через друга («языки» взаимонепереводимы).

Принцип «радикального конвенционализма» способствовал углублению релятивизма в воззрениях «Венского кружка» середины 30-х годов. Впоследствии К. Айдукевич пошел по пути «смягчения» своего конвенционализма, пытаясь интерпретировать его в приемлемом для материализма духе. В книге «Проблемы и направления философии» (1949) он истолковал этот принцип лишь как рекомендацию ученым добиваться твердого согласия относительно «острого» (точного) значения употребляемых ими терминов²³.

Что касается Ст. Лесневского и Т. Котарбиньского, то их взгляды, в особенности у последнего, развивались в направлении к номиналистической форме материализма. Т. Котарбиньский выступил как автор философской концепции «реизма» (от лат. res — вещь), которая в результате постепенной трансформации превращена им в 50-х годах в орудие критики субъективного идеализма в логике и защиты материализма. Философия Т. Котарбиньского по праву должна занимать место в истории материализма, но не позитивизма.

Далее, кроме позитивистов «львовско-варшавской школы», союзниками «Венского кружка» стали английские позитивисты из Кембриджа и Оксфорда, в том числе «аналитики» А. Айер, Г. Райль и др., лингвистическая школа Л. Витгенштейна и, наконец, Б. Рассел.

Бертран Рассел (род. 1872) сыграл значительную роль в становлении общей системы взглядов логического позитивизма.

²² K. Ajdukiewicz. Das Weltbild und die Begriffsapparatur. «Erkenntnis», Bd. 4, 1934, S. 259.

²³ K. Ajdukiewicz. Zagadnienia i kierunki filozofii. Warszawa, 1949, str. 61.

Во-первых, Б. Рассел истолковал в духе неопозитивизма свои собственные результаты в области логико-математических исследований, а именно анализ семантических парадоксов и путей их преодоления, а также учение о дескриптивных определениях и понятие «неполного символа». Так называемые «парадокс Рассела» (о множестве всех несамосодержащих множеств) и «парадокс существования» (о предмете высказываний о несуществовании предмета) были использованы английским философом для позитивистских выводов²⁴.

Во-вторых, Рассел выступил с критикой слишком «крайних» субъективистских выводов деятелей «Венского кружка», отклонив их конвенционализм и физикализм в наиболее догматических формулировках. Тем самым он помог австрийским, а затем американским (У. Куайн, Ч. Моррис, Н. Гудмен и др.) неопозитивистам до некоторой степени «усовершенствовать» свою доктрину. Не следует, впрочем, преувеличивать глубину расхождений между Расселом и Карнапом, например, в вопросе о конвенционализме. Неправомерное перенесение семантических способов разрешения формальнологических противоречий в дедуктивных науках на все вообще возникающие в науках противоречия свойственно было как Расселу, так и Карнапу и неизбежно смыкалось с конвенционализмом.

Наконец, в-третьих, Рассел выдвинул свои собственные философские концепции, которые сыграли роль новых вариантов или же составных частей неопозитивизма. Первую роль сыграло учение Рассела о «нейтральном монизме», в 40-х годах им, впрочем, подвергнутое ревизии; вторую — его учение о предмете философии и о «логическом атомизме».

Концепция нейтрального монизма получила свою разработку в двух книгах Б. Рассела «Анализ духа» (1921) и «Анализ материи» (1927), а также в ряде его статей. Эта концепция сложилась под прямым влиянием учения американских прагматистов о «сыром материале» знания и доктрины Э. Маха о «нейтральных элементах» мира. «...Объекты, которые математически в физике

²⁴ См. об этом подробнее в нашей книге: «Современный позитивизм. Критический очерк». Изд-во АН СССР, М., 1961, стр. 46—48 и 146—192, а также в сб. «Философские вопросы современной формальной логики». Изд-во АН СССР, М., 1962.

являются простейшими (primitive), такие, как электроны, протоны и точки во времени-пространстве, — писал Б. Рассел, — суть все логически комплексные структуры, составленные из сущностей, которые метафизически более просты (primitive) и могут быть условно названы «событиями» (events)²⁵, то есть ощущениями различных изменений, которые он, Рассел, не считал, однако, психическими, как не считал их и физическими. Рассел определил материю как «логическую фикцию, изобретенную потому, что она удобна для установления (gives a convenient way of stating) каузальных законов»²⁶. Законы причинно-следственных связей принимаются Расселом лишь как своего рода «постулаты» науки, необходимые для предсказаний. Неопозитивист К. Поппер поставил, правда, под вопрос необходимость самого понятия детерминизма для научных предвидений²⁷, но его позиция показалась Расселу чересчур «смелой».

Рассуждения Рассела о «нейтральном монизме» почти полностью соответствовали учению Л. Витгенштейна и М. Шлика о философской «нейтральности» фактов как материала науки.

В отношении предмета философии именно Б. Рассел высказал впервые (1914) взгляд, что сущностью философии является формальная логика в том смысле, что философ должен заниматься лишь логическим анализом научного и традиционно-философского языка²⁸. Именно Б. Рассел сформулировал впервые (1911) принципы «логического атомизма», согласно которому мир — это логическая конструкция из взаимообособленных фактов (событий). Как вскоре и Л. Витгенштейн, Рассел перенес на чувственный материал науки те свойства, которые характерны для элементарной структуры символической логики²⁹.

Хотя в 40—50-х годах в философских воззрениях

²⁵ B. Russell. *The Analysis of Matter*. London, 1927, p. 9.

²⁶ B. Russell. *The Analysis of Mind*. London, 1924, p. 300.

²⁷ См. К. Поппер. *The Open Society and its Enemies*, v. I. London, 1957, p. 85.

²⁸ В статье «Научный метод в философии» (1914) он даже утверждал, что философия «неотличима от логики». Это его высказывание было связано со стремлением увидеть в математической (символической) логике своего рода универсальную науку.

²⁹ См. B. Russell. *The Philosophy of Logical Atomism*. «*Monist*», 1918—1919.

Рассела определился поворот ко все более ортодоксальному юмизму, тем не менее идеи, высказанные им в 10—30-х годах XX в., оказали весьма широкое влияние на многих позитивистски мыслящих буржуазных философов Англии, США, Канады, Австралии и Скандинавии. «Венский кружок» чувствовал в Расселе не только придиричье критика, но и своего верного союзника.

2. Познание и его закономерности с точки зрения неопозитивизма

Отметим прежде всего, что сложившаяся в «Венском кружке» в сотрудничестве с К. Айдукевичем и при использовании идей, выдвинутых Б. Расселом, гносеология позитивизма отличалась от прежнего агностицизма и скептицизма в ряде отношений.

Агностики XVIII—XIX вв. усматривали в утверждаемой ими ограниченности познавательных способностей человека более или менее печальный факт. Во всяком случае они признавали, что их учения *ограничивают* познавательные способности. Позитивисты же XX в. заявляют, что установление пределов познания не ограничивает человека в его действиях, но, наоборот, освобождает его от пут, наложенных прежними учениями о познании, и чуть ли не окрыляет. В статье «Новая философия опыта» М. Шлик утверждал: «...Мы отрицаем существование каких-либо принципиальных границ человеческого знания»³⁰. Этот софизм — одно из типичных проявлений той склонности к вольному или невольному лицемерию, которая свойственна всей буржуазной философии эпохи империализма. Для подкрепления этого софистического вывода неопозитивисты использовали созданное Л. Витгенштейном и М. Шликом учение о такой области проблем, к которой понятие истинного или ошибочного (ложного) познания вообще неприменимо, так что с точки зрения познания проблемы этой области вообще не есть проблемы. Витгенштейн писал: «Самые глубокие проблемы по сути дела и не являются проблемами»³¹. Если Ницше заявлял, что его «аморалистическая» философия находится по «ту сторону добра

³⁰ М. Schlick. *Gesammelte Aufsätze*. 1926—1936. Wien, 1938, S. 150.

³¹ Л. Витгенштейн. *Логико-философский трактат*, стр. 44.

и зла», то Шлик и Карнап стали утверждать, что они открыли будто бы огромную область предложений, которые находятся «по ту сторону истины и лжи», а потому нечего горевать, что они не поддаются познанию. Таким образом, неопозитивисты попытались выдать агностицизм за теоретико-познавательный оптимизм, что Уисдом назвал в 50-х годах даже «невротической» уловкой.

Деятели логического позитивизма, и в частности М. Шлик и Р. Карнап, неоднократно пытались доказать, что их взгляды несовместимы со скептицизмом, так как они, в отличие от скептиков, уверены в полной достоверности «чувственных данных». Логические позитивисты рассуждают так: «данные» просто даны, об их происхождении рассуждать — бесплодная затея, и что сверх того, то представляет собой лишь беспочвенную «метафизику», то есть совершенно иллюзорную догматику.

Мориц Шлик утверждал: «...Наш эмпиризм ни в коем случае не является скептическим»³². И это писал лидер философского течения, которое по сути дела устанавливало принципиальную границу знания на линии ощущений, считая, что познание не в состоянии выйти за пределы сферы феноменов сознания субъекта!

Требую еще в более резкой форме, чем позитивисты XIX в., упразднения всей прежней философии, логические позитивисты провозгласили упразднение всех ранее существовавших теорий познания. Такую судьбу неопозитивисты уготовили, как они заявили, и всякой агностической теории познания, как якобы «метафизической» (в вышеуказанном значении необоснованной догматики). И в то же время начиная с ранних работ Л. Витгенштейна они развернули по сути дела пропаганду агностицизма. Как же связать концы с концами? Уже Витгенштейн предложил своим последователям быть солипсистами, но запретил формулировать позицию солипсизма как теоретическую позицию. Аналогичным образом неопозитивисты «Венского кружка» стали рекомендовать взгляды агностицизма, но при этом избегать формулировки позиций агностицизма, поскольку всякая формулировка антидогматизма-де сама догматична. Однако при помощи фигуры умолчания невозможно построить теорию, и последующая история неопозитивизма была заполнена

³² M. Schlick. *Gesammelte Aufsätze*. 1926—1936, S. 150.

бесплодными попытками высказать тезисы свойственной ему теории познания в такой форме, чтобы ее авторам можно было бы избежать ответственности за них.

Гносеология логического позитивизма отличается от махистской теории познания в следующих моментах.

Э. Мах и Р. Авенариус считали, что им удалось преодолеть агностицизм, разрешив дилемму основного вопроса философии в духе онтологического «нейтрализма» и постулировав принципиальную возможность достижения полноты познания пресловутых «нейтральных элементов» мира, поскольку познание их сводится к тому, что они воспринимаются. Все, что затем происходит в рамках познания, — это, по Маху и Авенариусу, не более как расположение «элементов» удобным для их сжатого обозрения и вызывающим эмоцию удовлетворения способом.

М. Шлик и Р. Карнап предпочли вообще отказаться от разрешения дилеммы основного вопроса философии. Считая эту дилемму мнимой, лишеной, как и вся прежняя гносеология, научного смысла, Карнап в книге «Философия и логический синтаксис» (1935) распространил этот вывод даже на прежний позитивизм.

Неопозитивисты, как и их непосредственные предшественники, сводят познание чувственно воспринимаемых объектов к самому восприятию как таковому. «Чувственные данные», «события», «факты» и т. д., заменившие собой в многочисленных писаниях неопозитивистов «нейтральные элементы» махистов, истолковываются в неопозитивизме как теоретически исходные предпосылки всякого познания, находящиеся в сфере сознания субъекта, «предлежащие» ему. Проблема, имеют ли отношение эти предпосылки к внешнему источнику, «разрешается» неопозитивистами по-своему: не путем превращения самого внешнего источника в ощущения, как поступил Беркли, и не путем превращения ощущений в объекты, как сделали махисты, но путем отрицания существования самой этой проблемы вообще.

Неопозитивисты отказались от превращения «чувственных данных» в основу мира, но объявили их «материалом познания». Однако велико ли это различие? Отнюдь нет. Ведь и махисты и неопозитивисты рассматривают ощущения в гносеологии как исходную данность: с ощущениями, по взглядам и тех и других, можно так

или иначе манипулировать и только. Это значит, что теория познания неопозитивизма не выходит за узкие рамки понятий субъективного идеализма.

Одно из новшеств, введенных неопозитивистами по сравнению с их предшественниками, состояло в употреблении понятия «логическая конструкция». Согласно этому понятию, ненаблюдаемые микро- и макрообъекты, например в субатомной физике и в астрономии, а также содержание того или иного объекта, рассматриваемое во всякой научной теории, положения и законы которой выражены в абстрактном математическом материале, представляют собой не символы относительно устойчивых групп ощущений, но продукты формального преобразования «атомарных фактов», зафиксированных в протокольных предложениях³³. Результаты этих формальных преобразований приемлются лишь постольку, поскольку из них удастся дедуктивно выводить чувственно проверяемые следствия. В учении о «логических», или «теоретических», конструкциях отрицается какая-либо принципиальная разница между *объектом* и *теорией объекта*, хотя и признается разница между ощущениями и результатами их рациональной переработки. В этом состоит одна из главнейших особенностей гносеологии логического позитивизма.

Но что это значит? Значит ли это, что содержание самих научных теорий выступает в гносеологии в роли особых объектов познания или же что отрицается независимое от теоретических построений в голове существование внешних по отношению к его сознанию вещей, процессов и т. д. Если бы это означало первое, то здесь не было бы еще автоматического разрыва с материализмом, так как в теории познания в качестве объектов исследования выступают, в частности, также и сами научные теории. Если же это означает второе, то перед нами совершенно откровенный субъективный идеализм. Какой же ответ дают неопозитивисты? Как правило, они не слишком опасаются оставить своих читателей в неведении относительно своей действительной позиции в этом вопросе. Например, в книгах А. Айера «Основы эмпирического познания» (1940) и «Проблема позна-

³³ Б. Рассел отнес к числу логических конструкций также тезисы о существовании чувственных данных у других субъектов и о существовании этих субъектов, хотя сам он против солипсизма.

ния» (1957) двусмысленность постоянно сопутствует рассуждениям на эту тему. Иногда даже возникает иллюзия, что он, Айер, убежден в существовании внешнего мира столь же несокрушимо, как и материалисты. К. Гемпель несравненно более откровенно признал, что теоретические конструкции — это всего лишь удобные фикции; тем самым он возвратился к идеям «фикционалиста» Г. Файгингера. Большинство же остальных неопозитивистов предпочитало придерживаться той позиции, что вопрос об объективности или же фиктивности теоретических конструкций сам по себе лишен научного смысла, как и вопрос о существовании или о несуществовании внешнего мира.

Как правило, неопозитивисты закрывали глаза на то, что теоретические конструкции носят принципиально различный в разных случаях характер: в одних случаях за ними кроются реально существующие, но чувственно не воспринимаемые непосредственно объекты (например, представители известного в современной физике набора микрочастиц); в других — конструкции носят действительно операциональный характер, так, например, ψ — функция в квантовой механике, отображает не факт действительного существования «волн» де Бройля, но лишь соответствующее распределение вероятностей; в третьих — под конструкциями скрывается функциональная зависимость явлений и т. д.

Некоторое различие, возникшее между махистами и неопозитивистами, — это различие только по форме, вытекающее из *различного понимания ими роли мышления познании*. Если Э. Мах и Р. Авенариус полагали, что мышление лишь сокращает, экономизирует, упрощает обозрение опыта субъекта, то Р. Карнап и Г. Райхенбах считают, что мышление радикально преобразовывает данные опыта, вносит в него струю творческого произвола, неузнаваемо его переделывает. Разница эта вытекает из иного, чем у махистов, понимания происхождения и познавательной функции логики и математики.

Если махисты признавали эмпирически-индуктивное происхождение математики, то логические позитивисты либо считают последнюю, как мы уже указывали выше, продуктом субъективного творчества, либо склоняются к тому или иному варианту априоризма. В этом резком взаиморазрыве чувственного и рационального

моментов в познании по их происхождению (первое якобы просто «дано», а второе — продукт деятельности субъекта), который пронизывает всю теорию познания неопозитивизма, нельзя не видеть значительного влияния со стороны кантианства, с той, однако, разницей, что в неопозитивизме явно преобладает конвенционалистское, то есть наиболее субъективистское из всех возможных, истолкование априоризма.

Из резкого раскола между чувственным и рациональными моментами в познании отнюдь не вытекает, что неопозитивисты отрицали применение рациональных средств к обработке чувственных данных. Наоборот, как мы только что видели, на признании необходимости такой обработки именно и основана их концепция «логических», или «теоретических», конструкций. Но из указанного раскола вытекает то, что возникла и на протяжении всей эволюции неопозитивизма имела место конкуренция между двумя различными понятиями «истинности», введенными неопозитивистами в их доктрину. Первое из них — понятие истинности как соответствия предложения чувственным данным, или же факту. Второе — понятие истинности как взаимосогласованности предложений внутри логико-математических систем. Точнее говоря, второе понятие истинности даже не есть понятие собственно истинности, поскольку лидеры «Венского кружка», ссылаясь на произвольность конструирования логики и математики, отрицали наличие в этих науках какого-либо содержательного знания. Истинным же или ложным может быть лишь то, что претендует на наличие в нем некоторого знания. Используя, по сути дела, здесь кантовские идеи (хотя и не восприняв собственно кантовского априоризма), Карнап и Гемпель сочли, что логико-математические дисциплины есть не знание, но лишь форма знания. Поэтому, по их мнению, в логике и математике идет речь не об истинности соответствующих исчислений и систем, но лишь об их правильности, то есть о формальной непротиворечивости. Правильность при этом метафизическом и идеалистическом подходе к вопросу противопоставляется истинности как нечто вытесняющее ее из гносеологии и научной практики.

Долгая конкуренция между понятиями эмпирической и логической истинности в неопозитивизме закончилась победой формалистического направления и поражением

эмпиризма. Взаимосогласованность предложений была превращена деятелями «Венского кружка» в решающий критерий истинности³⁴.

А. Айдукевич, примыкавший к «Кружку», пришел в этой связи к выводу, что «все суждения, которые мы принимаем, зависят от выбора понятийной аппаратуры, при помощи которой выражаем данные опыта. И мы можем выбрать ту или иную понятийную аппаратуру, чем будет изменена вся наша картина мира»³⁵. Взаимосогласованность суждений науки и избранной понятийной аппаратуры рассматривалась Айдукевичем в 30-х годах как критерий допустимости научных теорий.

В результате сказанного выше понятие «логической конструкции» явилось в гносеологии неопозитивизма одним из центральных, а субъективно-идеалистическая его сущность стала более выпуклой. Спрашивается, зачем же подобные конструкции нужны ученым? Ответ Карнапа, Райхенбаха и Нейрата был таков: для того чтобы можно было предвидеть будущие ощущения субъекта. Но следствием чего является факт совпадения теоретически выведенных из научных систем предсказаний, с одной стороны, и ощущений людей, которые у них появятся в будущем, с другой? Никакого убедительного ответа на этот вопрос неопозитивисты найти не смогли. Им оставалось предположить, что этот факт есть нечто случайное и сам этот факт надо рассматривать как нечто данное, то есть как то, что оказалось в нашем опыте и в особом обосновании этого обстоятельства не нуждается. Это, конечно, не ответ.

Подлинный ответ на данный вопрос может быть получен только на основе философии диалектического и исторического материализма. Практика человечества доказывает, что научные теории эффективны для предсказания будущих событий постольку, поскольку в них в той или иной степени (диапазон здесь широк) содержится момент объективной истины, то есть адекватного отражения свойств, отношений и причинно-следственных

³⁴ См. подробнее об этой эволюции в работах: I. Joergensen. *The Development of Logical Empiricism*. Chicago, 1951; S. Krohn. *Der logische Empirismus*, Bd. I. Turku, 1949; V. Kraft. *Erkenntnistheorie*. Wien, 1960.

³⁵ К. Ajdukiewicz. *Das Weltbild und die Begriffsapparatur* «Erkenntnis», 1934, Bd. 4, S. 259.

связей объективно существующего, материального мира. Эффективность «предсказательного» использования научных теорий зависит от факта отражения этими теориями некоторого фрагмента объективных причинных связей.

В неопозитивизме же эта зависимость оказывается поставленной с ног на голову: понятие причинно-следственных связей изображается как производное от факта совпадения предсказаний и ощущений, а именно рассматривается лишь как одно из возможных субъективных объяснений этого факта. Иными словами, объективный характер причинности отрицается, детерминизм сводится на положение методологической конвенции. Ф. Франк, много занимавшийся проблемой причинности и написавший на эту тему даже специальную книгу «Закон причинности и его границы» (1932), пришел к выводу, что либо это понятие ничего не значит, либо его можно использовать лишь как удобный, но отнюдь не достоверный инструмент: «Приходится делать выбор: либо сделать принцип причинности точным и тавтологическим, либо сделать его неопределенным и фактическим»³⁶.

Но это значит отрицать то, что познаваемые закономерности и закономерности самого познания носят объективный, то есть от произвола отдельных людей, а значит, от конвенций не зависящий характер. Подобная точка зрения является на деле отрицанием возможности существования теории познания как науки вообще.

Что же представляет собой, по мнению неопозитивистов, «факт» как философская категория? Если разобратся в огромной литературе, вышедшей из-под пера неопозитивистов «Венского кружка» и их американских и английских собратьев³⁷, то оказывается, что под фактом они понимают всякое состояние сознания субъекта или изменение этого состояния. Неотъемлемым признаком факта считается при этом выразимость его в описывающем его предложении (чаще всего эти предложения назывались «протокольными»). На начальной стадии эволюции неопозитивизма встал вопрос, как именно со-

³⁶ Ф. Франк. Философия науки, стр. 413.

³⁷ Проблемы факта в той или иной степени затрагиваются и всей литературой о чувственных данных (sense-data), как, например, в кн.: А. Ayer. The Foundations of Empirical Knowledge. London, 1940. Ср. в кн.: С. Л. Рубинштейн. Бытие и сознание. Изд-во АН СССР, М., 1957, стр. 86.

относятся между собой факты и «протокольные предложения». Для гносеологических изысканий «Венского кружка» в начале 30-х годов XX в. этот вопрос оказался центральным. В итоге длительной политики Р. Карнап пришел к выводу, что для науки важны не факты, но «протокольные предложения». Этот его вывод был предопределен тем, что в само понятие «факта» Карнап включил признак зафиксированности факта в языке. Вследствие этого проблематика теории познания оказалась замкнутой в сфере фактов чисто лингвистической деятельности субъекта. Удельный вес чувственных фактов в теории познания неопозитивизма, таким образом, резко уменьшился.

Диалектический материализм отнюдь не отрицает, разумеется, того, что объективно происходящие события и факты поддаются отражению в мышлении, а значит, с помощью средств языка. Мало того, без помощи этих средств невозможно теоретическое познание. Но с точки зрения марксистской философии нельзя путать факты объективной действительности и факты сознания, а также факты «языковой» деятельности, в той или иной мере эту действительность отражающие. Факты сознания, коль скоро они осознаны, выступают в познании в «языковой» форме. Факты внешнего, то есть объективно существующего, мира отнюдь не иррациональны; они поддаются рациональному познанию, а следовательно — фиксации в языке. Но стирать всякую грань между фактом и «фактом» фиксации факта в языке — значит стирать грань между объектом и деятельностью субъекта. Именно это и делают неопозитивисты, а также представители родственного им течения операционализма.

Уже начиная с работ раннего Витгенштейна в неопозитивизме пышным цветом расцвела тенденция под флагом тезиса, что структура языка подобна (или должна быть подобна) структуре фактов и связей между фактами, утверждать нечто совершенно противоположное, а именно приписывать чувственному опыту структуру того или иного языка — языка «Principia mathematica», либо языка исследований У. Куайна, языка повседневного и т. д. С этой тенденцией была связана концепция «атомарности фактов»; и в реализации этой тенденции многие неопозитивисты увидели задачу своей гносеологии, а значит, и философии в целом. Чем же должна, по мне-

нию неопозитивистов, заниматься гносеология науки? Задач, стоящих перед гносеологией, имеется, по их мнению, три:

1) распределение предложений по трем рубрикам: а) предложения, говорящие о фактах; б) предложения, говорящие о логической форме предложений; в) не говорящие ни о том, ни о другом (как, например, тезисы «традиционной» философии) и, следовательно, вненаучные;

2) анализ логического строения наук, отдельных предложений науки и терминов (понятий) внутри этих предложений;

3) унификация, то есть объединение, всего научного знания в единую систему на основе единого научного языка.

В процессе анализа неопозитивистами строения наук и попыток их унификации получалось так, что они пытались вместить, хотя бы путем значительной деформации содержания наук, в рамки излюбленных ими теоретических концепций весь имеющийся фактический материал знания. «Излюбленными» теоретическими построениями неопозитивистов 30—40-х годов были: физикализм, бихевиоризм и эмпирическая социология.

Несмотря на то что физикализм первоначально понимался как концепция, требующая перевода предложений всех наук на предложения, состоящие только из терминов, употребляемых в физике, Р. Карнап стремился обрести с его помощью отнюдь не объективное, но лишь чистое «языковое» единство наук. Тем более лингвистический характер физикализма обнаружился при других его, выше отмеченных толкованиях. Подчеркнем, что физикализм был все же не более как побочным продуктом неопозитивистской гносеологии, а именно свойственного ей превращения языка в главный, если не в единственный объект философского исследования. Можно ли, однако, считать, что в философии неопозитивизма язык (понимая язык как совокупность терминологических и символических средств науки, а также логических отношений внутри этих средств) действительно стал главным объектом познания?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо выяснить, что представляет собой, с точки зрения неопозитивистов, *познание*?

Теория познания диалектического материализма исходит, в частности, из положения, что существует тесная взаимосвязь между двумя задачами — исследованием познавательного содержания *результатов* познания и исследованием закономерностей самого *процесса* познания. При теоретико-познавательном изучении пути движения от относительной к абсолютной истине важен не только анализ отдельных «ступенек» на этом пути, но и анализ связующих эти ступеньки «переходов». Этот тезис вытекает из диалектики процесса познания и получает свое обоснование в ленинской теории отражения.

Именно это *существенное положение диалектики познания* коренным образом нарушено неопозитивистами, поскольку они считали, что включение в теорию познания обеих названных задач — существенная ошибка всей прежней философии. Мориц Шлик упрекнул И. Канта в том, что тот не сумел разграничить знание и познание достаточно четко. Филипп Франк приписал эту же «ошибку»... В. И. Ленину.

С точки зрения логического позитивизма соединение воедино аспектов знания и познания не имеет научного смысла. Логический позитивизм утверждает, что закономерности процесса познания (именно как процесса) являются чисто психологическими и подлежат рассмотрению только в психологии. Теория же познания должна совершенно отрешиться от психологической точки зрения и исследовать познание лишь в его результатах. Если неопозитивистская гносеология и касается процесса увеличения знания, то лишь с точки зрения отношения между прежними и новыми его результатами. Однако, когда в сочинениях неопозитивистов идет речь о «прежних» и «новых» результатах, имеется в виду отнюдь не временное, а лишь чисто логическое соотношение между старым и новым. В этом смысле посылки традиционного силлогизма «предшествуют» его выводу, антецедент импликации — ее консеквенту, а члены конъюнкции — конъюнкции в целом.

Таким образом, перед нами не только факт гипертрофии антипсихологизма Э. Гуссерля до крайних пределов, но и далеко развившаяся тенденция к отождествлению всех связей в познании исключительно лишь с формально-логическими, то есть, в понимании неопозитивистов, — с языковыми связями. Теория познания растворяется,

таким образом, в формальнологическом *анализе*. Именно в этом и только в этом смысле можно сказать, что неопозитивисты попытались отождествить формальную логику и теорию познания. Понятия «формальнологический анализ» и «формальная логика» не тождественны хотя бы уже потому, что первый есть *метод*, а вторая — арсенал *средств*, используемых в интересах метода анализа. Первый представляет собой определенную *интерпретацию* на службе позитивистской философии, а вторая — *науку*, имеющую свои особые и несравненно более широкие задачи.

Логика, по мнению лидеров неопозитивизма, может исследовать только чисто формальные отношения между мыслями. Отсюда логические позитивисты делали в отношении логики (так же как и в отношении математики, которую неопозитивисты на разные лады пытались отождествить с логикой) ошибочный вывод, будто логика устанавливает свои законы и правила независимо от чувственного опыта и не имеет эмпирической основы. Конвенционализм ошибочно переносит на логику свойства неинтерпретированных исчислений.

Конвенционалистское понимание формальной логики ведет неизбежно к конвенционалистскому пониманию теории познания логического анализа, а значит, к тому, что внутри самой теории познания неопозитивизма конвенция, то есть принцип произвольного выбора, превращается в *главнейший* гносеологический постулат. И действительно, с какими бы трудностями не столкнулись неопозитивисты в своей теории познания — при анализе соотношения опыта и языка, а также соотношения языков разных лиц, при анализе обоснования принципа верификации (проверки осмысленности) и т. д., — во всех этих случаях они хватаются за ссылку на конвенциональный характер тех или иных своих решений как за последний якорь спасения. Жалким же оказывается этот «якорь»! На произвольность решений гносеологических вопросов здесь ссылаются как на средство уклонения от упреков в произвольности постановки этих же самых вопросов.

Исключив из пределов теории познания вопросы действительного исторического процесса развития познания, неопозитивисты пришли к выводу, что теория познания должна заняться выработкой метода обоснования зна-

ния, а именно обоснования оценки его результатов как истинных или ложных. Таким образом, гносеология неопозитивизма не отрицает того, что нахождение критерия истинности и ложности является важной задачей теории познания.

Но неопозитивистам, так же как и махистам, о чем предупреждал В. И. Ленин, никогда нельзя верить на слово. Дело в том, что интересы неопозитивистов в вопросе о критерии истинности сосредоточились опять-таки лишь на проблеме оценки итогов познания. Это значит, что само познание в целом рассматривается ими как нечто данное, как некий сложный факт, и в отношении его содержания исследуются лишь отношения между одними и другими «данными». Это значит, что отношение между познаваемым объектом и познающим субъектом в неопозитивистской теории познания в принципе не рассматривается. Для этого отношения в неопозитивистском анализе не оказывается места.

Можно сказать и иначе: в гносеологии неопозитивизма рассматриваются отношения между исходными данными и результатами, полученными вследствие логического преобразования этих данных. Поскольку же преобразования считаются происходящими на конвенциональной основе, то не удивительно, что в манифесте неопозитивистов под названием «Научное миропонимание» (1929) заявлялось: «В науке нет никаких «глубин», всюду существует только «поверхность». И далее: «Научное описание может содержать только структуру... предметов, а не их «сущность»³⁸.

Таким образом, теория познания неопозитивизма пытается в принципе исключить проблему отражения сущности вещей и вообще объектов, а значит, и теорию отражения из теории познания. В этом обстоятельстве ярко проявляется враждебное отношение неопозитивизма к диалектическому материализму. Неопозитивисты кичатся своим рационализмом, но связующие линии от их позиции ведут к резко выраженным концепциям иррационализма «философов жизни» (вроде Ницше) и прагматистов (вроде Дьюи), которые исключали проблему отражения из гносеологии путем ссылки на то, что познание есть будто бы не более, как лишь форма биоло-

³⁸ «Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis», cap. II. Wien, 1929.

гического приспособления человека к среде. При таком подходе к вопросу человека интерпретируют просто как животное, а познание уже теряет свойство истинности, оно может быть лишь «удобным».

Недаром поэтому Б. Рассел, понимая познание как приобретение «комфортабельных» привычек, заявил, что познать лужу — это значит приобрести привычки поведения, позволяющие обходить ее, и не более того.

В целом для неопозитивизма бихевиористская позиция, выраженная в этом курьезном замечании Рассела, не является ни единственной, ни господствующей, поскольку «формальнологическая взаимосогласованность» для этого философского направления как понятие «идеала» познания предпочтительнее, чем «биологическая приспособленность», а берклианско-юмистская основа неопозитивизма самым тесным образом связана с интроспекционизмом в психологии.

С какой же целью, согласно неопозитивистам, ученые создают теоретические конструкции науки? Получается, что лишь с целью приспособления к среде или же предсказаний как таковых, но отнюдь не с целью познания объективной действительности. Если так, то наука, а значит, и философия, строго говоря, не ищут знания, не стремятся к истине. Избегая особенно акцентировать этот вывод в отношении специальных наук, логические позитивисты усиленно стали пропагандировать его в отношении философии.

М. Шлик в статье «Будущее философии» заявил: «...я хочу определить науку как «поиски истины», а философию — как «поиски значения»³⁹. Если специальные науки, согласно взглядам Шлика, описывают ощущения и проверяют предложения путем сравнения их с ощущениями, то философия (теория познания) выясняет значение стоящих в науках проблем и отвечающих на них предложений. Исходным пунктом и в то же время завершением деятельности «выяснения» должен быть анализ значения самого понятия «значение». Эта проблема и была выдвинута М. Шликом, а вслед за ним А. Папом как основной философский вопрос в философии логического анализа и как замещение вопроса об отношении бытия и сознания.

³⁹ М. Schlick. Gesammelte Aufsätze. 1926—1936, S. 120.

Проблема значения «значения» в действительности, однако, отнюдь не нейтральна к борьбе двух основных лагерей в философии, и решение ее неопозитивистами исходит в общем из субъективно-идеалистических предпосылок. Так, наиболее типичное для неопозитивизма решение этой проблемы состоит в том, что значение предложений сводится к способу их употребления субъектом в своем языке, то есть к способу оперирования ими. Это решение принял, например, Л. Витгенштейн. Эта точка зрения способствовала тесному смыканию операционализма и неопозитивизма, которое наметилось, впрочем, уже в первых работах П. Бриджмена.

«Венский кружок» и продолжатели его идей приложили много усилий, чтобы внедрить в сознание ученых высказанную уже основателями неопозитивистского движения мысль, будто познание не имеет ничего общего с процессом *отражения* объекта в сознании. Эти усилия вели неизбежно к обесмысливанию самого понятия «познание». Познание, по Шлику, будто бы есть «упорядочение, сравнение, включение в отношения, обнаружение схожего в различном, сведение одного к другому... Чистое переживание ...есть исходный пункт, сырой материал познания»⁴⁰. Иными словами, познание есть логическое конструирование. Исходя из этих идей, Шлик заявил, что «понятие соответствия (то есть отражения свойств вещей в суждениях научных теорий. — *И. Н.*) тает под лучами анализа...». О. Нейрат не остановился на этом и пришел к выводу, что «внутри последовательного физикализма (так он именовал в свое время неопозитивизм в целом. — *И. Н.*) не может быть никакой «теории познания»⁴¹.

Но теория познания в неопозитивизме, разумеется, есть, и ряд основных черт ее выше уже был отмечен. Агностицизм и фиксация в языке «чувственных данных» — два главных ее мотива. После всего того, что было уже сказано выше, наиболее общая характеристика гносеологии неопозитивизма такова: она представляет собой вариант юмизма, преобразованного с помощью аппарата символической логики. Авторы неопозитивистской гносеологии кичились тем, что освободили

⁴⁰ «Erkenntnis», Bd. 7, 1939, S. 402.

⁴¹ Ibid., Bd. 2, 1931, S. 404.

будто бы гносеологию от необоснованной догматики. Но в действительности в их учении спекулятивных догм полным-полно. Среди них и догма о том, что чувственные данные — это единственная реальность, с которой имеет дело наука, а проверка научной осмысленности предложений происходит через сравнение предложений с переживаниями (в том числе с ощущениями) субъекта. Здесь и субъективистская догма о том, что принципиальная проверяемость предложения сводится к допустимости его в рамках принятого нами языка. Здесь, далее, догматическое отождествление научной осмысленности предложений и их проверяемости, а самое главное — *отождествление существования вещей и их наблюдаемости* субъектом. А это, по сути дела, — старый берклианский тезис «быть значит быть воспринимаемым», но высказанный в новой словесной оболочке принципа верификации, причем он аналогичен принципу наблюдаемости в «копенгагенской школе» физического идеализма.

Ложной догмой является, наконец, общегносеологическое утверждение, что в языковой структуре заключен не только способ выражения и передачи друг другу знаний, но и единственный путь к достижению «объективизации» знания. Поскольку, с точки зрения лидеров «Венского кружка» и английских «аналитиков», познание не в состоянии усвоить содержание самих переживаний, ощущений и т. д., оно охватывает лишь формальные отношения между «представленными», по выражению Р. Карнапа, в языке фактами наличия тех или иных чувственных данных. «Представление» фактов в языке состоит в формулировке предложений о происходящих событиях и словесных дефиниций тех или иных предметов. Несмотря на то что в многочисленных писаниях неопозитивистов мы нигде не встретим достаточно точного определения понятий «факт», «событие», «предмет», следствия из этих рассуждений достаточно ясны. Чувственное знание само по себе, как оказывается, вообще не считается знанием. Возникает парадоксальное положение: так называемый «научный эмпиризм» выступил против эмпирического знания! Возникает еще одно противоречие: по мнению неопозитивистов, формальное знание не есть знание, но есть лишь форма знания, однако теперь, как только что сказано, обнаруживается, что иного знания, кроме знания словесных форм (дефиниций),

не признается. М. Шлик именно так и заявил, что переживание — это содержание, но познание согласно со своей природой имеет дело не с содержанием, но только с чистой формой. Таким образом, получается, что *знания не может быть ни в содержании, ни в форме*; не может быть его и в синтезе содержания и формы, так как, согласно неопозитивистам, в познании происходит не синтез в собственном смысле слова, а лишь «упорядочение» отдельных элементов.

Итак, неопозитивизм свел познание, во-первых, к *обозначению* ощущений субъекта при помощи знаков, во-вторых, к *упорядочению* знаков в рамках логических конструкций и, в-третьих, к *изменению* этих конструкций, если в них обнаруживаются формальные противоречия и если их невозможно использовать для предсказания будущих ощущений. Это понимание познания глубоко формалистично и является агностическим.

* * *

✽

История неопозитивизма на протяжении трех последних десятилетий — это цепь безуспешных попыток полного преодоления субъективного идеализма и солипсизма. К началу 40-х годов неопозитивистам пришлось отказаться от физикализма и явно субъективистского отождествления истинности и проверяемости, то есть сделать невольную уступку тезису об объективности истины. Это был процесс имманентного разложения неопозитивизма. Кроме того, происходил процесс постепенного отхода видных ученых — представителей специальных областей знания от неопозитивизма. Но и в Англии и в США «аналитическая философия» 60-х годов сохранила в себе наиболее существенные идеи «Венского кружка»: сведение философии к логико-лингвистическому анализу, субъективно-идеалистическую программу науки, конвенционалистскую (или близкую к ней) трактовку логики и математики. (Об эволюции понятия «анализ» см. в «Вестн. Моск. ун-та», сер. экон.-филос., 1963, № 1.)

В настоящее время неопозитивизм выступает в двух различных формах — это философия *лингвистического анализа* в Англии (Уисдом, Райл, Остин и др.), в которой все внимание перенесено на филологический анализ

повседневного языка, и *аналитическая философия* в США (Пап, Куайн и др.), которые продолжают заниматься собственно логическим анализом, но в отличие от «Венского кружка» относятся примирительно к самым различным идеалистическим концепциям в философии. В социологии неопозитивизм проявляется не всегда непосредственно, но как *тенденция* в трех основных формах:

а) как стремление обособить социологию от философии истории, социальной философии и вообще философии, что свойственно, в общем, всей профессиональной социологии в США; б) как пропаганда (со ссылкой на принцип верифицируемости или без таковой) «эмпирической социологии» (австромарксистская группа О. Нейрата и школа Ландберга — Додда в США); в) как стремление превратить язык в основное социальное явление («общая семантика» в США и философия лингвистического анализа в Англии, переходящая в работах Уисдома в психоанализ). Все эти концепции требуют детальной критики со стороны марксизма. Неопозитивизм еще не добит. Это живой и многоликий, умный и опасный противник. Для его критики предстоит сделать еще многое.

Развивая и углубляя эту критику, советские и зарубежные философы-марксисты находят для себя глубокие методологические указания в неисчерпаемом по богатству идей труде В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». В этом труде была подвергнута марксистской критике не только философия непосредственных предшественников «Венского кружка», но и то общее содержание, которое свойственно всем позитивистским концепциям XX в. Раскрыв гносеологические и классовые корни позитивизма XX в., В. И. Ленин показал, что распространение позитивизма — одна из характернейших черт буржуазной философии эпохи империализма, свидетельствующая как о ее общем упадке и загнивании, так и о нежелании ее добровольно уступить дорогу подлинно научной философии диалектического материализма.

НЕОПОЗИТИВИЗМ В СОЦИОЛОГИИ

Будучи одной из наиболее распространенных разновидностей современного философского идеализма, неопозитивизм оказывает сильное влияние и на буржуазные общественные науки, в частности на социологию. Без учета этого влияния нельзя понять особенности современных буржуазных социологических теорий, а также существо исследовательской практики эмпирической социологии. Однако встречающееся иногда в нашей литературе отождествление всей буржуазной эмпирической социологии с неопозитивизмом является неправильным. Во-первых, буржуазная социология, в том числе и эмпирическая, развивается под влиянием отнюдь не только неопозитивизма, но и других философских течений. Во-вторых, нельзя поставить знак равенства между социологическим эмпиризмом и неопозитивизмом; последний имеет целый ряд специфических философских постулатов и отнюдь не сводится к простому описанию «непосредственно данного». Задачей настоящей работы как раз и является выяснение места неопозитивизма в ряду социологических теорий, анализ его специфических черт и влияния на исследовательскую практику буржуазных социологов.



О влиянии позитивизма на современную буржуазную социологию можно говорить в двух смыслах — широком и узком. В широком смысле речь идет не специально о неопозитивизме, а о позитивизме вообще, начиная с О. Конта. Буржуазные социологи любят поговорить о «революционности» своей науки, об ее «разрыве» с традициями социологии XIX в. «Наука, которая не решает-

ся забыть своих основателей, погибла» — эти слова Уайтхеда, которые американский социолог Р. Мертон приводит в качестве эпиграфа к своей книге «Социальная теория и социальная структура»¹, неплохо передает отношение большинства буржуазных социологов к исторической традиции.

Как известно, позитивистская социология XIX в. возникла в противовес умозрительной, спекулятивной философии истории и должна была, по мысли О. Конта, стать строгой «позитивной» наукой о законах общественного развития. Однако вульгарный натурализм, эклектизм и антиисторизм позитивистской социологии, а также ее связь с классовыми интересами господствующей буржуазии не позволяли ей подняться до конкретного теоретического анализа действительных общественных отношений. Рассуждения об «обществе вообще», законах «социальной статики» и «социальной динамики», бесчисленные физико-механические или биологические аналогии, типичные для социологии второй половины XIX в., никоим образом не передавали специфики исторического процесса и его отдельных периодов². Не являлась она и эмпирической наукой. За исключением Ле Плэ, почти никто из социологов этого периода не проводил собственных эмпирических исследований. Развиваясь под влиянием эволюционной теории, буржуазная социология пыталась вывести широкие обобщения о законах и движущих силах общественного развития, опираясь преимущественно на данные, полученные с помощью сравнительно-исторического метода. Но при этом материалы подбирались и сопоставлялись совершенно произвольно, технике исследования и проверке данных пристального внимания не уделялось. Да и обобщались эти данные совершенно неудовлетворительно. П. Лафарг метко писал о Г. Спенсере, что «он имеет обыкновение распределять факты, которыми занимается, по их внешнему виду, никогда не давая себе труда проанализировать их внутренние свойства и внешние причины, исследовать взаимо-

¹ R. Merton. Social theory and Social structure. N. Y., 1957, р. 3.

² См. об этом подробнее в кн.: «Исторический материализм и социальная философия современной буржуазии». Соцэкгиз, М., 1960, стр. 17—29.

действие между ними и средой»³. Это относится и ко многим другим социологам этого периода.

Каждая из образовавшихся во второй половине XIX в. социологических школ (географическая, органическая, социал-дарвинизм, расизм, психологическая и др.) выдвигала свои собственные постулаты и обращала весьма мало внимания на своих предшественников.

Однако в начале XX в. обнаруживается кризис этого абстрактного вульгарного социологизма. Во-первых, поворот к реакции, свойственный эпохе империализма в целом, подорвал основы оптимистического взгляда на исторический процесс и возможность познания его закономерностей, который был, хотя и с большими оговорками, свойствен большинству социологов XIX в. В эпоху, когда все традиционные ценности буржуазного общества были поставлены под сомнение, когда история явно повернулась против буржуазии, либерально-позитивистские доктрины XIX в. оказались больше неуместными. Ведущие идеологи буржуазии отрекаются теперь от идеи прогресса и исторической закономерности, и это приводит к радикальному пересмотру социологических концепций прошлого.

Во-вторых, слишком уж явным стало противоречие между характером социологических теорий, с одной стороны, и общими принципами научного метода — с другой. Социологи-позитивисты XIX в. провозгласили главным критерием научности своих концепций принятие исходных постулатов естествознания. Но в то время как естествознание постепенно освобождалось от пут старой натурфилософии, разрабатывая все более строгую логику и методологию исследования, социологические теории по-прежнему оставались в «метафизической» стадии. С развитием специальных общественных наук — истории, антропологии, политической экономии, этнографии и др. — со своими собственными, все более точными и дифференцированными методами, социология как произвольный синтез беспорядочно набранного материала неизбежно теряла престиж, и это не могло не повлечь за собой пересмотра ее предмета, содержания и методов.

В-третьих, существенное влияние на социологию оказала революция в физике и ее идеалистическое истолко-

³ П. Лафарг. Соч., т. II. М.—Л., 1928, стр. 336.

вание. Социология, стремившаяся подражать точному естествознанию, не могла пройти мимо совершившихся в нем сдвигов. С одной стороны, крах механического детерминизма в физике означал сильнейший удар и по механистическим теориям в социологии. С другой стороны, распространение «физического» идеализма способствовало усилению индетерминизма и в общественных науках. Если уж детерминизм оказался непригодным в точных науках, то как же он может сохраняться в таких науках, которые до сих пор и не претендовали на точность? — таков довод, часто повторяемый буржуазными теоретиками.

Наконец, не могло пройти мимо социологии усиление субъективного идеализма в буржуазной философии. Хотя социологические течения XIX в. стояли формально вне собственно философских школ, они опирались на определенные философские постулаты и были особенно тесно связаны с позитивизмом. Эволюция последнего в сторону усиления субъективизма не могла не повлиять и на социологию, и В. И. Ленин с присущей ему пронизательностью уже на примере махистской социологии сделал «вывод о неразрывной связи реакционной гносеологии с реакционными потугами в социологии»⁴.

Все это вместе взятое побудило буржуазных философов и социологов эпохи империализма пересмотреть некоторые исходные положения своей дисциплины. Этот пересмотр пошел по двум основным линиям. С одной стороны, возродилось, прежде всего в Германии, романтическое противопоставление общественных наук естественным. Под флагом борьбы против «вульгарного социологизма» XIX в. философы и социологи-идеалисты, начиная с В. Дильтея и Г. Риккерта и кончая Э. Роткером, Т. Литтом и П. Сорокиным, заявляют, что объективные, точные методы исследования вообще неприменимы к истории общества и что исторический процесс невозможно выразить в логике понятий; они ратуют за восстановление в правах мистической, иррациональной интуиции. С другой стороны, социологи-неопозитивисты отказались от претензий на большие синтетические обобщения, увлекавшие представителей биолого-эволюционной фазы позитивизма, и обратились преимущественно

⁴ В. И. Ленин. Соч., т. 14, стр. 321.

к разработке деталей исследовательской техники, конкретной логики и методологии исследования, беря за образец новейшие отрасли естествознания.

Однако при всех различиях в исходных философских постулатах все течения современной буржуазной социологии имеют ряд существенных общих черт. Эти черты, присущие всякому позитивистскому мышлению (а оно глубоко пропитало все буржуазное обществоведение), глубоко раскрыл В. И. Ленин в своей критике махизма, струвизма и других разновидностей буржуазной идеологии эпохи империализма.

Прежде всего, вся современная буржуазная социология, при всех различиях между ее направлениями, *характеризуется принципиальным эмпиризмом*. Отмахиваясь от общеисторических вопросов как от «старомодной метафизики», которая может интересовать только философию истории, и опираясь на выработанную позитивизмом феноменалистскую концепцию науки, буржуазная социология пытается тем самым, не выступая открыто с волюнтаристских позиций, «снять» самую проблему объективной закономерности общественного развития, чтобы, как выразился В. И. Ленин, загородить лес деревьями⁵.

Вся современная буржуазная социология является *глубоко антиисторической*. Это находит свое выражение в отказе от историко-эволюционного рассмотрения явлений, в деградации старой «исторической социологии». По словам Г. Барнеса, «она мертва, и все тенденции говорят против перспективы ее возрождения»⁶. Буржуазные социологи окончательно отбросили идею прогресса и даже эволюции, заменив их бессодержательным понятием «социального изменения». Для них типичен полнейший релятивизм в истолковании и объяснении социальных и культурных явлений и процессов.

Далее, специфической формой проявления идеализма в современной буржуазной социологии является *сведение социологии к психологии*. Психологические теории, употребляемые социологами, могут быть самыми различными — от крайнего интуитивизма и интроспекционизма до крайнего бихевиоризма. Но главное, что яв-

⁵ См. В. И. Ленин. Соч., т. 20, стр. 179.

⁶ «Contemporary Sociology», ed. by J. S. Roucek N. Y., 1958, p. 266.

ляется общим для всех социологических течений, состоит в том, что объяснение социальных процессов ищут в фактах и законах человеческой психики, а не в условиях общественного бытия.

Наконец, последнее по счету, но не по важности: если для марксистов, как это сформулировано в «Тезисах о Фейербахе», объяснение мира служит средством его революционного преобразования, то буржуазная социология хочет лишь приноровиться к существующему строю. Отсюда и коренная противоположность в самом подходе к явлениям. Буржуазная социология не заинтересована в изучении общественной жизни как целого, в познании сущности происходящих процессов. Подобно вульгарной политической экономии, она «толчется лишь в области кажущихся зависимостей», «с целью дать приемлемое для буржуазии толкование, так сказать, наиболее грубых явлений экономической жизни и приспособить их к домашнему обиходу буржуа»⁷.

Указанные черты, связь которых с позитивистской философией достаточно очевидна, присущи всем школам и течениям современной буржуазной социологии. Но наряду с этим в ней можно выделить собственно неопозитивистское течение, обладающее своими специфическими признаками.

Влияние собственно неопозитивизма на буржуазную социологию распространяется по трем линиям.

Во-первых, по линии гносеологической критики теоретических предпосылок общественных наук. Уже участники «Венского кружка», особенно Отто Нейрат, уделяли большое внимание этой проблеме. В своей статье «Социология в физикализме», книге «Эмпирическая социология» и позже в работе «Основания общественных наук» (1944) Нейрат подверг острой критике метафизические предпосылки традиционной социологии и философии истории, доказывая их полнейшую произвольность и бездоказательность. При этом он усиленно заигрывал с марксизмом, утверждая, что неопозитивизм лишь продолжает дело очистки обществоведения от априоризма и метафизики, начатое Марксом, и ставит задачу создания подлинно научной «социологии на материалистической основе»⁸.

⁷ К. Маркс. Капитал, т. 1. Госполитиздат, М., 1951, стр. 87.

⁸ O. Neurath. Empirische Soziologie. Wien, 1931, S. 45.

Однако эта критика, продолженная затем представителями семантического идеализма, является односторонней и деструктивной. Под флагом борьбы с метафизикой О. Нейрат предлагает прежде всего выбросить из социологии все философские категории: такие, как «базис», «надстройка», «общественное бытие», «общественное сознание» и т. д. Затем этот вульгарный номинализм обращается и против собственно социологических понятий («класс», «нация», «государство» и т. п.), которые провозглашаются бессмысленными, поскольку они не имеют однозначного «референта» в опыте. Задачи «научной социологии» Нейрат сводил к «описанию поведения людей в определенный момент времени, их привычек, их образа жизни, их производственного процесса и т. д., чтобы затем поставить вопрос, как вследствие взаимодействия этих привычек с другими обстоятельствами возникают новые привычки»⁹. Что же касается общих понятий и теорий, то они объявляются делом простой конвенции. В этом смысле О. Нейрат писал: «Есть протестанты, но нет протестантизма». Очевидно, что подобная критика общественных наук, даже будучи справедливой в отдельных частностях, в целом насаждает опасные настроения нигилизма и скептицизма в отношении научного познания общественных явлений. Не случайно очень скоро главным объектом этой «критики» становится исторический материализм (например, в работах К. Поппера), и ее берут на вооружение наиболее реакционные социологи.

Вторым важным каналом, по которому осуществляется влияние неопозитивизма на общественные науки, является разработка вопросов логики и методологии общественных наук. С развитием и усложнением проблематики и исследовательских методов общественных наук вопросы их внутренней логики и методологии приобретают все большую актуальность для ученых. Однако представители других философских течений долгое время не уделяли этим вопросам должного внимания, и это помогло неопозитивистам обеспечить себе здесь своеобразную монополию. К. Поппер, К. Гемпель, Ф. Кауфман и другие философы-неопозитивисты, отказавшись от некоторых наиболее догматических положений «Венского

⁹ O. Neurath. Empirische Soziologie. Wien, 1931, S. 57.

кружка» (например, от крайних форм «физикализма» Карнапа и Нейрата), пытаются со своих философских позиций проанализировать и истолковать реальные исследовательские методы и объясняющие теории, применяемые историками, социологами, экономистами и т. д. Хотя эти работы остаются в рамках общей методологии и философии науки (исследование логики исторического или социологического объяснения не претендует на то, чтобы решать по существу какие бы то ни было исторические или социологические проблемы), они оказывают значительное влияние на теоретическое мышление профессиональных социологов и направление их деятельности.

И, наконец, в 30-х годах XX в. в США возникла неопозитивистская социология в собственном смысле этого слова. Представители этого течения профессиональные социологи Д. Ландберг, С. Додд, П. Лазарсфельд, С. Стоуффер и др. не только исследуют методы социологии с помощью логического анализа, но и пытаются применить свои принципы на деле, в конкретно-социологических исследованиях. Именно этим течением, как наиболее показательным, мы и займемся.



На фоне распространенных в буржуазном обществоведении интуитивизма и мистики неопозитивистская социология выглядит на первый взгляд довольно привлекательно. Социологи-неопозитивисты решительно отвергают утвердившееся на Западе начиная с «баденской школы» неокантианства противопоставление общественных и естественных наук. Они утверждают, что существует единый для всех отраслей знания объективный научный метод. «Понятие «научный закон», — пишет, например, Джордж Ландберг, — может и должно обозначать в общественных науках точно то же самое, что и во всех других науках»¹⁰. Они подвергают резкой критике интуитивизм так называемой «понимающей социологии», считающей главной задачей обществоведения

¹⁰ G. Lundberg. Foundations of Sociology. N. Y., 1939, p. 133.

истолкование субъективных мотивов и стимулов человеческого поведения. Свои концепции социологи-неопозитивисты изображают как «революцию в общественной науке» и освобождение ее от «мифологии»¹¹. Они широко оперируют данными и теоретическими моделями из новейших отраслей естествознания, утверждая, что эти заимствования помогут превратить, наконец, социологию в строгую науку. Все это создает им определенный ореол «борцов за научность», против «метафизики» и консервативных традиций. Однако внимательное рассмотрение показывает, что претензии неопозитивистской социологии совершенно несостоятельны и что ее теоретическая база несовместима с требованиями подлинной научности.

Каковы важнейшие специфические черты неопозитивистской социологической теории? На этот вопрос и сами неопозитивисты и их противники отвечают достаточно определенно. Во-первых, это натурализм, то есть (в данном случае) утверждение, что социология должна рассматриваться как одна из естественных наук. Во-вторых, бихевиоризм, то есть утверждение, что предметом социологии должно быть человеческое поведение, понимаемое как ответ на определенные внешние воздействия. В-третьих, операционализм, означающий в данном случае утверждение, что социологические понятия могут быть определены только операционно. В-четвертых, увлечение количественными методами, утверждение, что любые научные положения должны быть выражены строго математически. В-пятых, «объективизм» — утверждение, что общественные науки могут будто бы освободиться от влияния социальных «ценностей» и классовых интересов.

Рассмотрим, что кроется в действительности за этими принципами.

Натурализм неопозитивистской социологии представляет собой дальнейшее развитие механистических концепций, характерных для буржуазной социологии XIX в. (различные варианты теории «социальной физики», органическая школа, социал-дарвинизм и др.). Не понимая качественного своеобразия социальной формы движения, неопозитивисты смазывают различия, существующие

¹¹ См., например, H. Albert. Entmythologisierung der Sozialwissenschaften. «Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie», Hf. 2, 1956.

между человеческим обществом и природой. По Нейрату, социология представляет собой часть «единой науки» и изучает все формы человеческого поведения (то есть поведения племен, групп, индивидов) и даже «поведение животных групп»¹².

Д. Ландберг определяет общество как «любую группу организмов, ведущую общую, взаимосвязанную жизнь при посредстве взаимодействия и взаимоотношений»¹³. Ясно, что под это определение подойдет не только человеческое общество, но и муравейник, или пчелиный рой, или даже колония травяной тли. Говоря, что задачей социологии является изучение механизмов поведения, Ландберг объединяет под этим понятием тропизмы, рефлексy, привычки, обычаи, традиции, нравы и учреждения, смешивая в одну кучу явления физиологического, психологического и социального порядка. Рассуждая о «динамике поведения», он говорит о «трансформации энергии», «перемещении», «флуктуациях», «равновесии», «стимул-реакции» и т. п. Подобными физико-химическими или биологическими понятиями и аналогиями заполнены труды подавляющего большинства неопозитивистских авторов. Например, Н. Рашевский прямо пишет в своей книге «Математическая биология социального поведения»: «Человек — биологическое явление и потому проблемы человеческих взаимоотношений естественно оказываются внутри сферы биологии. Социология и история становятся тогда отраслями биологии в широком смысле»¹⁴.

Этот вульгарный, примитивный механицизм только запутывает смысл социальных проблем. «Нет ничего легче, — писал В. И. Ленин об аналогичных попытках социологов-махистов, — как наклеить «энергетический» или «биолого-социологический» ярлык на явления вроде кризисов, революций, борьбы классов и т. п., но нет и ничего бесплоднее, схоластичнее, мертвее, чем это занятие»¹⁵.

¹² O. Neurath. Foundations of the Social Sciences. Chicago, 1944, p. 1.

¹³ G. Lundberg, C. Schrag and O. Larsen. Sociology. N. Y., 1954, p. 273.

¹⁴ N. Rashevsky. Mathematical Biology of Social Behaviour. Rev. ed. Chicago, 1959, p. 266.

¹⁵ В. И. Ленин. Соч., т. 14, стр. 314.

Правда, Ландберг поясняет, что его понимание социологии как «естественной» науки имеет не столько онтологический, сколько гносеологический смысл, подчеркивая единство и строгость научного метода, а вовсе не тождество предметов исследования в социологии и в естествознании. Этот «натурализм», по его словам, позволяет преодолеть иррационализм и мистику спиритуалистических теорий, с их постоянными ссылками на «разум», «волю» и субъективные стремления людей, которые якобы исключают возможность строгого научного предвидения. «Рассматривая социологию как естественную науку, — пишут Ландберг, Скрэг и Ларсен, — мы будем изучать человеческое общественное поведение в том же самом объективном духе, в каком биолог изучает пчелиный рой, колонию термитов или организацию и функционирование организма»¹⁶.

Дело, однако, вовсе не сводится к «объективному духу» самого исследователя. В отличие от колонии термитов или пчелиного роя, человеческое общество невозможно понять без учета сознательной деятельности людей. Между тем под флагом борьбы против «традиционного взгляда, что разум человека недоступен научному исследованию, как другие естественные явления»¹⁷, наши авторы принципиально отвергают самое разграничение общественного бытия и общественного сознания, объективного и субъективного, уверяя, что это разграничение — «результат мистического отношения к человеческой речи»¹⁸.

Казалось бы, мы имеем дело с крайним механицизмом, и так оно в сущности и есть. Но этот механицизм сразу же превращается в идеализм. Начав с отрицания специфичности и относительной самостоятельности сознания, Ландберг вслед за этим дает субъективистскую трактовку всего общественного развития. Всякое поведение, пишет он, происходит в определенной ситуации и зависит от того, как человек определяет эту ситуацию. Его реакция на ситуацию всегда связана с теми символами, в которых он эту ситуацию воспринимает. Поэтому «поле» социального действия включает в себя не

¹⁶ G. Lundberg, C. Schrag and O. Larsen. *Sociology*, p. 5.

¹⁷ *Ibid.*, p. 35.

¹⁸ *Ibid.*, p. 39.

только географическую среду и других людей, но также все символы и символическое поведение (богов, демонов, табу, верования и идеологии) каждого, кто входит в это «поле». Тот факт, что эти последние явления можно наблюдать только как символы и в поведении людей по отношению к этим символам, никоим образом не делает их менее «жизненными» или «реальными» с научной точки зрения. Они обязательно должны быть приняты во внимание при объяснении данного вида общественного поведения. «Очевидно, что с этой точки зрения боги и демоны в некоторых ситуациях так же важны, как полицейские и священники в других ситуациях; поэтому социологи должны рассматривать как первые, так и вторые в качестве объективных данных»¹⁹.

По сути дела, перед нами старое богдановское «тождество» общественного бытия и общественного сознания. В том, что верования людей, их идеалы и т. п. так же важны для объяснения определенного, конкретного поведения людей, как и материальные процессы, не сомневается никто. Вопрос, однако, в том, что эти идеи и символы сами требуют объяснения, и понять их можно только при условии, если соотнести их с материальными отношениями. Чтобы убедиться в этом, надо лишь подняться над уровнем «данного поведения» и рассмотреть его в динамике, в более широкой исторической перспективе.

Например, революционная ситуация включает в себя как необходимый элемент рост революционных настроений масс. По отношению к поведению масс в данный момент эти настроения представляют собой часть объективной ситуации, детерминирующей ход событий. Но, рассматривая их в исторической перспективе, нельзя не заметить, что эти настроения являются лишь отражением определенных материальных процессов (ухудшения положения трудящихся, усиления несоответствия между ушедшими вперед производительными силами и отставшими производственными отношениями и т. п.). Понимание конкретной диалектики общественного бытия и общественного сознания позволяет социологам-марксистам заранее благодаря достаточно точному учету материальных условий предвидеть и направлять сдвиги

¹⁹ G. Lundberg. Foundations of Sociology, p. 121.

в сознании масс. Если неопозитивисты не видят смысла в разграничении духовного и материального моментов, это происходит прежде всего потому, что они отвергают исторический взгляд на вещи и не поднимаются выше, чем позволяет рассмотрение «поведения в данной ситуации», где все сливается в неразличимый клубок.

Отказ от разграничения объективных и субъективных моментов в общественном развитии влечет за собой ошибочный взгляд как на общественное бытие, так и на общественное сознание. С одной стороны, социологи-неопозитивисты, подобно весьма многим представителям других школ современной буржуазной социологии, фактически сводят социологию к социальной психологии. Основным методом изучения «социального поведения» служит для них, помимо непосредственного наблюдения, опросно-анкетный метод. С другой стороны, — и в этом специфика неопозитивистской социологии по сравнению с другими течениями — они категорически отрицают существование особого «внутреннего», субъективного мира человека и пытаются объяснить человеческое поведение по примитивной бихевиористской схеме «стимул — реакция». По мнению Ландберга, «поведение человеческих существ» определяется таким же точно образом, как «поведение других явлений»²⁰.

Но, как справедливо замечает С. Л. Рубинштейн, за психологическим псевдообъективизмом бихевиоризма скрывается явный гносеологический субъективизм. «Задача для бихевиориста заключается в том, чтобы исключить внутренние процессы сознания из изучаемого психологией субъекта. Но построить знание, да еще психологическое, без сознания оказывается естественно невозможным. Разрешение задачи, — очевидно, мнимое, — падают в том, что переносят внутренние явления, акты сознания из исследуемого в исследователя и таким образом, сохраняя их в невыявленном виде и фактически прибегая к ним в процессе исследования, выводят их из поля исследования»²¹.

Для социологов-неопозитивистов как нельзя более характерно, что исходным пунктом всех их рассуждений является не объективный процесс общественного разви-

²⁰ G. Lundberg. Social Research. N. Y., 1942, p. 21.

²¹ С. Л. Рубинштейн. Принципы и пути развития психологии. Изд-во АН СССР, М., 1959, стр. 306—307.

тия, а социолог-исследователь с его «вопросами», «проблемами» и «методами». Как правильно заметил Г Беккер в своей рецензии на «Основания социологии» Ландберга, последний «все время рассуждает так, будто работающий ученый действует в солипсистском царстве, в котором «единства и аспекты являются просто удобными конфигурациями», возникающими из проводимой им символизации его собственных выборочных ответов на «дьявольскую неразбериху» (booming buzzing confusion), в которой нет никаких единств»²².

Действительно, по мнению Ландберга, все научные понятия и подразделения предмета исследования — чисто условные конструкции, лишенные объективного содержания и создаваемые исключительно для удобства исследователя, «которое является единственным критерием и их реальности и их правомерности»²³. Ландберг отвергает точку зрения А. Кожибского, согласно которой общие понятия являются фикциями, поскольку жизнь состоит из «абсолютных индивидов». Но он критикует его с позиций лишь более далеко идущего конвенционализма. По его мнению, все понятия — и общие, и единичные — одинаково условны, конвенциональны и «оправдываются исключительно своей полезностью»²⁴.

Разумеется, последовательно провести этот взгляд Ландберг не в состоянии. Рассуждая с общефилософских позиций, он утверждает, что выбор «единицы исследования» (unit) целиком лежит в рамках субъективного усмотрения исследователя и не зависит от предмета самого исследования. Но когда он, например, ставит конкретный вопрос: какие данные нужно взять, чтобы выяснить сравнительные темпы прироста населения в нескольких городах, сама логика фактов подсказывает ему, что далеко не любые объекты позволят ответить на поставленный вопрос. Выбор объектов исследования связан, конечно, прежде всего с целью исследования; но расчленение и систематизация этих объектов не могут быть произвольными и зависят от их собственной природы.

Конвенционализм неопозитивистской социологии гео-

²² H. Becker. The Limits of Sociological Positivism. «The Journal of Social Philosophy», v. 6, 1941, pp. 308—309.

²³ G. Lundberg. Foundations of Sociology, p. 172.

²⁴ G. Lundberg. Social Research, p. 94.

ретически оправдывает ее произвол в обращении с важнейшими научными понятиями. Например, Ландберг, Скрэг и Ларсен с порога отвергают марксистско-ленинское понимание общественных классов, утверждая, будто «общественные классы являются всеобщей чертой всех сложных обществ»²⁵ и что «любое наблюдаемое различие *может* стать основой для «общественных классов», так же как и для простой классификации»²⁶. Таким образом, конкретное, содержательное социологическое понятие превращается в простую классификационную форму.

Бихевиоризм неопозитивистской социологии означает, что любые проблемы ставятся в ней только в одной плоскости: как варьирует поведение индивида (или группы людей) под влиянием определенных внешних, в том числе и социальных, условий. Но при этом в тени остается главное: структура общества как целого, закономерное развитие общественного строя, который в последнем счете определяет характер любого человеческого поведения. Социологи-неопозитивисты пространно говорят о поведении вообще, но они всячески избегают вопросов о конкретной структуре общественной жизни, о закономерностях современного капитализма и т. п. Это органически связано как с их философскими взглядами, так и с апологетической классово-сущностью их теорий.

Характерно, например, что в учебнике Ландберга, Скрэга и Ларсена имеется специальная глава, посвященная «экономическому поведению», но в ней ничего не говорится об особенностях капиталистического способа производства и его законах. Не менее показательна работа П. Лазарсфельда «Социологические размышления о бизнесе: потребители и менеджеры», выполненная на средства фордовского фонда. Подходя к предмету с точки зрения «эмпирического анализа действия», Лазарсфельд пишет: «Я смотрю на бизнес как на сложную систему взаимосвязанной деятельности людей. На одном конце менеджеры принимают решения относительно производства, цен и распространения; на другом конце потребители выбирают, что купить и чего не покупать; и по всей этой линии индивиды решают, присоединиться

²⁵ G. Lundberg, C. Schrag and O. Larsen. *Sociology*, p. 309.

²⁶ *Ibid.*, p. 273.

к организации или оставить ее и какие усилия вложить в свой труд»²⁷. Лазарсфельд обстоятельно прослеживает, какие моменты побуждают бизнесмена принять то или другое решение, какое взаимодействие существует между менеджерами и потребителями и т. п. Но все это — скольжение по поверхности явлений, поскольку Лазарсфельд не связывает механизм управления капиталистическим предприятием с объективными законами капиталистического способа производства. Последние просто-напросто полностью лежат за рамками его исследования. Не удивительно, что выводы его имеют сугубо частный характер. Авторы «пытаются не оценивать бизнес, а только обследовать его»²⁸, — говорится в предисловии к книге. Но как же можно «обследовать» механизм действия капиталистического предприятия, абстрагируясь от сущности капиталистической экономики? В заключении своей работы Лазарсфельд ставит более общий вопрос о перспективах дальнейшего развития американского бизнеса, но только в плане сомнения: «Сегодня... мы не знаем, приведет ли революция управляющих к новой послекapиталистической экономике или же к извращению демократии политико-экономической властвующей элитой. Поэтому эти размышления обрываются нотой сомнения»²⁹. Лазарсфельд не отрицает возможности иного подхода к бизнесу, но сам он предпочитает уклониться от освещения коренных социально-экономических проблем, связанных с очевидным загниванием частного предпринимательства, и ограничивает свою задачу решением прикладных, технико-психологических вопросов, интересующих руководителей корпораций. Что же это такое, как не скрытая защита капитализма?

Отказываясь от постановки важнейших общих социальных проблем, социологи-неопозитивисты вместе с тем выступают и против обычного эмпиризма, базирующегося на обыденном сознании. Особенно в последние годы в связи с кризисом буржуазной эмпирической социологии они все чаще ставят вопрос о разработке социологиче-

²⁷ R. A. Dahl, M. Haire, P. F. Lazarsfeld. *Social Science Research on Business: Product and Potential*. N. Y., 1959, p. 102.

²⁸ *Ibid.*, p. VII.

²⁹ *Ibid.*, p. 146.

ской теории, без которой частные исследования бессмысленны и бесперспективны. Однако, отождествив науку с феноменалистски истолкованным эмпирическим методом, они фактически сводят содержание социологической теории к формальной методологии построения и верификации гипотез. Создаваемые ими теории не объясняют самих социальных процессов, а только систематизируют те или иные исследовательские методы без связи с содержанием исследования. При этом, делая акцент на верификации гипотез, они изгоняют из науки все то, что нельзя проверить сравнением с «непосредственно данным». Ландберг, например, пишет: «Решение исследовательского вопроса должно быть верифицируемо научными методами. Если такая проверка невозможна, то на соответствующий вопрос нельзя ответить, оставаясь в пределах науки. Например, в настоящее время невозможно научными средствами определить, существует ли загробная жизнь, всегда ли существовала материя и всегда ли она будет существовать»³⁰.

Итак, «современный эмпиризм» не может высказать определенного суждения даже насчет существования «загробного мира»!

Ясно, что с таких позиций подавляющее большинство социологических понятий и категорий оказывается «бессмысленным» и не поддающимся верификации. Всякая идеология, по Ландбергу, есть только новая форма теологии³¹. Нужно опасаться того, чтобы не превращать в фетиши такие слова, как «фашизм», «коммунизм» или «демократия», — призывает он в книге «Может ли наука спасти нас?»³². Но разве же дело в словах? За понятиями, которые выражаются в этих словах, стоят вполне реальные общественные отношения, в рамках которых только и можно понять «социальное поведение» индивидов, групп и классов. Неопозитивисты в погоне за «конкретностью» игнорируют эти («слишком общие») отношения. Но при этом конкретное социальное поведение как раз и ускользает от них, растворяясь в сумме абстрактных определений. Как справедливо замечает

³⁰ G. Lundberg, C. Schrag and O. Larsen. *Sociology*, p. 7.

³¹ См. G. A. Lundberg. *Can Science Save Us?* N. Y., 1947, p. 45.

³² *Ibid.*, p. 10.

Р. Миллс, то, что социологи-неопозитивисты называют эмпирическими «данными», в действительности представляет собой крайне абстрактный взгляд на повседневную общественную жизнь. Они, например, оперируют такими понятиями, как возрастной уровень и половое распределение имущественных групп городов средних размеров. Однако за этими четырьмя переменными стоит еще одна: эти люди живут в Соединенных Штатах. И это последнее «данное» отсутствует «среди детальных, точных, абстрактных переменных, из которых строится эмпирический мир отвлеченного эмпиризма. Чтобы включить в него «Соединенные Штаты», требуется понятие социальной структуры и, кроме того, менее строгое понимание эмпиризма»³³.

В своем стремлении к «научной строгости» неопозитивисты уделяют много внимания проблеме определения социологических понятий. Вопрос этот действительно важен, так как, в отличие от понятий точных наук, социологические понятия, как правило, заимствуются из обыденного сознания и очень часто являются многозначными и неопределенными, усиливая теоретическую путаницу в буржуазной социологии.

Еще в начале 30-х годов XX в. американский социолог Э. Юбенк составил таблицу 146 главных понятий, употребляемых 10 ведущими социологами США, по 8 распространенным учебникам. При проверке выяснилось, что только 63 термина оказались больше чем в одном списке; не нашлось ни одного понятия, которое было бы общим для всех авторов; только 1 понятие встретилось в 7 списках. 83, то есть 55% всех главных понятий, оказались целиком «индивидуальными», то есть употребляются только их создателями³⁴.

Как выход из этого положения неопозитивисты предлагают сузить объем и содержание социологических понятий, с тем чтобы каждое из них имело только одно значение. Характерно, что Ландберг признает, что при этом понятие «настолько упрощается, что становится почти неузнаваемым»³⁵. Но ведь и физическое понятие «лоша-

³³ C. Wright Mills. *Sociological Imagination*. N. Y., 1959, p. 124.

³⁴ См. E. E. Eubank, *The Concepts of Sociology*. N. Y., 1932, p. 46.

³⁵ G. Lundberg. *Foundations of Sociology*, p. 61.

диной силы» не совпадает с его обыденным значением.

Однако к проблеме определения понятий неопозитивисты подходят с тех же субъективно-идеалистических позиций, что и к другим вопросам. Отождествляя содержание научного понятия с методами его верификации они признают научными только операционные определения. «Операционное определение,— пишет Ландберг,— это такое определение, которое в недвусмысленных словах устанавливает операции, результатом которых является определяемое явление. Рецепт шоколадного торта есть операционное определение «шоколадного торта»³⁶.

В рамках этой статьи нет места для общей дискуссии об операционализме. Однако нельзя не заметить, что многие «операционные определения» социологов-неопозитивистов, во-первых, бессодержательны, тавтологичны, а во-вторых, они лишь по форме напоминают операционные определения, применяющиеся в современной физике. Не обходится и без прямых анекдотов. Так, известный американский социолог-неопозитивист С. Додд писал в своей книге «Измерения общества»: «В практике содержание социологии операционно определяется как исследования, публикуемые социологами, членами национальных социологических ассоциаций»³⁷.

Но, как резонно заметил католический социолог П. Фэрфи³⁸, далеко не все, что пишут члены социологических обществ, является социологией. Л. Уорд, первый президент Американского социологического общества, написал, например, работу о географическом распределении ископаемых растений. Значит ли это, что социология включает в себя и палеоботанику? Тот же самый Додд определяет конкуренцию как процесс, измеряемый вычислением нормального отклонения процента выигрышей и потерь дезидераты V , за которую люди P соревнуются в период D . Но, как замечает другой американский социолог — Н. Тимашев, это сложное определение включает в себя то, что должно быть определено: конкуренция—это то, что обнаруживается в конкуренции³⁹.

³⁶ G. Lundberg. Foundations of Sociology, pp. 33—34.

³⁷ S. C. Dodd. Dimensions of Society. N. Y., 1942, p. 12.

³⁸ P. H. Furfey. The Scope and Method of Sociology. N. Y., 1953, p. 2.

³⁹ См. N. S. Timasheff. Sociological Theory. N. Y., 1955, p. 199.

По мнению социологов-неопозитивистов, их операционные определения более определены и доступны эмпирической проверке, чем другие. Но часто сами эти определения покоятся на совершенно произвольных постулатах. Например, Э. Бэрджесс и Л. Коттрелл, исследуя проблему семейного благополучия, задавали супружеским парам кучу разных вопросов, а затем в соответствии с разработанным ими критерием, расклассифицировали эти ответы по пятибалльной шкале, от «крайне несчастлив» до «крайне счастлив», представив это как пример операционного изучения семейного счастья. Но, во-первых, полученный результат во многом зависит от субъективно избранного исследователями принципа отбора данных. Например, одним из количественных показателей семейного счастья Бэрджесс и Коттрелл считают «частоту целования супруга». Но поцелуи бывают разные (страстные поцелуи, поцелуи как следствие привычки, поцелуи лицемерные, как средство обмана и т. п.). Поэтому одинаковая частота поцелуев у 10 супружеских пар вовсе не свидетельствует об одинаковом уровне семейного счастья. Во-вторых, данные, полученные путем опроса, всегда выражают субъективные чувства опрашиваемых. При совершенно сходных обстоятельствах один человек скажет, что он «совершенно счастлив», а другой, что он «весьма несчастлив», в зависимости от того, какие требования он предъявляет к своей личной жизни. Какой же вывод можно из этого сделать? Тот, что все это очень далеко от методов точного естествознания. П. Сорокин не без основания заметил, что «в своей обнаженной действительности эти «операциональные обряды» являются лишь операциями по сбору непроверенных мнений»⁴⁰.

Количественный подход просто немислим в отрыве от качественного анализа. Как определить операционно, что такое «социальный конфликт», спрашивает, например, американский социолог Дж. Сапоснеков⁴¹.

Один автор будет считать количество забастовок, другой — убийств, и они так и не смогут договориться.

⁴⁰ P. A. Sorokin. *Fads and Faibles in Modern Sociology and Related Sciences*. Chicago, 1956, p. 32.

⁴¹ См. J. Saposnekow. *A Critique of Positivism in Sociology*. «Essays in Social Science. In Memory of J. Saposnekow». N. Y., 1958, pp. 43—44.

Очевидно, что определения подобного типа не могут лечь в основу социологической теории. Недаром неопозитивисты не могут договориться даже об определении самого понятия «операционализм»⁴².

Придавая большое значение применению в социологии количественных методов, они не понимают, что это предполагает уже достигнутый высокий уровень качественного анализа явлений. Они увлекаются символами и математическими формулами как самоцелью, не задумываясь о том, дает ли это новое знание или же просто придает наукообразный вид старым трюизмам.

С точки зрения Дж. Ландберга, коль скоро любые научные обобщения покоятся на множестве частных наблюдений, результаты науки также должны быть выражены количественно, математически. Он не понимает того, что количественные и качественные характеристики объективно присущи изучаемым явлениям и что метод исследования должен сообразоваться прежде всего с предметом исследования. По его мнению, «количественные аспекты должны рассматриваться не как свойства изучаемых явлений, а как особые пути ответа на события»⁴³. Тем самым количественные методы приобретают самодовлеющее значение; социологи-неопозитивисты не стремятся вскрыть качественное содержание устанавливаемых ими статистических корреляций. Поиски «сущности» явлений они пренебрежительно третируют как «метафизику».

Не удивительно, что это порождает массу несообразностей, выдаваемых за «последнее слово» науки. Например, К. Левин тривиальную мысль, что с развитием ребенка его поведение становится все более многообразным и сложным, выражает в «ученой» формуле: $\text{var} (B^{\text{ch}}) < \text{var} (B^{\text{Ad}})$, где var обозначает многообразие (*variety*), B^{ch} —поведение ребенка, B^{Ad} —поведение взрослого⁴⁴.

Не случайно известный американский математик Э. Белл резко осудил всю эту игру в цифры и символы.

⁴² См. Н. Hart. Toward Operational Definition of the Term «Operation», «American Sociological Review», 1953, v. XVIII, pp. 612—617.

⁴³ G. Lundberg. Quantative Methods in Sociology. 1920—1960. «Social Forces», 1960, v. 39, No. 1, p. 19.

⁴⁴ См. К. Levin. Field Theory in Social Sciences. Selected Theoretical Papers. N. Y., 1951, p. 100.

«Простая символизация какой-либо дисциплины не является даже приличной пародией на математику... — писал он. — «Исследовательские предложения» Додда содержат несколько вопросов, касающихся возможностей математической разработки, таких, например, проблем: «Можно ли использовать пространственный анализ социальных ситуаций, подобно тому как он используется в физике?» Вероятно, нет, сразу же скажет математик; по крайней мере до тех пор, пока кто-нибудь не сумеет дать разумный ответ на точно такие же вопросы, как «сколько ярдов пахтанья требуется на то, чтобы сделать пару штанов для быка?» Некоторые вопросы, содержащиеся в «Исследовательских предложениях», могут казаться глубокими математически неграмотному человеку, но по крайней мере одному профессиональному математику они кажутся глубоко претенциозными»⁴⁵.

Книга Додда представляет собой пример, так сказать, «самодельной» математики. Среди неопозитивистов есть ученые, по-настоящему знакомые с современной математикой и методами ее применения. Но даже превосходная математика, примененная к неверным исходным постулатам, не может дать плодотворных результатов. Это ясно видно на примере известного американского биофизика, профессора математической биологии Чикагского университета Николая Рашевского. Рашевский основательно изучил методы математического моделирования, его формулы отличаются строгостью и даже изяществом. Однако, как уже говорилось выше, для Рашевского социология — только часть биологии. Его математические модели «социального поведения» отражают только взаимодействие отдельных индивидов, взятых вне времени и пространства. Общество как целое в них фактически отсутствует. Большая часть его книги «Математическая биология социального поведения» вообще не имеет отношения к социологии. Когда же он занимается действительно социальными вопросами, оказывается, что он по сути дела только подводит респектабельный научный аппарат под старые идеалистические теории, давно уже опровергнутые наукой.

Например, распределение богатства Рашевский рассматривает так, будто науки политической экономии во-

⁴⁵ «American Sociological Review», v. VII, 1942, pp. 707—709.

обще не существует. С его точки зрения, распределение богатства в обществе является только результатом взаимодействия индивидов, обладающих различными способностями. В итоге он приходит к «удивительному» выводу, что «хотя способность приобретать или терять деньги распределена нормально, распределение богатства, которое зависит от этих способностей, является чрезвычайно неравномерным. В то время как большинство индивидов не имеет особого дара ни к тому, чтобы терять, ни к тому, чтобы выигрывать, и количество индивидов, обладающих очень высокой способностью проигрывать, таково же, как и количество индивидов, обладающих очень высокой способностью выигрывать, тем не менее, в результате взаимодействия... очень немногие индивиды богаты и очень многие бедны»⁴⁶. Какое потрясающее открытие! Все дело, видите ли, не в капиталистическом строе, не в системе частной собственности, а только во «взаимодействии индивидов» с различными способностями! Почти по Курочкину:

Самой природой святы
Законы нам даны:
Немногие богаты,
Все прочие бедны.

Правда, у Курочкина не было математического аппарата...

Иногда Рашевский не прочь выйти за пределы своей «математической биологии» и поговорить о сравнительных достоинствах разных общественных систем. Он пишет, например, что «при низкой плотности населения индивидуалистическое общество и его экономический эквивалент — капиталистическая экономика могут быть выгодны для всех. С возросшей плотностью населения и взаимозависимостью между отдельными индивидами такая система уже не в состоянии обеспечить максимальное возможное удовлетворение всех индивидуумов и заменяется какой-то формой коллективизма»⁴⁷. Но, спешит добавить Рашевский, неустойчивость капитализма отнюдь не свидетельствует о его «неполноценности». «В действительности подобная терминология в этом слу-

⁴⁶ N. R a s h e v s k y. *Mathematical Biology of Social Behavior*. Rev. ed. Chicago, 1959, p. 63.

⁴⁷ *Ibid.*, p. 231.

чае бессмысленна. Физик замечает, что молекулярная структура льда становится неустойчивой при температуре свыше 0°С и превращается в структуру воды. Однако ни один физик даже не подумает спорить о том, стоит ли вода «выше» льда или нет»⁴⁸.

Рашевский, таким образом, признает, хотя и весьма односторонне, что капитализм не соответствует современным условиям. Но он тут же идет на попятный, пытаясь умалить историческое значение социализма. Между тем пример, приводимый Рашевским, не имеет никакого отношения к делу. Говорить, что «выше» — вода или лед — и вправду бессмысленно, так как здесь нет развития, а только переход из одного состояния в другое. Значит ли это, что нельзя вообще говорить о прогрессе? Что нельзя, например, утверждать, что человек стоит в генетическом ряду выше обезьян? Пошлый релятивизм Рашевского — простое следствие антиисторизма позитивистского мышления.

В последние годы, не довольствуясь созданием частных поведенческих моделей, Рашевский пытается выработать «математический подход» к истории человечества в целом⁴⁹. Суть исторического развития он усматривает в постепенном переходе людей от «арационального» поведения, основанного на внушении, подражании и вере, к поведению «рациональному», предполагающему критическое эмпирическое мышление. Первое преобладало в древних цивилизациях, второе наиболее ярко проявилось в «Западной цивилизации». Почему, спрашивает Рашевский, народам Европы удалось опередить в этом народы Азии и Африки. Потому, отвечает он, что Западная Европа имеет гораздо большую специфическую береговую линию (то есть длину береговой линии морей и рек, деленную на пространство страны), чем Азия или Африка. Большая длина береговой линии облегчает развитие транспорта и связи. Это в свою очередь способствует росту городов, а в городах быстрее передаются новые идеи. Чтобы перейти от почти полностью «арационального» поведения к более или менее рациональному необходимо, чтобы увеличивалось число «нонконформистов», то есть людей, отвергающих традиционный образ мыш-

⁴⁸ N. R a s h e v s k y. *Mathematical Biology of Social Behaviour*. Rev. ed. Chicago, 1959, p. 235.

⁴⁹ *Ibid.*, pp. 266—295.

ления. Если население рассредоточено, то отдельные нонконформисты не смогут оказать на общество существенного влияния. Напротив, в городах их влияние сильнее. Так, большая длина береговой линии создает более благоприятные условия для развития транспорта и связи; эти последние облегчают концентрацию населения в городах, а города в свою очередь становятся рассадниками нонконформизма. Все это Рашевский опять-таки выражает в математических формулах.

Но никакие формулы не могут прикрыть искусственность этой концепции. Мысль об «арациональности» древних цивилизаций трудно совместить с общеизвестными фактами о сделанных ими великих научных открытиях. Разница в береговой линии всегда была примерно одинаковой, между тем в течение длительного исторического периода Восток по уровню развития далеко обгонял Запад. Наконец, развитая система сообщений используется не только для распространения новых знаний, но и для внедрения старых предрассудков. Да и вообще, стоит ли с помощью математических методов гальванизировать давно отвергнутый наукой односторонний географический детерминизм?

Разумеется, использование математики в современной буржуазной социологии не сводится только к этим полуанекдотическим примерам. Попытки социологов «математической школы», как иногда называют неопозитивистскую социологию, осуществить математическое моделирование социальных процессов заслуживают серьезного изучения, хотя, по признанию П. Лазарсфельда, «даже самый горячий оптимист не станет утверждать, что математика уже привела к важным открытиям в поведенческих науках»⁵⁰. Однако бесспорно, что ошибочные методологические установки отрицательно сказываются на этих работах.

Фиксируя внимание на технике и методологии исследования, социологи-неопозитивисты утверждают, будто бы таким путем они достигают полной научной объективности, независимости от каких бы то ни было «социальных ценностей» и классовых интересов. Наука, заявляет Ландберг, дает только описание определенных процессов, но она не может сказать людям, как именно они

⁵⁰ P. F. Lazarsfeld (ed). *Mathematical Thinking in Social Sciences*. Glencoe, 1954, p. 3.

должны действовать. «Наука может описать достоинства и недостатки различных типов экономической организации, включая их влияние на другие учреждения и общественную жизнь. Но наука не может сказать людям, что они должны предпочесть»⁵¹. Она должна быть совершенно беспартийной, и поэтому ученых, «которые пытаются отождествить науку с какой-либо специфической социальной программой, сектой или партией, нужно считать самыми опасными врагами науки»⁵². «Социальные науки, — вторит ему Дэниэл Лернер, — отмежевываются от всех идеологий и не позволяют ни одному предвзятому суждению становиться на пути, по которому они движутся при изучении общества»⁵³.

Не будем заниматься теоретической критикой этих положений, прямо направленных против ленинского принципа партийности общественных наук. Посмотрим, в какой мере эта претензия на объективность реализуется в практике неопозитивистской социологии.

Нужно сказать, что некоторые конкретные работы, выполненные социологами этой школы, представляют определенный научный интерес, во-первых, собранным в них фактическим материалом и, во-вторых, тщательно разработанной исследовательской техникой. Эта сторона дела заслуживает особого, специального изучения. Характерно, однако, что в целом ни исследовательская техника (имеется в виду процедура составления анкет, обработки статистических данных и т. п.), ни большая часть теоретических понятий, используемых социологами-неопозитивистами, не являются оригинальными, специфическими только для них. В освещении конкретных вопросов их исследования мало чем отличаются от работ социологов других направлений. Больше математики, больше «естественнонаучных» определений, более подробное обоснование исследовательских методов — вот, пожалуй, и все отличия.

Однако для неопозитивистов в большей мере, чем для какого-либо другого направления в буржуазной социологии, характерен отказ от постановки коренных проб-

⁵¹ G. Lundberg, C. Schrag and O. Larsen. *Sociology*, p. 613

⁵² G. Lundberg. *Can Science Save Us*. N. Y., 1947. p. 33.

⁵³ Д. Лернер. *Общественные науки в жизни человека*. «Америка», № 51, стр. 16.

лем общественной жизни и сведение социологического исследования к освещению частных, специальных вопросов. В своей лекции «Что такое социология?» Лазарсфельд прямо предостерегает начинающего социолога против увлечения «мировыми проблемами». Опасность новой войны, конфликт социальных систем, быстрые социальные изменения, которые он наблюдает в собственной стране, естественно, побуждают ученого заняться наиболее насущными вопросами. Но делать это преждевременно. Социология не достигла еще той стадии, когда она могла бы дать надежную основу для «социальной техники». «Естественным наукам потребовалось около 250 лет от Галилея до промышленной революции, прежде чем они приобрели серьезное влияние на историю мира. Эмпирическое социальное исследование существует всего лишь три или четыре десятилетия. Если мы будем ждать от него быстрых решений величайших мировых проблем, если мы будем требовать от него только непосредственных практических результатов, мы лишь нарушим его естественное развитие»⁵⁴.

Итак, по мнению Лазарсфельда, заниматься коренными, общими проблемами «преждевременно», так как для этого нет еще адекватной исследовательской техники. Но такое сужение проблематики открывает вместе с тем широкую дорогу для завуалированного субъективизма. Ведь частные социальные проблемы можно правильно понять только в рамках определенных общих закономерностей, выражающих сущность данной социальной структуры. Как справедливо замечает американский социолог Джон Мак-Кинни, «хотя эмпиризм устранил некоторые поверхностные формы субъективизма, он отнюдь не упразднил его более тонких и устойчивых форм. Сосредоточение внимания почти исключительно на вопросах внешней объективности ослабило бдительность к опасности: а) субъективизма в обобщении материала вследствие применения теории не явно, а в скрытом виде, б) неточного определения исследовательских проблем, в) небрежного применения исследовательской методики, г) ложной интерпретации результатов»⁵⁵.

⁵⁴ Цит. по кн.: С. W. Mills. *Sociological Imagination*. N. Y., 1959. p. 100.

⁵⁵ «Modern Sociological Theory in Continuity and Change». N. Y., 1957, p. 191.

Прежде всего это касается использования социологами-неопозитивистами вопросно-анкетного метода исследования и всевозможных социально-психологических тестов. Буржуазные авторы нередко утверждают, будто сведение социологии к обследованию «мнений» является одним из проявлений демократии, позволяя в максимальной степени учитывать настроения и желания граждан. «Собственно говоря, — пишет Д. Лернер, — социальная статистика просто следует старой поговорке: «хочешь знать, где жмет сапог, — спроси того, кто его носит». Цель обследований — поскорее растянуть все узкие места, а не уговаривать людей, что сапоги сделаны по мерке или что сейчас они жмут именно для того, чтобы лучше сидеть потом»⁵⁶. Но эта аналогия скорее запутывает, чем проясняет дело. Верно, конечно, что про то, где жмет сапог, лучше всего знает тот, кто его носит. Но почему сапог жмет и как его переделать — может ответить только сапожник. А ведь общественная жизнь сложнее сапог.

При любом обследовании мнений необходимо выяснить, во-первых, в какой мере полученные ответы выражают действительное мнение опрошенных; во-вторых, в какой мере эти мнения отражают реальное положение вещей; в-третьих, может ли отобранная группа людей быть принята как типичная для общества в целом; в-четвертых, не подсказано ли содержание ответов самой формулировкой вопросов и т. п. Все это далеко не просто, и это открывает широкие возможности для субъективного произвола. Иногда один и тот же, по существу, вопрос, но данный в разной формулировке, вызывает совершенно разную реакцию.

Например, в коллективном исследовании С. Стоуффера, Л. Гутмана и др. об американской армии в годы второй мировой войны, которое считается классическим образцом эмпирического обследования при помощи статистических методов, на общий вопрос, необходимо ли, чтобы женщины служили в армии, отрицательно ответили 39% опрошенных. На вопрос: считаете ли вы, что пребывание в армии плохо сказывается на репутации девушки, положительно ответили 43%. На вопрос, посоветовали ли бы вы своей подруге пойти в армию, 57%

⁵⁶ «Америка», № 51, стр. 18.

ответили отрицательно. На тот же вопрос о сестре количество отрицательных ответов поднялось до 70%⁵⁷.

Иногда вопросы поставлены так, что на них вообще трудно дать определенный ответ. Американские социологи широко применяют систему «закрытых вопросов», где заранее предлагаются альтернативные ответы. Но это суживает свободу отвечающего и увеличивает вероятность влияния на его ответ. В той же книге «Американский солдат» содержится вопрос: «Исходя из вашего боевого опыта, что было для вас самым важным, побуждая вас продолжать сражаться, и притом как можно лучше?» Из 568 опрошенных пехотинцев 39% ответили, что желание «довести дело до конца», 14% — «солидарность с группой», 9% — «чувство долга и самоуважения», 10% — «мысли о доме и близких», 6% — «самосохранение», 5% — «идейные побуждения», 2% — «мстительность», 1% — «начальство и дисциплина», 14% — «различные»⁵⁸.

Но спрашивается, что дают эти проценты? Можно ли разграничить «солидарность с группой» и «чувство долга»? Можно ли предположить, что о самосохранении заботятся только 6% солдат? Что скрывается за «идейными побуждениями»? Очевидно, что никакой целостной картины морального духа американской армии эти цифры не дают.

Этот недостаток присущ даже лучшим работам социологов неопозитивистской школы. Возьмем, например, книгу П. Лазарсфельда и У. Тиленса-младшего «Академический разум. Ученые-обществоведы в период кризиса», посвященную влиянию маккартизма на положение преподавателей общественных наук и написанную на основе обследования (опросы, беседы и т. д.) 2451 преподавателя. Это интересная, содержательная книга. Авторы ее явно не одобряют «контроля над мыслями» и считают, что он поставил под серьезную угрозу развитие высшего образования в США. В книге приводится много красноречивых данных о преследовании ученых, необоснованных увольнении и т. д. Характерно, например, что 63% опрошенных, среди которых было много людей

⁵⁷ См. S. A. Stouffer, L. Guttman а. о. *The American Soldier*, v. I. N. Y., 1950, p. 149.

⁵⁸ *Ibid.*, v. II, p. 108. Критику этой работы см. в кн.: P. A. Sorokin. *Op. cit.*, pp. 146—147.

весьма консервативных взглядов, заявили, что, по их мнению, интеллектуальная деятельность в Америке находится под более серьезной угрозой, чем в прошлом⁵⁹.

Материалы обследования ясно говорят также о том, что при всех отрицательных последствиях антикоммунистической истерии в США большая часть американских интеллигентов враждебно относится к маккартизму, считая его позорным явлением. Авторы понимают и то, что статистические данные о количестве увольнений и преследований не могут передать всю глубину их морально-психологических последствий. «В этой стране, — пишут они, — имеется 15 миллионов негров; если бы 15 из них подверглись линчеванию, то разве не абсурдно было бы говорить, что это только 0,0001 процента?»⁶⁰.

И тем не менее цельного представления о маккартизме книга не дает. Авторы стараются обойти острые углы и избежать прямых оценок. Им и в голову не приходит рассмотреть социальные классовые корни усиления реакции. Для них маккартизм — это только «добросовестное заблуждение» некоторых чрезмерно бдительных людей, неправильные методы осуществления политики, которая сама по себе не подлежит никакому сомнению.

Еще яснее эта по сути дела апологетическая тенденция выступает в книге С. Стоуффера «Коммунизм, ортодоксальность и гражданские свободы», обобщающей результаты проведенного в 1954 г. большого обследования (было опрошено свыше 6 тысяч человек), ставившего своей задачей выяснить реакцию американцев на «две опасности»: «Во-первых, со стороны коммунистического заговора извне и внутри страны. Во-вторых, со стороны тех, кто, разоблачая заговор, готов пожертвовать некоторыми из тех самых свобод, которые хотел бы уничтожить враг»⁶¹. Подобно Лазарсфельду и Тиленсу, Стоуффер драпируется в тогу стопроцентной объективности, и книга его содержит много любопытных сведений. Но уже сама приведенная постановка вопроса, в соответствии с которой разрабатывались анкеты и т. п., свидетель-

⁵⁹ См. P. F. Lazarsfeld and W. Thielens. *The Academic Mind. Social Scientists in the Time of Crisis*. Glencoe, 1958, p. 35.

⁶⁰ *Ibid.*, p. 72.

⁶¹ S. A. Stouffer. *Communism, Conformity and Civil Liberties*. N. Y., 1955, p. 13.

ствуует о его предвзятости. Хорошо известно, что никакого «коммунистического заговора», о котором кричала американская реакция, никогда не было и нет. Тем не менее Стоуффер исходит из него, как из вполне очевидной «опасности». Поэтому, хотя он и осуждает маккартизм, последний превращается у него просто в несколько неуклюжую и поэтому опасную оборонительную политику. Надо ли говорить, что это переворачивает весь вопрос с ног на голову? Стоуффер не находит ни единого слова в защиту преследуемых коммунистов. Единственное, что его беспокоит, — это что часто под флагом антикоммунизма расправляются и с либералами, и с прочими «инакомыслящими». По сути дела он не против самой реакционной политики, а только против «крайностей» и «перегибов».

В сущности неопозитивистская социология и не ставит перед собой иных задач, кроме приспособления к условиям капиталистического общества, принимаемым за всеобщую и естественную «норму». На ранних стадиях развития неопозитивизма его представители нередко выступали с критикой существующих социальных или культурных ценностей, доказывая, что они коренятся в вульгарных предрассудках. На этом основании кое-кто считал их деятельность революционной. Но Нейрат решительно опровергал это «обвинение». «Я не вижу никаких оснований, — писал он, — по которым я не мог бы признать нечто предрассудком или «табу» и передать это следующему поколению (не называя это «вечной ценностью») так же, как я сам приспособляю к нему свои действия»⁶².

Для неопозитивистов задачей является не изменение существующих условий, а приспособление к ним, «равновесие». Борьба и конфликты между классами, — уверяет Ландберг, — это «скорее исключение, чем правило»⁶³. Поскольку классовые конфликты, по его мнению, имеют психологическую природу, «объективное измерение склонностей и способностей плюс равные возможности воспитания и обучения в соответствии со способностями могут способствовать уменьшению или уничтожению существующего чувства несправедливости в отношении

⁶² O. Neurath. Foundations of the Social Sciences, p. 41.

⁶³ G. Lundberg, C. Schrag and O. Larsen. Sociology, p. 309.

принадлежности определенных индивидов к определенным классам. Это может привести к большему примирению индивида с ролью, которую он должен играть, и к соответственному примирению различных общественных классов с отведенным им социальным статусом»⁶⁴. Вот в чем задача социологии! И осуществиться эта идиллия должна в рамках капиталистического строя, поскольку коммунизм возможен только «при некоторых примитивных условиях»⁶⁵. И это называется «беспристрастной наукой»!

Неопозитивистская эмпирическая социология органически связана с буржуазной идеологией и защищает интересы класса капиталистов. Ее формальный «нейтрализм» только маскирует ее действительную тенденцию, и это делает ее особенно опасной⁶⁶. Помимо своих идеологических выводов, неопозитивистская эмпирическая социология выполняет некоторые практические задачи, которые ставит перед ней господствующий класс, и ее связь с монополистическими корпорациями гораздо теснее, чем у старых социологов-кустарей. Это обстоятельство превосходно выяснил в своей книге «Социологическое воображение» известный американский социолог Райт Миллс. Для того чтобы проводить крупные эмпирические исследования, необходимы специальные исследовательские центры и солидные ассигнования (упомянувшееся выше исследование Стоуффера, например, стоило 125 тысяч долларов и в нем участвовало свыше 500 научных работников). Само собой понятно, что эти средства может дать только правительство или крупная корпорация. Социолог, таким образом, попадает в непосредственную зависимость от капиталиста или бюрократического аппарата. Это еще больше ограничивает его и без того относительную (а то и вовсе иллюзорную) самостоятельность. Он работает теперь не на «публику», а на «заказчика», «клиента». Но правящие круги капиталистического мира не интересуются коренными законами общественной жизни. Наоборот, они пуще огня боятся такого исследования, которое с неизбежностью приводит к мысли о загнивании капитализма. Социоло-

⁶⁴ G. Lundberg, C. Schrag and O. Larsen. *Sociology*, p. 310.

⁶⁵ *Ibid.*, p. 607.

⁶⁶ Cp. E. Gellner. *Words and Things*. London, 1959, p. 231.

гия нужна им лишь как источник полезной «деловой информации» об отдельных процессах жизни, информации, которую можно использовать для решения насущных практических задач данной фирмы или организации. Так, эмпиризм, вытекающий уже из философских посылок неопозитивизма, подкрепляется вполне конкретным социальным заказом. Ибо вполне естественно, что кто платит, тот и заказывает музыку.

В результате появляется новый тип ученого-социолога, который действительно сильно напоминает «социального техника». Он не ставит самостоятельных проблем, а только собирает материал по вопросам, интересующим его «клиента». Его профессиональная подготовка приобретает теперь почти исключительно технический характер. Достаточно овладеть относительно простыми правилами статистического метода, и можно свободно переходить с одной темы на другую, не задумываясь о смысле решаемых задач и далеких исторических перспективах. Таким путем монополистический капитал убивает сразу двух зайцев: с одной стороны, приобретает в высшей степени полезных служащих, с другой — избавляется от критически мыслящих умов, давая им иное, «практическое» направление.

Неопозитивизм — влиятельное, но далеко не единственное направление в современной буржуазной социологии. Его положения подвергаются ныне резкой критике со стороны соперничающих с ним философских школ. Здесь мы встречаемся и с критикой «справа», из лагеря иррационалистически настроенных социологов типа П. Сорокина, или религиозных социологических направлений⁶⁷, и с критикой «слева», со стороны прогрессивных буржуазных социологов, например Райта Миллса, которого мы часто упоминали. Но даже последний не может преодолеть методологических трудностей, стоящих на пути социального исследования в капиталистическом обществе. Его идеалом является классический «интеллектуальный ремесленник», работающий на свой страх и риск и потому относительно независимый от общества. Как бы мы ни относились к этому либерально-буржуазному идеалу, утопичность его не подлежит сомнению,

⁶⁷ См. по этому вопросу статью Н. Новикова в настоящем сборнике.

ибо основа трудностей буржуазной социологии лежит не в коллективности исследований, а в том, что капиталистический мир не заинтересован в глубоком теоретическом познании общественных явлений, а философский идеализм мешает такому познанию.

Выступая в самых различных обликах, современный позитивизм в социологии играет роль важного идейного орудия империалистической буржуазии. Его проповедь вливается в общее русло антикоммунистической пропаганды, служит «обоснованию» идеек «народного капитализма» и «государства всеобщего благоденствия». Их аргументацию заимствуют и используют реакционеры всех прочих школ и школок современной буржуазной социологии, а также философские ревизионисты. Поэтому борьба против неопозитивизма в социологии является важнейшей задачей социологов-марксистов.

Однако вместе с тем, руководствуясь гениальными указаниями В. И. Ленина, мы должны «суметь усвоить себе и переработать те завоевания», которые имеются у буржуазных социологов (в данном случае речь должна идти о собранном ими фактическом материале и разработанной ими исследовательской технике), «и *уметь* отсечь их реакционную тенденцию, уметь вести *свою* линию и бороться *со всей линией* враждебных нам сил и классов»⁶⁸. Для того чтобы успешно выполнить эту задачу, нам необходимо сосредоточить внимание на разработке некоторых важных вопросов, которые до сих пор слабо освещены в марксистской литературе.

Прежде всего нужны серьезные исследования по вопросам логики и методологии общественных наук. Развитие марксистского обществоведения настоятельно требует изучения и теоретического осмысления его концептуального аппарата и его исследовательских методов. В частности, особое внимание нужно обратить на применение математических методов в социальных исследованиях. Как показывают дискуссии вокруг применения математики в экономических науках, здесь далеко не все ясно. Необходимо, далее, преодолеть ту разобщенность, которая все еще существует у нас между социологией и психологией. Принципиальное осуждение психологизма как идеалистического метода буржуазной со-

⁶⁸ В. И. Ленин. Соч., т. 14, стр. 328.

психологии никоим образом не может означать недооценки роли социальной психологии в исследовании общественных явлений. Только с позиций марксистской психологии можно до конца вскрыть несостоятельность буржуазных социологических концепций и в то же время научно сформулировать место и роль психологии общества в объективном социальном процессе.

Наконец, настало время хотя бы частично систематизировать и критически проанализировать те исследовательские приемы, которые используются в марксистских конкретных социологических изысканиях. Это поможет как дальнейшему развитию марксистской социологии, повышению ее практической роли в общественной жизни, так и идеологической борьбе против современного антикоммунизма и всей буржуазной идеологии в целом.

НЕОПОЗИТИВИЗМ В ЛИНГВИСТИКЕ

Развитие науки последних десятилетий характеризуется объединением усилий разных и в прошлом далеких друг от друга наук для решения единых задач. Если, например, у таких наук, как лингвистика и математика, физика и логика, ранее не было ничего общего, кроме, может быть, взаимного отвращения, то теперь они во все увеличивающемся объеме работают рука об руку. При таких содружествах нередко возникает обмен исследовательскими методами и приемами, в качестве примера чего можно привести новейшие попытки приложения математических методов к изучению лингвистического материала. Таким путем происходит возникновение новой научной проблематики, создание новых научных дисциплин и даже целых наук, а также и смещение традиционных границ отдельных наук. Все эти явления, свидетельствующие о стремительном развитии науки; используются современной буржуазной философией для утверждения позитивистского тезиса о том, что наука в наши дни якобы должна подняться над «устаревшей» и ныне уже «не имеющей значения» борьбой материализма и идеализма и целиком строить общетеоретические основы познания лишь на данных «положительных», или «позитивных», наук. Это стремление уйти на «нейтральные» позиции и замкнуть себя кругом «позитивных» фактов фактически выражает тенденции двоякого рода: возведение исследовательских операций «позитивных» наук в ранг методологических принципов, обязательных для всех наук, и уклонение от решения таких вопросов философии, которые составляют основное ее содержание. Между тем — и здесь нельзя не согласиться с одним из видных представителей неопозитивизма, Филиппом Франком, — «чем глубже мы погружаемся в настоящую

науку, тем яснее становятся ее связи с философией»¹. Вопрос, следовательно, сводится к тому, о *какой* философии должна идти речь.

Одной из главных точек приложения довольно пестрых позитивистских доктрин является в настоящее время лингвистика. В последние годы в ней происходят глубокие и преобразующие ее процессы, осложненные у нас такими явлениями, как марризм, борьба с марризмом, культ личностей разного масштаба и затем борьба с этим культом. В науке о языке ныне пробует свою силу ряд новых и построенных на необычных принципах методов, в том числе и таких, которые имеют много общего с методами точных наук. Лингвистика вступила в широкие и многосторонние связи с рядом новых наук. Она значительно увеличила объем своих прикладных областей, что, разумеется, не могло не отразиться на самом ее характере и изменении направления ее исследовательской работы.

Во всем этом заключено бесспорно много положительного, а что именно — будет определено дальнейшим исследованием, так как пока мы находимся у самых истоков этих движений. Но столь же бесспорно, что здесь имеются и опасные моменты, и они в первую очередь связаны с тем, что утверждение отдельных положений или даже целых направлений исследования, укладываемых в указанные выше процессы, обосновывается иногда открыто позитивистскими доводами. Здесь очень важно провести необходимые разграничения. Но, к сожалению, в советской лингвистике почти не начато философское осмысление всего того нового, что в последние годы вошло в науку о языке, и у нас можно встретиться с методологической оценкой тех или иных методов или теоретических установок, по сути говоря, на основе лишь «прагматических» критериев их практической значимости. Совершенно очевидно, что с таким положением дальше мириться нельзя.

Для новейших направлений буржуазной лингвистической науки характерно использование позитивистских положений двоякого порядка. Одни следуют процедуре логического построения мира и стремятся на основе анализа категорий языка установить особые логические

¹ Ф. Франк. Философия науки, ИЛ, М., 1960, стр. 38.

формы познания действительности или же замкнутые конкретным лингвистическим кругом (отдельные языки) национальные мировоззрения. Сюда относится так называемая гипотеза Сепира — Уорфа и школа неогумбольдтианца Лео Вайсгербера. Другие ставят своей целью обосновать применение в лингвистическом исследовании метода, базирующегося на чистом конвенционализме и исходящего из условных формальных определений и предпосылок, которые никак не соотносятся с языковой реальностью. В этом втором случае весьма знаменательно также стремление генерализовать выработанный первоначально на лингвистическом материале метод и превратить его в универсальное средство познания и описания любых объектов. Наиболее ярким выразителем этой тенденции является глоссематика.

Дальнейшее критическое изложение будет сосредоточено именно на этих двух направлениях современной лингвистики, занимающих ведущее положение в буржуазной науке сегодняшнего дня, но, конечно, не исчерпывающих собой всей совокупности новейших лингвистических методов. При этом поучительно будет выяснить, какие исследовательские возможности дает исповедование позитивистских доктрин.

Гипотеза Сепира — Уорфа, которую можно взять в качестве представителя первого из названных направлений, развивалась независимо от европейской традиции науки о языке, но в своих конечных выводах «стихийно» совпала с идеалистической школой неогумбольдтианства, возглавляемого ныне западногерманским языковедом Лео Вайсгербером. Весьма примечательно также и то обстоятельство, что она (в самых худших своих крайностях) имеет прямой теоретический выход в так называемую «общую семантику» (*general semantics*) — идеологическое движение (как научную дисциплину ее определить невозможно), распространенное в США.

Здесь не представляется возможным сколько-нибудь детально изложить основы гипотезы Сепира — Уорфа, и поэтому нами будут затронуты только основные ее положения.

Американский языковед Сепир, впервые сформулировавший эту гипотезу, исходил из того общего тезиса, что язык есть не столько средство для передачи общественного опыта, сколько способ определения его для говоря-

щих на данном языке. «Язык, — писал он, — это не просто более или менее систематизированный инвентарь различных элементов опыта, имеющих отношение к индивиду (как это часто наивно полагают), но также замкнутая в себе, творческая и символическая система, которая не только соотносится с опытом, в значительной мере приобретенным помимо ее помощи, но фактически определяет для нас опыт посредством своей формальной структуры и вследствие того, что мы бессознательно переносим свойственные ей особенности в область опыта. В этом отношении язык напоминает математическую систему, которая отражает опыт в действительном смысле этого слова только в самых своих элементарных началах, но с течением времени превращается в замкнутую систему понятий, дающую возможность предугадать все возможные элементы опыта в соответствии с определенными принятыми формальными правилами... (значения) не столько раскрываются в опыте, сколько накладываются на него вследствие тиранической власти, которой лингвистическая форма подчиняет нашу ориентацию в мире»².

Эти мысли своего учителя Б. Уорф развивает следующим образом: «...лингвистическая система (другими словами, грамматика) каждого языка не просто передаточный инструмент для озвученных идей, но скорее сама творец идей, программа и руководство для интеллектуальной деятельности человеческих индивидов, для анализа их впечатлений, для синтеза их духовного инвентаря... Мы исследуем природу по тем направлениям, которые указываются нам нашим родным языком. Категории и формы, изолируемые нами из мира явлений, мы не берем как нечто очевидное у этих явлений; совершенно обратно — мир предстоит перед нами в калейдоскопическом потоке впечатлений, которые организуются нашим сознанием, и это совершается главным образом посредством лингвистической системы, запечатленной в нашем сознании»³.

Исследуя языки американских индейцев (в частности, язык хопи), Уорф из сопоставления их с английским или

² E. Sapir. *Conceptual Categories in Primitive Languages* «Science», 1931, v. 74, p. 378.

³ B. Whorf. *Collected Papers on Metalinguistics*. Washington, 1952, p. 5.

же с условным языком SAE (то есть Standard Average European — среднеевропейский стандарт), объединяющим в себе особенности основных европейских языков — английского, немецкого, французского, — черпает примеры для иллюстрации своего принципа лингвистической относительности или положения о том, что «люди, использующие резко отличную грамматику, понуждаются своими грамматическими структурами к различным типам наблюдений и к различной оценке внешне тождественных предметов наблюдения и поэтому в качестве наблюдателей не могут быть признаны одинаковыми, так как обладают различными взглядами на мир»⁴. Как и Вайсгербер, он устанавливает существование промежуточного «мыслительного мира», который определяет совершенно в духе В. Гумбольдта. «Этот «мыслительный мир», — пишет он, — есть микрокосм, который человек повсюду носит с собой и с помощью которого он измеряет и познает все, что только в состоянии, в макрокосме»⁵.

На основе всех этих предпосылок Уорф и делает свой главный вывод о том, что «каждый язык обладает своей метафизикой». Этот вывод фактически повторяет утверждение Вайсгербера о наличии у каждого языка своего мировоззрения, запечатленной в структуре языка особой «картины мира».

Какие же языковые факты дают основание Уорфу делать подобные выводы о том, что язык определяет мышление? В качестве иллюстрации того, что он разумет под руководящей ролью языка в «нормах поведения» человека, Уорф приводит пример из своей практики инженера по противопожарным устройствам (что было его основной специальностью). Он рассказывает о том, что, как им было установлено, люди у складов с надписью «пустые бензиновые контейнеры», допускают известные вольности в обращении с огнем и вообще ведут себя гораздо беззаботней, нежели у складов с надписью «бензиновые контейнеры», хотя первые из-за взрывчатых испарений более опасны в пожарном отношении, чем вторые. Это происходит потому, объясняет Уорф, что слово «пустой» предполагает отсутствие опасности, и

⁴ B. Whorf. Collected Papers on Metalinguistics. Washington, 1952, p. 11.

⁵ Ibid., p. 36.

люди соответственно реагируют на заложенную в самом слове идею беззаботности, они подчиняются «тирании слова», если употреблять выражение Ст. Чейза. Тем самым человек в своем мышлении и в поведении идет на поводу у языка.

Различие в «метафизике» языков лучше всего постигается путем сопоставления языков и особенно их грамматической структуры, в элементах которой фиксируются основные категории лингвистической «метафизики». Именно из-за грамматических различий даже самые простые словосочетания иногда с большим трудом поддаются переводу с одного языка на другой. Так, английское *his horse* (его лошадь) и *his horses* (его лошади) чрезвычайно трудно перевести на язык навахо, так как последний не только не имеет категории множественности для имен, но и не обладает различиями между английскими притяжательными местоимениями *his* (его), *her* (ее), *their* (их). Дело усложняется еще и тем, что язык навахо делает различия между третьим лицом, психологически близким говорящему, и третьим лицом, психологически далеким говорящему⁶.

Из подобного рода предпосылок (особых «метафизических» качеств языков) Уорф считает возможным делать выводы о нормах поведения и умственном складе носителей соответствующих языков. Так, формы и содержание западной цивилизации, по его мнению, обусловлены характером языков SAE. «Ньютоновские понятия пространства, времени и материи не есть данные интуиции, — утверждает он. — Они даны культурой и языком. Именно оттуда взял их Ньютон»⁷. И далее он детализирует эту мысль: «Наше объективированное представление о времени соответствует историчности и всему, что связано с регистрацией фактов, в то время как представление хопи противоречит этому... Наше объективированное время вызывает в представлении что-то вроде ленты или свитка, разделенного на равные отрезки, которые должны быть заполнены записями. Письменность, несомненно, способствовала нашей языковой трактовке времени, так же как последняя направляла

⁶ См. Н. Hoijer (ed.). *Language in Culture*. Chicago, 1954, p. 95.

⁷ В. Whorf. *Language, Thought and Reality, Selected Writings*. Massachusetts, 1959, p. 153.

использование письменности. Благодаря этому взаимобмену между языком и всей культурой мы получаем, например: 1. Записи, дневники, бухгалтерию, счетоводство, математику, стимулированную учетом. 2. Интерес к точной последовательности — датировку, календари, хронологию, часы, исчисление зарплаты по времени, время, как оно применяется в физике. 3. Летописи, хроники — историчность, интерес к прошлому, археологию, проникновение в прошлые периоды, как оно выражено в классицизме и романтизме.

Подобно тому как мы представляем себе наше объективированное время простирающимся в будущем, так же, как оно простирается в прошлом; наше представление о будущем складывается на основании записей прошлого, и по этому образцу мы вырабатываем программы, расписания, бюджеты. Формальное равенство якобы пространственных единиц, с помощью которых мы измеряем и воспринимаем время, ведет к тому, что мы рассматриваем «бесформенное явление» или «субстанцию» времени как нечто однородное и пропорциональное по отношению к какому-то числу единиц. Так, стоимость исчисляем пропорционально затраченному времени, что приводит к созданию целой экономической системы, основанной на стоимости, соотнесенной со временем: заработная плата (количество затраченного времени постоянно вытесняет количество вложенного труда), квартирная плата, кредит, проенты, издержки по амортизации и страховые премии. Конечно, эта некогда созданная обширная система продолжала бы существовать при любом лингвистическом понимании времени, но сам факт ее создания, обширность и та особая форма, которая ей присуща в Западном мире, находится в полном соответствии с категориями языков SAE. Трудно сказать, возможна была бы или нет цивилизация, подобная нашей, с иным лингвистическим пониманием времени. Во всяком случае нашей цивилизации присущи определенные лингвистические категории и нормы поведения, складывающиеся на основании данного понимания времени, и они полностью соответствуют друг другу... Наш лингвистически детерминированный мыслительный мир не только соотносится с нашими культурными идеалами и установками, но захватывает даже наши собственно подсознательные действия в сфере

своего влияния и придает им некоторые типические черты»⁸.

Таковым рисуется в изложении Уорфа то мощное влияние, которое оказывают на нормы человеческого поведения и мышления различные «метафизики» языков.

Для того чтобы дать правильную оценку этой теории, надо располагать недвусмысленными ответами на ряд вопросов.

Весьма важным является вопрос о происхождении подобного рода «метафизики» языков. Каким образом они возникают и что способствует их возникновению? Наконец, в каком отношении «метафизика» языка находится с культурой народа, поскольку Уорф всю проблему рассматривает в контексте: язык и культура?

У самого Уорфа ответ на эти вопросы можно найти в следующих его словах: «Каким образом исторически создается переплетение языка, культуры и поведения человека? Что было первичным — лингвистические модели или культурные нормы? В основном они возникают совместно, оказывая постоянное влияние друг на друга. Но в этом содружестве природа языка является фактором, который ограничивает его свободную гибкость и весьма властным образом устанавливает пути развития. Это происходит потому, что язык представляет систему а не собрание норм. Крупные системообразующие средства могут развивать новые явления чрезвычайно медленно, в то время как другие культурные инновации возникают с относительной быстротой. Язык, таким образом, воплощает массовое сознание, он подвергается влиянию инноваций и усовершенствований, но поддается им в незначительной степени...»⁹ И в другом месте: «Понятия «времени» и «субстанции» не даются в опыте людям абсолютно одинаковым образом, но зависят от природы языка или языков, с помощью которых развиваются эти понятия. Они зависят не столько от частной системы (например, времен или имени) в пределах данного грамматического строя, сколько от способов анализа и сообщения опыта, фиксированных в языке в виде особой «матери» речи и выражающихся в форме типичных грам-

⁸ В. Whorf. Language, Thought and Reality, Selected Writings p. 153.

⁹ Ibid., p. 156.

матических классификаций, так что такая «манера» может включать лексические, морфологические, синтаксические и другие в иных случаях несоотносимые средства, скоординированные в определенную структуру согласованных элементов»¹⁰. И, наконец, «между культурными нормами и лингвистическими моделями существуют связи, но не корреляции или прямые соответствия... Существуют случаи, где «манеры» речи находятся в отношениях тесного взаимопроникновения с общей культурой (хотя это положение и не обязательно носит универсальный характер), и при таком взаимопроникновении существуют связи между лингвистическими категориями, различными поведенческими реакциями и формами, которые принимают развитие различных культур... Эти связи вскрываются не посредством сосредоточения внимания на данных лингвистических, этнографических или социологических описаний, а исследованием культуры и языка (в тех случаях, когда они совместно развивались исторически значительное время) как целого, в котором должна существовать взаимозависимость обеих этих областей; на открытие ее и должно быть направлено исследование»¹¹.

Таким образом, в гипотезе Сепира—Уорфа в конце концов возникает неизвестная иррациональная величина, которая обуславливает становление в языке определенной «метафизики», обеспечивающей ему ведущую роль по отношению к мышлению и нормам поведения, и которая устанавливает формы взаимопроникновения языка и культуры.

В. Гумбольдт в свое время с предельной определенностью называл эту иррациональную величину, обеспечивающую в конечном счете возникновение замыкающих человеческий разум магических «кругов» и создающую особые «мировоззрения» языков. Он указывал, что язык есть душа во всей ее совокупности, и развивается он по закону духа¹². В этом объяснении по-своему все ясно, и оно не требует детальных комментариев.

Прямойлинейная наивность такого объяснения непри-

¹⁰ В. Whorf. Language, Thought and Reality, Selected Writings, p. 158.

¹¹ Ibid., p. 159.

¹² См. В. А. Звегинцев. История языкознания XIX и XX вв. в очерках и извлечениях, т. I. Учпедгиз, М., 1960, стр. 71—81.

емлема для единомышленника Уорфа — Л. Вайсгербера так же, впрочем, как и тот путь, которым в изучении данной проблемы идет материалистическая наука. Ему кажется, что сам языковый материал в данном случае толкает исследователя на какой-то третий, промежуточный путь. Он пишет в этой связи: «В антитезе идеализм — реализм (так Вайсгербер называет материалистическую трактовку проблемы. — В. З.) лингвистическое решение занимает обоснованное срединное положение: не наивное перетолкование мыслительного мира в смысле простого отражения совокупности явлений «объективного» характера, но также и не уход в область чистых идей, не имеющих никакого отношения к реальному миру»¹³. В другой его работе мы находим более развернутое обоснование этой промежуточной позиции: «Признавая объективный характер природы, мы должны учитывать и различия, существующие между «реальной» и «мыслимой» природой, и задача как раз и заключается в том, чтобы показать, как эта природа духовно постигается и преобразуется. И обратно: устанавливая, что духовные «реальности» могут принимать форму для сознательного человеческого мышления только тогда, когда они определяются в виде языковых полей, не следует думать, что эти духовные величины имеют только языковое существование»¹⁴. По мысли Л. Вайсгербера, лингвистическое решение этой проблемы потому предлагает средний путь между идеалистическим и материалистическим ее истолкованием, что языковое мировоззрение или языковая «картина мира» есть то место, где субъективно человеческое встречается с объективно существующим. Этим путем следует и Б. Уорф.

Но человеческое сознание и объективная действительность не противостоят друг другу как духовное начало со своими независимыми законами развития и материальный мир, только и обладающий «объективной ценностью». Непонимание этого находит отражение в трактовке Вайсгербером и Уорфом всех аспектов проблемы взаимоотношения языка и мышления и противоречит языковому материалу, собранному в их же работах.

¹³ L. Weisgerber. Das Gesätz der Sprache. Heidelberg, 1951, SS. 172—173.

¹⁴ L. Weisgerber. Vom Weltbild der deutschen Sprache. Düsseldorf, 1950, S. 194.

Материал, который мы находим у Вайсгербера и Уорфа, прежде всего свидетельствует о том, что ни о каком промежуточном (между идеалистическим и материалистическим) пути фактически не может быть и речи. Мы обнаруживаем у них явное смешение разных планов. Их исследования направлены не столько на вскрытие причин образования у языков особых «мировоззрений», или «метафизик» (в соответствии с которыми они якобы и преобразуют для человеческого сознания внешний мир), сколько на то, чтобы просто доказать существование «метафизик». Само же доказательство существования этих «метафизических» качеств языка строится на двух факторах: на том, что «картина мира», фиксированная в структуре языка, механически не повторяет структуры внешнего мира, а всегда отклоняется от нее («творчески преобразует»), и на том, что различные языки не обладают тождественными «картинами мира».

В поддержку этих взглядов Вайсгербера и выступает Уорф в цитированных выше высказываниях. Он совершенно недвусмысленно говорит о том, что «понятия «времени» и «субстанции» даются в опыте людям не абсолютно одинаковым образом, а зависят от природы языка или языков, с помощью которых развиваются эти понятия», и что язык «весьма властным образом устанавливает пути развития» культуры.

Различие языковых структур — очевидный факт. Вайсгербер и Уорф приводят достаточно убедительные доводы для доказательства и того, что «картины мира» разных языков не одинаковы и тем самым как бы отклоняются от единой реальной картины объективной действительности. Но речь ведь не об этом.

Для доказательства неправомерности выводов Вайсгербера и Уорфа о преобразующей силе языка нет никакой надобности пытаться отрицать совершенно бесспорный факт, что разные языки представляют далеко не одинаковые «картины мира». Но это обстоятельство, несомненно, правильнее было бы формулировать обратным порядком и говорить о том, что действительная и объективная картина мира *запечатлена* в языках неодинаковым образом. При этом сам факт различия языков указывает на то, что, строго говоря, не языки образуют различные «картины мира», но что неодинаковое отражение в языках объективного мира обуславливается

теми главными действующими силами, посредническую деятельность в отношениях между которыми и выполняет язык,— человеческим сознанием в его познавательной деятельности и объективной действительностью, на которую направлена эта деятельность. Таким образом, язык действительно является посредником, но не в том смысле, в котором употребляет это определение Вайсгербер; будучи посредником, язык не управляет развитием человеческого сознания, не указывает человеческому мышлению определенного пути его движения. Он откуда не мог получить этого руководящего и направляющего качества. Но язык является посредником в том смысле, что без его участия невозможна сама познавательная деятельность, не может осуществиться процесс мышления. Ведь язык есть орудие мысли; однако быть орудием мысли не значит быть ее руководителем.

Почему все же существует такое великое разнообразие языковых структур, что служит опорой всех построений Уорфа и Вайсгербера? Во-первых, потому, что не одинаковы физические и общественные условия познавательной деятельности человеческого сознания, результаты которой фиксирует в своей структуре язык. Если говорить об этом факторе очень грубо обобщенно, то это значит, что надо считаться с тем, что, например, народы Севера и Юга сталкиваются с различными природными явлениями и эти явления играют разную роль в их общественной жизни. Именно поэтому мы сталкиваемся в одном случае с чрезвычайно разветвленной и очень точно дифференцированной номенклатурой разных состояний льда, снега, мороза и пр., а в другом — с не менее дробной и подробной номенклатурой действия солнечных лучей, красочных оттенков песка, зелени и т. д. В древнеанглийском языке мы обнаруживаем десятки синонимов с разными смысловыми оттенками для моря, корабля, битвы, героя. А в арабских диалектах нас поражает необыкновенное богатство синонимии, связанной с пустыней, верблюдами, конями, водой.

Исследования П. Цинсли¹⁵ позволили установить замечательные различия швейцарско-немецкого диалекта и

¹⁵ См. P. Zinsli. Grund und Grat. Zürich, 1937; См. также K. Vossler. Volkssprachen und Weltsprachen. München, 1946; E. Cassirer. Philosophie der Symbolischen Formen, I Teil. Berlin, 1927; Л. Леви-Брюль. Первобытное мышление. Изд-во «Атеист», М., 1930.

литературного немецкого языка в словах, относящихся к горному ландшафту. Швейцарско-немецкий диалект обнаруживает поразительное разнообразие слов для обозначения специфических аспектов гор, причем эти слова не имеют в большей части соответствий в литературном немецком языке. Цинсли сгруппировал всю собранную лексику по 9 разделам и достаточно убедительно показал, что речь идет не просто о синонимическом богатстве, а о совершенно определенном и специфическом понимании некоторых аспектов горного ландшафта. Работа Цинсли, таким образом, также свидетельствует в пользу того вывода, что различные группы людей познают неорганическую природу неодинаковым путем, что и находит свое отражение в разнообразных типах ее членения в лексических системах. Вне всякого сомнения, что если с этой точки зрения пересмотреть данные «географии слов» (Wortgeographie), то можно получить дополнительно огромный материал, наглядно показывающий зависимость образования подобных лексических систем и их структурного членения от того, какие явления находятся в центре внимания общественной жизни народов. При этом необходимо считаться с тем, что народы обычно живут не в изоляции, а в общении друг с другом, что приводит и к различным формам контактов языков и к их взаимному влиянию.

Во-вторых, человеческое сознание не есть безошибочно действующий механизм с прямолинейной направленностью на адекватное познание объективной действительности. Нет, путь познания действительности очень извилист, сопряжен с ошибками, отклонениями в сторону, заблуждениями, которые не проходят для человечества бесследно, а обременяют его продвижение по этому пути своей тяжестью и нередко заставляют спотыкаться. И все эти ошибки и отклонения как отдельные этапы долгого пути человеческого познания отражает и фиксирует в своей системе язык, так что достижение нового этапа на этом пути часто происходит посредством преодоления старых заблуждений и недостаточно точных осмыслений, в том числе и тех, которые прочно вошли в структуру языка. На новых этапах процесса познания уже сложившаяся ранее структура языка оказывает некоторое воздействие, но нельзя его, как увидим ниже, и преувеличивать.

Мы располагаем очень точным замечанием В. И. Ленина: «Подход ума (человека) к отдельной вещи, снятие слепка (= понятия) с нее *не есть* простой, непосредственный, зеркально-мертвый акт, а сложный, раздвоенный, зигзагообразный, *включающий в себя* возможность отлета фантазии от жизни... Ибо в самом простом обобщении, в элементарнейшей общей идее («стол» вообще) *есть* известный кусочек **фантазии**»¹⁶. Подобное уклонение от зеркально-мертвого отражения явлений и отношений действительности, включение известной доли «фантазии» (субъективного начала, как сказал бы Вайсгербер) обнаруживается как в лексике, так и в грамматических категориях языков.

Данные, которыми мы располагаем об истории индоевропейских языков, позволяют сделать вывод о том, что временные категории в глагольной системе современных индоевропейских языков развивались из видовых категорий нередко путем переосмысления видовых форм во временные. Относительно новая родовая классификация имен в индоевропейских же языках накладывается на старую, засвидетельствованную основообразующими элементами. Принцип этой древней классификации не ясен, можно только предполагать, что он приблизительно аналогичен делению имен на классы в языках банту, то есть ориентируется на внешний вид предметов, обозначаемых именами, их общественное и ритуальное использование и значение. В некоторых индоевропейских языках, как, например, в английском, вообще исчезает всякая классификация имен. Исходя из точки зрения Уорфа, все подобные процессы следовало бы истолковать как полное видоизменение «метафизики» языка. Изменяли ли при этом языки свою «метафизику», свое «мировоззрение» сами по себе, следуя неведомому указанию свыше, вмешательству некоей третьей силы — духу? У нас нет никаких данных для такого утверждения, а различие языковых структур само по себе, как показывает все изложенное, ничего в данном случае не доказывает. Но у нас есть основания полагать, что подобные процессы перестройки языка в определенной мере стимулируются человеческим сознанием, так как в конечном счете и в самых общих очертаниях путь развития языков уклады-

¹⁶ В. И. Ленин. Соч., т. 38, стр. 370.

вается в то направление, каким идет познавательная деятельность человеческого мышления, все глубже проникающая в тайны и закономерности бытия, вырабатывающая все более точные и верные понятия о нем.

В-третьих, в том факте, что языковая «картина мира» не дает зеркального отражения действительной картины, немаловажную роль играет и отмеченная Уорфом особенность языка. «Язык представляет систему, а не собрание норм, — пишет он. — Крупные системообразующие единства могут развивать новые явления чрезвычайно медленно, в то время как другие культурные инновации возникают с относительной быстротой». В известной степени правомерной оказывается и аналогия развития языка с развитием математической системы, которую выдвинул Э. Сепир. Возникновение математической системы обусловлено реальными отношениями, познаваемыми в опыте, но дальнейшее ее развитие приводит к созданию в ней отношений, основанных уже не на опыте, а на формальных законах самой системы. Характерная особенность языка заключается в том, что он фиксирует в элементах своей структуры результаты познавательной деятельности человеческого сознания. Невозможно говорить об изначальном периоде становления человеческих языков и о том, как они первоначально складывались в системы и как происходило закрепление в языковой форме этих результатов познавательной деятельности человеческого мышления. Но в доступной человеческому взору истории человечества языки всегда представляли определенную систему, в которой существуют определенные отношения между ее элементами.

Внутренние системные или структурные отношения, характерные для каждого языка в отдельности, обуславливают и свои особые пути, тенденции, направления их развития. Эти особенности, принимающие формы внутренних законов развития данного языка, вносят свои существенные коррективы в способы отражения в элементах системы языка результатов познавательной деятельности человеческого мышления, и с этим обстоятельством также нельзя не считаться.

В. Гумбольдт многократно подчеркивает, что в языке находит отражение человеческий (субъективный) подход к объективной действительности, что якобы и превращает язык в своеобразный промежуточный мир. Из

Этой предпосылки выводится и другое заключение общетеоретического характера о том, что язык есть не независимая реальность, а производная величина. Это заключение требует, однако, правильного истолкования. Как явление социальное язык — производная величина: он существует постольку, поскольку существует человеческое общество. Но этим не ограничивается его обусловленность, и, кроме того, сама эта обусловленность носит относительный характер. Уже В. Гумбольдт в вышеприведенной формулировке указывает на две силы, в зависимости от которых находится язык как производная от них величина: человеческое сознание и объективная действительность. Но эти силы у него (так же как и у Вайсгербера и Уорфа) не равнозначны. Одна из них занимает ведущее положение, а другая — подчиненное. Ведущей силой является человеческое сознание, как выражение духовного начала; сознание поэтому и управляется законами духа. Поскольку же мышление и язык представляют неразрывное единство и вне языковых форм невозможно и само мышление, постольку на язык (хотя и производную величину) переходят качества, свойственные мышлению, — его ведущая, руководящая роль и подчинение процессов его развития духовному началу.

Фактически, однако, ведущей и определяющей силой как для языка, так в конечном счете и для сознания является действительность. И какой бы элемент «фантазии» ни вносило сознание в истолкование действительности, оно всегда будет замкнуто теми рамками, какие создает для него действительность, во всем ее неисчерпаемом разнообразии. Поскольку же мышление и язык представляют неразрывное единство и вне языковых форм невозможна деятельность человеческого сознания, постольку язык в конечном счете является производным от действительности, хотя и с теми «поправками», которые вносит неизбежный для развития человеческого сознания «отлет от жизни». Зависимость такого порядка, где язык является производным и от сознания и от реальной действительности, а ведущим оказывается в конечном счете действительность, лишает язык той руководящей силы, которую приписывают ему В. Гумбольдт и его современные последователи, но отнюдь не умаляет его качеств как орудия мышления.

Такова действительная зависимость языка, превра-

щающая его в производную величину. Но, как выше было уже указано, эта производность носит относительный характер, и это обстоятельство превращает его из абсолютно производной величины в определенную реальность. Это не только специфический вид человеческой деятельности, но и определенное явление, само существование которого, так же как и формы развития, обуславливается определенными закономерностями, характерными именно для данного явления. И здесь мы возвращаемся к тому, что отметил Уорф: «Язык — система, а не собрание норм». Это значит, что, сложившись в систему, он приобретает и качества системы, то есть, как и математическая система, характеризуется особыми закономерными отношениями своих элементов, обуславливающих и особые закономерности развития системы¹⁷. Таким образом, служа орудием общения, выступая в качестве орудия мышления, фиксируя в элементах своей структуры результаты познавательной деятельности человека, он соотносит все эти формы своей деятельности со своими структурными особенностями, с теми закономерными отношениями, которые сложились между отдельными элементами внутри данной языковой системы.

Следовательно, язык, несмотря на свою конечную зависимость от действительности, а также и от познавательной деятельности человеческого сознания, есть все же реальное, социальное по своей природе явление, со своими особыми формами существования и закономерностями развития. В этом смысле он не только деятельность, но и явление (*ergon*).

В чем же проявляются эти характерные для языка как реального явления закономерности функционирования и развития? В том, что язык, отталкиваясь от во многом тождественной действительности, фиксирует ее в своей системе по-разному. Реально существующие моменты язык подчеркивает по-разному, проводит неодинаковым образом их группировку и расчленение, устанавливает разные связи между ними.

Вайсгербер приводит обильный материал для характеристики «картины мира» немецкого языка. Он пишет,

¹⁷ Собственно, это отметил уже В. Гумбольдт, когда говорил, что «наряду с уже оформившимися элементами язык состоит из способов, с помощью которых продолжается деятельность духа, указывающего языку его пути и формы».

например: «Немцам, происходящим из южных и западных областей и попавшим в северные области, легко может броситься в глаза, что здесь не все благополучно обстоит с *Beine* (ногами). Достаточно ему подняться в трамвай, как его сосед может вежливо попросить его не наступать ему на *Beine*. Но на юге Германии наступают на *Füßen* (ступни ног). В чем тут дело? В анатомическом отношении немцы из южных и северных областей не настолько отличаются, чтобы одни имели *Beine*, а другие *Füße*. Речь, следовательно, идет не о различиях предметов, а о разных способах видения, но в действительности обычно наступают на *Zehen* (пальцы ног), которые можно причислить как к *Beine*, так и к *Füße*»¹⁸. Таких «анатомических» различий можно привести еще много. Английский, немецкий и французский языки различают разные части рук (кисти и часть руки от кисти до плеча) и соответственно дают им разные наименования: в английском *arm and hand*, во французском *main et bra*, в немецком *Arm und Hand*.

А в русском языке наличествует только одно общее слово — *рука*. Ввиду таких различий русские выражения «носить на руках», «идти под руку» переводятся, например, на английский с помощью слова *arm*: «*carry in one's arm*»; «*walk arm-in-arm*», а выражения «из рук в руки», «здороваться за руку» — с помощью слова *hand*: «*from hand to hand*»; «*shake hands*».

Но все это не разные способы «видения», свойственные разным языковым «мировоззрениям», а разные структурные особенности лексической системы языков, становление которых поддается историческому объяснению (в тех случаях, разумеется, когда в руках исследователя есть необходимый исторический материал). Это то различие членений и объединений элементов действительности, которое складывалось в языках исторически и которое обуславливается не только самой действительностью и направленной на ее осмысление деятельностью мышления, но и закономерностями функционирования и развития системы данного языка. Описание и изучение различных «картин мира» в указанном смысле представляет, таким образом, важную и увлекательную область лингвистического исследования, но направлено оно

¹⁸ L. Weisgerber. *Vom Weltbil der deutschen Sprache*, S. 38.

должно быть не на вскрытие мифической силы, придающей языку руководящую роль (дух народа), а на определение доли и форм участия в возникновении подобного рода своеобразных явлений трех факторов: действительности в широком смысле этого слова, общественного сознания и законов функционирования и развития данного языка.

До сих пор речь шла о том, каким образом происходит становление различных языковых форм и какие факторы принимают участие в том, что разные языки обладают не одинаковыми «картинами мира». Уже при таком генетическом подходе к рассмотрению этих явлений удастся сделать некоторые выводы относительно того, в какой мере разные языковые формы способны оказывать влияние на формирование мышления и его категорий.

Но если отвлечься от генетического подхода и считаться только с тем, чем языки уже обладают, то как в этом случае будет обстоять дело с выдвинутой проблемой? Здесь перед нами, следовательно, другая сторона одного и того же вопроса. Основное положение в данном случае будет формулироваться следующим образом: не направляют ли все же сами формы и категории языка человеческое мышление по определенным путям? Не накладывает ли форма языка определенный отпечаток на действительность? Не формирует ли язык действительность на свой лад? Или, говоря словами Уорфа, не является ли «сам язык творцом идей, программой для интеллектуальной деятельности человеческих индивидов»?

Ответ на этот единый, хотя и сформулированный неодинаковым образом вопрос также должен учитывать несколько моментов. Означают ли разные формы языка также разные формы мышления? Если под этим разуметь психическую сущность процесса мышления, то это несомненно так и иначе быть не может, поскольку вне языковых форм невозможно человеческое мышление, а языки показывают очевидное многообразие своих форм. Но различие форм языкового выражения познавательной деятельности человеческого сознания отнюдь не обуславливает разных результатов в этой деятельности. В разных языковых формах человек может мыслить об одном.

Языковая форма способна подчеркнуть и выдвинуть

на первое место определенные признаки предмета. О материале, состоящем наполовину из шерсти и наполовину из бумажной ткани, мы можем сказать, что он полубумажный или полушерстяной, и эта различным образом определенная, но одинаково правильная констатация факта производит на нас различное действие.

Различие форм языкового выражения одного и того же содержания может носить более или менее нейтральный характер. Ср., например, предложения: *«Завод изготавливает машины»* и *«На заводе изготавливаются машины»* (синтаксическая синонимика). Но она может и выразить определенное отношение к передаваемому содержанию. Ср.: *«Это была крепко сбитая девушка с огненного цвета волосами»* и *«Это была девка с рыжими патлами»*.

Подобного рода способность языка к передаче различных стилистических и смысловых оттенков, к выделению разных аспектов в одном и том же предмете, к подчеркиванию этих аспектов и сторон (а все это связано и с разной языковой формой) мы считаем естественной для языка; эта способность входит в функции языка, и мы используем ее более или менее сознательно и намеренно. Иными словами, мы управляем этой способностью, а не она нами. Во всех подобных случаях не может быть и речи о власти языка.

Но можно пойти даже дальше и согласиться с тем, что наличие в одном языке, например, одних лексических элементов, а в другом языке других лексических элементов (то есть определенный способ классификации предметов объективной действительности), так же как и характер самого обозначения, способно оказывать на человека определенное воздействие. Здесь можно воспользоваться примерами, приводимыми тем же Уорфом. Как выше уже упоминалось, он рассказывает, что его практика инженера по технике пожарной безопасности давала много примеров того, что само языковое обозначение нередко побуждало людей относиться с недостаточной осторожностью к легко воспламенимым вещам, в результате чего вспыхивали пожары. Так, например, около склада так называемых *gasoline drums* (бензиновых цистерн) люди ведут себя соответствующим образом, то есть с большой осторожностью, в то же время рядом со складом с названием *empty gasoline drums* (пустые бен-

зиновые цистерны) люди ведут себя иначе — недостаточно осторожно, курят и даже бросают окурки. Однако эти «пустые» (empty) цистерны могут быть более опасны, так как в них содержатся взрывчатые испарения. При наличии реально опасной ситуации лингвистический анализ ориентируется на слово «пустой», предполагающее отсутствие всякого риска. Возможно два различных случая употребления слова empty (пустой):

1. Как точный синоним слов null, void, negative, inert (порожний, бессодержательный, бессмысленный, ничтожный, вялый) и

2. Применительно к обозначению физической ситуации, не принимая (в нашем случае) во внимание наличия паров, капель, жидкости или других остатков в цистерне или ином вместилище. Обстоятельства описываются с помощью второго случая, а люди ведут себя в этих обстоятельствах, имея в виду первый случай. Это — общая формула неосторожного поведения людей, обусловленного чисто лингвистическими факторами¹⁹.

Уорф приводит целый ряд подобных же примеров, но все они в лучшем случае способны доказать только одно и именно то, что язык может оказывать воздействие на поведение людей. Но никак не больше и никак не дальше этого. Как уже указывалось выше, различные языковые обозначения одного и того же предмета как полшерстяной материи или как материи полубумажной производят на нас определенный эффект и заставляют реагировать соответствующим образом, то есть обуславливают определенные формы нашего поведения. Но формы поведения — это не то же самое, что нормы мышления, и Уорф поступает совершенно неправоммерно, когда — в данном случае в духе бихевиоризма — ставит между этими явлениями знак равенства. Фактически весь ход его доказательств основывается на материале, свидетельствующем о возможности посредством языковых средств воздействовать на поведение человека или, иными словами, на его психическую (преимущественно эмоциональную) сферу. Ничего «метафизического» в этом воздействии, конечно, нет²⁰. Совершенно неоправданное при-

¹⁹ См. В. Whorf. Language, Thought and Reality, p. 135.

²⁰ Вся совокупность средств такого рода языкового воздействия изучается тем разделом науки о языке, который носит название стилистики.

менение выводов, сделанных в одной области, к совершенно иной области служит Уорфу основанием для приписывания языку как таковому абсолютно несвойственных ему качеств творца логических ценностей, истолкователя мира, объективной действительности, механизма, устанавливающего нормы мышления и тем самым детерминирующего также и поведение всего языкового коллектива.

Ко всему этому следует добавить, что различное языковое обозначение (что, по Уорфу, и приводит к различному толкованию действительности) возможно и фактически широко используется в пределах одного языка. Это, видимо, не делает стабильным его «метафизические» качества, позволяя их чрезвычайно гибко варьировать. Но если даже говорить о каких-то устойчивых и коренящихся в самой структуре языка способах выражения таких общих категорий, как категории субстанции, пространства и времени, или об особых для каждого языка в отдельности видах классификации (через лексические системы) предметов и явлений объективной действительности, то и в этом случае нет никаких оснований для тех выводов, которые делают и Уорф и Вайсгербер. Для обоснования сказанного обратимся к примерам. Английский автор XIV в. Джон де Тревиза, рассказывая в своем «Полихрониконе» об одном событии, пишет, что оно происходило «The yere of oure Lorde a thowsand thre hundred and foure score and fyve», то есть «в год господ нашего одна тысяча три сотни четыре двадцатки и пять» (1385). Эту дату мы выражаем по-русски следующим образом: в тысяча триста восемьдесят пятом голу (то есть составляем из следующих чисел: $1000+300+80+5$). Современный немец сказал бы в этом случае: im jahre dreizehn hundert fünf und achtzig (то есть 13 сотен, 5 и 80). Здесь мы имеем дело с разным членением одного и того же явления действительности и соответственно с разными отношениями входящих в эту систему чисел. Эта разная членимость находит прямое отражение в языке. Но приводит ли эта различная членимость и разная форма языкового выражения к разным познавательным результатам? Очевидно, что нет.

Говоря о подобных же явлениях, С. Эман пишет: «Человек, живущий за границей, часто испытывает боль-

шие затруднения, сталкиваясь с иными мерами, чем те, к которым он привык. Он не тотчас понимает значение чужеродных для него мер длины, площади, объема, веса или температуры. Очевидно, что эти трудности создает не сам иностранный язык, а чуждая система выражения этих мер. Человек, говорящий по-немецки и привыкший к употреблению километров как меры длины, поймет выражение *dix kilometers*, если даже он располагает очень скудными познаниями во французском языке. И, наоборот, даже при отличном знании английского языка и при долгом пребывании в Англии он не в состоянии представить себе конкретную картину расстояния, выраженную в английских милях, пока не переведет их в знакомые ему километры. Точно так же для многих трудно перейти от 12-значной к 24-значной системе времени. Люди, привыкшие к термометру Фаренгейта, не в состоянии оценить показаний термометров Цельсия и Реомюра, хотя они точно знают соотносимость этих систем. Таким образом, чтобы подогнать их под свою концепцию мира, человек должен перевести чуждую систему выражения мер на знакомую ему систему»²¹.

По сути говоря, переход с одной языковой системы на другую, от одной языковой «картины мира» к другой аналогичен переходу от одной системы «мер» и их внутренних отношений к другой. Форма языка и мышления, свойственные им системы членений и объединений при этом меняются, но за ними стоит в основном единое реальное, понятийное и логическое содержание. И никаких новых идей, нового содержания форма языка и мышления в такой же степени не способна создать, как и разные системы мер, — все сводится только к различиям в членении этого содержания. Единственно, о чем можно в этой связи говорить, — это об особых «стилях» языка, в том смысле, в каком о них говорил Ш. Балли²². Рассматривая сопоставительно французский и немецкий языки, он видел характерные черты первого в большей аналитичности и абстрактности его структурных элементов, в то время как в немецком языке он подчеркивал его синтетические и феноменалистические тенденции. Но

²¹ С. Ohman. Theories of the linguistic field. «World», 1953, в. 9, No. 2, pp. 131—132.

²² См. Ш. Балли. Общая лингвистика и вопросы французского языка. ИЛ, М., 1955.

эти «национальные» особенности французского и немецкого языков Ш. Балли не связывал с различными типами духовного строя народов и их культурой, а искал их в корреляции фонологических и морфологических структур обоих языков. Так, типичный для французского порядок слов определяемое — определитель, противопоставляемый немецкому порядку определитель — определяемое, он соотносит с тенденцией французского языка к конечному ударению и с начальным ударением в немецком языке (ср. французское *chapeau gris* и немецкое *graues Hut*). А это в свою очередь ставится в связь с предположением французского к открытым слогам и отсутствием в нем сложных фонем (аффрикат) и нисходящих дифтонгов в противоположность обратным тенденциям немецкого языка. Совершенно очевидно, что подобного рода «стилистические» особенности языков, покоящиеся на структурных отношениях их элементов, не могут обладать теми формирующими и руководящими качествами по отношению к «идейному содержанию», о которых говорит Уорф.

В марте 1953 г. группа видных американских лингвистов, антропологов, психологов и философов собралась на конференцию, чтобы всесторонне обсудить гипотезу Сепира—Уорфа и по возможности проверить ее на языковом материале²³. Один из докладчиков на этой конференции, Джозеф Гринберг, следующим образом формулировал свое отношение к ней: «Поскольку естественные языки не придумываются философами, а развиваются как динамичное орудие общества, стремящееся удовлетворить постоянно меняющиеся его потребности, не следует ожидать, и, как подсказывает мне опыт, невозможно обнаружить существования некой особой семантической подосновы, которая необходима семантической системе языка для того, чтобы отражать какое-то всеобъемлющее мировоззрение метафизического характера»²⁴. Мнение о том, что ни о какой метафизике применительно к структурным особенностям языка не может быть и речи, в той или иной формулировке высказывалось и другими участниками конференции.

В процессе обсуждения отдельных аспектов гипотезы

²³ Материалы этой конференции см. в сб. Н. Hoijer (ed.). *Language in Culture*. Chicago, 1954.

²⁴ Цит. по сб. Н. Hoijer (ed.). *Language in Culture*, p. 18.

Сепира—Уорфа Джозеф Гринберг прибег к гипотетической ситуации, чтобы подкрепить свои рассуждения, приведшие его к вышеприведенному заключению. Допустим, говорит он, на луну попадают два человека, говорящие на разных языках. Они оказываются в совершенно новой обстановке, абсолютно отличающейся от земной, и дают ее описание каждый на своем языке. Если допустить, что язык формирует действительность, то тогда, очевидно, в этих двух описаниях перед нами должны возникнуть два различных мира. Сам Гринберг говорит по этому поводу следующее: «Моя точка зрения сводится к тому, что они (то есть люди разных языков. — В. З.) не в состоянии будут сказать одно и то же, если они говорят на различных языках, но это будет результатом различий в системах убеждений, а эти последние определяются не структурой языка, а общей культурной ситуацией и прошлой историей народов»²⁵. Подобная предположительная ситуация, действительно, дает повод для рассмотрения разбираемой проблемы с новой стороны. Мимоходом стоит, однако, заметить, что эта ситуация не настолько уж фантастична и, если не буквально, то в приближенном виде, многократно повторялась в истории человечества, так что она носит не только теоретический характер, но и связана с реальными практическими результатами. В качестве примера можно сослаться на описание арабскими путешественниками природы и обычаев скандинавских викингов, мир которых был для арабов, по-видимому, столь же чужд и необычен, как и лунный. И тем не менее описания, составленные на арабском и древнескандинавском языках, не представляют нам два различных мира. Мы легко узнаем в них одни и те же явления и события. Обратимся, однако, именно к теоретической стороне этой предполагаемой ситуации.

Она заставляет нас прежде всего делать строгое разграничение между содержанием языка и его структурой, причем это разграничение должно касаться преимущественно лексической и семантической сторон языка. К содержанию будет относиться вся та совокупность понятий о мире объективной действительности, которую приобрел тот или иной народ в процессе своего исторического развития. В содержании языка, иными словами, находит свое отражение культура народа и формы этой

²⁵ Цит. по сб. Н. Hoijer (ed.). *Language in Culture*, p. 136.

культуры. К структуре языка (если пока говорить о его лексической и семантической сторонах) относятся способы членения, классификации и объединения тех явлений и предметов объективной действительности, которые составляют содержание языка. Говоря словами Вайсгербера, структура языка и составляет особые в каждом отдельном случае «картины языка».

Возвращаясь к «лунной ситуации», мы должны признать справедливость не только общего вывода Гринберга, но и той части его суждения, где содержится утверждение, что люди разных языков «не в состоянии будут сказать одно и то же». Это, несомненно, так, однако при одной существенной оговорке: в той мере, в какой будет различаться содержание их языков, но независимо от структурного своеобразия последних.

Желая, например, дать представление о высоте какого-нибудь предмета, один может сказать, что он высотой с пальму, а другой измерит его высотой айсберга. Один будет измерять быстроту движения полетом чайки, а другой — полетом попугая или колибри и т. д. В данном случае мы будем иметь дело с теми же самыми явлениями, которые обуславливали видение, например, разных «небесных картин» (созвездий): в одном случае битвы азов (у древних германцев), а в другом — Кентавра (у древних греков). Но все это относится к содержанию языка, а речь идет не о нем, когда Вайсгербер и Уорф говорят о преобразующей силе языка, о его «метафизике». В этих случаях они имеют в виду именно структурные стороны языка.

При всем многообразии культур люди «земного мира» имеют столько общего, что они всегда в состоянии понять друг друга и составить правильное представление о предметах речи — об этом свидетельствует практическая возможность перевода с любого языка на другой. Во всяком случае они находятся в среде одних и тех же реальных категорий пространства, времени и субстанции, которые в первую очередь имеет в виду Уорф. И вот эти-то категории и находят разное выражение в структурных элементах языков и их грамматических категориях и свойственных им членениях и объединениях. И в этом, по уверению Уорфа, находит свое выражение «метафизика» языка, обуславливающая и особый способ видения действительности.

Поскольку у людей «земного мира» реальные категории пространства, времени и субстанции являются общими, а различно только их языковое (структурно-языковое) выражение, мы фактически будем иметь ситуацию, в общих чертах и в своем принципе повторяющую положение о соотносимости разных систем мер (о чем была речь выше). Здесь также одни и те же реальные категории выражаются разными языковыми «мерами», то есть особыми их членениями и системными объединениями.

Следовательно, располагая единым для обоих языков «знаменателем», каковым является земная действительность, и зная, что все земные языки в конечном счете являются производными от этой действительности, мы вправе ожидать, что в описаниях необычной лунной обстановки, сделанной средствами разных в структурном отношении языков, мы будем иметь не два, а один мир. А различия культур будут различиями *couleur locale*, вносящими своеобразную окраску, но не меняющими существа дела.

Употребляя аналогию, можно сказать, что две различные системы языков подобны двум различным системам денежных знаков, имеющим единое золотое обеспечение — их земную действительность. И так же как единое золотое обеспечение позволяет производить перерасчет с рубля на доллар и обратно, так и единая земная действительность позволяет по установленному «курсу» производить «перерасчет» реальных ценностей, которыми орудуют языки, например, с английского на язык хопи и обратно. Это и будет переходом из одного «круга» в другой, о чем говорил В. Гумбольдт²⁶ и что послужило основой для теорий Вайсгербера и Уорфа. Но только у этих «кругов» не оказывается никаких магических свойств, никакой «метафизики», а есть лишь абсолютно естественные качества, поддающиеся научному объяснению и анализу в отношении как их становления, так и функционирования.

²⁶ «Тем же самым актом, посредством которого он из себя создает язык, человек отдает себя в его власть; каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, из пределов которого можно выйти только в том случае, если вступаешь в другой круг». Цит. по кн.: В. А. Звегинцев. История языкознания XIX и XX вв., стр. 81.

Итак, в чем же заключается очевидная ошибка гипотезы Сепира—Уорфа? В типичном для неопозитивизма смешении логико-лингвистического и онтологического планов и в порожденном этим смешением искажении подлинных зависимостей, существующих между языком, мышлением и действительностью. Язык — не богом данная система с готовой классификацией явлений действительности, с особым национальным «мировоззрением» и дарованной свыше неограниченной властью над человеком. Язык создавался человеком в его познавательной деятельности, направленной на действительность. Язык, таким образом, — величина производная. А в гипотезе Сепира—Уорфа без всяких доказательств устанавливается обратный порядок: ведущей величиной является неизвестно как возникший язык, а познание и действительность оказываются производными от него. Такое толкование, подсказанное позитивистскими доктринами, находится в полном противоречии с действительным положением вещей, что явствует и из приведенных выше примеров.

Вторым и, пожалуй, наиболее активным лингвистическим направлением, обеспечивающим проникновение позитивистских идей в науку о языке, является *глоссематика*. Вместе с тем она является выразителем тенденций обратного воздействия «лингвистического материала» на выработку общих принципов научного познания мира. Таким образом, глоссематика представляет чрезвычайно сложный клубок общетеоретических и специально лингвистических вопросов, распутать который представляется крайне необходимым, так как недостаточно осторожное и внимательное отношение к ее положениям и методам нередко приводит к неоправданным выводам как негативного, так и положительного порядка.

Глоссематика относится к числу тех языковедческих направлений, которые нередко и совершенно неоправданно объединяют под общим именем структуральной (или структурной) лингвистики. Иногда по месту своего зарождения или по месту деятельности фактического создателя глоссематики — Луи Ельмслева — она именуется также датским или копенгагенским структурализмом. Такой упрощенно фронтальный подход, располагающий глоссематику в одном ряду с другими структуральными методами, часто приводит к тому, что на основе недостат-

ков глоссематики выносятся общий отрицательный приговор всему структурализму. Но именно с тем, чтобы выделить себя из прочих лингвистических школ и направлений и противопоставить свои методы исследований «традиционным» и иным современным методам, она и приняла особое наименование — глоссематики (от греческого *glossa* — язык), имея при этом в виду, как затем выяснилось, далеко идущие цели.

Во многом глоссематика продолжает развивать идеи выдающегося лингвиста Ф. де Соссюра, научная деятельность которого знаменует собой одну из вершин науки о языке. Но глоссематика использует идеи Соссюра односторонне и делает из них крайние выводы. Бесспорной выдающейся научной заслугой Соссюра было открытие им в языке наряду с другими аспектами — психическим, физическим, социальным и др. — еще одного важного аспекта — семиотического, в соответствии с которым оказалось возможным рассматривать язык как условную знаковую или символическую систему. Можно даже сказать, что выделение Соссюром этого нового аспекта языка способствовало формированию в недрах лингвистики новой дисциплины — семиотики, целиком посвятившей себя формированию принципов общего учения о знаковых системах. От семиотики филологического происхождения быстро перекинулся мост к семиотике как абстрактной теории знаков, порожденной логико-синтаксическими и логико-семантическими исследованиями. Ныне уже нет надобности приводить доводы в пользу важности, теоретической и практической значимости этой новой научной дисциплины, занимающейся разработкой формального аппарата. Она заняла подобающее ей место в кругу других успешно развивающихся у нас наук и играет важную роль во всякого рода прикладных исследовательских работах. Кстати говоря, именно приложение семиотических принципов к лингвистическому материалу в значительной мере обусловило возможность решения таких проблем, как автоматический перевод письменных текстов с одного языка на другой, речевое управление всякого рода механизмами, создание информационных и реферирующих установок и т. д. Но именно то обстоятельство, что семиотика при своем зарождении, а также и при дальнейшем развитии оказалась тесно связанной с лингвистикой и нередко пользуется ее терми-

нологией (с неизбежным ее переосмыслением), послужило поводом и даже средством позитивистского истолкования основных категорий языка и методов его исследований, с наибольшей последовательностью проведенного Луи Ельмслевом в его глоссематике.

Уже Соссюру для того, чтобы выделить в языке семиотический аспект в наиболее, так сказать, «чистом» виде, пришлось провести ряд разграничительных операций. Он отделил язык от речи (хотя и признавал их взаимообусловленность), он изолировал язык от всех других факторов, проведя разделение между внутренней и внешней лингвистикой (хотя и определял язык как социальное явление), он остановил язык во времени, отделив его синхронию, то есть статическое состояние, от диахронии, то есть исторического развития (хотя и указывал сам на то, что язык всегда находится в развитии). К сожалению, последующие языковеды (в том числе и некоторые советские), по-разному оценивавшие концепцию Соссюра, истолковали эти разграничения слишком буквально. Они не захотели понять, что все эти разграничения — не более как рабочие операции, необходимые для определенных целей, и перенесли их на сам объект исследования — язык, стали их рассматривать как особенности самого языка. Иными словами, оказалось не учтенным, что приводимые Соссюром разграничения в действительности относятся не к теории языка, а к теории лингвистики²⁷, в соответствии с чем, например, все, что рассматривается в языке вне диахронии, не есть реальное *состояние* языка, но всего лишь синхроническое его *описание*, какое издавна и независимо от Соссюра имеет место в нормативных грамматиках или практических учебниках иностранных языков.

Глоссематика довела данную абсолютизацию рабочих операций до предела, делая из этого чрезвычайно ответственные выводы как для методики лингвистического исследования, так и для теории научного познания в целом.

Собственно лингвистическое применение глоссематики находит свое выражение в «абстрактной теории языка», созданной Л. Ельмслевом. Сам Ельмслев с полной

²⁷ См. E. Coseriu. Sincronia, diachronia a historia. Montevideo, 1958.

недвусмысленностью определяет философские позиции этой теории. Он указывает на то, что при формировании ее руководствовался идеями А. Уайтхеда и таких представителей логического позитивизма, как Б. Рассел и Р. Карнап, и ставит своей целью перенесение их идей в область исследования языка. «Признание того факта, — пишет он, — что целое состоит не из вещей, но из отношений и что не субстанция, но только ее внутренние и внешние отношения имеют научное существование, конечно, не является новым в науке, но может оказаться новым в лингвистике. *Постулирование объектов как чего-то отличного от терминов отношений является излишней аксиомой* и, следовательно, метафизической гипотезой, от которой лингвистике следует отказаться»²⁸. В гармоническом соответствии с этой установкой и строится «абстрактная теория языка», в которой объект фактически не имеет никакого значения, поскольку сама «лингвистическая теория единовластно определяет свой объект при помощи произвольного и пригодного выбора предпосылок. Теория представляет собой исчисление, состоящее из наименьшего числа наиболее подходящих предпосылок, из которых ни одна предпосылка, принадлежащая теории, не обладает аксиоматической природой»²⁹. Согласно определяемой таким образом конвенциональной теории лингвистический анализ должен быть направлен на выявление языковой формы, скрытой за непосредственно доступной чувственному восприятию «субстанцией», причем «субстанция... не является необходимой предпосылкой для существования языковой формы, но языковая форма является необходимой предпосылкой для существования субстанции»³⁰.

Из этих установок логически следует и определение языка. Поскольку сущности языковой формы обладают алгебраической природой и не имеют естественного (то есть соотношенного с субстанцией) обозначения, они не только могут быть произвольно обозначены различными способами, но и отождествлены с иными аналогичными формальными структурами «Именно потому, — говорит в этой связи Ельмслев, — что теория построена таким

²⁸ Л. Ельмслев. Прологомены к теории языка. Сб. «Новое в лингвистике», вып. 1. ИЛ, М., 1960, стр. 283. Курсив мой.— В. З.

²⁹ Там же, стр. 275.

³⁰ Там же, стр. 361.

образом, что лингвистическая форма рассматривается без учета «субстанции» (материала), наш аппарат легко можно применить к любой структуре, форма которой аналогична форме «естественного» языка»³¹.

Таким образом, «естественный» язык начинает рассматриваться лишь как семиологическая структура, или семиотика, как частный случай более общего объекта изучения, строение которого удовлетворяет известным чисто формальным условиям и определениям. Следовательно, если семиотика определяется как «иерархия, любой из сегментов которой допускает дальнейшее деление на классы, определяемые на основе взаимной ре-ляции, так что любой из этих классов допускает деление на дериваты, определяемые на основе взаимной мута-ции»³², то, по Ельмслеву, мы с полным правом можем отнести это определение и к «естественному» языку, по-скольку он также представляет собой семиотику.

Из изложенного становится ясным, что, будучи на-правленной на изучение «естественного» языка, аб-страктная теория глоссематики элиминирует у него все прочие аспекты и сводит их к одному единственному — семиотическому. Тем самым предмет науки о языке по-лучает новое истолкование — он определяется в терми-нах семиотики, — а лингвистика как наука о «естествен-ном» языке утрачивает свою самостоятельность и раст-воряется в семиотике. В результате абсолютизации семиотического изучения «естественного» языка ему при-чисываются признаки и качества, определяемые самими семиотическими методами. Так, «естественный» язык, рассматриваемый как частный случай семиотических систем, трактуется как пучок функций, для которых язы-ковая субстанция — вторичного и факультативного ха-рактера, всего лишь средство манифестации отношений, существующих между функцивами и функциями. Лишен-ный всякой внутренней связи с субстанцией, «естествен-ный» язык оказывается чистой формой, изучение которой должно осуществляться на основе предпосылок, носящих сугубо конвенциональный характер. Вместо языка, как-им его знает лингвистика, возникает искусственный семиотический препарат, оказывающийся за пределами

³¹ Л. Ельмслев. Прологомены к теории языка. Сб. «Новое в лингвистике», вып. 1. ИЛ, М., 1960, стр. 357.

³² E. Coseriu. Sincronia, diachronia a historia, p. 361.

науки о языке. Это — логическое последствие научно неправомерного, крайне одностороннего подхода к такому многостороннему и многофункциональному явлению, каким является «естественный» язык. Прибегая к сравнению, можно сослаться на то, что и человека не возбраняется рассматривать как зоологический феномен или даже как самоорганизующееся кибернетическое устройство с широкой программой и описывать его в соответствующих категориях и терминах (определяя его, например, как непарнокопытное животное, относящееся к отряду приматов). Но нет нужды доказывать, что подобное одностороннее рассмотрение, какой бы практической важностью или частной значимостью оно ни обладало, не способно дать полного и адекватного представления об этом «явлении природы».

В случае с «естественным» языком такого рода одностороннее его изучение лишь в семиотическом аспекте не только не дает представления о его подлинных качествах, но оказывается в прямом противоречии с его действительной природой. Дело в том, что «естественный» язык может существовать и исполнять те функции, ради которых он существует, лишь как «субстанция», то есть в виде некоторой определенным образом организованной совокупности лексических значений, речевых звуков и пр., меняющихся во времени под влиянием социальных и иных факторов. Этот абсолютно очевидный факт не отрицается, как ни странно, даже и в глоссематике, хотя из него и не делается логических выводов. Следовательно, если лингвистическая теория строится таким образом, что субстанция нарочито игнорируется, получается не абстракция, являющаяся, разумеется, важным орудием теоретического познания также и при изучении языковых явлений, а фикция.

Интересно и важно отметить, что несмотря на почетное место, которое глоссематика занимает в ряду других языковедческих направлений в буржуазных странах, как лингвистическая теория она оказалась совершенно бесплодной: на ее основе не удалось сделать ни одного списания языка. Более того, когда даже благожелательно относящиеся к глоссематике буржуазные языковеды — П. Гарвин, Г. Фогт, Л. Хаммерих, Э. Фишер-Ёргенсен и др. — сделали попытку наложить отдельные факты конкретных языков на глоссематические схемы, из этого

ничего не получилось. По самому кардинальному для глоссематики вопросу — об отношении субстанции и формы — эти языковеды вынуждены были прийти к единому выводу, что изучение в языке формы в такой же степени предполагает обращение к субстанции, как и изучение субстанции предполагает обязательный учет формы: оба эти момента в языке взаимообусловлены.

Отмечая оторванность глоссематики от языковой реальности, видный современный французский лингвист А. Мартине охарактеризовал ее в следующих метких словах: «Это башня из слоновой кости, ответом на которую может быть лишь построение новых башен из слоновой кости»³³.

Определение бесспорно правильное, но ответ подскан спорный. Соревноваться в построении башен из слоновой кости — не занятие, во всяком случае для учебного. Скорее наоборот — он обязан расчистить поле своего зрения от всякого рода фантастических сооружений. И не следует представлять дело таким образом, что поскольку сложное построение Л. Ельмслева никак не соотносится с реальностью, или, как он сам говорит, «теория в нашем смысле сама по себе независима от опыта; сама по себе она ничего не говорит ни о возможности ее применения, ни об отношении к опытным данным — она не включает постулата о существовании»³⁴, то она не доступна конструктивной критике — ее можно лишь принимать или отвергать как божественную ипостась. У глоссематической башни из слоновой кости вполне определенный политический фундамент, и если его убрать, то рухнет и сама башня.

Эту работу представляется необходимым проделать не только ради лингвистики. У глоссематики научные претензии, выходящие далеко за пределы лингвистики, она стремится вырваться на широкие теоретические просторы и поэтому представляет не только специально языковедческий интерес. Этот интерес обуславливается также и тем обстоятельством, что в экспансионистских устремлениях глоссематики можно отчетливо проследить операцию, посредством которой в неопозитивизме анализ «логико-лингвистического материала» превращается во

³³ А. Мартине. Принцип экономии в фонетических изменениях. ИЛ, М., 1960, стр. 54.

³⁴ Л. Ельмслев. Прологомены к теории языка, стр. 274.

всеобщую теорию познания и в универсальный метод научного исследования.

Здесь мы сталкиваемся с процедурой теоретического построения, знакомой уже нам по лингвистическому аспекту глоссематики. На более высоком — как бы онтологическом — уровне в данном случае также происходит универсализация и абсолютизация частных рабочих операций, сведение к ним всей теории познания и прерращение формы в содержание всякого научного исследования. Такого рода трансформация облегчается тем, что язык, рассматриваемый как семиотический объект, то есть как система условных знаков или символов, представляет до известной степени «готовую» основу для всякого рода логических операций, к которым в неопозитивизме сводится методология научного познания.

Несколько видоизменяя формулу кредо тех неопозитивистских течений, которые единственным объектом философского рассмотрения считают язык, Л. Ельмслев выдвигает свое положение о том, что «все науки группируются вокруг лингвистики» (разумеется, в глоссематическом ее понимании). Развертывание этого тезиса во всеобщую теорию науки падает на долю ближайшего сотрудника Л. Ельмслева — Х. Ульдалля³⁵.

Свое изложение этой проблемы Ульдалль связывает в первую очередь с вопросом о возможности применения методов точных наук (или, как он их называет, количественных, количественных наук) к изучению гуманитарных (или квалификативных, качественных) наук. Этот вопрос, сам по себе чрезвычайно интересный, имеет свою, в том числе философскую, историю и заслуживает всяческого внимания, в частности в связи с применением математических методов в различных общественных науках. Остается лишь сожалеть, что в плане теоретическом он у нас почти совсем еще не исследовался или очень мало затрагивался. Но тот путь, который при этом предлагает Ульдалль, оказывается абсолютно неприемлемым.

По уверению Ульдалля, количественные науки достигли в своих исследовательских методах значительно более высокого уровня, и поэтому применение их к ка-

³⁵ См. Н. I. Uldall. Outline of Glossematics. Copenhagen, 1957.

чественным наукам будет способствовать увеличению точности этих последних, а следовательно, и повышению их общего научного уровня. Каким же образом должно совершиться объединение наук разных типов на основе общего метода? «Поскольку, — пишет Ульдалль, — было бы нелепым требовать, чтобы точные науки отступили от достигнутого ими уровня развития, это объединение может быть осуществлено только в том случае, если гуманитарные науки откажутся от «вещей» в пользу функций и, таким образом, станут, как я утверждаю, точными науками»³⁶.

С точки зрения Ульдалля, прогресс всех наук находит свое выражение в отказе от материи в пользу чистых функций и отношений. «Точные науки, — уверяет он, — имеют дело не со всей массой явлений, наблюдаемых во вселенной, а только с одной их стороной, а именно с функциями, и при том только с количественными функциями. С научной точки зрения вселенная состоит не из предметов или даже «материи», а только из функций, устанавливаемых между предметами: предметы же в свою очередь рассматриваются только как точки пересечения функций. «Материя» как таковая совершенно не принимается в расчет...»³⁷. Весьма своеобразная теория дематериализации всех объектов изучения, разработанная глоссематикой первоначально применительно к языку, а затем объявленная обязательной предпосылкой научного прогресса вообще, представлена Ульдаллем в виде так называемой «глоссематической алгебры», которую ее автор характеризует следующим образом: «Изложенная здесь алгебра универсальна, т. е. ее приложение не ограничивается материалом определенного порядка, и, таким образом, не имеет ничего специфически лингвистического или даже гуманитарного в своем характере или изложении, хотя по замыслу ее главная цель состояла в установлении основы для описания лингвистического и иного гуманитарного материала. Она стремится создать исчисление некачественных функций, применение которых к материалу должно привести к его описанию в терминах отношений, корреляций и deriva-

³⁶ Х. Ульдалль. Очерк глоссематики. Сб. «Новое в лингвистике», вып. 1. ИЛ., М., 1960, стр. 404.

³⁷ Там же, стр. 399—400.

ций»³⁸. Созданная Л. Ельмслевым «абстрактная теория языка», минующая реальность, как показал опыт, оказалась совершенно непригодной для адекватного познания «естественного» языка. Расширяя свою неудавшуюся попытку, Ульдалль предлагает представить «в терминах отношений, корреляций и дериваций», как пучки функций, исторические события, памятники литературы, произведения искусства, социальные условия, философские концепции, политические теории и многое другое, что составляет содержание многочисленных и многообразных гуманитарных, или, говоря точнее, общественных, наук. Единственное орудие, которое при этом независимо от изучаемого объекта дается в руки исследователя, составляет «исчисление некачественных функций». Такая методическая нивелировка, отнюдь не способствующая всестороннему и полному познанию многообразия объектов, логически приводит к тому парадоксальному заключению, что может существовать только одна-единственная наука — глоссематика, которая, целиком отрешившись от навязчивой материи, в полном согласии с известным кантовским положением и с неопозитивистским принципом «логического конструирования» определяет указанным выше образом и свой объект изучения.

Даже при поверхностном взгляде на глоссематику становится ясным, что в ней мало оригинального. Она целиком укладывается в схемы, предлагаемые логическим позитивизмом. От последнего она заимствует абсолютизацию логико-синтаксического (а затем вообще семиотического) формализма и конвенционализм. Но одним бесспорным достоинством глоссематика обладает, и именно это достоинство делает ее предметом более широкого интереса. Представляя пример применения неопозитивистских идей к специальным областям, обычно находящимся несколько за пределами внимания неопозитивистских теоретиков, она с безжалостной ясностью показывает в своих выводах порочность своих исходных моментов. Как правило, логический позитивизм оперирует фактами точных, «позитивных» наук — математики, логики, физики. Но, по мысли его последователей, это ведь общая теория науки, которая не может знать ограничений в своем применении. И вот глоссема-

³⁸ H. I. Uldall. Outline of Glossematics, p. 88.

тика показывает, к чему приводит последовательная универсализация принципов неопозитивизма. Так, вместо слова, связанного бесчисленными нитями с жизнью народа, играющего радугой смысловых и эмоциональных оттенков, возникает точка пересечения функций, вместо картины Рембрандта некая совокупность отношений, корреляций и дериваций, а творчество Толстого начинает определяться посредством исчисления некачественных функций. Все это вполне «позитивная» оценка, но что она дает? Употребляя термины Ульдалля, можно сказать, что, исследуя лишь сугубо количественными методами то, что имеет качественное существование, мы в действительности проходим мимо него. Таким образом, глоссематика — и как абстрактная теория языка, и как общая теория науки — с предельной четкостью демонстрирует полную несостоятельность методологических претензий неопозитивизма.

В качестве основных критериев полноценности глоссематики Л. Ельмслев наряду с ее произвольностью называет ее пригодность. Первым из названных качеств, то есть произвольностью, глоссематика бесспорно обладает. Но именно это качество уничтожает другое несомненно важное качество всякой теории — ее пригодность для адекватного познания языка. Как уже указывалось выше, попытки приложить глоссематику как лингвистическую теорию к конкретному языковому материалу тотчас обнаруживают ее многочисленные слабости и общую несостоятельность. И это вполне понятно, так как в этом случае абсолютная произвольность столкнулась и вступила в неизбежное противоречие с материальной конкретностью, с которой абстрактная теория не желает считаться³⁹. То, что не выдержало испытания научной практикой в ограниченном использовании, в качестве теории лингвистики, естественно, тем менее имеет право претендовать на роль всеобщей теории науки.

Приведенные здесь случаи применения позитивистских доктрин к лингвистическому исследованию с очевидностью свидетельствуют о неоправданности их теоретических претензий и методической бесплодности.

³⁹ А. Мартине предпочитает называть это качество лингвистической теории Л. Ельмслева изоляционизмом. См. рецензию в «Bulletin de la Société de linguistique de Paris», 1946, t. 42. Fasc. 1—2, n° 124—125.

С. А. Я Н О В С К А Я

ПРОБЛЕМА АНАЛИЗА ПОНЯТИЙ НАУКИ И НЕОПОЗИТИВИЗМ

Как известно, неопозитивизм претендовал на то, что он обладает критерием, позволяющим ему отличить осмысленные высказывания от бессмысленных (научно не осмысленных). Таким критерием он объявлял возможность сведения данного высказывания к так называемым «протокольным предложениям». Поскольку основные принципы как материалистической, так и идеалистической философии, говорящие о том или ином соотношении между материей и духом, не могут быть сведены к такого рода протокольным предложениям, то неопозитивисты утверждали, что ими преодолена противоположность материализма и идеализма, так как-де и материалистическая и идеалистическая философии обе лишены научной осмысленности, и что задача философии состоит только в таком анализе предложений науки, который позволяет освободить последнюю от бессмыслицы и сводит ее утверждения к «протокольным высказываниям» о чувственных данных.

История науки зло посмеялась, однако, над этими претензиями неопозитивизма. Она показала полную бессмысленность его притязаний на преодоление бессмысленности в науке и наглядно продемонстрировала, как опровергающему всю «школьную» философию неопозитивизму приходится самому становиться на позиции той же «школьной» и при том откровенно идеалистической философии.

Чтобы не быть голословной, я приведу собственные высказывания одного из новейших представителей неопозитивизма — Александра Виттенберга, недавно

вышедшую книгу которого «О мышлении в понятиях. Математика как опыт чистого мышления»¹ такой известный специалист по основаниям математики, как Пауль Бернайс, называет «замечательным произведением». О трудностях в обосновании математики, которые Л. Виттенберг пытается использовать в целях мотивировки своих выводов, здесь, однако, говорить почти не придется. В том освещении, которое дает этим трудностям Виттенберг, существенно только то, что они, действительно, свидетельствуют о безнадежности всех попыток обосновать математику на каком-нибудь знании, которое можно было бы считать достоверным а priori.

Основной интерес книги состоит для нас в том, что она с особой наглядностью демонстрирует, в сколь полном несоответствии с действительным развитием математической науки находится философия неопозитивизма.

«Теперь уже нужно считать вполне установленным, — пишет А. Виттенберг, — что последовательный позитивизм, и при том не только в классическом, но и в неопозитивистском смысле, может означать только отречение от всякой заслуживающей своего имени науки. Требование исходить во всяком научном познании непосредственно из доставляемых чувствами опытных данных или строить систему науки из так называемых протокольных предложений о простейших восприятиях — это требование находится в вопиющем противоречии с действительным положением вещей в науке. Успехи научного познания в последнее время обусловлены как раз тем обстоятельством, что человек осмелился — и притом потрясающе целесообразным образом — встроить непосредственные данные в им самим придуманные, необычайно сильные и сложные теоретические системы, в построение которых непосредственные чувственные данные входят лишь в ничтожно малой части»².

В какой мере здесь можно говорить об «им самим (человеком) придуманных» системах, выяснится в дальнейшем, когда нам придется остановиться на роли критерия практики в науке, пока же заметим только, что этому — столь скандально обанкротившемуся — позити-

¹ А. Wittenberg. *Vom Denken in Begriffen*. Basel, 1957.

² *Ibid.*, S. 156.

визму А. Виттенберг противопоставляет другой — неопозитивизм новейшей формации, который начинает уже не с того, что отвергает имеющие понятийный характер (а не исходящие из протокольных предложений) положения науки, а с того, что предлагает подвергать все понятия наук критическому анализу: «выяснению того, сколько входит в них собственного, относящегося к действительному опыту познания и что в них представляет собой только человеческое толкование и человеческое творение»³.

Как же, однако, решить эту задачу? Казалось бы, здесь возможен только один путь — обращение к практике, основанное всегда (в конечном счете) на некотором исключении (реализации или восполнении) так называемых «идеальных» (абстрактных) предметов, на таком их (или выражений, содержащих их) истолковании, которое имеет дело уже с материальными объектами и позволяет оперировать с ними, дает, иными словами, возможность сличить наши научные построения с внешним миром, с действительностью и исправить их там, где результат окажется не соответствующим тому, что ожидается на их основе. Но такой путь для неопозитивиста закрыт: ведь когда мы высказываем некоторое утверждение о проверке путем обращения к действительности, лежащей за пределами нашего сознания, во внешнем мире, то употребляем слово (термин) «действительность», то есть уже некоторое понятие, которое, согласно позитивистской установке, само нуждается в предварительном анализе, в определении с помощью других слов, также соответствующих некоторым понятиям, почему мы и не выходим за пределы того, что находится в нашем сознании. В подтверждение опять приведем собственные слова Виттенберга.

«Рассмотрим, — говорит Виттенберг, — предложение, которое представляется воплощающим очень простую и отнюдь не проблематичную истину: «Человек воспринимает внешний мир». Это предложение представляется сначала констатирующим факт наличия соотношения между человеком и миром, и притом факт, правильность которого непосредственного очевидна. Но для того что-

³ A. Wittenberg. Vom Denken in Begriffen, 1957, S. 157

ны это действительно было так, мы должны уже предварительно и независимо от истины, которая должна быть выражена вышеприведенным высказыванием, в достаточно ясной и достоверной мере располагать понятием внешнего мира: сначала мы должны понимать слова «внешний мир» и лишь затем можем пользоваться ими для формулировки истин вроде вышеприведенной. Предварительно поэтому возникает вопрос: «Что значат для нас слова «внешний мир»? В чем состоит наше обладание этим понятием и что лежит в основе его применения в целях формулировки истин?»⁴

И Виттенберг приходит к заключению, что единственно правильным, с его, позитивистской, точки зрения, подходом к науке может быть только такой, «который полностью оборачивает (описанную выше) перспективу: первичной для нас уже является не действительность, которую мы исследуем, а некоторое ту-бытие (Dasein), некоторое «condition humaine» («состояние человека»), которое мы переживаем и обследуем. Из этого переживания мы обосновываем и мотивируем наш «мир», собственно уже наше понятие действительности»⁵.

После замечательного ленинского анализа сущности всякого идеализма как учения, оборачивающего соотношение между материей и духом и делающего первичным не действительность, а субъективные стороны человеческого сознания: мышление, представления, ощущения, восприятия, переживания и т. п., трудно вообразить себе более откровенное признание в идеализме, чем эти слова представителя новейшего неопозитивизма А. Виттенберга.

Вот чем завершилось на деле неопозитивистское «преодоление» противоположности материализма и идеализма! А ведь именно такой финал и предвидел В. И. Ленин.

В дальнейшем мы еще выясним, с какой поразительной точностью оправдывается на примере истории позитивизма ленинский прогноз, состоящий в том, что путь эмпириокритицизма, который и есть по существу путь того «критического анализа» понятий, которым занимается современный позитивизм, несовместим с подлин-

⁴ A. Wittenberg. Vom Denken in Begriffen, S. 170.

⁵ Ibid., S. 157.

ным развитием науки и не может защитить ее от фидеизма. Пока же мне хочется показать, что требование анализа, уточнения, вообще требование формализации наших научных понятий и теорий, рассматриваемое в свете диалектического материализма, отнюдь не ведет к тем «заклучениям», которые пытается из этого требования вывести позитивизм.

Вряд ли нужно специально напоминать, что диалектический материализм придает особое значение анализу явлений (а значит, и отражающих их в науке понятий и предложений), в том числе и самых простых, обычных, массовидных, с которыми мы все постоянно встречаемся и мимо которых обычно проходим, даже не замечая их.

«У Маркса в «Капитале», — писал В. И. Ленин в своих заметках «К вопросу о диалектике», — сначала анализируется самое простое, обычное, основное, самое массовидное, самое обыденное, миллиарды раз встречающееся, *отношение* буржуазного (товарного) общества: обмен товаров. Анализ вскрывает в этом простейшем явлении (в этой «клеточке» буржуазного общества) *все* противоречия (resp. зародыши *всех* противоречий) современного общества»⁶.

Аналогичному анализу, состоящему в выяснении диалектической сложности самого простого, обычного, массовидного, Ленин подверг и такие простейшие предложения, как: «Листья дерева зелены», «Иван есть человек», «Жучка есть собака».

В «Государстве и революции» В. И. Ленин пишет: «Как все великие революционные мыслители, Энгельс старается обратить внимание сознательных рабочих именно на то, что господствующей обывательщине представляется наименее стоящим внимания, наиболее привычным, освященным предрассудками не только прочными, но, можно сказать, окаменевшими»⁷.

«Обратить внимание» — это и значит, конечно, проанализировать, вскрыть подлинную сущность того, что представляется как будто хорошо известным и не заслуживающим никакого анализа, но что в действительности требует глубокого исследования.

Не приходится сомневаться в том, что *с точки зрения*

⁶ В. И. Ленин. Соч., т. 38, стр. 358.

⁷ В. И. Ленин. Соч., т. 25, стр. 361.

диалектического материализма нет таких вещей, о которых заранее можно было бы сказать, что они не нуждаются в анализе. Но человеческое познание есть процесс, и в этом процессе потребность в анализе того или иного понятия сама возникает лишь на той или иной определенной исторической ступени, особенно характерной для периодов революционных переворотов в науке.

В этой связи естественно напомнить, что, например, открытие первой неэвклидовой геометрии нашим великим соотечественником Н. И. Лобачевским было им произведено с помощью анализа самых основных понятий и предложений (аксиом) геометрии, которые И. Канту представлялись не нуждающимися ни в каком анализе и непосредственно (хотя и а priori) очевидными. Таких примеров можно было бы привести неограниченное количество. Они для нас особенно интересны, поскольку свидетельствуют о том, что анализ отнюдь не всегда состоит в сведении сложного к простому: в наиболее интересных случаях он, наоборот, обнаруживает сложность простого и таким образом позволяет увидеть (обнаружить, доказать) то, что без анализа оставалось бы нераскрытым.

Больше того, анализ не есть и просто замена какого-нибудь понятия другим, ему эквивалентным. Чаще всего он связан с уточнением понятия, а в этой связи неизбежно и с некоторым его огрублением — с «идеализацией», как говорят в таких случаях математики. Такая «идеализация» хороша, когда она позволяет выявить основные, важнейшие черты предмета исследования и сделать соответствующие понятия такими, с которыми — средствами данной науки — можно оперировать.

Приведем самый простой пример.

Увидев меня стоящей в автобусе, мальчик, который сидит там же, не нуждается в анализе (и уточнении) слова «старушка», для того чтобы сделать заключение, что ему не мешало бы уступить место мне, как старушке. Но если бы к этому понятию пришлось применить в какой-либо связи обычную арифметику, мы сразу обнаружили бы, что наше понятие нуждается в уточнении (а значит, и в некотором анализе). Действительно, если не будет такого уточнения, то я смогу легко доказать с помощью столь, казалось бы, безупречного научного приема, как метод полной математической индукции, что я

отнюдь не старуха. В самом деле, поскольку в первый день моей жизни и вообще в какой-нибудь день моей жизни я еще не была старухой, то завтра я тоже не стану ею. Но в таком случае, в согласии с принципом полной математической индукции, я никогда не буду старухой. В действительности же к понятию «старуха», как и ко многим другим понятиям, в отношении которых имеет место так называемый «парадокс кучи», принцип полной математической индукции неприменим: эти понятия следует сначала уточнить соответствующим образом, чтобы затем к ним можно было применять обычную, строящуюся на этом принципе арифметику.

Именно таким уточнением и занимаются по сути дела финансовые органы, когда им нужно решать вопрос о том, имеет ли гражданин X. право на пенсию по старости.

Вообще анализ приходится производить именно тогда, когда без него невозможно справиться с возникшей трудностью в установлении истины. Я опять позволю себе привести несколько примеров.

Еще с античной древности математики занимались отысканием алгоритмов — общих методов решения целых классов однородных математических задач. Когда такой алгоритм — вроде, например, известного алгоритма Эвклида, содержащего общий метод (программу) решения любой задачи на нахождение общего наибольшего делителя двух целых (положительных) чисел, — уже бывал найден, математики включали его в свою науку и пользовались им, не испытывая никакой потребности в том, чтобы пытаться точно определить термин «алгоритм», то есть подвергнуть само это понятие анализу. Но когда поиски каких-либо алгоритмов упорно не увенчивались успехом, когда начали возникать подозрения, что некоторых искомых алгоритмов, быть может, вообще не существует, тогда пришлось поставить вопрос о том, чего же, собственно говоря, ищут, что такое вообще *алгоритм*. Таким образом, пришлось заняться анализом понятия «алгоритм» и соответствующим его уточнением.

Аналогично обстояло дело во всех тех случаях, когда математикам упорно не удавалось справиться со стоящими перед ними задачами. Так было, в частности, со знаменитыми задачами древности о квадратуре круга,

трисекции угла и удвоении куба, которые были решены лишь в 80-х годах XIX в., когда удалось, наконец, так уточнить их постановку, проанализировать их содержание, что стало полностью ясно, чего именно ищут математики и почему им не удается это искомое найти.

Наоборот, чтобы научить собаку приносить веревку, не требуется уподобляться тому философу из старой басни Хемницера, который вместо того, чтобы воспользоваться веревкой, занялся анализом соответствующего понятия и пришел к заключению, что «веревка — вервие простое». Из этого, однако, отнюдь не следует, будто слово «веревка» вообще никогда не следует подвергать какому бы то ни было анализу. Если речь идет об этимологии этого слова, которая может понадобиться, например, для дешифровки какого-нибудь древнего текста, то придется познакомиться с его, в данном случае этимологическим, анализом (из которого выясняется, в частности, что оно имело также и значение «община»).

Аналогично, когда идет речь о машинном переводе с одного языка на другой, возникает погрешность в подробном анализе таких слов определенного языка, которыми большинство людей, говорящих на этом языке, обычно свободно пользуются без всякого анализа. В результате такого анализа и связанной с ним идеализации простые на первый взгляд вещи могут оказаться в действительности очень сложными. Между тем машина не сумеет справиться с поставленной перед ней задачей без такой замены «простого» сложным в результате анализа.

Особенно существенно при этом то обстоятельство, что всякий конкретный анализ какого-нибудь понятия, раскрытие его содержания в терминах других понятий всегда останавливается на чем-то таком, что в данной связи уже не нуждается в дальнейшем анализе, в применении к чему дальнейший анализ уже не раскроет нам в этой интересующей нас связи ничего нового и будет выглядеть лишь как «веревка — вервие простое», хотя в другой связи и может оказаться весьма полезным и нужным. Так, уточняя понятие «старик» с помощью указания числа лет жизни, мы нуждаемся только в метрике гражданина, а не в анализе понятий «год» и «жизнь», которые в астрономии и биологии соответственно заведомо нуждаются в анализе (и уточнении).

Но так обстоит дело в развитии науки, которое носит диалектический характер. Требование же создания такой не меняющейся науки, в которой все понятия нуждались бы в анализе, ведет только к тому, что, в сущности говоря, мы не могли бы сказать ни одного слова, так как каждое слово потребовало бы в свою очередь анализа, и так без конца. На этот парадокс, вытекающий именно из концепции их «аналитической философии», обратили внимание сами неопозитивисты. Неопозитивисты безнадежно ищут теперь поэтому какие-нибудь полностью формализованные «языки», исходные понятия которых заведомо не нуждаются в анализе. Безнадежность этих попыток как раз хорошо продемонстрирована А. Виттенбергом в его анализе трудностей, связанных с обоснованием математики.

Никакой позитивист, в том числе и А. Виттенберг, не решается, как мы уже видели, утверждать, будто нормальный человек сомневается в том, что он способен воспринимать происходящее во внешнем мире (и реагировать на него). Виттенберг пытается, правда, изобразить всех вообще математиков, которые не хотят видеть в математических понятиях исключительно лишь порождение своего духа, но ищут их прообразы во внешнем мире, обязательно платониками. Однако и он вынужден признать, что математик не может противостоять желанию изучать свои математические сущности «таким же образом, каким естествоиспытатель изучает внешнюю реальность»⁸.

Все подлинные открытия во всех науках всегда подтверждали правильность материалистической установки следующего рода: сколь бы абстрактна и сложна ни была некоторая научная теория, ее научная правомерность оправдывается не ею самой, а ее приложениями к чему-то лежащему вне ее, основанными в конечном счете на содержательном истолковании употребляемых в этой теории терминов. Такое истолкование равнозначно некоторому анализу этих терминов, выражению их либо непосредственно с помощью материальных вещей, либо в других терминах, в данной связи уже не нуждающихся в дальнейшем анализе, поскольку должно быть ясно,

⁸ A. Wittenberg. Vom Denken in Begriffen, S. 33.

что именно с ними нужно делать и что́ будет при этом получаться, поскольку, следовательно, к ним будет уже применим критерий практики.

Именно в этой проверке всей практикой человечества, в том числе и всей историей науки — историей ее успехов и ее ошибок — и состоит подлинный анализ утверждения о том, что человек познает с помощью науки внешний мир, который он, подчеркиваем, не только познает, но и преобразует, а точнее: для того и познает, чтобы уметь преобразовать. И никакого «предварительного» анализа комбинации слов «внешний мир» и выражения их с помощью каких-нибудь других терминов для этой проверки отнюдь не требуется.

Конечно, критерий практики не есть «палочка-выручалочка», которая дает окончательные ответы на все трудные вопросы науки. Этот критерий, говорит Ленин, «никогда не может по самой сути дела подтвердить или опровергнуть *полностью* какого бы то ни было человеческого представления». Но науке на самом деле этого и не надо; ведь это означало бы в действительности конец всякой науки, остановку ее развития. «Этот критерий, — пишет далее В. И. Ленин, — тоже настолько «неопределенен», чтобы не позволять знаниям человека превратиться в «абсолют», и в то же время настолько определен, чтобы вести беспощадную борьбу со всеми разновидностями идеализма и агностицизма»⁹.

На фактах истории позитивизма мы еще и еще раз видим, сколь справедливы все эти указания Ленина и сколь безысходен тот тупик, в который попадает позитивизм в результате отказа от критерия практики.

Как мы уже видели, новейший позитивизм возражает против всякого выхода за пределы совокупности наших понятий и требует в целях их обоснования одновременного критического анализа их всех. Но в таком случае получается старая кантианская идея о непознаваемости внешнего мира, только еще более усиленная, поскольку, как это явствует из провала кантианских идей обоснования математики с помощью концепции непосредственно очевидного знания, отрицается вообще

⁹ В. И. Ленин. Соч., т. 14, стр. 130.

всякая возможность какого бы то ни было содержательного познания, в том числе даже и с помощью критического анализа понятий.

Действительно, с одной стороны, объявляется, что для того, чтобы иметь право пользоваться каким-нибудь понятием, его нужно подвергнуть «методическому сомнению», то есть проанализировать (выяснить, уточнить) в терминах других понятий. Но, с другой стороны, чтобы доказать правомерность самой этой постановки вопроса, ее нужно... Что же нужно? Если ее нужно проанализировать (выяснить, уточнить) в терминах других понятий, чтобы установить, является ли она правильной, то, значит, мы уже считаем — и притом считаем а priori, без всякого обоснования, — такую постановку вопроса правильной, так как пользуемся ею же самой как основанием для ее дальнейшего анализа.

Если же названную постановку вопроса анализировать не нужно, если правильность ее не нуждается в обосновании, то есть она является верной а priori, то, значит, она неверна, так как она говорит именно о том, что нет ничего верного а priori, что все нужно анализировать.

Возникающее таким образом противоречие, аналогичное так называемым парадоксам теории множеств, А. Виттенберг истолковывает как принципиальную неразрешимость проблем теории познания, в том числе и проблемы осмысленности понятий, с претензий на разрешение которой начиналась вся история неопозитивизма. Это противоречие свидетельствует, с его точки зрения, о «полном фиаско всех наших стремлений к познанию». «Перед нами, — говорит он, — не открывается ни одной двери к истинному познанию. Змей обманул Еву»¹⁰. Даже самоубийство, добавляет он, не представляет выхода из этого положения, потому что и для его выполнения нам нужно некоторое «знание», «то самое «знание», несовершенство и недостоверность которого должны были бы побуждать нас к самоубийству»¹¹.

И Виттенберг ищет выхода на путях не знания, а «полупознания», догматически утверждая со ссылкой на

¹⁰ A. Wittenberg. Von Denken in Begriffen, S. 230.

¹¹ Ibid., S. 233.

математику, что мы вынуждены мыслить в каких-то частично осознанных, частично неосознанных «сплетениях значений» (Bedeutungsgewebe), в которых отдельные понятия не имеют точного смысла, но как-то определены своею ролью во всем сплетении в целом, наподобие того, как это происходит в математике, где каждое понятие «определяется» лишь неявно — аксиомами, в формулировке которых оно входит.

«Мы *должны* мыслить в этих сплетениях значений,— говорит А. Виттенберг, подчеркивая при этом слово «должны», — потому что они являются интегрирующей частью нашего мышления, с которым мы себя обнаруживаем и от которого нам не просто освободиться»¹². От аксиоматики и связанных с ней идей Р. Карнапа о произвольности выбора «языка» и соответствующей ему аксиоматически строящейся (исходя из произвольных аксиом и правил вывода) формальной системы эта «полупоэзия» отличается тем, что претендует на объективность, состоящую в том, что — сознательно или подсознательно—мы *вынуждены* пользоваться именно теми «сплетениями значений», которые заложены в нас. В доказательство того, что дело обстоит именно так, Виттенберг ссылается на канторовскую теорию множеств, которой-де математики не могут не пользоваться, несмотря даже на обнаруженные в ней противоречия и на то, что ее понятия имеют настолько абстрактный характер, что их не удастся связать ни с какими конкретными прообразами.

В действительности все это попросту неверно. Прежде всего математики отнюдь не вынуждены пользоваться так называемой «наивной» канторовской теорией множеств. В конструктивной математике такое «пользование» вообще не имеет места, хотя конструктивное направление в математике очень успешно развивается, особенно у нас, в Советском Союзе. Далее, теория множеств пользуется успехом в математике именно потому, что допускает самые разнообразные приложения во всех областях математики, в свою очередь широко используемые в других науках — особенно в физике и в технике. Здесь прежде всего нужно указать на теорию вероятностей, в основе которой лежит метриче-

¹² А. Wittenberg. Von Denken in Begriffen, S., 299.

ская теория множеств и которая применяется буквально во всех областях науки и техники.

Вся вообще так называемая классическая математика — математический анализ, теория дифференциальных и интегральных уравнений, функциональный анализ, современная алгебра и топология — строится на основе канторовской теории множеств, которая через эти науки и их приложения и получает практическое подтверждение. При всей своей абстрактности теория множеств, таким образом, также проверяется в конечном счете практикой, так что претензии Виттенберга на то, чтобы видеть в ней только систему не имеющих выхода вовне абстрактных понятий, придуманных нами путем извлечения их из каких-то «сплетений значений», заведомо не обоснованы.

Наоборот, если исходить из аргументации Виттенберга и, — ссылаясь на то, как фактически мыслит будто бы большинство математиков, — считать нас вынужденными, не обращаясь к приложениям, признавать научную обоснованность теории множеств, объективность ее понятий, то что же мешает, — ссылаясь аналогичным образом на то, что в капиталистическом мире-де «большинство» людей «мыслят» в терминах Ветхого завета и Евангелия, — что же мешает, повторяю, признать «научную обоснованность» богословия, «объективность» его понятий?

Мы видим, таким образом, как отказ от материалистического критерия практики лишает ученого возможности защитить науку от фидеизма.

В заключение замечу, что А. Виттенберг в своей книге довольно последовательно подвел итог всей истории попыток неопозитивизма замкнуть науку в самой себе, отгородить ее от выхода вовне, во внешний мир, в практику. Вопреки своему желанию автор этой книги наглядно показал всю безнадежность и тщетность всех такого рода попыток, что замечательно предвидел В. И. Ленин.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОЗИТИВИЗМ И ИРРАЦИОНАЛИЗМ

Исследование вопроса о месте позитивизма в совокупности течений всей буржуазной философии современности имеет большое методологическое и теоретическое значение.

Важнейшим методологическим принципом анализа буржуазной философии эпохи империализма В. И. Ленин считал раскрытие связей махистской формы позитивизма с ее остальными направлениями. В заключении к своему гениальному труду «Материализм и эмпириокритицизм», уточняя точки зрения, с которых марксист должен подходить к оценке махизма, Ленин писал: «...необходимо определить место эмпириокритицизма, как одной очень маленькой школки философспециалистов, среди остальных философских школ современности»¹.

Выдвигая это требование, В. И. Ленин исходил не только из общеметодологических посылок материалистической диалектики, обязывающих рассматривать любое явление в связи и взаимодействии с другими родственными явлениями, но и из конкретных особенностей развития буржуазной философии в эпоху империализма и из специфических задач анализа и критики современного позитивизма и позитивистской ревизии марксизма.

Формулируя это требование, Ленин подчеркивал, что в условиях XX в. диалектическому материализму противостоит объединенный лагерь буржуазного идеализма. Если в прошлом борьба материализма с идеализмом происходила в пределах одного классового мировоззрения и наряду с буржуазным идеализмом существовало развитое и полнокровное направление буржуазного материализма, то можно сказать, что в определенном

¹ В. И. Ленин. Соч., т. 14, стр. 342.

смысле в современных условиях имеет место своеобразная качественная однородность мировоззрения буржуазии. Наличие внутри него десятков конкурирующих между собой школ и направлений не подрывает справедливости этого общего вывода. Общность исходных позиций в решении основного философского вопроса (идеализм и агностицизм), общность социально-классовых функций (апологетика отжившего свой век общественного строя) создают фактическое взаимодействие между различными школами современного идеализма, доходящее до их взаимопроникновения.

Марксистский анализ этих взаимодействий имеет принципиальное значение для разоблачения буржуазных и ревизионистских теорий относительно общего характера буржуазной философии эпохи империализма и внутренней логики ее развития. Феноменалистский подход к ее истории приводит буржуазную историографию к выводу, согласно которому борьба материализма и идеализма в современной философии «снята» и уступила свое место борьбе иных философских тенденций. Многие буржуазные теоретики выдвигают в качестве основного противоречия историко-философского процесса начиная со второй половины XIX в. противоречие «научного позитивизма» (сциентизма) с так называемой «объективно-идеалистической метафизикой».

Порочная в принципиальном и фактическом отношении схема развития буржуазной философии второй половины XIX в. — первой половины XX в., согласно которой позитивизм и «метафизика» выступают в качестве основных враждующих течений, получила широкое признание в буржуазной историко-философской литературе.

В. И. Ленин, формулируя свое требование анализа связей различных направлений буржуазной философии XX в., выступал прежде всего против подобных феноменалистских схем. Ленин убедительно доказал родственность внешне очень далеких друг от друга школ современного идеализма, раскрыл, что борьба позитивизма с «метафизикой» и откровенным фидеизмом на поверку оказывается «борьбой» мнимой, за которой кроется единая для ее участников партийная позиция, так что между ними не только возможен, но и действительно существует «трогательный союз».

Анализ этих взаимодействий позволил Ленину сделать вывод об объективной социально-классовой роли эмпириокритизма, сводящейся, в частности, «к прислужничеству фидеистам в их борьбе против материализма вообще и против исторического материализма в частности»².

Данная статья ставит своей целью дать краткий анализ взаимоотношений, существующих в настоящее время между позитивизмом и иррационализмом — одним из наиболее реакционных направлений философии империалистической буржуазии. Выбор данной проблемы в качестве объекта исследования не случаен. Иррационализм в наиболее концентрированном виде выражает упадочные черты буржуазной идеологии и культуры эпохи империализма. Откровенная антинаучность и мистицизм, болезненный субъективизм, разрыв с прогрессивными традициями классического философского наследия, проявляющийся в декадентском «модернизме», — все это делает иррационалистскую философию типичным продуктом разлагающейся буржуазной культуры. Именно поэтому анализ теоретических связей этой философии с современным позитивизмом приобретает особое значение для определения социально-классового и гносеологического содержания и тенденций эволюции последнего.

* * *

*

Иррационалистические мотивы особенно наглядно проявляются в ряде школ буржуазной философии конца XIX — начала XX вв., а именно в немецкой «философии жизни» (Ницше, Дильтей, Зиммель, Шпенглер и др.), в интуитивизме (Бергсон, Лосский, Франк), в джемсовском прагматизме, во фрейдизме и в современном экзистенциализме (Хайдеггер, Ясперс, Марсель и др.). Все эти школы, вместе взятые, и составляют широкое направление иррационалистической философии XX в.

Внешне иррационализм и позитивизм представляют собой два резко противопоставленных друг другу на-

² В. И. Ленин. Соч., т. 14, стр. 343.

правления буржуазной философской мысли, как бы два ее полюса. Не ставя своей задачей дать полный обзор всех тех противоречий, как кажущихся, так и действительных, которые существуют между позитивизмом и иррационализмом, наметим здесь только некоторые наиболее характерные из них.

Позитивизм рассматривает себя как философию, органически связанную с наукой. Еще в 30-х годах один из пропагандистов идей «Венского кружка» — Ф. Франк, указывая на сугубо научную ориентацию философии позитивизма, писал: «Мы хотим для того, чтобы ввести термин, который бы отличал новую философию (неопозитивизм. — Ю. А.) от старой, обозначить ее как «научное миропонимание», подчеркивая тем самым, что эта новая философия не признает никакого другого познания, кроме научного»³. В еще более резкой и уже чисто позитивистской форме эту же самую мысль выражает Б. Рассел в своей статье «Логический атомизм». Длительные занятия в области исследования оснований математики, пишет он, привели его к выводу, что «взгляд на философию как на нечто отличное от наук и обладающее своим собственным методом является не чем иным, как очень неудачным выводом из теологии»⁴.

Сопоставим эти высказывания основоположников современного позитивизма с иррационалистическими теориями отношения науки и философии. Одной из основных «болезней» всей новой и новейшей философии современные экзистенциалисты считают то, что в ней, начиная с Декарта, укоренилось искаженное понимание взаимоотношения философии и науки. В книге Ясперса «Декарт и философия», специально написанной для того, чтобы проследить исторические корни этого «искажения», пропагандируется взгляд, согласно которому главной «ошибкой» Декарта в области философии было стремление слишком тесно сблизить ее с наукой. Декарт, по мнению Ясперса, проглядел «принципиальное» отличие научного и философского познания мира. Джемс Коллинс, комментируя ясперсовскую оценку философии Декарта, пишет: «Декарт оказался под таким сильным воздействием своих успехов в области

³ «Erkenntnis», 1931, Bd. 1, S. 131.

⁴ «Contemporary British Philosophy», v. II. London, 1924, p. 361.

аналитической геометрии, что он стремился построить философию по принципам «универсальной математики». Хотя он сам и проводил разграничение между специальными науками и философией, все же он считал, что и в философии должны иметь место математические понятия очевидности и ясности. Декарт абсолютизировал конкретную научную методику настолько, что он построил философию, используя научные формы. Капитулировав перед всемогуществом научного познания, он не смог построить ни науку, ни философию. И та и другая оказываются у него лишь призраками истинной науки и философии, так как они слишком тесно взаимосвязаны»⁵. По Ясперсу, именно Декарт — главный источник типичной для современности переоценки науки, которую он называет «научным суеверием». Эта переоценка в области философии заключается в смешении ее с наукой. «Громадное» значение Ницше и Кьеркегора К. Ясперс усматривает в том, что они восстали против этого «научного суеверия» и решительно подчеркнули полную независимость философского познания от познания научного.

Из сопоставления позитивистских и иррационалистических теорий соотношения философии и науки легко сделать следующий вывод: современный позитивизм стремится растворить философию в конкретно-научном познании, рассматривая ее как определенную функцию научного мышления (логико-семиотический анализ), а экзистенциализм усматривает принципиальное различие между научным и философским мышлением. И та, и другая точки зрения являются в действительности ложными, но это обстоятельство, естественно, не снижает их взаимной полярности.

Одной из основных особенностей позитивистской философии современности является то, что гносеологические принципы неопозитивизма объявляют «бессмысленными» все суждения оценочно-нормативного порядка. По мнению неопозитивистов, научно осмысленное суждение может только констатировать факт. Это и происходит в так называемых протокольных предложениях, являющихся фундаментом науки. Содержание

⁵ J. Collins. Wissenschaft und Philosophie bei Jaspers. Сб. «Karl Jaspers», Stuttgart, 1957, S. 107.

оценочного суждения иное. Оно не только констатирует факт, но и стремится показать совместимость или несовместимость данного факта (поступок, художественный образ и т. д.) с определенной этической или эстетической нормой. Очевидно, что нормативное суждение всегда выходит за рамки простого описания фактов. Поэтому неопозитивизм, основываясь на мнимообъективном, эмпирическом подходе к действительности, радикально устраняет все оценочно-нормативные суждения из философии. В статье Р. Карнапа «Преодоление метафизики посредством логического анализа языка» мы сталкиваемся именно с такой постановкой вопроса: «...отрицательный приговор распространяется также на *нормативную* или *ценностную* философию, на всякую этику и эстетику как нормативную дисциплину. Ибо объективная действительность ценности или нормы не может быть эмпирически верифицирована или же выведена из эмпирических предложений; ее вообще нельзя выразить через осмысленное предложение. Скажем все это иначе: или за «доброе», «прекрасное» и другие предикаты, употребляемые в ценностной философии, принимаются эмпирические явления, или же этого не делается. В первом случае подобное суждение будет эмпирическим, фактическим, но не оценочным, во втором случае оно будет кажущимся, метафизическим. Суждение, которое выражало бы оценку, вообще нельзя образовать»⁶.

Если характерной особенностью неопозитивизма является полное устранение оценочно-нормативных компонентов из мышления и культуры и выдвижение концепции чисто описательного знания и науки, то иррационализм стоит на совершенно противоположных гносеологических позициях.

В. Дильтей, выдвигая задачу гносеологического обоснования «наук о духе» (этим термином он обозначает совокупность гуманитарных дисциплин), видит одну из их главных особенностей в том, что все они являются в той или иной степени нормативными. Гуманитарные науки никогда не занимаются только простым описанием фактов. Отражая структуру общественно-исторической жизни человека, они от простого описания

⁶ «Erkenntnis», 1931, Bd. 2, S. 220.

фактов необходимо переходят к их оценке, с точки зрения определенного социального идеала, а затем к формулировке целей, стоящих перед историческим развитием человечества, к учениям о способах достижения этих целей. Теория познания гуманитарных наук, считает В. Дильтей, не может ограничиться простым исследованием способов познания *существующей* исторической действительности. Она должна включить в себя в качестве важнейшего компонента теорию ценностей, то есть тех общественно-исторических идеалов, с точки зрения которых оцениваются существующие исторические факты. Теория познания гуманитарных наук должна органически слиться со всеобщей аксиологией.

Порочность аксиологической (ценностной) гносеологии В. Дильтея заключается не столько в этой сформулированной в общем виде идее, сколько в совершенно ложной теории происхождения социальных идеалов. В. Дильтей выводит оценочные стороны нашего сознания только из его эмоциональной сферы, и тем самым иррационализирует человеческую оценку действительности. Социальные идеалы, с позиций которых происходит оценка существующих фактов, выводятся им не из отражения объективных социально-классовых условий жизни людей и не из отражения ими действительных исторических тенденций общественного развития. Эти «идеалы» оказываются продуктом неконтролируемых разумом эмоций, порождением некоего мистического, «глубокого» жизненного чувства (*das Lebensgeföhle*). Тем самым «теория ценностей» в гносеологии отрывается от теории отражения, «идеалы» — от общественно-исторической действительности⁷.

В совершенно обнаженной форме мы сталкиваемся с этим противопоставлением в джемсовском прагматизме. В своей работе «Многообразие (форм) религиозного опыта», заслуженно получившей резко отрицательную оценку со стороны В. И. Ленина, В. Джемс прямо противопоставляет так называемые экзистенциальные суждения (суждения, констатирующие существование тех или иных фактов) суждениям оценочным. Противопо-

⁷ См. И. С. Кон. Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли. Соцэкгиз, М., 1959, стр. 107—108.

лагая эмоциональную «ценность» религиозного «опыта» его объективному предметному содержанию, Джемс готов оправдать любую религию, как бы ложна и далека от действительности она ни была сама по себе, если только она несет в себе «ценные» в эмоциональном отношении внутренние переживания. «Наша теория установит, — писал В. Джемс в этой связи, — что книга может быть откровением, несмотря на ошибки, случайные настроения и свободное человеческое творчество (читай: вымыслы и порождения болезненной фантазии. — Ю. А.) лишь бы только она была правдивым изображением внутреннего опыта, приобретенного духовно одаренными людьми в горниле великих кризисов их жизни»⁸.

Таким образом, как и в случае с отношением философии к конкретным наукам, мы можем констатировать, что позитивизм и иррационализм занимают внешне противоположные гносеологические позиции. Для позитивизма характерен «идеал» чисто описательного эмпирического знания, при полном устранении из науки всяких нормативно-оценочных компонентов. Для иррационализма — абсолютизация в том или ином виде концепции ценностей, в предельных случаях (Джемс) приводящая к полному устранению от вопроса о соответствии мысли фактам.

И, наконец, к двум названным противоречиям можно прибавить очевидное противоречие узкого позитивистского гносеологизма, радикально исключающего широкие мировоззренческие обобщения из философии, со стремлением иррационализма возродить «метафизику» как общеполитическую теорию действительности.

Все вышесказанное не может не создавать впечатления, что в лице позитивизма и иррационализма мы имеем два сугубо противоположных по своим устремлениям и идеям направления современной буржуазной философии. Эти внешне резкие противоречия дают основание многим представителям позитивистской философии современности рассматривать иррационализм в качестве своего крайнего антипода.

⁸ В. Джемс. Многообразие религиозного опыта. СПб., 1910, стр. 3.

Когда Р. Карнапу, например, понадобилось в уже цитированной нами статье привести образец типично бессмысленного философского высказывания, он процитировал печально знаменитое хайдеггеровское положение о «Ничто», аннигилирующем самого себя («Nichts nichtet»).

В особенно рельефном виде эта резко отрицательная и субъективно совершенно искренняя оценка иррационализма содержится в «Истории западной философии» Б. Рассела.

Вот что, например, Рассел пишет об антиинтеллектуализме А. Бергсона: «Одно из печальных последствий антиинтеллектуальной философии типа бергсоновской заключается в том, что она процветает на ошибках и путаницах интеллекта. Поэтому подобная философия приводит к тому, что плохое мышление предпочитают хорошему, что всякое временное затруднение провозглашают неразрешимым и всякую глупую ошибку считают выявляющей банкротство интеллекта и триумф интуиции»⁹.

Весьма характерным для расселовской критики иррационализма является и то, что он в ряде случаев очень ясно видит реакционные политические связи этой философии. В бергсонианстве Рассел совершенно справедливо усматривает философию тех консервативных политических движений французской истории XX в., которые достигли своей кульминации в Виши.

Все это вместе взятое как будто бы ставит под сомнение справедливость нашего вывода относительно глубокой качественной однородности философии империализма, о наличии внутренних (положительных) взаимодействий между позитивизмом и иррационализмом. Однако теоретический анализ содержания этих крупнейших направлений современной буржуазной философии, равно как и исследование генезиса современного иррационализма, со всей очевидностью показывают их органическую взаимосвязь.

При исследовании теоретических связей и взаимодействий позитивизма и иррационализма чрезвычайно

⁹ Б. Рассел. История западной философии. ИЛ, М., 1959, стр. 811.

важно искать их источник не в области отдельных частных положений этих философских направлений, а в сфере принципиальных обобщений относительно характера и природы человеческого познания, то есть тех обобщений, в которых как раз и проявляется существо данных направлений. Только в этом случае вывод о прямом и непосредственном влиянии позитивизма на современный «расцвет» иррационалистических теорий познания был бы по-настоящему доказателен.

Это положение, естественно, ставит вопрос, что же должно считаться основным теоретико-познавательным принципом позитивизма? М. Шлик называет «ядром любого позитивистского учения» так называемый принцип «непосредственно данного»¹⁰. Анализ его гносеологического содержания убеждает нас в том, что под ним понимается феноменалистская, восходящая к Юму версия принципа опытного происхождения всех знаний. Так, Б. Рассел, употребляя понятие «непосредственно данного», разделяет все знания на два класса: на знание первичное, исходное, составляющее фундамент всякого знания, и на знание вторичное, производное. Знание первого класса, получаемое без помощи логического вывода, а потому и застрахованное от возможности логических ошибок, он называет «непосредственно данным». Таким знанием оказывается «знание», данное в форме простого чувственного восприятия. Задачей теории познания в свете этого разграничения исходного и выведенного знания делается проведение строго эмпирической точки зрения, согласно которой все логическое (вторичное) является либо простым суммированием, ассоциацией «чувственного» (Милль, Мах и др.), либо же формальной языковой структурой, содержанием которой оказывается «чувственное» (Карнап, Гемпель).

Однако позитивистский принцип «непосредственно данного» не только стремится установить определенный теоретико-познавательный порядок происхождения наших знаний о действительности, что составляет его сенсуалистическое содержание. «Их общим убеждением,— пишет швейцарский исследователь позитивизма Г. Гэберли, — является то, что «непосредственно данное»

¹⁰ «Erkenntnis», 1931, Bd. 2, S. 7.

существует только как «переживаемое» (Корнелиус). Сказать, что нечто «непосредственно дано» означает сказать, что оно «непосредственно переживается» (Корнелиус). Единственно, что нам известно и дано, — это «процессы сознания» (Шлик), «поток переживаний» (Карнап). «Единственным данным» — говорит Г. Ган, — является индивидуально воспринятое, непосредственно мной переживаемое»¹¹.

Таким образом, принцип «непосредственно данного» оказывается не просто выражением сенсуализма в области теории познания. Он вместе с тем включает в себе и откровенно феноменалистское содержание. Для позитивизма «непосредственно достоверным», исходным оказывается не существование объективной реальности, отражаемой нашей психикой, а сама эта психика, «переживания» субъекта. Спекулируя на опосредованном характере нашего знания внешней действительности, современный позитивизм делает психологическую реальность «переживания» единственным критерием реальности объекта или факта (существует лишь то, что как-то переживается, осознается мною). И на этой основе неопозитивизм либо превращает объективную действительность в простую логическую конструкцию из «первичных», психических в своей основе «элементов опыта», либо же становится на агностическую позицию так называемого «онтологического воздержания» (концепции непознаваемости источника ощущения).

Совершенно очевидно, что принцип «непосредственно данного», взятый в его феноменалистском содержании, теряет свое узко гносеологическое значение и представляет собой определенное мировоззренческое утверждение, будучи органически связан с решением основного вопроса философии. Именно поэтому исследование теоретических связей позитивизма и иррационализма представляется целесообразным осуществить как исследование той роли, которую сыграл позитивистский феноменализм в возникновении иррационалистических концепций современной буржуазной философии¹².

¹¹ Н. Haеberli. Der Begriff der Wissenschaft im logischen Positivismus. Bern, 1955, S. 41.

¹² Критику позитивистской феноменалистической теории опыта см. в работе: И. С. Нарекий. Очерки по истории позитивизма. Изд-во МГУ, стр. 150 и далее.

Прежде чем обратиться к анализу влияния позитивистского принципа «непосредственно данного», позитивистской теории опыта на возникновение иррационалистической философии современности, нам бы хотелось в общем плане поставить важный вопрос о том, заключены ли в позитивистской концепции опыта самой по себе, безотносительно к тем историческим формам, в которых она выступала в новейшей и современной буржуазной философии, некоторые принципиальные теоретические возможности для иррационализации познания и действительности?

В позитивистском феноменализме ощущение, опыт, лишенные своей отражательной природы, приобретают гносеологический статус *объекта* познания. Этот вывод легко подтвердить, рассмотрев главные «идеи» юмистского феноменализма, который, как известно, является основным идейным источником позитивистской теории опыта.

Борясь с материалистической теорией познания Локка, согласно которой ощущение, возникающее в результате воздействия материального объекта на нашу психику, представляет этот объект в сознании и является как бы копией его (теория первичных качеств Локка), Юм устраняет из своей теории познания понятие объективной реальности, отражаемой ощущениями. Однако Юм не выбрасывает целиком из своей теории познания те *отношения*, которые у Локка существуют между материальным объектом и ощущением. Из «первого принципа» его теории познания мы узнаем, что ощущения являются *причинами* наших идей, а последние — *копиями* первых. Таким образом, Юм просто «передвигает» локковский репрезентационизм в сферу сознания, так что ощущение в его философии занимает положение объекта познания.

На этой теоретико-познавательной базе и складывается одна из порочнейших гносеологических антиномий позитивизма. С одной стороны, подобная теория опыта психологизирует объективную действительность, так как объектами познания в ней объявляются не предметы и отношения материальной действительности, а ощущения «внешнего и внутреннего» чувства. С другой же стороны, грубо искажая отражательную природу ощущений, она лишает его всякой специфически психо-

логической реальности, так сказать, депсихологизирует ощущение. Ощущение превращается из средства познания, из *субъективного* образа объективного мира в *независимый от человека* «объект».

К каким же иррационалистическим следствиям может привести подобная «подстановка» ощущения на место объекта познания, позитивистская концепция опыта?

Одним из серьезнейших затруднений, с которым сталкивается позитивистская гносеология, является проблема *адекватности* чувственного опыта. Очевидно, что теоретико-познавательные принципы позитивистского феноменализма закрывают для него какие бы то ни было возможности научного решения данной проблемы. Ощущение, рассматриваемое «в себе», как «непосредственно данное» не может быть ни истинным, ни ложным. Позитивизм решительно отвергает применимость этих категорий к чувственной ступени познания.

Таким образом, позитивистская теория опыта не только снимает принципиальные различия между объектами и фактами сознания субъекта, но и не может отграничить истинное восприятие (опыт) от ложного в пределах самого сознания. Любое переживание, любой опыт, если он обладает психической реальностью, то есть существует как факт сознания, оказывается вполне приемлемым с точки зрения феноменализма. Опыт, лишенный своего объективного содержания, рассматриваемый только со стороны его психической, а не гносеологической реальности («антинормативно»), естественно, не может служить действенным критерием отграничения научного отношения к действительности от спекулятивного и мистического отношения к ней. «Переживания» мистиков и духовидцев в качестве психологического факта обладают не меньшей реальностью, чем «запротоколированный» опыт экспериментатора. И только натуралистические и рационалистические «предрассудки», от которых не всегда избавлялись представители позитивизма, а не внутренние принципы его гносеологии позволяют ему отграничить себя от «мистического опыта». Таково одно из иррационалистических следствий позитивистского психологизма.

Однако мы знаем, что начиная с махистской философии позитивизм стремился «нейтрализовать» опыт,

представить его как нечто существующее вне связи с сознанием человека, то есть *депсихологизировать* восприятие. Все эти концепции опыта не только лишают восприятие его психической реальности, так как оно отрывается от человека и человеческого мозга, но и *иррационализуют* его. Прямым следствием этой депсихологизации чувственной ступени познания является исключение из нее всяких интеллектуальных компонентов, которые рассматриваются как вторичное и производное, приносимое субъектом в «нейтральный опыт». С категорией «восприятие» во всей ее действительной сложности неопозитивистам поэтому, в отличие от категории «ощущение», делать нечего.

Опыт, взятый в его «нейтральной чистоте», оказывается лишенным какой бы то ни было степени рациональности, а действительность, сведенная к этому опыту, — атомарно-хаотической, бессмысленной и иррациональной.

И, наконец, позитивистский эмпиризм, взятый в его реальном идеологическом содержании, оказывается не столько теорией научного познания, сколько *критикой* науки. Особенно рельефно эта сторона проявилась в махизме и неопозитивизме. Что же следует понимать под термином «позитивистская критика» науки и в какой связи эта «критика» находится с позитивистским эмпиризмом?

Позитивистская «критика» науки заключается в отрицании объективной ценности научных теорий. В. И. Ленин, анализируя методологический кризис физики, писал, что он состоит «в отступлении ее от прямого, решительного и бесповоротного признания объективной ценности ее теорий»¹³.

Революционные открытия в области физики выдвинули перед наукой в качестве одной из центральных проблем вопрос о природе физической теории, о природе физического объяснения и истолкования явлений. Сомнение в объективной значимости понятий физической теории закрадывается тогда, когда сами эти понятия переживают процесс коренной реконструкции. Ретроспективный взгляд на роль этих теорий в историческом развитии науки не может не привести нас к парадоксаль-

¹³ В. И. Ленин. Соч., т. 14, стр. 292.

ному выводу: те понятия, от которых отказывается современная физика, в свое время имели большое эвристическое значение, решительным образом способствовали прогрессу науки. Каким же путем понятия, научную неполноценность и даже ошибочность которых мы с современной точки зрения признаем, могли играть положительную роль в историческом развитии науки?

Ответ на данную проблему, ставшую одной из центральных проблем философии науки XX в., позитивизм находит на путях конструирования строго «описательного идеала» знания. Концептуальная, теоретическая сторона науки для неопозитивизма не более, чем формальная лингвистическая структура, не имеющая никакого объективного значения. Воздействие этой «критики» науки на развитие откровенно иррационалистических и мистических концепций в буржуазной философии XX в. трудно переоценить. Агностицизм — прямой путь к иррационализму.

Подводя итог общему рассмотрению позитивистской концепции опыта, можно сделать вывод, что позитивистский эмпиризм включает в себе принципиальные возможности его иррационалистической интерпретации. Перед нами, однако, не только чисто теоретические возможности. Анализ исторического развития буржуазной философии в эпоху империализма ясно показывает, что «расцвет» откровенно иррационалистических школ в современной западноевропейской философии действительно имеет одним из своих важнейших теоретических источников позитивистский феноменализм.

Рассмотрим теперь, как реализовались эти принципиальные теоретические возможности в истории современного иррационализма.

Мы начнем с анализа влияния позитивистского феноменализма на возникновение «философии жизни» В. Дильтея. Хотя эта философия и представляет собой одно из самых ранних проявлений иррационализма, тем не менее ее влияние остро ощущается в буржуазной философии и по сей день. Отношение к Дильтею как к «Канту исторического мышления», создавшему якобы подлинную гносеологию и методологию гуманитарных наук, усиленно культивируется буржуазной историографией.

В каком же плане позитивистский феноменализм по-

влиял на возникновение концепции В. Дильтея? В отличие от последующих иррационалистов, Дильтей никогда не маскировал своих глубоких симпатий к позитивизму. Рассматривая себя как продолжателя философских традиций историко-романтической школы немецкой мысли первой половины XIX в., он вместе с тем считал не только возможным, но и остро необходимым дополнение ее принципами позитивистской гносеологии. Реформа гуманитарных наук, предпринятая в его философии, мыслилась им как своеобразное сочетание идеалистического историзма с позитивистским феноменализмом «Историческая школа, — писал он в своем «Введении к науке о духе», — до сих пор не ликвидировала те внутренние слабости, которые в самой сильной степени препятствуют ее теоретическому оформлению и ее влиянию на жизнь. В изучении и оценке ею исторических явлений отсутствует связь с анализом фактов сознания, а тем самым это изучение не опирается на единственное, в конечном счете, достоверное знание, короче говоря, в ней отсутствует философское обоснование»¹⁴.

Это философское обоснование Дильтей ищет на путях определенной реформы позитивистской гносеологии. В этом проекте «реформы» позитивистской гносеологии впервые и намечается та тенденция сближения позитивизма и иррационализма, которая стала затем играть столь важную роль в развитии иррационализма XX в.

В чем же состоит эта реформа? «Только во внутреннем опыте, только в фактах сознания, — пишет Дильтей, — нахожу я твердую почву для моего мышления... Все науки являются эмпирическими науками, но всякий опыт получает свою первоначальную связь, а тем самым и свое определенное значение, в рамках нашего сознания, в целостности нашей природы»¹⁵. Таким образом, всякий опыт, по Дильтею, — это не более, чем психологическое явление, зависящее от условий нашего сознания, от целостности нашей природы. Отсюда психология у Дильтея приобретает значение методологической дисциплины, так как она исследует условия и характер опыта, мыслимого в этом сугубо феноменалистском пла-

¹⁴ W. Dilthey. *Gesammelte Schriften*, Bd. I. Berlin, 1922, S. XVI.

¹⁵ *Ibid.*, S. XVII.

не. Миллевский психологизм становится отправной точкой «философии науки» в трактовке В. Дильтея.

Однако, принимая позитивистский феноменализм, Дильтей отнюдь не склонен переносить *вместе* с ним в свою философскую систему «натуралистические пред-рассудки» позитивизма. Критика позитивистского натурализма у Дильтея идет по двум основным направлениям. Во-первых, сохраняя в своей системе подразделение опыта на внутренний и внешний, он, в отличие от Конта, постоянно подчеркивает гносеологический и методологический приоритет первого. Прямым следствием подобной переоценки гносеологической ценности различных родов опыта является подчеркнутый субъективизм дильтеевской концепции. Индуктивному методу объективного наблюдения социальных явлений Дильтей противопоставляет интроспективный метод самонаблюдения.

Сам Дильтей, однако, не считал свою теорию «внутреннего опыта», как преимущественного источника познания социальных и культурных явлений, отрицанием позитивистского феноменализма. В этой теории он видел закономерное, логическое следствие из основных посылок позитивистской теории познания. Позитивистский эмпиризм учит, писал Дильтей, что «наша картина природы является только тенью, отбрасываемой скрытой от нас действительностью, напротив, реальностью, так как она есть, мы обладаем только во внутреннем опыте данных фактов сознания»¹⁶. Таким образом, агностицизм «классического позитивизма» является теоретическим источником дильтеевской концепции «внутреннего опыта» как важнейшего средства познания.

Вторым направлением реформы позитивистского эмпиризма у Дильтея выступает включение в опыт наряду с интеллектуальными познавательными компонентами (восприятие внешнего и внутреннего чувства) эмоций, волевых усилий и т. д. «Эмпирики» сводят опыт только к чистым представлениям. «В сосудах познающего субъекта, сконструированного Локком, Юмом и Контом, — писал он, — течет не реальная кровь, а разжиженный флюид разума. Мои же исторические и психологические занятия цельным человеком привели меня к

¹⁶ W. Dilthey. Gesammelte Schriften, Bd. I, S. XVIII.

тому, что в основу объяснения познания, со всеми его понятиями (такими, как внешний мир, время, субстанция, причина) нужно положить человека во всем многообразии его сил, это волящее, чувствующее, представляющее существо...».

Сам по себе призыв к преобразованию отвлеченной рационалистической теории сознания, предлагаемому этим «расширением» опыта, естественно, не может вызвать возражений. Однако эмоциональные и волевые компоненты сознания мыслятся Дильтеем в их отрыве и структурной обособленности от интеллектуальных его сторон. Отсюда расширение опыта у Дильтея приобретает в конечном счете ярко выраженный иррациональный характер. Познание в его теории становится зависимым от неконтролируемых интеллектом и объективным чувственным опытом стремлений и эмоций личности.

Эта иррационализация познания особенно наглядно видна в дильтеевской теории источников и типов мировоззрений. Разделяя вместе с позитивизмом отрицательное отношение к «метафизике», Дильтей вместе с тем не рассматривает ее как простую аберрацию познающего интеллекта. Он стремится найти тот «метафизический опыт», корнящийся в определенных «глубинах» подсознательного «жизненного чувства», концептуальным выражением которого выступает «метафизика». На этой основе и возникает дильтеевская «психология мировоззрения», играющая громадную роль во всем современном иррационализме.

Как и в случае с интроспекцией, источником иррационалистических «расширений» опыта оказывается все тот же позитивистский феноменализм. Если гносеологическое содержание опыта не составляет отражения объективной действительности, то ограничение его только рамками восприятий и представлений теряет какое бы то ни было познавательное оправдание. Чем более решительно проведен феноменализм в области теории познания, тем менее достоверной и закономерной делается рационалистическая схема сознания. Именно поэтому Вильгельм Дильтей зачастую называет себя более последовательным позитивистом и эмпириком, чем сами позитивисты.

Размеры статьи не позволяют нам дать более развернутую картину многообразных связей, существующих

между «классическим позитивизмом» и иррационализмом В. Дильтея. Однако и того, что было приведено, вполне достаточно для формулировки следующего вывода: дильтеевская «философия жизни», представляющая первое развернутое и теоретически осознанное выражение иррационализма в буржуазной философии эпохи империализма, складывалась не как отрицание, а как доведение до логического конца гносеологических принципов позитивистского феноменализма.

Дильтеевский иррационализм формировался в период абсолютного господства «классического позитивизма». Учитывая исторический релятивизм дильтеевской гносеологии, можно было бы объяснить факт влияния позитивизма на возникновение иррационализма, исходя из некоторых временных особенностей развития иррационалистической философии в Германии. Но тогда нужно было бы допустить, что в современный период, когда абсолютное господство позитивизма — уже дело далекого прошлого (по крайней мере в ряде стран Западной Европы), эта «временная несообразность», заключающаяся в том, что откровенно иррационалистические теории возникают, используя гносеологические принципы позитивистского, «научного» эмпиризма, ликвидирована. На самом же деле это не так. Обратимся к современному нам религиозному экзистенциализму К. Ясперса.

Рассмотрим, например, историко-философскую концепцию К. Ясперса в тех ее частях, которые имеют отношение к проблеме исторических взаимосвязей позитивизма и иррационализма.

Одной из самых главных слабостей основоположника экзистенциализма С. Кьеркегора К. Ясперс считает то, что он, строя систему откровенного мистицизма и иррационализма, недостаточно учитывал научные данные своего времени и полностью исключил «философию науки» из обоснования религиозного экзистенциализма. Это и сделало его философию чуждой духу XIX в. с его культом науки и научного прогресса. Современный экзистенциализм, полагает Ясперс, должен избежать этой ошибки, тем более что нынешнее состояние науки и ее философии является весьма благоприятным для распространения экзистенциализма.

При анализе этого утверждения К. Ясперса чрезвы-

чайно важно помнить одно обстоятельство: для экзистенциализма наука и философия — принципиально различные формы общественного сознания. Они различны как по объекту изучения, так и по методу. Объектом изучения в науке является всеобщее, а личное и индивидуальное играет всего лишь роль примера, иллюстрации. Объектом же изучения в экзистенциалистской философии выступает личность человека в её единичности и неповторимости. Различие объектов создает и различие методов: с одной стороны, объективное наблюдение, ставящее своей целью достичь всеобщую общезначимую истину, с другой стороны, психологическая интроспекция.

Все это, естественно, не может не вызывать вопроса, в каком же плане мыслится Ясперсом включение философии науки в состав религиозного экзистенциализма? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо рассмотреть так называемую ситуационную теорию в философии К. Ясперса.

Принципиальные отличия науки от философии Габриель Марсель выразил следующей фразой: «Наука решает проблемы, философия созерцает тайны». Это разграничение, превращающее философию в простую разновидность мистического созерцания «таинственного», имеет своим важным следствием то, что философия, при таком подходе к ней, лишается всякой историчности.

Неразрешимость философских проблем, их таинственность (для религиозного экзистенциализма это чисто теологические проблемы вечности души, бытия после смерти и т. д.) ставит, по мнению Ясперса, все философские системы на один уровень. Историческое развитие философии для экзистенциалистов лишено прогрессивно-поступательного характера. Аристотель-философ, утверждает Ясперс, столь же поучителен и в наше время, как и в эпоху античности, чего нельзя сказать об Аристотеле-физике. Таким образом, постулирование принципиальной противоположности философии и науки приводит экзистенциализм к крайне антиисторическим воззрениям на характер и сущность философии.

Однако одной из основных особенностей современного экзистенциализма является постоянное заигрывание с диалектикой, конечно, диалектикой, лишенной объективного характера. Теорию вечного, антиисторического

содержания философии Ясперс пытается соединить с так называемой «ситуационностью» философских учений. Хотя проблемы философии и вечны по своему содержанию, повод и форму их постановки дает конкретно-историческая действительность. Совершенно ясна ущербность такого историзма. Получается, что история — это не более, чем внешний повод и внешняя форма для философии.

И вот, подходя к истории современной философии с этой «ситуационной» точки зрения, К. Ясперс формулирует то важнейшее обобщение, которое проливает яркий свет на характер взаимоотношений современного позитивизма и иррационализма.

Попытка Кьеркегора распространить идеи экзистенциалистской философии в XIX в. не могла, по мнению Ясперса, увенчаться успехом, потому что он творил в тот период, когда культ научного знания достиг своего апогея. Созданный декартовской философией, этот культ выразился в глубокой вере в возможность познания объективной истины средствами науки, в теоретической абсолютизации методов и приемов научного мышления, в стремлении видеть в науке важнейшее орудие социального и культурного прогресса.

Отмечая историческую бесперспективность иррационализма в эпоху классической буржуазной философии, К. Ясперс писал: «Когда мы рассматриваем мысль столетий, мы всегда сталкиваемся с одним и тем же явлением: в какой бы форме не возникало это, Другое, противостоящее разуму, в процессе его объяснения оно всегда снова превращалось в разум...

Дело обстоит так, как если бы в основе этой мысли, даже в ее неудовлетворенности, всегда лежала спокойная уверенность в разуме, который никогда полностью и радикально не ставился под сомнение... Контрдвижения против рациональности напоминали отдаленные раскаты грома, которые возвещают приближающуюся, но еще не разразившуюся бурю»¹⁸. Такова великая историческая традиция западной философии, по мнению Ясперса.

XX в., считает Ясперс, в этом отношении резко отличается от XIX в.: «Нечто чудовищное произошло в бы-

¹⁸ К. Jaspers. Reason and Existence. London, 1950, p. 22.

тии Западного человека: разрушение всех авторитетов, радикальное разочарование во всепобеждающем разуме, распад связей заставляет казаться возможным все, абсолютно все. Книги, изложенные старым языком, представляются нам простой вуалью, которая скрывает силы хаоса от наших озабоченных глаз. В этих работах не заключается для нас никакой иной силы, кроме силы веками длившегося обмана»¹⁹.

Что же является, по мнению Ясперса, теоретическим источником этого «радикального разочарования» в разуме? Ответ Ясперса гласит: осознание наукой ограниченности своей ценности как объективной теории действительности. В лекциях по философии экзистенциализма К. Ясперс объявляет осознание этого факта главнейшим условием всех современных попыток философствования.

Мы видим, что позитивистский скептицизм и релятивизм, пропагандируемый Ясперсом в качестве «научной философии» XX в., становится *философской пропедевтикой экзистенциализма*. Громадной «заслугой» современного позитивизма К. Ясперс считает то, что он «освободил» будто бы философов от веры в принудительность научного познания, научной истины.

Существует двоякого рода принудительность в научном познании: 1) принудительность математического и логического мышления, 2) принудительность эмпирического факта. Эти черты научного познания имели громадную притягательную силу и до сих пор в очень сильной степени препятствовали распространению экзистенциалистской философии. Ныне, вещает Ясперс, положение существенно изменилось. Гносеологические исследования современности показали, пишет Ясперс, что «в математике принудительное знание ведет к исходным постулатам, на которых строится весь вывод. Но последние либо произвольно установлены по правилам аксиоматического метода, а тем самым вся сконструированная система не имеет никакой опоры в самой себе и приобретает значение игры, либо же основываются на наблюдениях, а тем самым лишаются строгой достоверности»²⁰. Нетрудно увидеть в этом рассуждении Ясперс-

¹⁹ K. Jaspers. Reason and Existence. London, 1950, p. 23.

²⁰ K. Jaspers. Philosophie, 2-te Aufl. Berlin, 1948, S. 77.

са прямое отражение позитивистского конвенционализма и скептицизма.

Аналогичным образом Ясперс трактует и проблему принудительного знания факта. При этом он весьма удачно использует основную антиномию психологической концепции факта в позитивизме, так называемой «доктрины sense-data». Эта антиномия состоит в том, что, низводя понятие объективного факта до уровня простого восприятия, а точнее структуры из ощущений, позитивизм не хочет вместе с тем признать всех тех порочных следствий, которые вытекают из этой психологизации объективной действительности. На этой основе и возникают попытки «нейтрализовать» восприятие, сделать его независимым от жизнедеятельности познающего субъекта. Но депсихологизированное восприятие — это не более, чем *contradiction in adjecto*. Оно не обладает никакой реальностью, в том числе и психологической. По своему содержанию это то же, что и «круглый квадрат» А. Мейнонга. Настойчивые попытки позитивистов «Венского кружка» найти абсолютно нейтральный и объективный материал для так называемых «протокольных предложений» не только не увенчались успехом, но, наоборот, лишь усугубили субъективно-идеалистический характер этой школы. После дискуссии о «протокольных предложениях» в неопозитивизме утвердилась предельно релятивистская точка зрения Карнапа, согласно которой выбор «протокольных предложений» произволен и в конечном счете определяется внутренними потребностями теории. В итоге мы получаем следующее основное утверждение радикально-позитивистской точки зрения: то, что мы считаем фактом, в конечном счете определяется потребностями теории. Этот вывод и подхватывает Ясперс. «Отличие действительного восприятия от иллюзии, точность измерения, смысл свидетельства или документа, изменение наблюдаемого объекта посредством самого процесса наблюдения — все это не дано в созерцании, все это определяется теорией, и мы никогда не избавляемся от известной неуверенности, которая и дала повод для возражения: «каждый факт это уже теория»²¹.

²¹ K. Jaspers. Philosophie, 2-te Aufl. Berlin, 1948, S. 78.

Наряду с неопозитивизмом большое значение в оформлении этой части ясперсовской философии науки сыграла «теория идеальных типов» М. Вебера, построенная им для исследования социологических явлений. В конечном итоге получается, что как в случае с математической аксиомой, так и в случае с эмпирическим фактом от субъекта зависит то, что он признает в них за истину. Это и есть согласно экзистенциализму решающее «доказательство» абсолютной свободы и «беспредпосылочности» личности, причем «доказательство», данное в области научного познания, которое всегда до сих пор противостояло субъективизму и произволу. На этой базе и возникают основное содержание философии экзистенциализма, основные его понятия, превращающие субъективизм из гносеологического принципа в принцип мировоззренческий. «Философия науки» ведет к «философии экзистенции», в которой человеческая личность оказывается средоточием всего действительного.

Рассмотрение отношения позитивизма и иррационализма (особенно если напомнить и о той реабилитации иррационализма, которой занялся в начале 30-х годов Р. Карнап, объявив его следствием «чувства жизни») показывает глубокую справедливость ленинского вывода о взаимодействии различных школ современного идеализма. Теоретические расхождения и борьба между этими школами с точки зрения их отношения к диалектическому материализму выступают не как следствие принципиальных теоретических разногласий, а как выражение своеобразного функционального «разделения труда», как выражение частных оттенков в общем русле реакционной философской деятельности, которой занимаются так или иначе все течения буржуазной философии эпохи империализма.

ОБ ОТНОШЕНИИ СОВРЕМЕННОГО ПОЗИТИВИЗМА
К РЕЛИГИИ

Позитивизм — эта своеобразная разновидность агностицизма, представляет собой, по словам В. И. Ленина¹, попытку занять «среднюю» линию между материализмом и идеализмом. Агностицизм, устраняя «вопрос о том, есть ли что за моими ощущениями», «неизбежно осуждает на колебания между материализмом и идеализмом»². Это неизбежно проявляется и в отношении современного позитивизма к религии.

Агностицизм и скептицизм играли далеко не одинаковую роль в разные исторические эпохи общественной жизни. Если до победы буржуазной революции скептицизм Монтеня и Бейля теоретически подрывал доверие к метафизической философии и опиравшейся на нее теологии и подготовил почву для материализма и атеизма французских просветителей XVIII в.³, то после победы буржуазной революции, когда буржуазия становится консервативной, а затем и реакционной, на первый план во все большей степени выдвигается иная сторона агностицизма — недоверие к познавательным силам человеческого разума.

Для отношения агностицизма как формы буржуазной философии к религии характерна двойственность, соответствующая противоречивому характеру развития капиталистического общества. С одной стороны, буржуазия заинтересована в развитии естественных наук для обеспечения потребностей капиталистического производства, а следовательно — в ограничении притязаний религии в отношении науки⁴. Эмпирический агностицизм

¹ См. В. И. Ленин. Соч., т. 14, стр. 3, 21.

² Там же, стр. 55.

³ Ср. К. Маркс и Ф. Энгельс. Святое семейство. Соч., т. 2, стр. 141.

⁴ См. Ф. Энгельс. Положение Англии. XVIII век. Соч., т. 1. Госполитиздат, М., 1955, стр. 601—602.

удовлетворяет этой потребности, объявляя опыт единственным источником знания естественных законов. Скептическая критика религии направлена против религиозного фанатизма, поскольку последний является помехой распространению фактических естественнонаучных знаний. Таким образом, эмпирический агностицизм выступил как особая разновидность стыдливого материализма, способствующая отчасти развитию естествознания при капитализме.

Но, с другой стороны, буржуазия заинтересована в духовном порабощении трудящихся масс с помощью религии, в ограничении прав науки в пользу религии. Эмпирический агностицизм ограничивает науку и разум рамками фактических знаний и объявляет вопросы мировоззрения недоступными для них, тем самым толкая на то, чтобы искать спасения в «религиозной вере».

Скептический аспект агностицизма, направленный против религии, по-видимому, сохраняется до некоторой степени в современном позитивизме и по сей день. Американский философ и журналист Поль Эдвардс в предисловии к книге Б. Рассела «Почему я не христианин»⁵, описывая наступление религиозной идеологии в Англии и США, высказывает мнение, что опубликование этой книги сможет послужить противовесом против религиозного фанатизма. Но весь вопрос в том и состоит, в какой мере философия современного позитивизма может служить оружием против религии.

Известно, что отношения между теологией и логическим позитивизмом в первой половине XX в. были натянутыми⁶, функции теоретической защиты религии выполнял в это время объективный идеализм. У логических позитивистов агностицизм приобрел специфическую форму выражения в виде концепции, квалифицирующей мировоззренческие, в том числе и религиозные вопросы, как «бессмысленные».

В последнее время наблюдается оживление интересов «аналитических» философов к религии⁷, что проявляется

⁵ B. Russell. Why i am not a Christian. London, 1958, pp. V—VI.

⁶ См. A. Flew. Faith and Philosophy. «The Humanist», 1957, v. 72, No. 6, p. 20.

⁷ См. H. D. Lewis. Contemporary Empiricism and the Philosophy of Religion. «Philosophy», 1957, v. XXXII, p. 193.

ся в дискуссиях в университетах, по радио и в печати, в которых аналитические философы участвуют наряду с теологами. С 1955 г. в Англии издается специальная библиотека философии и теологии, авторами которой являются «аналитики» наравне с теологами; ее редактируют А. Флю (позитивист) и Макинтайр (религиозный философ). Библиотека эта, по свидетельству ее редакторов, — «место встречи» современных теологов и «аналитических» философов. Общим для них является то, что они хорошо знакомы с последней «революцией в философии» (так логические позитивисты характеризуют появление своей философии)⁸ и многим ей обязаны⁹.

Мы имеем дело с новейшим религиозно-философским течением, в котором представители современного позитивизма участвуют с целью дать обоснование религии при помощи методов, выработанных «аналитической» философией. Каковы причины возникновения этого течения?

1. Объективный идеализм, учитывая критику «метафизики» логическим позитивизмом, видоизменял свою форму, приспособляясь к методам логического анализа, стремясь «усовершенствовать технику теологического анализа».

2. Теологи стремились к союзу с логическим позитивизмом как с философией, выступающей под флагом современной науки и наиболее влиятельной среди ученых и интеллигенции буржуазных стран (особенно стран английского и немецкого языка).

3. Осуществился «личный союз» религии и «аналитической философии». Последней стали интересоваться и заниматься многие религиозные люди, которые прибегли к попытке «подвести свои верования под принципы новой философии»¹⁰

4. Немалую роль сыграло изменение формы самого неопозитивизма в результате признания его лидерами неудовлетворительности бытовавшей среди неопозитивистов формулировки принципа верификации и ослаб-

⁸ Ср. A. Ayer (ed.). *Revolution in Philosophy*. London, 1956.

⁹ См. A. Flew and A. McIntyre. *New Essays in Philosophical Theology*. London, 1955, pp. V—IX.

¹⁰ A. Flew. *Op. cit.*, p. 20.

ления в связи с этим критики «метафизики». Но задача «логического анализа» по-прежнему рассматривается «аналитиками» как единственная задача философии. Поэтому, поскольку религиозный язык, рассуждает австралийский аналитик Смарт, фактически существует, то анализ его значения — столь же «правомерная задача философа, как и анализ языка науки»¹¹.

5. Еще одну причину возобновления интереса к религии теолог Льюис¹² видит в самой критике религии логическим позитивизмом. Эта скептическая критика, будучи критикой с негодными средствами, не только вызывает эффективный отпор, но прямо-таки усиливает религию, отвлекая внимание от подлинно действенных научных методов критики религии.

Объявляя вопросы мировоззрения недоступными человеческому разуму, позитивизм отрицает возможность рациональной теологии, но поскольку позитивизм враждебен материализму, его критика не поднимается до атеизма. Поэтому позитивизм бессилён против религии, поскольку она апеллирует не к разуму, а к вере. С точки зрения современного позитивизма нельзя даже доказать, что бога не существует. Таким образом, глубоко верными остаются слова В. И. Ленина, что в условиях ожесточенной борьбы идеализма против научного материалистического мировоззрения всякая попытка занять среднюю линию между ними служит одной цели, а именно: расчищать путь фидеизму; что «нейтральность философа» в отношении религии «уже есть лакейство пред фидеизмом»¹³.

Неопозитивисты неоднократно подчеркивали, что они характеризуют утверждения религии как «бессмысленные», то есть как не истинные и не ложные в отношении чувственного опыта, на который опираются положения науки; тем самым они разграничивают сферу науки и религии, относя их к различным областям «опыта»¹⁴.

Один из родоначальников логического позитивизма — Л. Витгенштейн указывал, что наука изучает факты и

¹¹ A. Flew and A. McIntyre. Op. cit., p. 13.

¹² См. *ibid.*, p. 194.

¹³ В. И. Ленин. Соч., т. 14, стр. 329.

¹⁴ Н. Н. Price. Logical Positivism and Theology. «Philosophy», 1935, v. 10, p. 314.

их связь, а не вопрос о том, какова причина мира в целом, относя этот последний вопрос к сфере «мистического», то есть религии¹⁵. Тем самым современный позитивизм в вопросах мировоззрения ставит науку в зависимость от религии.

«Бессмысленность» (научная неосмысленность) согласно точке зрения логического позитивизма означает неопровержимость средствами чувственного опыта. Поэтому эта точка зрения освобождает теологов от необходимости доказывать свои положения. Так как логические позитивисты признают «бессмысленными» вопросы мировоззрения вообще, то, по их мнению, «бессмысленны» не только опровержения со стороны атеиста, но и сомнения, высказываемые скептиком¹⁶ в отношении истинности религии. Это мнение совпадает с точкой зрения некоторых апологетов религии, которые, следуя формуле Тертуллиана («Верую, потому что нелепо»), утверждают, что сердцевину религии составляет иррациональный элемент, не поддающийся концептуализации¹⁷. В результате теологи и современные позитивисты в одинаковой мере приходят к мнению, что позитивизм неправильно считать врагом религии и что признание религиозных утверждений «бессмысленными» может быть истолковано как нападение на тех, кто извращает религию, как возврат к правильному пониманию религии»¹⁸.

С точки зрения логического позитивизма нельзя избежать признания не только возможности, но и необходимости религии. Люди не могут перестать задумываться над мировоззренческими проблемами, несмотря на то что логический позитивизм считает последние недопустимыми для науки. Поэтому-то Л. Витгенштейн и вынужден был признать мир в целом объектом мистического чувства¹⁹.

¹⁵ См. Л. Витгенштейн. Логико-философский трактат. ИЛ, М., 1958, стр. 96.

¹⁶ Там же.

¹⁷ См. R. Otto. The Idea of Holy. London, 1926.

¹⁸ Th. McPherson. Positivism and Religion. «Philosophy and Phenomenological Research», 1954, v. XIV, pp. 329—330.

¹⁹ См. Л. Витгенштейн. Логико-философский трактат, стр. 97. В. Russell. Religion and Science. London, 1953, pp. 17, 189.

Можно различать следующие типы «анализа» религиозных утверждений современными позитивистами (формы теоретического обоснования религии).

1) Логические позитивисты считали религиозные высказывания наряду с этическими выражающими душевные состояния, а не предложениями, которые либо истинны, либо ложны. Критиками неопозитивизма было признано, что это — ослабленная форма защиты религии, так как эмоция должна быть направлена на какой-либо объект, чтобы не быть фиктивной, и следовательно, в эмотивных выражениях подразумеваются факты, хотя и не в такой форме, как в предложениях науки.

2) Предлагалось рассматривать религиозные предложения как заявления о приверженности определенному образу жизни. Этой точке зрения свойственны те же трудности, что и предыдущей, так как можно считать, что линия поведения правильна тогда, когда она может быть обоснована ссылкой на определенные факты.

3) Пытались искать основу для религиозных утверждений в так называемом «религиозном опыте», который с точки зрения логического позитивизма может быть двух видов: а) так называемые «чудеса», свидетельствующие о вмешательстве сверхъестественных сил в естественный порядок вещей. Логические позитивисты отрицают возможность познания объективных закономерностей природы, и поэтому, с их точки зрения, невозможно строго опровергнуть возможность «чудес», можно говорить только о малой их вероятности. б) Религиозные переживания верующих людей, которые входят в состав их эмоционального опыта. Поскольку опыт в неопозитивизме вообще понимается субъективистски, то неопозитивисты не имеют никаких средств для отличия реального от нереального, для опровержения ссылок какого-либо субъекта на некий мистический, только ему одному доступный опыт общения с богом²⁰.

На подобных «фактах» религиозного опыта уже можно строить всю систему религиозного мировоззрения! Таким образом, на примере современного позитивизма подтверждается положение В. И. Ленина о том, что отрицание объективной реальности обрекает агнос-

²⁰ См. В. Russell. Our Knowledge of the External World. London, 1926, p. 70.

тика на «трусливую терпимость» ко всякого рода обскурантизму, так что философия позитивизма неизбежно открывает дверь для фидеизма.

По признанию апологетов религии, теология выиграла от общения с «аналитической философией». Мало того, «остро нуждалась в помощи логических аналитиков»²¹, и получила ее.

Современный позитивизм участвует в одном из широких и хорошо организованных религиозно-философских течений современности. Заслуги этой философии перед теологией уже позволяют участникам движения говорить о наличии «аналитической философии религии»²² и оценивать логический анализ в словах: «Логика — служанка метафизики»²³, где под последней понимается философия религии, а под первой — философия «логического анализа».

²¹ Th. McPherson. Reason in Religion. «The Twentieth Century», 1957, p. 157.

²² W. A. Christian. Philosophical Analysis and Philosophy of Religion. «The Journal of Religion», 1959, v. 39, p. 84.

²³ J. C. Smart. Metaphysics, Logic and Theology. «New Essays in Philosophical Theology». London, 1955, p. 24.

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ ПОЗИТИВИЗМ

(о позитивистском «анализе» одного из положений
диалектического материализма)

Объективная логика науки уже в XVIII—XIX вв. привела к необходимости рассматривать мир в процессе его изменения, развития. Совместные усилия астрономов и геологов, биологов и философов завершились во второй половине прошлого века распространением теории развития на все области науки. Высшей ступенью в этом идейном движении явилось диалектико-материалистическое понимание развития. Однако характерно, что «положительная философия» XIX в., «первый позитивизм» О. Конта, Дж. Ст. Милля и Г. Спенсера не мог не воспринять эволюционизма. Пусть это осуществлялось в искаженной, метафизической форме, пусть «согласие» позитивистов с теорией развития — «это поверхностное, непродуманное, случайное, филистерское «согласие»; пусть это *того рода* согласие, которым душат и опошляют истину»¹. Здесь для нас важнее другое: в ходе развития позитивизма наблюдается постепенный отказ от идеи развития. Своеобразная «закономерность» позитивизма — отказ от взглядов своих предшественников как «метафизических» — распространяется и на эволюционизм. Уже махисты отвергали эволюционизм Г. Спенсера как «метафизическое построение». Современный позитивизм обвиняет в «метафизичности» махистов; но естественно, что в понимании развития он прежде всего противостоит диалектическому материализму.

Отказ современного позитивизма от теории развития осуществляется по-разному. Во-первых, это производится путем переноса вопроса о развитии исключительно в

¹ В. И. Ленин. Соч., т. 38, стр. 251.

сферу теории познания, где проблема развития подменяется проблемой *предвидения*, решаемой в полном отрыве от рассмотрения объективного процесса развития объективного мира, которое только и может служить теоретической основой научного предвидения². Отметим лишь, что даже в лагере современного позитивизма в настоящее время все чаще раздаются голоса против отрыва в этом вопросе теории познания и методологии от онтологии. Можно сослаться на Д. О'Коннора³, который приходит к необходимости различать возможность предвидения как «эпистемологическую» (теоретико-познавательную) характеристику от детерминизма как характеристики онтологической и ставит проблему связи научного предвидения с познанием объективных причинных процессов. Интересна и постановка вопроса известным американским неопозитивистом Г. Бергманом, который в своей книге «Философия науки» посвятил целую главу понятию «процесса» и связи его с научным методом. Г. Бергман настаивает на полной адекватности и необходимости для науки «реалистического» языка, то есть языка, в котором недвусмысленно выражался бы объективный процесс развития. Противопоставляя «реалистический» язык «феноменалистическому» («я вижу мышь» и «это—восприятие мыши», «This is a mouse-percept» — примеры соответственно первого и второго), Бергман подчеркивает большую научную значимость первого, так как «феноменалистический» язык, позволяя описать явление, не дает возможности объяснить его. Важное значение имеет и положение Бергмана о познании процессов как «открытой системе», то есть системе знания, способной к развитию⁴.

Конечно, мы не можем согласиться с утверждением Бергмана о том, что якобы нет аргументов в пользу понимания мира в целом как «процесса»⁵, с его обвине-

² О позитивистском истолковании процесса развития позитивизмом XIX в. (Г. Спенсер) и сведении исследования проблемы развития к проблеме возможности предвидения см. нашу работу «Идея развития в буржуазной философии XIX и XX вв.», гл. 2 и 5, § 4. Изд-во МГУ, 1962.

³ D. J. O' Connor. Determinism and Predictability. «British Journal for the Philosophy of Science», 1957, v. 7, No. 28.

⁴ См. G. Bergmann. Philosophy of Science. Madison, 1957, pp. 77—105.

⁵ См. *ibid.*, p. 97.

нием Маркса в «холистической путанице» и т. д. Но тенденция Бергмана в целом плодотворна: действительно, оставаясь на феноменалистических, описательных позициях, не учитывая роли объективных закономерностей развития для усовершенствования методов объяснения и научного предвидения, мы обеднили бы наше познание. Но нельзя в то же время не отметить, что идеи Бергмана представляют собою явный отход от позитивизма, свидетельство банкротства его методологических основ.

В настоящей статье мы остановимся на одном типичном приеме неопозитивистского «анализа» понятия «развитие», «процесс». Что значит: «Мир состоит не из предметов, а из процессов»? — так ставится вопрос в одной статье, опубликованной вначале в позитивистском журнале «Анализ» и перепечатанной в сборнике «Философия и анализ» (1954). Эта статья поучительна тем, что ее автор, Маргарет Макдональд, построила очень точную «модель» неопозитивистского взгляда на развитие, направив свои стрелы не против «традиционной философии» вообще, но против вполне определенного противника — философии марксизма.

Объектом своего «анализа» М. Макдональд сделала положение Энгельса о том, что «мир состоит не из готовых, законченных *предметов*, а представляет собой совокупность *процессов*...»⁶ В каком смысле Энгельс употребляет термины «предмет» и «процесс»? Что означает суждение «нет предметов, но только процессы»? Эти и массу других вопросов обрушивает автор на Энгельса и его последователей с целью выявить их противоречия с собою самими и со здравым смыслом.

Во-первых, говорит она, Энгельс не поясняет в «Людвиге Фейербахе», что он имеет в виду под «предметами», «вещами». Но из других его работ ясно, что это «физические объекты»: столы, стулья, машины, скот, человеческие существа, возможно, общества, составля-

В английском переводе, который цитирует М. Макдональд, значится буквально: мир «не должен пониматься как комплекс готовых вещей» (is not to be comprehended as a complex of ready-made things). Хотя это не совсем точный перевод, мы будем употреблять безразлично термины «вещь» и «предмет», цитируя, однако, Энгельса по русскому переводу.

ющие физический мир. Мысль эта направлена против идеализма, отрицающего существование внешнего мира, говорит Макдональд. Но тогда весьма странно, продолжает она, говорить, будто нет домов, столов, деревьев и т. д., но только процессы. Ибо из этого как будто следует, что все другие суждения, которые мы высказываем в обыденной жизни, такие, как «Поезд отправляется из Паддингтона в 10.10», «Этот картофель дешевле того», «В Оксфорде живет более 5000 человек» всегда ложны⁷; если таких «вещей» не существует, то высказывания эти столь же ложны, как и высказывания о кентаврах, морских змеях и греческих богах.

Но не будет ли это искажением мысли Энгельса? Ведь он ясно утверждает, что внешний мир существует, что он воспринимается нами и т. д. Значит, надо искать иной смысл. М. Макдональд цитирует следующий отрывок из «Людвига Фейербаха» — характеристику метафизического метода мышления, «который имел дело преимущественно с *вещами*, как с чем-то готовым и законченным, и остатки которого до сих пор еще глубоко сидят в головах». Она подчеркивает отмечаемую Энгельсом историческую оправданность этого метода; но ныне он устарел. «На определенной стадии в этом прогрессивном движении (развития науки.— А. Б.) мы постигаем, что то, что, как мы думали прежде, является *вещами*, на деле суть комплексы *процессов*, что вселенная на деле есть огромный, сложный процесс, который прогрессивно движется к определенной цели»⁸.

Вот здесь и начинается фальсификация. Мы не станем уже говорить о том, что Энгельсу подсовывается телеологическая точка зрения; отметим, что отрицание Энгельсом понимания вселенной как совокупности «готовых, законченных», неизменных вещей подменяется приписываемым ему отрицанием «вещей» здравого смысла, относительной устойчивости природных образований, абсолютизация которой и приводит, собственно, к метафизике. М. Макдональд хочет противопоставить Энгельсу «суждения здравого смысла» типа «Это—дерево», не желая видеть того, что Энгельс борется с вполне определенным противником — «старой метафизикой», считавшей предметы природы в сущности неизмен-

⁷ «Philosophy and Analysis». Oxford, 1954, p. 287

⁸ Ibid., p. 288.

ными, и противопоставляет ей философию, основанную на естествознании, ставшем в XIX в. «наукой о процессах, о происхождении и развитии этих вещей и о связи, соединяющей эти процессы природы в одно великое целое».

Но оставим на совести г-жи Макдональд, что она противопоставляет положению Энгельса не положение «старой метафизики» о неизменности мира (а таких положений немало можно найти в истории науки и философии), а высказывание «Это — дерево». По ее мнению, с точки зрения Энгельса, высказывание «Это — дерево» есть: (а) утверждение здравого смысла, (b), устаревшая, хотя и исторически оправданная научная гипотеза, (с) метафизическое высказывание. Однако высказывание «Это — дерево» не может быть названо «устарелой научной гипотезой», в отличие от высказывания «Флогистон выделяется горящими субстанциями», это предложение может быть проверено на опыте; достаточно посмотреть и убедиться, дерево ли это. Это высказывание и не ложно, ибо и Энгельс и его последователи не отрицают существования деревьев. Может быть, это высказывание следует более точно сформулировать через посредство понятия «процесс»? Но Энгельс и его последователи не показывают, сетует М. Макдональд, каким образом и при помощи каких экспериментов высказывания о вещах должны быть заменены высказываниями о процессах. Отсюда делается вывод: высказывание «Нет вещей, а есть только процессы» — это «метафизическое», то есть сверхопытное, неverifiedируемое высказывание, и его необходимо отбросить.

Автор поясняет свою мысль на другом примере. Возьмем два предложения: (1) «Киты — млекопитающие, а не рыбы» и (2) «Киты — процессы, а не вещи». Эмпирический критерий первого ясен: необходимо определить, каким образом питаются детеныши китов; если они питаются материнским молоком, то киты — млекопитающие. А второго? Как верифицировать предложение «Кит — это процесс»? Никак, ибо «Нет вещей, но только процессы» и «Кит не вещь, а процесс» не суть значимые (significant) эмпирические высказывания; в них не выражены эмпирические открытия о таких объектах, как киты⁹.

⁹ «Philosophy and Analysis», p. 292.

М. Макдональд подходит к критике положения Энгельса и с другой стороны. Поскольку нет неизменных, постоянных физических объектов, поскольку все такие объекты возникают и уничтожаются, то есть переходят в другие физические объекты, не существует окончательного субстрата, субстанции изменения. «Но это, скажут нам с торжеством, есть как раз то, о чем говорит Энгельс. Нет такого окончательного «материала» (stuff); единственный «материал» есть как раз серия изменений, которым подвергается предмет»¹⁰. Так что же в таком случае отрицается Энгельсом?—риторически спрашивает Макдональд. Ведь и те, кто признает субстанцию, не отрицают, что вещи меняются. «Следовательно, диалектическое отрицание этого и противоположное утверждение, что все, что существует,— это процессы, равно бессмысленны (non-significant). «Нет вещей, но есть только процессы» столь же метафизическое высказывание, как и любое высказывание Декарта или Локка. Нет никаких возможных средств определить эмпирически, что кекс — не вещь, а процесс»¹¹. Равно бессмысленны утверждения философа, который признает, что существует субстанция, но он эмпирически не наблюдал ни одной, и другого философа, который утверждает, что субстанции не существует, и тем не менее не отрицает, что один и тот же объект можно увидеть дважды.

М. Макдональд видит три возможных выхода из сложившейся ситуации. Что мы имеем в виду, утверждая, что нет вещей, а есть только процессы? Что нет сердец, а лишь процессы кровообращения? Но это бессмыслица; есть и сердце и кровообращение. Или что нет постоянной, ненаблюдаемой субстанции, но лишь поток физических изменений? Но это невразумительно, ибо мы ничего не можем знать о «метафизических сущностях». Или же мы предлагаем новую лингвистическую конвенцию, заменяя обычный термин «физический объект» термином «процесс»? Это может быть и полезная конвенция, но тогда нужно перевести на этот новый язык все наши знания. Однако в этом нет никакой настоящей нужды.

¹⁰ «Philosophy and Analysis», p. 293.

¹¹ Ibid., p. 294.

Таков окончательный приговор, произнесенный г-жой Макдональд над знаменитым положением Энгельса. Но так ли он окончателен? Попробуем разобраться в «обвинительном заключении».

Во-первых, «обвинителем» допущена элементарная логическая ошибка — подмена тезиса. Энгельс говорит о несостоятельности метафизического утверждения о фактической неизменности всего существующего. Не будем цитировать вслед за Энгельсом высказывания многих естествоиспытателей и философов, державшихся этого взгляда; достаточно заглянуть в «Диалектику природы». Макдональд же инкриминирует Энгельсу отрицание таких положений здравого смысла, как «Это — дерево» или «Это — поезд». Очевидно, она считает, что Энгельс хотел заменить эти предложения предложениями: «Это — процесс, а не дерево» и «Это — процесс, а не поезд». Однако Энгельс превосходно понимал и прямо указывал, что «в условиях домашнего обихода» полностью применимы «неподвижные категории», «как бы низшая математика логики».

Во-вторых, «обвинитель» хотел бы навязать Энгельсу совершенно чуждую ему мысль о том, что положение «Мир есть процесс» подразумевает наличие какого-то экспериментально неопределимого, «скрытого» «субстанционального изменения» в смысле средневековой схоластики, по ту сторону видимых изменений физических объектов. Но и это — попытка с негодными средствами. Что значит (возьмем довольно нелепый пример «обвинителя») «Кит не вещь, а процесс»? Это значит, если не мудрствовать лукаво, что, во-первых, кит — не раз навсегда данное, неизменное существо; в каждый момент жизни кита в его теле происходят изменения и, строго говоря, с точки зрения материального состава его тело в каждый следующий момент уже не то, в его состав вошли новые элементы, тогда как старые частично отмерли и удалены из тела. Об этом свидетельствует биология, изучающая процессы ассимиляции и диссимиляции. Во-вторых, кит как органический вид не есть нечто раз и навсегда данное; он переживает процесс исторического развития. Об этом свидетельствует биологическая теория происхождения видов. В-третьих, киты включены в обширный, всеохватывающий процесс развития органического мира и Земли в целом, так что,

скажем, если киты будут истреблены, это окажет известное влияние на жизнь в океанах, а следовательно, и на всей нашей планете. И т. д., и т. п.: Что же здесь «метафизического», «неверифицируемого эмпирически»?

М. Макдональд, может быть, скажет, что это «всем известно» и что не стоило из-за этого ломать копья. Но в те времена, когда писал Энгельс, это далеко не всеми разделялось. А если и разделялось, то часто на словах непоследовательно, не до конца. Да и сами возражения г-жи Макдональд свидетельствуют о том, что стоило ломать копья, что и ныне, под прикрытием «здорового смысла» и «логического анализа» протаскивается то же отрицание развития как *мировоззренческого* обобщения. Мы видим эту попытку и в стремлении приписать Энгельсу отрицание субстанциональности, материальности мира, а самого Энгельса превратить в релятивиста типа Берсона. А ведь этого нельзя сделать, не игнорируя основных положений диалектического материализма о соотношении единичного, особенного и всеобщего, об относительной устойчивости и изменчивости в процессе развития и т. д.

В-третьих, наш «обвинитель» спутал понятие «метафизики» в диалектическом материализме и в неопозитивистской философии. А из этого вытекает целый ряд недоразумений в аргументации г-жи Макдональд. Причем важны даже не эти несообразности, а то, что это смешение позволило ей «забыть» о том, что Энгельс отрицает существование не «предметов вообще», а существование метафизически понимаемых, то есть якобы неизменных, раз навсегда данных внеисторических предметов.

Но сколько бы мы ни критиковали несостоятельность «обвинений» в адрес положения Энгельса, выражающего сущность диалектико-материалистической концепции развития (а критику эту можно было бы продолжить), мы не довели бы дело до конца, если бы не спросили, а почему, собственно, положение Энгельса вызвало такую бурную реакцию со стороны г-жи Макдональд, суммировавшей позицию неопозитивизма по этому вопросу. И здесь мы найдем ответ в одной единственной фразе: «псевдоосмысленные утверждения, используемые в качестве политических лозунгов» («pseudo-significant state-

ments used as political slogans»)¹². Вот чего страшится г-жа позитивистка: того, что диалектика, теория развития, утверждающая, что мир — это не совокупность раз и навсегда данных, готовых вещей, но «совокупность процессов, в которой предметы, кажущиеся неизменными... находятся в непрерывном изменении, то возникают, то уничтожаются и что поступательное развитие при всей кажущейся случайности и вопреки временным отливам в конечном счете пробивает себе дорогу» (Энгельс), становится в руках марксистов орудием преобразования мира, лозунгом борьбы пролетариата. Тысячу раз был прав Маркс, сказав, что «в своей рациональной форме диалектика внушает буржуазии и ее доктринерам — идеологам лишь злобу и ужас, так как в позитивное понимание существующего она включает в то же время понимание его отрицания, его необходимой гибели, каждую осуществленную форму рассматривает в движении, следовательно, также и с ее преходящей стороны, так как она ни перед чем не преклоняется и по самому существу своему критична и революционна»¹³. «Капиталистическое общество — не неизменный, раз навсегда данный предмет, но процесс, имеющий свое начало и конец», — вот то суждение, которое на деле беспокоит современного буржуазного философа и которое ему хотелось бы объявить «псевдоосмысленным утверждением, используемым в качестве политического лозунга».

¹² «Philosophy and Analysis», p. 295.

¹³ К. Маркс. Капитал, т. 1. Госполитиздат, М., 1951, стр. 20.

ПОНЯТИЕ ОПЫТА И ЭМПИРИЗМА В НЕОПОЗИТИВИЗМЕ

1. Противоположность материалистического и идеалистического толкования опыта. Гносеологические корни идеалистической интерпретации опыта

Материалистическое понимание опыта предполагает, во-первых, признание первичности объективной реальности по отношению к опыту и, во-вторых, истолкование опыта как объективного, независимого от сознания человека. Опыт — это «то, что существует вне человека и не зависит от его сознания»; «нечто объективное, извне данное человеку», «объект познания, независимый от познания», «опыт есть объект перед субъектом»¹. Таковы прямые, совершенно определенные замечания В. И. Ленина, дающие ясный и четкий ответ на этот вопрос. Опыт может быть понят лишь на основе раскры-

¹ В. И. Ленин. Соч., т. 14, стр. 137, 140, 281, 283. «Если опыт есть «познание объекта», если «опыт есть объект перед субъектом», если опыт состоит в том, что «нечто внешнее (quelque chose du dehors) существует и существует необходимо» (se pose et en se posant s'impose), — то это, очевидно, — писал В. И. Ленин, — сводится к материализму».

Позитивист А. Рей поставил перед собой неразрешимую задачу — «примирить» противоположность материализма и идеализма.

В. И. Ленин писал о его позиции: «С одной стороны, эти дурные фидеисты извратили смысл слова опыт путем незаметных уклонений, отступая от правильного взгляда, что «опыт есть объект»; с другой стороны, объективность опыта значит только, что опыт есть ощущение, — с чем вполне согласен и Беркли, и Фихте!» (Там же, стр. 283).

Позитивист стремится объединить разные точки зрения: с одной стороны, для него «опыт есть объект перед субъектом», с другой стороны, «опыт есть ощущение». Материалист не может одновременно понимать под опытом и то, и другое.

тия связи его с объективной реальностью, с одной стороны, и с практикой — с другой. Уже этимологическое значение слова показывает связь опыта с практическим воздействием человека на условия своей жизни. Опыт должен быть понят как проявление, функция практики².

Идеалистическое, в том числе позитивистское, понимание опыта состоит соответственно, во-первых, в отрицании по сути дела объективной реальности, предшествующей опыту и определяющей всякий опыт, а, во-вторых, в сведении опыта к различным проявлениям сознания — переживаниям, ощущениям, восприятиям, разнообразному психическому материалу.

Опыт существует в человеческом сознании³, говорит Алкье в работе «Опыт». Чтобы получить определение опыта, по Алкье, необходимо по крайней мере обладать одним свойством — быть «предметом констатации», безотносительно к тому, действие ли это, чувство, идея, истина и т. п. С такой точки зрения конструкция, построение ума может быть также непосредственно данным и, следовательно, — опытом. Несколько иной, психологический, аспект рассмотрения обнаруживает Р. Брейн в работе «Природа опыта». Р. Брейн останавливается на «чувственных данных». Он ссылается на определение «чувственных данных» Б. Расселом в 1912 г., предложившим распространить этот термин на вещи, непосредственно известные в ощущении: цвета, звуки, запахи и т. д.⁴ Социальный опыт в целом для идеалиста также психологичен⁵.

Критика В. И. Лениным идеалистического понимания опыта в его разных вариантах направлена и против современного нам идеализма. Сенсуалистические, лингвистические, прагматистские определения опыта широко распространены и в наши дни. Они представляют собой различные способы отождествления опыта с сознанием.

² См. И. Г. Петров. Ленинский анализ «опыта» в философии и критика субъективизма в познании. «Вестн. Моск. ун-та», сер. экон.-филол., 1960, № 1.

³ См. F. Alquié. L'expérience. Presse universitaires de France. Paris, 1957.

⁴ См. R. Brain. The Nature of Experience. London, 1959, p. 9.

⁵ См. C. Hartshorne. The Social Structure of Experience. «Philosophy», 1961, v. 36, No. 137.

Рассмотрим гносеологические корни субъективистского понимания опыта.

Позитивист начинает свое рассуждение с заявления, что всякое познание начинается с образования чувственных впечатлений, целостных восприятий. Эти последние распадаются на простейшие психические процессы—ощущения. Позитивист констатирует, что ощущение—это непосредственное, элементарное. Но он игнорирует, что ощущения непосредственно, элементарно отражают отдельные качества и свойства объективного мира. И эти особенности ощущений идеалисты не преминули использовать в своих целях. Мах сделал немало усилий для доказательства, что раз ощущения соответствуют элементарным свойствам мира, то нет никакой надобности раздваивать мир на субъективный и объективный.

Иногда говорят, что достаточно отбросить идеалистическое использование термина «опыт» и приспособить опыт-ощущение к нашей философии в его материалистическом определении. Действительно, использование термина «опыт» в смысле чувственного знания широко встречается и в материалистической, в том числе марксистской, философской литературе. Применение термина «опыт» как синонима чувственного отражения само по себе не может вызвать возражений, если речь идет лишь о том или другом словесном способе выражения. Одним и тем же словом можно выразить различные понятия: ощущение, восприятие, наблюдение, впечатление, эксперимент и т. д. Этим словом является «опыт». Традиция не может не отразиться на нашем способе выражения известных идей. Но нельзя стихийно сложившуюся традицию, одно из значений слова брать в качестве научного определения философского понятия. Что касается старого, домарксовского материализма, то, с его точки зрения, такое ограниченно-сенсуалистическое представление об опыте вполне логично и закономерно. Его представители не раскрыли в полной мере значения практики в познании, а поэтому толковали опыт как научный эксперимент или как результат воздействия природы на человека, как следствие пассивного отражения человеком действительности. Вот почему «чувственный опыт» и являлся лучшей формой выражения их созерцательной и метафизической концепции по данному вопросу. Однако марксисты не могут

довольствоваться такой ограниченной точкой зрения. Для нас опыт есть воздействие человека на природу, преобразование человеком природы и самого себя.

В опыте устанавливается взаимоотношение объекта и субъекта. Воздействуя определенным образом на объект, сам человек не остается без изменений. В субъекте, в его сознании, представлениях запечатлевается первоначально конкретный чувственный образ действительного опыта. Переживания, ощущения, восприятия — все служит закреплению опыта в сознании людей. Сознание не только фиксирует опыт, но помогает передать его другим людям, повторить, сохранить для последующих поколений. Вот эту черточку и раздувают, абсолютизируют идеалисты, превращают ее в основу, содержание, сущность опыта.

Как мы видим, гносеологическим источником идеалистического толкования опыта является, с одной стороны, игнорирование связи опыта с объективной реальностью, а с другой — мистифицированное изображение отношения опыта к человеку.

Идеалисты на разный манер растворяют опыт в субъекте и субъект в опыте. Они мистифицируют реальный процесс взаимодействия объективного и субъективного в опыте, преувеличивают влияние субъективного на ход и исход действительного опыта. «Никоим образом нельзя избежать факта, что это Я делаю опыты, что Я пытаюсь установить физическую теорию.., — подчеркивает операционалист Бриджмен, отстаивающий махистский эмпиризм в современных условиях. — Мне кажется, что попытка преуменьшить значение этого факта является почти умышленным отказом от принятия очевидной структуры опыта»⁶. Но тот факт, что субъект («Я») осуществляет опыт, еще не дает основания для той оценки роли субъекта в опыте, какую ему дает идеалист. Сколь бы ни была активна роль субъекта в создании опыта, все же он опирается в своем творчестве на объективный мир. Зависимость всякого опыта от объективной реальности составляет основу его возникновения, формирования его содержания и структуры.

Одной из причин идеалистического понимания опы-

⁶ P. Bridgman. The Nature of Physical Theory. N. Y., 1936, p. 83.

та является метафизическое противопоставление опыта внешнему миру. Метафизической точке зрения кажется невозможным понять связь противоположных сторон: внешнего мира независимых вещей как одного ряда явлений и субъекта, его деятельности как другого, «принципиально» отличного ряда явлений. Для эмпирика-метафизика прошлого и настоящего это противоречие может быть преодолено лишь принятием непосредственно данного опыта субъекта.

2. Философия опыта и программа позитивизма

Всем мало-мальски знакомым с историей философии нового времени известно, что для нее характерен интерес к выяснению роли опыта в познании. Ф. Бэкон, Д. Локк, французские материалисты XVIII в., Л. Фейербах, русские материалисты настойчиво подчеркивали значение опыта для развития наук. И это понятно. Успехи естествознания убеждали на каждом шагу, что все знания человек получает из опыта и посредством опыта, что в опыте они находят свою проверку. Эти же успехи свидетельствовали о том, что эмпиризм сыграл прогрессивную роль в истории борьбы со схоластикой, спекулятивными идеализмом. Однако эмпиризм может быть как материалистическим, так и идеалистическим. Достаточно вспомнить, что из сенсуализма Локка вышли и Беркли, и Дидро.

С течением времени в целях маскировки своих истинных позиций и демонстрации своих связей с наукой идеализм (особенно субъективный) все больше подделывался под эмпиризм. И как ни парадоксально это выглядит, на почве эмпиризма идеалисты усилили свою борьбу с материализмом, с его исходным положением о внешнем мире как источнике человеческого знания. В «Материализме и эмпириокритицизме» В. И. Ленин напомнил о том, какими эмпириками — «философами опыта» были Беркли, Юм, Кант, Фихте и многие другие идеалисты. Всесторонний анализ идеалистического понимания опыта дает нам ключ к пониманию немаловажного факта: почему современный идеализм и идеализм прошлого (во всяком случае основная струя субъективно-идеалистической философии XVIII—

XIX вв.) рядятся в той или иной степени в тогу эмпиризма.

Во второй половине XIX в., особенно в последней его трети, спекуляции вокруг опыта достигли своего апогея. В этот период почти одновременно в разных странах появляются все новые, строго «эмпирические» философские теории мира и познания. Идеализм объявляется философией опыта, а фальсифицированный опыт объявляется чуть ли не единственным предметом философских исследований. Все настойчивее повторяется мысль, что опыт и только опыт открывает новые горизонты для окончательного решения проблемы бытия и познания. Усиление подобной тенденции в идеализме обязывает рассмотреть существо этого эмпиризма, причину усиленного использования его идеализмом, выяснить исторический и теоретический генезис так называемых философий опыта, значение понятия «опыт» для теории познания диалектического материализма и современного идеализма, показать исторические судьбы эмпиризма.

Апелляция к опыту характерна для большинства течений современной буржуазной философии. «Идеалисты, так же как и натуралисты, и экзистенциалисты, претендуют быть эмпириками. Все мы являемся в некотором смысле эмпириками»⁷, — отмечают редакторы книги «Современные философские проблемы» Крикорян и Эдель. Но, пожалуй, ни одно течение современной буржуазной философии не претендует в такой мере на «научную» разработку эмпиризма, как современный позитивизм.

Еще более 30 лет назад кружок имени Маха в Вене и Общество эмпирической философии в Берлине поставили перед собой задачу создания нового эмпиризма путем преобразования старого эмпиризма методами символической логики. Эта идейная программа новейшего позитивизма получила свое выражение в названии «логический позитивизм», или «логический эмпиризм».

В 30-е и последующие годы позитивисты обсуждали пути становления нового эмпиризма, его значение и границы. Американский философ Ч. Моррис даже пытался создать «научный эмпиризм» путем синтеза «фор-

⁷ Y. H. Krikorian and A. Edel (ed.). Contemporary Philosophical Problems. N. Y., 1959, p. 236.

мализма, традиционного эмпиризма и прагматизма»⁸.

Моррис не без основания предпринял эту работу по синтезу логического позитивизма и прагматизма. Логические позитивисты воспользовались рядом прагматических идей «радикального эмпиризма», «экспериментализма», «инструментализма». Экспериментализм был подхвачен логическими позитивистами в связи с их концепцией эмпирической верификации.

Разработка «новой» философии позитивизма состояла, в частности, в оценке традиционных философских вопросов с точки зрения опыта, в устранении положений, понятий философии, не соответствующих непосредственному опыту. Таково, по замыслу позитивистов, одно из важнейших направлений реформы современной философии. С точки зрения нового эмпиризма отказывалось в научной осмысленности таким категориям, как материя, материалистически истолкованная причинность, закономерность, и многим другим. Естественно, что с позиций такого эмпиризма реформа философии равносильна ее упрощению и разрушению. Свой новый эмпиризм неопозитивисты пытались применить в следующих направлениях:

1. Опыт и преодоление метафизики (дезонтологизация философии и науки).

2. Опыт и гносеология (определение сферы и границ эмпиризма).

3. Выявление свойств опыта (атомарных предложений, фактов, чувственных данных).

4. Опыт и логика (и математика).

5. Опыт и язык (прежде всего, эмпирическая концепция значения).

6. Опыт и социология (и этика)

Неопозитивисты провозгласили свой эмпиризм ведущим и всеохватывающим принципом философии⁹. Новый эмпиризм, по замыслам неопозитивистов, должен

⁸ Ch. Morris. Logical Positivism, Pragmatism and Scientific Empiricism. Paris, 1937.

⁹ Бертран Рассел, касаясь использования понятия «опыт» логическими позитивистами, не без оснований заметил: «И действительно, по поводу понятия «опыт» возникло чересчур много волнений и всякой излишней суеты» (Б. Рассел. Человеческое познание. ИЛ, М., 1957, стр. 485).

был быть основой унификации современной науки, разработки ее языка и методов. Это заставляет более обстоятельно рассмотреть влияние эмпиризма на философские концепции позитивизма. Критика позитивистского эмпиризма фактически является критикой идеалистического эмпиризма вообще, ибо позитивистская оценка эмпиризма наиболее рельефно выражает черты и тенденции современного субъективного эмпиризма. В некоторых отношениях эмпиризм логических позитивистов наиболее прямолинеен, и потому крайние выводы этой группы неопозитивистов более откровенны. Анализ специфической роли эмпиризма в структуре позитивистской философии, особенно у представителей логического эмпиризма, составляет один из методологически верных путей критики современного позитивизма и других субъективных форм идеализма.

*

*

При сопоставлении толкования опыта современными позитивистами с традиционным эмпиризмом идеалистов прошлого бросается в глаза несоответствие их формальных требований беспристрастного анализа опыта произвольному обращению с ним. Если эмпиризм XVII—XVIII вв. выражал этим понятием прежде всего чувственные исходные данные, то позитивизм конца XIX в. наряду с сенсуалистическим толкованием опыта (Мах) пытался распространить опыт и на высказывания (Авенариус). Переход от феноменализма Маха к физикализму, к логико-лингвистическому анализу, переход к интерпретации «опыта», как явления, преимущественно касающегося языка, диктовался, во-первых, потребностями развития логико-семантической линии в позитивизме, во-вторых, стремлением «преодолеть» махистский феноменализм, подвергнутый критике слева и справа. Обычное дробление опыта на элементы сменилось, в соответствии с потребностями логики, делением его на факты, или «атомарные факты», «атомарные предложения», «протоколы», «эмпирические предложения», «предложения наблюдения» и т. п.

О том, какое место эта идея занимает в логическом позитивизме, можно судить по замечаниям самих пози-

тивистов. Рихард фон Мизес в книге «Позитивизм», посвятив целую главу «элементам» Маха, писал о судьбах этой доктрины. «Перевод концепции «элементов», — писал Мизес, — в языковую форму получил название логического эмпиризма. «Элементы» Маха («ощущение», «чувственное впечатление», «восприятие») заменены в новом языке простейшими, не допускающими дальнейшего дробления положениями, известными как «протокольные предложения», «элементарные предложения», или «атомарные предложения»¹⁰.

В наше время позитивизм придает понятию «опыт» такое широкое значение, что оно теряет первоначально принятый в идеализме смысл. Опытом обозначают и «чувственные данные» (sense-data), переживания, интеллектуальную деятельность человека, мышление и, далее, речь, предложения «эмпирических» (фактологических) наук и, наконец, логические исчисления. И это еще не все — опытом могут быть моральные, эстетические ценности, история и т. д. Нельзя не видеть спекулятивную направленность этого «всеобъемлющего» эмпиризма. Последний превращается в малосодержательный термин, теряющий свой гносеологический смысл. Л. Витгенштейн называет опытом ощущения, мысли, различные проявления человеческого сознания — «опыт чувствования», «опыт размышления», «оперирования словами» и т. д.¹¹.

Для Айера характерна трактовка опыта в духе британского эмпиризма Беркли—Юма и их преемников—Рассела и Витгенштейна. Опыт для него — чувственные данные (sense-data). В «Философских очерках» «чувственное данное» определяется как «объект непосредственного понимания» (apprehension). В «Проблеме познания» Айер определяет опыт как зрительные, слуховые и прочие ощущения и восприятия. Термин «содержание опыта» означает, писал он, «видимое данное». Опыт этого типа, замечает Айер, вполне известен всякому, кто может видеть. «Ощущение» для Айера «означает то, что я испытываю, чем поглощен, короче —

¹⁰ R. Mises. Positivism. Cambridge, 1951, p. 91.

¹¹ L. Wittgenstein. Preliminary Studies For the Philosophical Investigations, Generally Known as the Blue and Brown Books. Oxford, 1958, pp. 132, 166, 181.

опыт»¹². Айер использует опыт и в смысле «умственных размышлений», «интеллектуального опыта» и т. д. Эту терминологическую непоследовательность остро высмеивают его критики¹³.

Опыт определяется позитивистами и как факт или совокупность фактов. Для субъективного эмпиризма, пишет прогрессивный философ М. Бунге, «вещи являются переживаниями», для Маха факты были только ощущениями, и в общем переживаниями¹⁴.

Фактом для неопозитивистов являются и чувственные впечатления, и эмпирические предложения, выражающие восприятия субъекта, и результаты конструкции мира ученым («малые конструкции мира»).

Одни позитивисты отдают предпочтение указанному рационалистическому толкованию факта, другие — сенсуалистическому. Так, Мак-Кинни в статье «Опыт и реальность», ссылаясь на Витгенштейна, писал, что «факт сам является картиной или частью картины» — «конструкции мира», составленной ученым. Наряду с термином «факты» он использует термин «атомы опыта», или «атомы сознания»¹⁵.

Райхенбах в работе «Опыт и предвидение» истолковывал «наблюдаемые факты» преимущественно как «впечатления», а слова «представление», «ощущение», «чувственные данные» используются им в том же смысле¹⁶. Люди воспринимают только впечатления, а не вещи внешнего мира, доказывал Райхенбах, ссылаясь на Авенариуса, Карнапа, Дьюи и на статью известного бихевиориста Толмена «Психология против непосредственного опыта». В этой статье Толмен противопоставил «непосредственный опыт» «логическим конструкциям» и, отдавая предпочтение последним, писал: «Психология, подобно физике, покидает непосредствен-

¹² A. Ayer. The Problem of Knowledge. Edinburgh, 1957, pp. 98—100.

¹³ См. С. Joad. A Critique of Logical Positivism. London, 1950, pp. 50—62.

¹⁴ См. М. Бунге. Причинность. Место принципа причинности в современной науке. ИЛ, М., 1962, стр. 184—185.

¹⁵ McKinney. Experience and Reality. «Mind», 1958, v. 67, pp. 389—390.

¹⁶ См. Н. Reichenbach. Experience and Prediction. Chicago, pp. 83—90, 129—130, 163—164.

ный опыт и оставляет его для философа, поэта и защитника здравого смысла»¹⁷.

Итак, различные современные толкования опыта можно подразделить на два (иногда они противопоставляются друг другу): одно является в конечном счете сенсуалистическим, другое видит сущность опыта в интеллектуальной активности, в создании «экспериментальных конструкций», то есть логических построений, различных систем высказываний и т. п. Обе концепции в равной мере используются неопозитивистами. Тот или иной подход зависит от контекста (логического или эпистемологического), в котором применяется термин «опыт». В целом рассмотрение этого вопроса редко идет далее терминологической его стороны и ограничивается частными вопросами. Возьмем, к примеру, обсуждение термина «Sense-data» в английском позитивизме.

Позитивисты запутывают понятия «опыт» и «эмпиризм» путем различных их толкований, приписывают им двусмысленность и неопределенность. Так, Б. Рассел считает, что «опыт» представляет собой «неопределенное слово»¹⁸. В книге «Мое философское развитие» он вновь останавливается на этом вопросе, посвятив ему раздел «Сознание и опыт». Философы-идеалисты, пишет Рассел (Рассел — позитивист, он не может не критиковать и идеалистов), охотно признают неопределенность понятия «опыт», хотя особенно часто его употребляют. Понятие «опыт», как и понятие «сознание», заявляет Рассел, нуждается в том, чтобы они были по-новому определены. Еще ранее он писал в связи с использованием понятия «опыта» логическими позитивистами: «Большинство логических позитивистов дают неправильный анализ понятия опыт»¹⁹. Однако сам Рассел предлагает такую дефиницию опыта, которая лишь закрепляет неопределенность и двусмысленность «опыта»²⁰. В свое время и Р. Авенариус давал такие же неопределенные определения опыта. Из них следовало лишь одно: «Опыт есть опыт».

Е. Tolman. Behavior and Psychological Man. Berkley and Los Angeles, 1958, p. 114.

¹⁸ Б. Рассел. Человеческое познание, стр. 366.

¹⁹ Там же, стр. 478.

²⁰ См. B. Russell. My philosophical Development. N. Y. 1959, p. 144.

Материалисты, отмечал В. И. Ленин, постоянно ставят перед позитивистами вопрос: что такое опыт? Может быть, это столь сложное явление, что даже крупным умам трудно определить его сущность? Может быть, дело здесь в особенностях самого понятия или слова «опыт»? Основной секрет мудрствований позитивистов о многозначности, неточности, неопределенности понятия «опыт» лежит в их стремлениях дать такое толкование опыта, которое было бы ни материалистическим, ни идеалистическим. Но в действительности это невозможно сделать. Различные определения этого понятия выражают лишь две основные линии в философии — таково резюме В. И. Ленина в известном параграфе «Что такое материя? Что такое опыт?» «Из истории философии известно, что толкование понятия опыт разделяло классических материалистов и идеалистов»²¹. Правота этого вывода подтверждена всем дальнейшим развитием философии.

Одним из способов «преодоления» материалистического или идеалистического толкования опыта является объявление позитивистами опыта нейтральным, то есть ни материальным, ни идеальным (Мах, Джемс, Рассел). Этой же цели подчинено учение позитивистов об атомарной структуре опыта, определение опыта как «факта» (Рассел, Витгенштейн, Карнап, Райхенбах и др.). Но какие бы варианты толкования опыта и его свойств ни рассматривались нами, все они могут быть поняты лишь как попытка провести идеалистическую точку зрения под маской философской «нейтральности».

«Чисто эмпирическая» позиция в философии выполняет по меньшей мере две функции: с одной стороны, как мы уже отметили, она направлена против материализма, а с другой — призвана протасовать крайний идеализм. Интересно отметить одну деталь: как старый позитивизм направлял свою «критику» против субъективизма, так и современный позитивизм ратует за «научный», «чистый эмпиризм»; и в прошлом, и в настоящем крайний субъективизм проводится под видом его отрицания. Даже симпатизирующий позитивистской интерпретации опыта Фейерленд в статье «К попытке реалистической интерпретации опыта» признает: «Позитивизм

²¹ В. И. Ленин. Соч., т. 14, стр. 136.

рано или поздно ведет к субъективизму»²². Но осуждение субъективизма никак не мешает логическим позитивистам тут же проводить его. Точно такая же картина открывается при рассмотрении различных свойств опыта. Среди важнейших из них обычно называют: 1) атомарность (его элементарность, дальнейшая неразложимость, ср. «минимум ощущаемого» у Беркли); 2) нейтральность опыта (опыт не материален и не идеален); 3) независимость опыта (от субъекта и внешнего мира, интерсубъективность опыта); 4) и, наконец, гносеологически опыт достоверен, не нуждается в проверке — все это делает непосредственно данный опыт исходным, первичным²³.

Однако приписываемые опыту свойства не соответствуют тем чертам, которые обнаруживаются в процессе его применения. Опыт не берется таким, каким он является на самом деле, а произвольно приспособляется к нуждам позитивистской концепции. Можно проследить в смене толкований опыта за последние десятилетия эволюцию позитивистской философии, и, наоборот, в эволюции позитивизма без труда прослеживается изменение понятия «опыт». Анализ внутренней противоречивости опыта имеет принципиальное значение: нельзя не видеть прямую связь противоречий в исходной «клеточке» с разрастающимися противоречиями во всей философской концепции позитивизма.

3. О сущности «эмпирических» приемов борьбы позитивизма против материализма

Анализ современных течений идеализма, в том числе позитивизма, нужно доводить до рассмотрения сущности их аргументации против материализма, сущности постоянно изобретаемых ими «новых» способов критики исходного положения материализма.

Среди аргументов, выдвигаемых против материализма, едва ли не первое место занимали и занимают ныне доводы от опыта. Самыми распространенными по-

²² Proceedings of the Aristotelian Society, v. LVIII. London, 1958, p. 169.

²³ См. И. С. Нарский. Очерки по истории позитивизма. Изд-во МГУ, 1960, стр. 150 и др.

пытками «эмпирически» доказать несостоятельность положения материализма об объективном существовании внешнего мира, как нам представляется, являются следующие:

1. Современная буржуазная философия, в том числе позитивизм, использует против материализма старые идеи тождества ощущения и ощущаемого, психического и физического, единства субъекта и объекта, личности и среды, положение о нейтральности опыта. В современной философии эти идеи более всего распространены. Этот взгляд сами буржуазные философы нередко называют «эпистемологическим монизмом». Для них «воспринимаемые объекты и восприятия их являются одним и тем же»²⁴.

2. Позитивизм пытается подменить собственно гносеологическими вопросами онтологическую проблему отношения сознания к бытию.

Позитивист-эмпирик обыкновенно начинает с опыта как гносеологического явления, но в итоге рассуждений объявляет и внешний мир — опытом. Это весьма распространенный способ «преодоления» материализма. Им воспользовались и современные позитивисты. Опыт и для них — лишь *гносеологическое* понятие; однако на деле начиная с опыта как гносеологического явления в ходе своих рассуждений они используют его для позитивистской интерпретации реальности и прочих *онтологических* вопросов.

3. Рассмотрение приемов «опровержения» материализма будет неполным, если не сказать о тех «новшествах», которые вводит логический эмпиризм. Логические позитивисты приходят к выводу, что нельзя исследовать то, что не дано в опыте. Их отказ от признания объективности внешнего мира осуществляется (как это ни парадоксально) путем «более строгого» проведения эмпиризма, чем это делалось махистами-эмпириокритиками, предлагавшими, как известно, разные половинчатые теории связи элементов и ощущений, объекта и субъекта.

Вопрос об объективности мира очень часто не обсуждается вовсе, как будто его не существует в философии. В большинстве случаев позитивисты подделыв-

²⁴ Y. H. Krikorian and A. Edel (ed.). *Contemporary Philosophical Problems*. N. Y., 1959, p. 87.

ваются под реализм, здравый смысл. В этом нельзя не видеть особый способ борьбы с материализмом.

Непосвященному в философские тонкости читателю подчас трудно заподозрить логический эмпиризм в отрицании внешнего мира. Возьмем «Логико-философский трактат» Л. Витгенштейна. Витгенштейн утверждает, что мир состоит из фактов, что предложения «отображают действительность», что мысль является лишь логическим образом фактов, что в структуре предложения выражается структура факта, что проверка предложений состоит в сравнении их с действительностью, что мир не зависит от нашей воли и т. д. На первый взгляд в этих положениях никак нельзя усмотреть отрицания объективной реальности. Но это далеко не так. Поставив все афоризмы в связь, читатель может заметить, что в трактате речь идет вовсе не об объективном мире и реальных фактах. В одной из своих последних работ («Философские исследования») Витгенштейн признает, что мир является только тем, чем он кажется.

Рассматривая взгляды современных философов относительно опыта и реальности, Мак-Кинни в статье под названием «Опыт и реальность» разъясняет, что термин «мир» или «реальность» для XIX в. означал нечто физическое, то, что является причиной опыта, из чего мы строим «Мир-картину». Схематически он обозначает это следующим образом: «Мир → Опыт → Мир-картина». В XX в. в результате «революции в мышлении» «познавательная ситуация» выглядит иначе: «Опыт → Мир-картина → Мир». Эта новая концепция не означает непознаваемость мира или прекращение его существования, предупреждает Мак-Кинни. Но мир — лишь продукт познания. И когда Витгенштейн говорит, что картина должна согласовываться с реальностью, то он имеет в виду не отношение между «нашей экспериментальной конструкцией, или картиной, и чем-то внешним, объективным, что существует независимо от нашего опыта и познания, — а между нашей экспериментальной конструкцией, или картиной, и соответствующими нашими словесными формулировками этой картины, языковыми формами»²⁵.

²⁵ I. McKinney. Experience and Reality. «Mind», 1958, v. 67, No. 267, pp. 389—390.

Буржуазные философы-профессионалы с различных позиций подвергают критике крайне субъективную аргументацию эмпириков-позитивистов против «метафизики онтологических проблем». Все определеннее и резче звучит осуждение со стороны ученых-естествоиспытателей позитивистских запретов «внешнего мира». Известный физик М. Борн резко критикует утверждение позитивистов, что «все, чем физик занимается, может быть постигнуто удовлетворительным образом только в терминах «опыта», а не внешнего мира»²⁶. Успехи атомной физики воочию показывают реакционную роль ограничения объекта науки лишь «чувственными данными».

Отказ логических позитивистов от метафизики «внешнего мира» не гарантирует их от необходимости считаться с этими «метафизическими» вопросами. Позитивисты все чаще заговаривают, что можно заниматься «физическим миром». Интересен в этом отношении доклад Г. Фейгля на третьей конференции в Институте философии при Нью-Йоркском университете²⁷.

Весьма примечательна направленность доклада «Проблема сознания и тела — не псевдопроблема». Фейгль называет рассмотрение этого вопроса Витгенштейном «казуистическим», одной из многих позитивистских («аметафизических, если не антиметафизических») попыток показать, что проблема сознания тела порождает теоретическую путаницу²⁸.

Еще не так давно позитивистам казался окончательно доказанным псевдонаучный характер вопросов о соотношении сознания и тела, психического и физического²⁹. Однако это опровергается теперь одним из тех, кто развивал идеи «Венского кружка».

Фейгль отмечает скепсис логических позитивистов относительно «существования физических объектов и сознания других» и призывает в целом «быть реалистами в отношении физического мира». За свои выступления в пользу ценности этих идей Фейгль был назван

²⁶ М. Борн. Физическая реальность. «Успехи физических наук», 1957, т. LXII, вып. 2.

²⁷ См. S. Hook (ed.). Dimensions of Mind. A Symposium. N. Y. 1960, pp. 24—37.

²⁸ Ibid., p. 25.

²⁹ См., например: L. W. Beck. The Psychophysical as a Pseudo-Problem. «The Journal of Philosophy», 1940, v. 21.

Пеппером-«материалистом»! Отвечая на это, Фейгль не исключал возможность использования традиции материализма³⁰.

В одной из последних статей «В поддержку индукции» Г. Фейгль защищает индуктивный метод познания «законов природы», в том числе «основных законов природы», которые он толкует, как фундаментальные «структуры-зависимости». Фейгль обращается к фактам наблюдения за солнечной поверхностью, к индуктивному изучению «структурных зависимостей, определяемых физической конституцией и процессами на солнце»³¹.

Айер также допускает полезность «метафизики» и пытается оправдать отход от нетерпимости к ней³².

Нельзя не заметить во всем этом, как логические позитивисты в своей борьбе с материализмом описывают путь, подобный кругу: от махистской формы позитивизма они пошли по линии запрещения проблем «внешнего мира», но все чаще, подвергаемые критике слева и справа, они под всякими предложениями смягчают свои эмпирические запреты, возвращаясь по существу к махистским позициям тождества физического и психического, как более правдоподобным.

Нельзя не заметить одну особенность всех рассмотренных выше «опровержений» материализма. Принимая за исходное лишь то, что дано в сознании, идеалист завершает свое опровержение тем же, с чего и начинается — заявлением об абсурдности признания объективной реальности, предшествующей сознанию. Внешний мир отрицается, таким образом, дважды — в выводе и уже до него, в исходной посылке. Идеализм эмпирический, как и всякий идеализм, также вращается в кругу. Отказ от признания объективной реальности здесь, правда, не так заметен; эмпиризм как будто начинается с опыта. Однако и он приходит к отрицанию объективной реальности. Несостоятельность такой системы «опровержения» очевидна, независимо от того, опровергается ли материализм сенсуалистически, лингвистически, логически или еще каким-то образом.

³⁰ См. S. Hook (ed.). *Dimensions of Mind. A Symposium*, N. Y., 1960, pp. 31—34.

³¹ H. Feigl. *On the Vindication of Induction*. «*Philosophy of Science*», 1961, v. 28, pp. 214—216.

³² См. A. Ayer (ed.). *Logical Positivism*. Illinois, 1959, p. 17

Позитивизм стремится модернизировать свои методы, выработанные в ходе всей истории борьбы против материализма. Но сколько бы ни прилагалось усилий в этом отношении, точка зрения жизни, практики, науки неизбежно ведет к материализму. Философский тезис о существовании внешнего мира независимо от человеческого сознания есть лишь самое общее выражение того отношения к объективному миру, которое постоянно осуществляют все науки, все люди на земле.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОЗИТИВИЗМ И ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНОСТИ

В настоящее время философская проблема возможности приобретает все большее значение в связи с широким применением категории возможности в современном естествознании, особенно в физике и биологии. Вопрос о соотношении возможности и действительности ставится при обсуждении таких ключевых проблем естествознания, как проблема детерминизма в микрофизике и биологии, проблема двойственной корпускулярно-волновой природы света и материи.

Привлечение понятия возможности для решения такого рода проблем совершается за рубежом в духе различных философских течений, занимающихся «философией науки» (позитивизм, неокантианство, критический реализм, неотомизм). Среди естествоиспытателей, особенно американских, наибольшее распространение имеет позитивистская концепция возможности, носящая ярко выраженный операционально-прагматический характер. Критике именно этой концепции посвящена данная статья, главной темой которой является гносеологический аспект проблемы соотношения возможности и действительности¹.

*

За тридцать с лишним лет, прошедших со времени опубликования манифеста «Венского кружка», выразившего кредо современного позитивизма, это философское течение безусловно испытало эволюцию в ряде вопросов. В процессе своей эволюции логический пози-

¹ Проблемы, связанные с модальной логикой, в данной статье не рассматриваются.

тивизм (или логический эмпиризм) «Венского кружка» все более тесно сближался с операционализмом и прагматизмом, развивавшимися особенно в Америке. Общий субъективно-идеалистический характер позитивизма — пестрого философского течения со множеством школок и оттенков — остается прежним, несмотря на происшедшие изменения в ряде частных вопросов.

Позитивистская концепция возможности, на наш взгляд, особенно ясно вскрывает субъективно-идеалистическую суть теории познания этого философского течения. Уже в XIX в., на заре развития позитивизма, понятие возможности широко использовалось для обоснования и в то же время маскировки субъективно-идеалистической теории познания. Начало было положено Джоном Стюартом Миллем, крылатое изречение которого «материя — перманентная возможность ощущений» получило широкую известность. Вслед за ним Мах неоднократно говорит о вещах, как о «данном и возможном опыте», Авенариус называет объективную реальность «потенциальным членом принципиальной координации». Эту традицию идеалистического эмпиризма продолжают современные позитивисты, особенно операционалистского толка. Интересно отметить, что они часто непосредственно опираются на анализ возможности и действительности у Джона Стюарта Милля.

Так, американский философствующий физик Виктор Ленцен в работе «Позитивистская теория возможности» начинает с указания на центральную роль понятия возможности в эмпирической философии Милля. Определяя вслед за Миллем материю, физическую реальность, как возможность ощущений, Ленцен рассматривает предметы, вещи как «совокупность данных и возможных аспектов опыта». Он рассуждает при этом следующим образом: письменный стол, на котором я пишу статью, воспринимается мною в данный момент, например, в его зрительном аспекте. Но этот аспект не исчерпывает всей природы стола. Воспринимая стол с другой позиции, я буду испытывать иные его аспекты. «Мы можем выразить этот факт в суждении, что письменный стол имеет как данные, так и возможные аспекты. Аспекты письменного стола, которые не даны теперь, но которые я могу иметь в опыте, если буду действовать определенным образом, называются возможными аспек-

тами»². По мнению Ленцена, мы говорим, что тело красное потому, что «красный аспект» есть возможный опыт.

В том же духе высказывается немецкий позитивист Вейцеккер: «Мы можем говорить об объектах только потому, что они — возможные объекты субъекта». Агностическую суть подобных высказываний о реальности, как только **возможности** ощущений, ясно показывает следующее за приведенным утверждение Вейцеккера: «Пала надежда классической физики узнать бытие в себе путем науки»³.

Понятие «возможного опыта» объявляется неопозитивистами «последним понятием», о котором ничего нельзя больше спрашивать, потому что в противном случае грозит опасность погрузиться в «неэмпирическую мистерию». Но как замечательно ярко показал В. И. Ленин, невозможно последовательно удержаться на позиции «чистого опыта»; неминуемы колебания в сторону либо материализма, либо объективного идеализма. Объективный идеализм является прибежищем тех, кто хочет избежать «Сциллы» материализма и «Харибды» солипсизма — неизбежного вывода из субъективного идеализма. Шатания в сторону объективного идеализма выражены в «контекстуалистической теории» возможности и действительности, развиваемой американскими операционалистами и прагматистами.

Весь опыт представляется здесь, как совокупность конечных, несводимых друг к другу контекстов, под которыми разумеются различные области опыта. Контексты автономны, нет гегемонии одного над другим. Контекстуалисты решительно возражают против всякого рода монизма, который выбирает один контекст как «истинный» или первичный. Такой выбор всегда, по их мнению, произволен и абсолютизирует различие материального и духовного, превращая его из различия в «резкую дихотомию». Отсюда же — вечный, неразрешимый спор философских систем. Контексты «нейтральны» в отношении материи и духа. Философы сами не делают контексты, а находят их уже готовыми в каком-то сме-

² «Possibility». Ed. by G. Adams, J. Leovenberg and S. Pepper. California, 1934, p. 61.

³ K. Weizsäcker. Experiment. «Studium Generale», Oktober, Heft I, 1947, S. 3.

шанном мире, где объективно реально существуют и наш опыт, и наши мысли, и реальные вещи в материалистическом смысле слова. Задача философии с этой точки зрения лишь дискриминировать и интерпретировать контексты, в частности в отношении различных определений возможности и действительности.

Прежде чем перейти к анализу действительности и возможности с позиций контекстуализма, отметим удивительное сходство рассуждений о «нейтральных» по отношению к духу и материи контекстах с «нейтральными элементами мира» Маха, с «нейтральным опытом» эмпириокритиков. Именно эта «нейтральность» обрекает либо на шатания между материализмом и субъективным идеализмом, либо на переход к объективному идеализму.

Действительность, определяемая как непосредственный человеческий опыт, изменяется, согласно рассматриваемой точке зрения, от контекста к контексту. Действительность как таковая — пустое слово. Нет объекта, действительного во всех контекстах. Действительна ли другая сторона луны? И да, и нет. В контексте физики обе стороны луны равно действительны. В контексте восприятий действительна только одна сторона луны, а другая — недействительна. Действительны ли вторичные качества? В ощущениях они действительны, а в контексте классической физики — недействительны. Действительны ли мысли? Какие, в каком контексте? Логическая действительность мысли — не то же самое, что психологическая и историческая действительность. Например, биограф приписывает А. Линкольну мысли логически последовательные и психологически правдоподобные. Но отсутствие достаточных документов вызывает сомнение в их исторической действительности. Так, события, действительные в одном контексте, могут быть недействительными в другом контексте. Контексты хотя отличны, но соотносительны. Математика может стать предметом истории, когда темой исследования становятся ее генезис и развитие; исторические события могут быть математически оформлены. Несмотря на взаимную аккомодацию контекстов, то, что актуально в каждом из них, остается непреложным. Одно дело — логическая актуальность евклидовой геометрии и другое дело — ее историческая актуальность, когда она

рассматривается как событие в греческой культуре. Нельзя думать об истории как о ветви математики, только потому что в ней применяются числа.

Такое понятие действительности, по мнению позитивистов, «обходит все трудности и вполне достаточно для практических целей». В нем преодолевается прежде всего главная трудность: различие подлинной (истинной) и ложной действительности. «В отношении актуального,— пишет Левенберг,— не может быть проведена дихотомия на истинное и ложное: имеется только различие отдельных контекстов»⁴.

Так, понятие «контекста» стирает грань между действительностью и недействительностью, тем более что между контекстами, как часто подчеркивают авторы этой концепции, существуют «неясные границы».

Понятие действительности как «осуществленного здесь и теперь опыта» целиком субъективно у всех позитивистов. Так, например, о действительности будущего солнечного затмения 1999 г., по их мнению, можно говорить только в том случае, если на Земле будут еще тогда люди, которые смогут его наблюдать. Другого смысла действительность этого затмения не может иметь. По существу все рассуждения позитивистов о действительности каких-либо явлений природы в прошлом, настоящем и будущем являются в первую очередь суждениями о наблюдателях, а не об объективных явлениях — о наблюдателях, которые имеют, имели или будут иметь «действительный опыт».

Соответственно «плюрализму действительностей» в разных несводимых друг к другу контекстах существует, по мнению контекстуалистов, плюрализм возможностей. Отрицая общее философское понятие действительности, контекстуалисты объявляют общее понятие возможности также бессмысленным. Нельзя говорить о *возможности вообще*, охватывающей все различные контекстуальные типы возможностей. Можно говорить только о «типах возможностей, абстрагируемых человеком из контекстуальных ситуаций». Не только понятия действительности и возможности, но вообще все общие философские категории (бытия, знания, истины) не имеют смысла. Это — одна из основных идей контекстуализма.

⁴ I. Loevenberg. Possibility and Context. «Possibility», p. 80.

Делая выбор одного какого-либо контекста как основного, первичного, монисты, будь то материалисты или идеалисты, называют «реальными» только те возможности, которые содержатся в их любимом контексте. Для плюралиста же возможности реальны или нереальны в зависимости от контекста, к которому они относятся. Если спрашивают, возможно или невозможно данное явление, то надо обязательно указать контекст. Возможны ли круглые квадраты? Вопрос объявляется бессмысленным, пока не определяется контекст. В физическом мире они невозможны, так как их нельзя конструировать; математически они не могут быть доказаны, потому что противоречивы. Но в контексте человеческой фантазии они возможны, так как человек может их вообразить и понять.

Контекстуалисты нащупывают противоречие действительности и возможности: возможность противоположна и действительности, и невозможности. О возможном нельзя сказать ни что «оно есть» (актуально), ни что «оно не может быть» (невозможно). Вещи или актуальны, или невозможны. Третьего, казалось бы, не существует. Возможность — «гибридное», «амфиболическое» понятие, балансирующее на грани бытия и небытия. Это приводит, по мнению Левенберга, ко всяким двусмысленностям: если подчеркивается противоположность актуальному, то возможное сливается с невозможным: они оба неактуальны. Если сделать ударение на родство возможного с действительным, то оно тогда в сущности является элементом действительного (актуального). Левенберг пишет: «Возможное стоит одной ногой в актуальном, а другой — в неактуальном. Это — неудовлетворительно. Надо произвести хирургическую операцию, отрезать одну ногу. Но какую? Если отрубить возможное от актуального, тогда оно сольется с невозможным. Операция — успешная, но пациент умер, так как нет возможного: невозможно землетрясение, новый порядок в мире, моя будущая смерть и т. д.»⁵. Левенберг приходит к выводу, что надо «отрезать другую ногу», то есть признать тесную связь возможности с действительностью в каждом контексте. Эту связь он выражает в обозначении возможного термином «соак-

⁵ I. Loevenberg. Possibility and Context. «Possibility» p. 86.

туальное». Возможность — латентная способность, заложенная в самой действительности. Возможное и актуальное сосуществуют в одном контексте. Растворимость куска сахара как возможность сосуществует с его актуальной твердостью, белым цветом и т. д.

Способности обуславливают тенденции и альтернативы, соотносительные с контекстами. В одном контексте говорят об альтернативных гипотезах и понятиях, в другом — об альтернативных интересах и аффектах, в третьем — об альтернативных движениях и т. д.

«Единственное значение возможности — в ее способности стать действительностью» (Левенберг). Контексты содержат возможности как способности, тенденции данного опыта. Превращение возможности в действительность происходит как превращение возможного опыта в данном контексте в действительный опыт в данном же контексте. Здесь нет объективного развития как процесса превращения возможности в действительность, независимого от субъекта с его опытом; изменяется только опыт, понимаемый в широком смысле, как совокупность самых различных контекстов.

Несмотря на декларируемый отказ от общих философских понятий действительности и возможности, контекстуалисты, в противоречии с этой своей номиналистической установкой, на самом деле неявно применяют общее понятие действительности как наличного чувственного опыта и общее понятие возможности как находящейся в этой действительности латентной способности, тенденции.

На первый взгляд кажется, что контекстуалисты защищают здравую мысль о конкретном анализе соотношения возможности и действительности в конкретной ситуации, учитывают относительность, изменчивость возможности при изменившихся условиях, выступают против бесплодных спекуляций о возможности вообще. Но провести подлинно научный конкретный анализ мешает контекстуалистам прежде всего их основная идея о множественности автономных, независимых друг от друга контекстов. Эта идея связана с отрицанием объективной причинности и восходит к мысли Юма о том, что «явления соединены, но не связаны друг с другом»⁶.

⁶ Д. Юм. Исследование о человеческом уме. Пг., 1916, стр. 85.

Борясь против смешения различных контекстов, контекстуалисты совершили самое пагубное смешение: в духе Юма и Маха они смешали физическое с психическим, отождествили действительность акта восприятия с действительностью воспринимаемых вещей; и действительность, и возможность уложены ими в прокрустово ложе опыта, наличного и возможного. Ликвидируется различие между материей и духом как первичным и вторичным; между материей как источником ощущений и ощущениями (а также мыслями) как отражениями материальных процессов.

Идея плюрализма — не прогрессивная философская мысль, как это стремятся изобразить контекстуалисты, а безусловно реакционная, антинаучная идея. «Плюралистическая вселенная» Джемса и Дьюи состоит из случайных событий, ситуаций, контекстов, не подчиненных никаким объективным законам, не имеющих внутренней необходимой связи между собой. Но наука как раз стремится познать внутренние связи и переходы между различными формами движения; без этого нельзя дать подлинно научный конкретный анализ диалектического соотношения возможности и действительности, специфического для различных областей явлений природы и общественной жизни. Плодотворные научные результаты получаются в наше время именно «на стыках наук», при анализе связи законов различных ступеней, форм развития материального мира. В связях отдельных наук отражаются реальные связи и переходы между различными формами движения. Современная наука, все глубже отражающая материальное единство мира, опровергает плюрализм.

Контекстуалистский анализ понятий возможности и действительности приводит к нелепым и антинаучным выводам. С этой точки зрения возможны любые фикции и создания воображения в литературе и искусстве: бог, ангелы и загробная жизнь в религиозном контексте и т. д. При отсутствии объективной основы последовательное проведение мысли об относительности возможности ведет контекстуалистов к идеалистическому релятивизму, стирающему грань между возможностью и невозможностью. Отсюда терпимость по отношению к религии, мистике. Американский сборник, посвященный проблеме возможности, заканчивается словами: «Бог

только возможен»⁷ Для контекстуалиста в конечном счете все возможно: что невозможно в одном контексте, то возможно в каком-либо другом контексте.

Возможность существования фантазий и любых нелепых мыслей в сознании человека смешивается здесь с содержанием этих мыслей и фантазий, которое на самом деле может противоречить законам природы. С материалистической точки зрения любая фантазия оценивается по отношению к действительности как объективной реальности, с точки зрения возможности или невозможности ее реального осуществления. Контекстуалисты не признают понятия абсолютной невозможности, считая невозможность только относительной (в отношении данного контекста). Однако доказательство именно абсолютной невозможности каких-либо явлений (например, вечного двигателя первого и второго родов) всегда играло большую роль в развитии науки, приводило к открытию новых законов и на их основе к открытию новых неизвестных раньше возможностей в природе⁸. Реальные объективные законы природы являются основой для различения возможности от невозможности.

В рамках определенного контекста контекстуалисты признают осуществимость возможности только в случае ее совместимости с данной системой законов. Но позитивистское понимание закона как только экономного удобного описания явлений опыта обесценивает это утверждение. Получается порочный круг, так как законы, из которых выхолащены причинность и необходимость, сами определяются посредством понятия возможности (как вероятность ожидания определенных явлений). Законы объявляются лишь научными гипотезами, а не отражением действительных существенных связей в природе. Получается, что возможно только то, что совместимо с другой возможностью, и, таким обра-

⁷ «Possibility», p. 223.

⁸ Среди позитивистов существуют различные оттенки взглядов на возможность и невозможность. Некоторые позитивисты-физики предпочитают придерживаться позиции «импоссибилизма», подчеркивая в ряде вопросов именно момент невозможности (в законах термодинамики, в соотношении неопределенности, в постоянстве скорости света и др). Часто утверждение невозможности относится к невозможности знания и подкрепляется общей агностической основой позитивистской философии.

зом, никогда не может быть достигнуто соответствие с действительностью⁹.

Понятие «необходимости» целиком заменяется понятиями «возможности» и «вероятности»¹⁰. Райхенбах в своей «Теории вероятности» (1949) считает, что даже вероятность, равная единице, которая никогда не достигается, не означала бы необходимости. Эшби пишет: «Старое понятие необходимости заменяется более общим понятием вероятного эффекта»¹¹. О причинности здесь также говорится в статистическом смысле (даже в классической физике): причина не необходимо вызывает действие, а обуславливает лишь некоторую возможность (вероятность) его появления. Если механические материалисты отрицали возможность, отождествляя ее с необходимостью, то позитивисты, справедливо критикуя механический материализм за отрицание возможности, ударились в противоположную крайность: отрицают необходимость, сведя ее к возможности. Но соотношение между необходимостью, возможностью и случайностью носит диалектический характер. Маркс писал: «Случай есть та действительность, которая имеет лишь значение возможности». С другой стороны, при своем зарождении необходимость выступает тоже только как возможность. Необходимое явление может не быть еще в данный момент, но должно наступить, так как имеет глубокие корни в действительности. Случайное сохраняет значение возможности и после того, как оно возникло.

Последний этап эволюции позитивизма характеризуется все более углубляющейся связью операционализма и прагматизма с логическим позитивизмом и семантикой. Общей для концепции возможности у всех позитивистских школ чертой является отрицание объективной, независимой от сознания возможности, как

⁹ «Наше знание действительности целиком гипотетично, — пишет С. Пеппер, — наши гипотезы — уровни возможности... Знание действительности — это только расширение нашего знания о возможности... Сама теория возможности является возможностью второй степени» (S. Peppер. A Contextualistic Theory of Possibility. «Possibility», p. 181).

¹⁰ Логические позитивисты признают только логическую необходимость, определяемую структурой самих предложений, слов, знаков, но не имеющую никакого отношения к действительности.

¹¹ У Р. Эшби. Введение в кибернетику. ИЛ, М., 1959, стр. 56.

направленности, как объективной тенденции развития и изменения вообще. Такое объективное понятие возможности просто отбрасывается как «метафизическое», «бесмысленное», так как не может быть, по мнению позитивистов, проверено опытом.

Но если представители операционалистской и контекстуалистической «теории возможности» прежде всего подчеркивают в духе Маха, Джемса и Бриджмена эмпирический характер своих взглядов, то логические позитивисты и семантики на первый план выдвигают логический момент. Проблема возможности и действительности существует для них только в сфере логики и языка. То, что логически возможно, является возможным и в науке. Так, Р. Капп, защищая это положение, подчеркивает, что логически возможные предложения должны быть не только свободны от противоречия в них самих, но не должны также противоречить другим, связанным с ними предложениям¹². Так, например, утверждение, что число зарядов, составляющих ядро, может быть произвольно большим, рассматривается как «логически невозможное», так как противоречит тем предложениям, в которых выражены законы внутриядерных сил. Утверждение о том, что тело может иметь любую скорость, также является логически невозможным, так как такое утверждение противоречит положениям специальной теории относительности.

Но здесь встает серьезная трудность: какие предложения считать «данными», а какие — «выведенными» из них, не противоречащими первым? Нельзя устанавливать, как это видно уже из приведенных примеров, произвольное различие между «первичными» и «вторичными» предложениями.

Объективные физические законы, их связь и координация определяют связь предложений научной теории. Иначе говоря, существует не примат логики над действительностью, как получается у логических позитивистов, а примат объективной действительности над логикой: то, что логически возможно, может оказаться невозможным, неосуществимым в реальной действитель-

¹² «The British Journal for the Philosophy of Science», 1959, No. 8, p. 265.

ности. Но признание объективной реальности, независимой от сознания человека, представляется позитивистам всех школ источником неразрешимых трудностей. Понятие материи заменяется понятием возможности, которое служит новомодной «бритвой Оккама», указывая удобный и легкий путь избавления от сложных проблем.

Основатель прагматизма Ч. Пирс в одной из своих первых работ откровенно писал: «Действующая мысль преследует только одну цель — покой мысли»¹³. Но покой мысли — это ее застой, и осторожность позитивистов в «онтологических» проблемах ведет к застою мысли в философии.

*

Современные позитивисты утверждают, что их концепция возможности и действительности основана на результатах современной науки, особенно физики.

Виктор Ленцен подчеркивает, что в современной физике понятие возможности играет более значительную роль, чем в классической физике, и с этим нельзя не согласиться. Но, как мы увидим сейчас, позитивисты злоупотребляют понятием возможности, прикрывая им свой физический идеализм.

Значение специальной теории относительности Ленцен усматривает в том, что в ней Эйнштейн якобы определил пространство как «совокупность *возможных* относительных положений практически твердых тел»¹⁴. Ленцен отдает себе ясный отчет в том, что здесь получается «возможность в квадрате», так как само тело определяется им также посредством понятия возможности. Однако это его не смущает, так как с позитивистской точки зрения возможность есть «фундаментальное понятие».

Каков «статус» положения, когда оно просто возможно? — спрашивает Ленцен. Материалистическая теория пространства, по его мнению, превращает возможность в субстанцию, а в позитивистской теории признается, что понятие «возможности положения» выражается условным предложением: если система перемещается, то она будет занимать некоторое новое положение. «С

¹³ «Revue philosophique», 1878, p. 45.

¹⁴ V. Lenz en. Einstein's Theory of Knowledge. «A. Einstein: Philosopher-Scientist». Ed. by P. A. Schilpp. N. Y., 1949, p. 38.

позитивистской точки зрения, нет необходимости гипотезировать возможности положения»¹⁵.

Ленцен искажает взгляды Эйнштейна, который неоднократно утверждал, что независимо от сознания человека, объективно существуют реальные вещи с присущей им пространственно-временной структурой. Эйнштейн возражал Б. Расселу, который сводил вещи к «совокупности качеств» или «событиям» и решительно утверждал, что нет никакой «метафизической опасности» в признании объективного внешнего мира¹⁶. Ленцен, как и все позитивисты операционалистского толка, смешивает вещи с их измерениями, не допуская существования вещей *до* и *независимо* от измерений. В таком же идеалистическом духе трактует теорию относительности английский позитивист Герберт Дингл, также используя для этого понятие возможности. «То, что он (Эйнштейн — Т. Г.) действительно исследовал, — это *возможности* опыта, а не природа реального внешнего мира», — писал он в своей статье «Новая ситуация в физике»¹⁷. Герберт Дингл — один из самых ярких противников материализма в наше время. В своем отрицании внешнего мира как предмета естествознания он безусловно последовательней многих других позитивистов-физиков. «Теория относительности и квантовая теория занимают не внешним миром, а только операциями физика» — это утверждение проводится во всех многочисленных работах по «философии физики» Г. Дингла. Такой же взгляд на физику защищает В. Ленцен, сочувственно приводящий слова Дирака о том, что физики должны размышлять только о результатах экспериментов, что только такие вопросы действительно имеют значение. «Мы должны избежать взгляда, — пишет Ленцен, — что электрон реально имеет определенное положение до наблюдения. Понятие существования «до наблюдения» недопустимо: *до* наблюдения, строго говоря, есть только возможность его положения, которое соответственно теории не является строго детерминированным»¹⁸.

¹⁵ «Possibility», p. 68.

¹⁶ См. P. A. Schilpp (ed.). *Philosophy of B. Russell*. London, 1947, p. 289.

¹⁷ «Physikalische Blätter», 1951, Hf. 11, S. 481.

¹⁸ «Possibility», p. 74.

Вопрос о положении электрона до наблюдения Ленцен отождествляет с вопросом относительно «возможного аспекта» письменного стола перед тем, как он воспринимается. Позитивисты «игнорируют этот вопрос», считая, что нет необходимости в описании всего «хода событий», как этого требовал Эйнштейн, не удовлетворявшийся описанием только результатов наблюдений в квантовой физике. Поддерживая индетерминизм согласно копенгагенской интерпретации квантовой механики, Ленцен и здесь привлекает понятие возможности. Существует ли индетерминизм в реальности или только в нашем знании? Ленцен отвечает: «Поскольку реальность определяется в терминах возможности, а возможности являются неопределенными (indeterminate), индетерминизм характеризует реальность»¹⁹.

Сторонники контекстуалистической концепции возможности также считают, что их взгляды вполне подтверждаются копенгагенской индетерминистской интерпретацией квантовой механики. Так, Патриция Доти пишет: «Размышления Бора о дополнительности и точные физические рассмотрения, из которых они выросли, явно иллюстрируют и поддерживают объективный релятивизм или контекстуализм»²⁰.

Автор рассуждает при этом следующим образом. Классическая физика допускала, что если дано знание всех контекстов, внутри которых может быть определен физический объект, и дана спецификация одного из контекстов в данное время, то объект может быть тогда точно определен в отношении его других контекстов и на будущее время; иначе говоря, возможно полное знание объекта. «Новая ситуация в физической теории, — пишет Доти, — сформулированная в принципе неопределенности и более явно Бором, обнаруживает, безусловно, эту необходимость контекстуального определения объектов, что приводит к невозможности абсолютно точной спецификации всех проявлений потенциального поведения объекта»²¹.

В основе всех этих рассуждений представителей копенгагенской интерпретации квантовой механики лежит убеждение в том, что «физика не имеет дела с незави-

¹⁹ «Possibility», p. 76.

²⁰ «The Journal of Philosophy», 1958, v. 45, No. 25, p. 1103.

²¹ Ibid., p. 1104.

симыми свойствами объекта, но лишь с возможными наблюдениями и наблюдаемым» (Розенфельд). Количество таких высказываний, в которых понятие внешнего объективного мира заменяется «возможностью наблюдений», можно значительно увеличить.

В последние годы, однако, среди самих представителей копенгагенской интерпретации квантовой механики замечается неудовлетворенность такого рода субъективистским взглядом на физику. Хороший отпор аргументам Дингла и других дал Макс Борн. В своей статье «Физическая действительность», критикуя отрицание объективного внешнего мира Динглом, он указывает на то, что в обычных условиях мы, например, не обнаруживаем несомненно существующей физической связи между выстрелом из ружья и пулей, вынутой из раны человека. Между тем представление о летящей из ружья пуле никто не посмеет назвать продуктом фантазии: все признают, что в промежутке времени между выстрелом и ранением пуля описывает вполне определенную траекторию между ружьем и мишенью²².

Очень хорошо, конечно, что позитивисты подчеркивают активную роль познания, наблюдений и экспериментов физиков. Но если не допускать вещей, которые существуют *до* и *после* наблюдений, то как могут представители «копенгагенской школы» говорить о неконтролируемом изменении действительности измерением? Какой действительности? Действительности опыта? Нет, позитивисты-физики в своей физической практике стихийно переходят на материалистические позиции. Операционалисты всегда в неявной форме делают допущение о существовании внешнего мира, иначе у них нет критерия правильности выбранных ими операций. В философских анализах, однако у некоторых позитивистов понятие возможности явилось тем мостиком, по которому они перешли, пытаясь уйти от субъективизма, к объективному идеализму. Это особенно ярко иллюстрируют взгляды на возможность и действительность одного из самых выдающихся физиков нашего времени — Вернера Гейзенберга.

Начав с привлечения понятия возможности для осмысливания корпускулярно-волнового дуализма в физи-

²² См. М. Борн. Physik im Wandel meiner Zeit. Braunschweig, 1958, S. 149.

ке, Гейзенберг в дальнейшем вышел за пределы этой науки, подчеркивая общепhilosophическое значение своего учения о возможности и действительности (особенно в книге «Физика и философия», 1958). В последнее время Гейзенберг много говорит об «объективной истинности знания», к которой должны стремиться ученые. «Любой ученый, ведущий исследовательскую работу, — пишет он, — чувствует, что он ищет нечто объективно истинное». Что же именно понимает Гейзенберг под объективностью и объективной истинностью?

Начиная со статьи «Развитие интерпретации квантовой теории» (1955) в сборнике, посвященном Н. Бору, Гейзенберг проводит различие между понятиями «объективности» и «реальности» (действительности). По его мнению, «классическая идея об объективно реальных предметах» должна быть отвергнута. «Реальностью в собственном смысле этого слова являются только вещи и процессы, которые могут описываться при помощи классических понятий пространства и времени. Но когда пытаются проникнуть в детали атомных явлений, то находят там прозрачную ясность математики, законы которой управляют возможным, но не действительным»²³.

«Состояние замкнутой системы, которое можно представить при помощи гильбертова вектора²⁴, на самом деле объективно, но не реально»²⁵. Понятия «материи и реальности» сохраняют свою силу при объяснении экспериментов, но они более неприменимы к мельчайшим частицам материи, которые являются «отпечатками математических структур». Именно эти «простые математические структуры» являются подлинным объективным миром, существующим независимо от наблюдателя. Гейзенберг пишет: «Получается, как у Платона, что в основе кажущегося столь сложным мира лежат элементарные частицы и поля сил простой и ясной математической структуры»²⁶. Перефразируя Лейбница, Гейзенберг говорит, что если Вселенная — не лучший из возможных миров, то безусловно простейший из возможных миров.

²³ «Нильс Бор и развитие физики». ИЛ, М., 1958, стр. 43.

²⁴ То есть волновой функции в математическом аппарате квантовой механики.

²⁵ «Нильс Бор и развитие физики», стр. 42.

²⁶ W. Heisenberg. Physics and philosophy. N. Y., 1958, p. 53.

Последние работы Гейзенберга пестрят утверждениями о том, что «подтверждается идеализм Платона», что «элементарные частицы в конечном счете имеют идеальную природу». По его мнению, в начале современного естествознания стоят не материальные вещи, а математические структуры. Но «так как математическая структура является в конце концов духовным содержанием, то мы можем сказать словами Фауста Гете: «в начале была мысль»²⁷. Плодотворность объяснения природы при помощи математических законов свидетельствует о полной объективности этих законов, рассматривающих «не фактически происходящее, а возможности».

Так, различие между объективностью и действительностью связывается у Гейзенберга с различием между возможностью и действительностью. Именно идеальная возможность как простая математическая структура объявляется первичной, объективной. Действительность же, выражаемая понятиями классической физики, не является объективной, так как она якобы неразрывно связана с наблюдателем, экспериментатором.

Как же совершается, согласно взглядам Гейзенберга, переход возможности в действительность? Он пишет о том, что «наблюдение изменяет функцию вероятности прерывным образом: оно отбирает из всех возможных событий действительные... Следовательно, переход от возможного к действительному имеет место в акте наблюдения... Переход от возможного к действительному совершается в процессе взаимодействия объекта с измеряющим устройством, и посредством этого — с остальным миром». Итак, нет перехода возможности в действительность *вне наблюдения*.

Хотя Гейзенберг в одном месте подчеркивает, что этот переход «не связан с актом регистрации результатов наблюдения в сознании наблюдателя», это замечание не меняет существа дела: без наблюдателя нет экспериментальной установки и, следовательно, нет перехода возможного в действительное. Здесь происходит мистический прыжок от идеальной возможности к опытной действительности, не находящий никакого отражения в математических уравнениях. Такой неоправданный и необъяснимый скачок от «идеальной» возможности к

²⁷ W Heisenberg. Physics and philosophy. N. Y., 1958, p. 72.

опытной действительности характерен для объективного идеализма. Иного и не может быть при разрыве возможности и действительности как «идеального» и «реального». «Идеальное» бытие в реальном мире не может быть ни возможным, ни действительным. Последовательные объективные идеалисты ищут толчок к осуществлению «идеальных» возможностей в мировом творческом разуме, воле. Гейзенберг не доходит до этого. В трактовке перехода возможности в действительность у него на сцене опять появляются позитивистские мотивы: переход совершается в неразрывной связи с наблюдателем, и действительность понимается как непосредственная данность в опыте человека. Гейзенберг не считает, однако, вместе с позитивистами эту действительность опыта первичной и единственной реальностью; как выразились бы более последовательные позитивисты, он «оступается» в метафизику объективного идеализма, признавая первичным модернизированный платоновский мир математических структур²⁸.

В настоящее время философские взгляды Гейзенберга представляют собой эклектическую похлебку, в которой платоновский идеализм уживается как с чисто позитивистской методологией науки, так и со стихийно-материалистическими положениями, без которых не может обойтись в своей работе ни один подлинный ученый. Впрочем, сам Гейзенберг предпочитает характеризовать свои философские взгляды не как эклектику, а как «преодоление» всех прежних философских систем — старая погудка на новый лад!

Истолкование Гейзенбергом корпускулярно-волнового дуализма посредством понятия возможности импонирует современному объективному идеализму. Алоиз Венцль, именующий себя «критическим реалистом», говорит о волновой функции квантовой механики как «потенциальном идеальном бытии», «духовной сущности, лежащей в основе материи». Это «идеальное непрерывное

²⁸ «Если считать математическое субстанцией современной атомной физики, то волны и корпускулы являются только формами выражения... лежащей в их основе математической сущности», — пишет вслед за Гейзенбергом Герхардт Геннеман (H. H e n n e m a n. Zur Frage nach dem ontologischen Hintergrund der modernen Atomphysik. «Philosophia naturalis», 1960, Bd. VI, Hf. 1, S. 42).

бытие» он называет «первозможностью», «первознергней, аналогичной воле».

Неотомисты, возрождающие философию Аристотеля, как и средневековые схоласты, убивают в ней все живое и увековечивают мертвое. Они восхваляют Фому Аквинского за то, что он «развил» учение о возможности, принадлежавшее Аристотелю, признав бога-творца первопричиной, «чистой актуальностью, не смешанной с потенциальностью». В своих анализах современной физики они сближают (как, впрочем, и сам В. Гейзенберг) гейзенберговскую концепцию возможности с платонизированным учением Аристотеля о «потенции» и толкуют в этом духе квантовую механику.

Николай Гартман, на учение о возможности которого сочувственно ссылаются и неотомисты, и критические реалисты, расщепляет мир на «идеальную» и «реальную» сферы и полностью отрывает идеальную возможность от ее корней в реальном мире. Подлинным объективным значением обладает у него лишь «идеальное бытие» и «идеальная возможность». Американский идеалист Сантаяна, как и Гартман, основой мира считает «идеальный мир сущностей», который является бесконечным многообразием идеальных возможностей; по сравнению с ним действительность с ее осуществленными возможностями кажется Сантаяне бедной и незначительной.

Из этих примеров уже достаточно ясно видно, что понятие «идеальной возможности», к которому пришел в последние годы Гейзенберг, является одним из основных понятий современного объективного идеализма. Идея Гейзенберга о привлечении понятий «возможности» и «действительности» для осмысления двойственной природы микрообъектов заслуживает серьезного внимания со стороны физиков и философов. Однако ни позитивизм, ни объективный идеализм не могут привести здесь, как и в других вопросах физики, к плодотворным результатам. Выдающийся советский физик А. А. Фок в течение нескольких лет подчеркивает момент возможности в квантовой механике с материалистической позиции. К сожалению, пользуясь лишь «обыденным представлением» о возможности, он не отдает себе достаточно ясного отчета в диалектическом соотношении понятия «возможности» в квантовой механике

с понятиями «случайности» и необходимости²⁹. Здесь особенно остро ощущается необходимость теснейшего союза физиков с философами, на основе которого только и можно рассматривать проблему на достаточно высоком философском уровне.

Решительное отрицание «идеальной объективной возможности», оторванной от действительного материального мира, не следует понимать как отрицание абстрактной (формальной) возможности, которая имеет реальные предпосылки в объективной действительности (в материалистическом смысле этого слова)³⁰. Напротив, по мере того как наука принимает все более абстрактный характер, повышается роль абстрактной возможности. В практике справедливо делается упор на реальную возможность, но в абстрактных теоретических исследованиях на передний план выступают абстрактные возможности. Понятие абстрактной возможности входит даже в определение предмета такой науки, например, как теоретическая кибернетика. Росс Эшби определяет последнюю как науку о «возможных машинах». Но даже при рассмотрении данных конкретных машин для кибернетики типичен не вопрос о том, какие отдельные действия совершает машина «здесь и теперь», то есть не вопрос о действительном поведении машины, а вопрос о том, «каковы все возможные формы поведения данной машины»³¹. Эшби называет метод кибер-

²⁹ Так, например, преодоление лапласовского детерминизма он усматривает в том, что «принцип причинности относится непосредственно к вероятности, т. е. к потенциально возможному, а не к действительно осуществившимся событиям». Здесь ничего нет о случайности «осуществляющихся событий», отрицавшейся механическим детерминизмом, но обусловленной также причинностью. В таком виде положение В. Фока оказывается созвучным с утверждением Гейзенберга о том, что «не сами фактические события, а только их возможности подчиняются строгим законам».

³⁰ Под «абстрактной возможностью» понимается возможность явлений, не противоречащих законам природы, но не могущих быть осуществленными в данное время в силу отсутствия условий для их реализации. Таким образом, абстрактная возможность является относительной невозможностью: она не может осуществиться в данных условиях, но при наличии соответствующих условий превращается в реальную возможность. Поэтому при реализации какой-либо одной возможности не реализованные в данных условиях тенденции развития остаются существовать как абстрактные возможности.

³¹ У. Р. Эшби. Введение в кибернетику. ИЛ, М., 1959, стр. 56.

нетики «методом исследования сложности»; посредством него кибернетика выделяет то, что абстрактно возможно, так как покоится на уже открытых объективных законах, в то время как ученые прошлого часто пытались достичь того, что является «абсолютной невозможностью» (вечный двигатель первого и второго рода и др.).

История науки дает много примеров перехода абстрактных возможностей в реальные и последующее их осуществление. Возьмем случай из близкого прошлого: в 30-х годах советские физики Мандельштам и Папалекси предсказали радиолокацию небесных тел, которая тогда была только абстрактной возможностью. Но в настоящее время радиолокационные исследования небесных тел стали реальной возможностью; так, уже получены замечательные результаты радиолокационных исследований Венеры.

Конечно, конкретный анализ данной ситуации всегда должен проводить различие между реальной и абстрактной возможностями; смешивать их всегда неправильно. Но забывать об абстрактных возможностях, не изучать их — значит не пытаться посмотреть в будущее: ведь понятие абстрактной возможности связывает настоящее с будущим науки. Научные предположения, гипотезы, которые в настоящее время не могут быть проверены опытом, отражают абстрактные возможности, содержащиеся в объективной действительности³². В процессе развития природы и общества все время возникают новые возможности, и их научное предвидение имеет большое значение.

Развитие современного естествознания ставит перед диалектическим материализмом задачу творческого развития учения о соотношении возможности и действительности. Такое развитие марксистского учения о возможности на основе нового научного материала должно включать в себя также критический анализ в этой области философских учений прошлого и современных зарубежных концепций.

³² Нельзя согласиться с В. Морочником, когда он пишет: «Попытка опереться на абстрактные возможности — пустое и вредное занятие» («Вопросы философии», 1959, № 4, стр. 146). В научной теории понятие абстрактной возможности играет большую роль.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КРИТИКИ
НЕОПОЗИТИВИСТСКОГО ПОНИМАНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ
И СЛУЧАЙНОСТИ

Начавшаяся в конце XIX в. революция в физике, связанная с открытием радиоактивности, электрона, рентгеновских лучей и т. п., настоятельно потребовала разработки важнейших гносеологических проблем, поскольку старое, преимущественно механическое, их понимание, господствовавшее к тому времени в науке, не в состоянии было дать объяснение многим явлениям и процессам микромира.

Возникла настоятельная необходимость и в диалектико-материалистической разработке категорий закономерности¹, необходимости, причинности. Большинство буржуазных ученых не могло справиться с этой задачей. Этому препятствовали социально-экономические условия, в которых формировалось мировоззрение этих ученых. Подобная обстановка не могла не способствовать возникновению кризиса в физике, гносеологические и классовые корни которого гениально были вскрыты В. И. Лениным в книге «Материализм и эмпириокритицизм».

Проблемы причинности и закономерности связаны с темой данной статьи в том отношении, что причинность в конечном счете лежит в основе всех других связей (как, например, взаимодействие, необходимость, случайность и т. п.). Всякая же необходимая связь закономерна. Таким образом, не всякая зависимость сама по себе есть связь вида причина — следствие, но в конечном счете всегда есть проявление если не тех, то иных детерминистских связей. В рамках данной статьи мы не будем детально выяснять дифференцированное соотношение между категориями «причинность» и «закономерность», «закономерность» и «необходимость», сделав акцент на общее между ними по объективному содержанию.

В прямой связи с кризисом в физике находилось и возникновение второй формы позитивизма — позитивизма махистской формации.

Махисты субъективно-идеалистически трактовали категории необходимости, причинности, закономерности, отрицали их объективный характер. Сам Э. Мах утверждал, что «кроме *логической* (курсив Маха. — Н. П.) какой-нибудь другой необходимости, например физической, не существует». В «Механике» Маха читаем: «В природе нет ни причины, ни следствия». «Я многократно излагал, что все формы закона причинности вытекают из субъективных стремлений (Trieben); для природы нет необходимости соответствовать им»². Авенариус в сочинении «Философия, как мышление о мире согласно принципу наименьшей траты сил» писал: «Не ощущая (не познавая в опыте) (erfahren) силы, как чего-то вызывающего движение, мы не ощущаем и необходимости какого бы то ни было движения... Все, что мы ощущаем (erfahren), это — что одно следует за другим». «Поскольку... представление о причинности требует силы и необходимости или принуждения, как интегральных составных частей для определения следствия, постольку и оно падает вместе с ним». «Необходимость остается как степень вероятности ожидания последствий»³.

Критикуя взгляды махистов на категорию необходимости, В. И. Ленин отмечал, что в них воспроизводится «юмовская⁴ точка зрения в самом чистом виде: ощущение, опыт ничего не говорят нам ни о какой необходимости»⁵. При этом, поскольку логика рассматривалась Махом как продукт более или менее произвольного индуктивного обобщения соотношений между «нейтральными элементами», то есть ощущениями субъекта с точки зрения принципа экономии мышления, то понятие

² Цит. по кн.: В. И. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм. Соч., т. 14, стр. 146.

³ Там же, стр. 145.

⁴ Д. Юм писал: «Когда мы наблюдаем внешние предметы, мы нигде не видим необходимой связи между причиной и следствием; мы видим только, что одно явление следует за другим, но ничто не вызывает идеи силы или необходимой связи. Внешний мир не дает нам идеи необходимой связи» (Д. Юм. Исследование о человеческом разуме. СПб., 1904, стр. 32—33).

⁵ В. И. Ленин. Соч., т. 14, стр. 145.

необходимости в его философии вообще повисает в воздухе, а понятие «функциональных зависимостей», которым он заменил понятие «научного закона», оказывается либо необъяснимым, либо произвольным.

В современном нам позитивизме налицо по существу родственная махизму постановка вопроса о категории необходимости: нет эмпирически открываемой необходимости, ибо в опыте якобы не даны и не могут быть даны никакие необходимые связи; необходимость в силу этого может быть только логической. Последняя же рассматривается в смысле конвенционального решения, то есть глубоко субъективистски. Что же касается вопроса о том, не существует ли все же где-то «за» чувственным опытом субъекта объективная причинность (соответственно: закономерность, необходимость), то неопозитивисты считали обычно этот вопрос лишенным научного смысла (а позднее: допускающим лишь более или менее вероятные предположения).

Один из основоположников неопозитивизма — Л. Витгенштейн в «Логико-философском трактате», говоря о том, что «события будущего не могут быть выведены из событий настоящего», приходил к выводу, что «вера в причинную связь есть предрассудок»⁶. В другом тезисе он прямо пишет: «Не существует необходимости, по которой одно должно произойти потому, что произошло другое. Имеется только *логическая* (курсив Витгенштейна. — Н. П.) необходимость»⁷. Выше мы уже отметили, что это значит.

К оценке понимания Л. Витгенштейном категории необходимости полностью могут быть отнесены слова В. И. Ленина, сказанные в адрес махистов: «...субъективистская линия в вопросе о причинности, выведение порядка и необходимости природы не из внешнего объективного мира, а из сознания, из разума, из логики и т. п. не только отрывает человеческий разум от природы, не только противопоставляет первый второй, но делает природу *частью* разума, вместо того, чтобы разум считать частичкой природы. Субъективистская линия в вопросе о причинности... есть философский

⁶ Л. Витгенштейн. Логико-философский трактат. ИЛ, М., 1958, стр. 64.

⁷ Там же, стр. 94.

идеализм... т. е. более или менее ослабленный, разжиженный фидеизм»⁸.

Рассмотрим теперь, как эти общие положения логического позитивизма относительно природы необходимых связей реализуются в применении к общественной и естественной наукам.

Особенно откровенную позицию относительно отрицания объективного характера необходимости в развитии мира занимают неопозитивисты-социологи.

Английский неопозитивист К. Поппер пишет в своей книге «Открытое общество и его враги»: «Будущее зависит от нас самих, и мы не зависим от какой бы то ни было исторической необходимости»⁹. В другой своей работе, «Нищета историзма», он утверждал: «Надежда, что мы можем открыть законы развития общества, как Ньютон открыл законы движения физических тел, является не чем иным, как следствием ошибки в интерпретации. В связи с тем, что в обществе не имеется движения в смысле аналогичном движению физических тел, законы такого рода не существуют»¹⁰.

Однако совершенно справедливое утверждение относительно того, что в обществе неприменимы физические законы, не означает еще, что в обществе вообще нет законов. Материалистическая диалектика доказывает, что каждой качественно своеобразной ступени развития движущейся материи присущи свои специфические детерминистские законы, не сводимые к законам развития низших ступеней движущейся материи. Вместе с тем в каждой высшей ступени развития движущейся материи «присутствуют» и детерминистские законы, характерные для низших областей ее развития, но эти законы являются не определяющими, а побочными или подчиненными законам, свойственным высшим ступеням движущейся материи. В процессах, например, химической и органической природы «механические законы хотя и продолжают действовать, — отмечает Ф. Эн-

⁸ В. И. Ленин. Соч., т. 14, стр. 142.

⁹ К. Поппер. *The Open Society and Its Enemies*, v. 2. London, 1957, p. 3.

¹⁰ К. Поппер. *Misere de l'historicisme*. Paris, 1956, p. 115.

гельс, — но отступают на задний план перед другими, более высокими законами»¹¹.

Важнейшей особенностью законов общественной жизни является то, что они реализуются только через деятельность людей. В природе же ее законы действуют помимо людей. Указывая на это обстоятельство, Ф. Энгельс писал: «История развития общества в одном пункте существенно отличается от истории развития природы. Именно: в природе (поскольку мы оставляем в стороне обратное влияние на нее человека) действуют одна на другую лишь слепые, бессознательные силы, и общие законы проявляются во взаимодействии этих сил. Здесь нигде нет сознательной, желаемой цели: ни в бесчисленных кажущихся случайностях, видимых на поверхности, ни в окончательных результатах, подтверждающих наличие закономерности внутри этих случайностей. Наоборот, в истории общества действуют люди, одаренные сознанием..., ставящие себе определенные цели. Здесь ничто не делается без сознательного намерения, без желаемой цели»¹².

Американский неопозитивист-социолог Д. Ландберг утверждает, что закон не существует до тех пор, пока не установлен¹³. Если логически следовать подобной точке зрения, то получается, что наука не открывает, а изобретает законы. Формулируемые ею законы оказываются не отображением объективно существующих внутренних связей вещей и процессов, а всего навсего лишь результатом конвенционально-логического упорядочения (через принятие схем теоретических конструкций) восприятий наблюдателя.

Но если согласно взглядам неопозитивистов в природе и обществе в конечном счете отсутствуют объективные закономерности и лежащие в основе их причинные связи, то что же тогда остается? Оказывается, в природе и обществе, как полагают неопозитивисты, господствуют одни только случайности, понимаемые субъективно-идеалистически, как нечто в корне незакономерное и беспричинное.

¹¹ Ф. Энгельс. Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии. Госполитиздат, М., 1949, стр. 21.

¹² К. Маркс и Ф. Энгельс. Избр. произв., т. II. Госполитиздат, М., 1948, стр. 371.

¹³ См. D. Lundberg. Social Research. N. Y., 1942, p. 11.

Американский профессор Стерлинг Р Лампрехт в статье «Метафизические основы проблемы свободы» считает, что все события в природе и особенно в обществе случайны, а признание необходимости является иллюзией, предрассудком. Только признание господства случайности в природе и обществе делает, по его мнению, возможным человеческую свободу. «Эта точка зрения,— пишет Лампрехт,— прямо противоположна любому взгляду, который считает ход событий неизбежной тенденцией. Противоположностью свободы является не власть, но неизбежность (читайте: необходимость. — Н. П.). Многие философы считали ход изменения в природе вообще и ход человеческой истории в частности неизбежным... Ортодоксальный марксизм... видит в игре экономических сил безжалостные и неотвратимые проявления движения всемогущей материальной субстанции»¹⁴.

Канадский неопозитивист Мэйо, не зная диалектики необходимости и случайности, представляет себе исторический процесс в виде хаотического взаимодействия разнородных случайных факторов, отстаивая «свободное усмотрение» людей. «Сфера, в которой может действовать свободное усмотрение, — пишет он, — может быть ограниченной, однако небольшие частные изменения в определенном направлении могут через некоторое время привести к совершенно различным результатам»¹⁵.

Считая, что якобы нет доказательств того, что прогресс — это всеобщее явление, и что нет закона истории, который «гарантировал» бы прогресс, Мэйо далее утверждает, что «ход истории подвергался влиянию многих факторов... Климат, география, стихийные бедствия, болезни, всякие вожди, даже случайность или длина носа Клеопатры — все эти влияния и множество других сделали события тем, чем они стали»¹⁶.

Утверждения эти не новы. В свое время они были подвергнуты критике классиками марксизма-ленинизма, показавшими, что природа и общество — отнюдь не хаотическое нагромождение случайностей. В материальном мире объективно присутствуют и необходимость, и

¹⁴ «Freedom and Authority in Our Time». N. Y., 1958, p. 598.

¹⁵ Н. В. Мауо. Democracy and Marxism. N. Y., 1955, p. 60.

¹⁶ Ibid., pp. 166, 168.

случайность, являющаяся формой проявления и дополнения необходимости. При этом необходимость и случайность всегда находятся в единстве друг с другом. «Случайность, — указывал Ф. Энгельс, — это только один полюс взаимозависимости, другой полюс которой называется необходимостью»¹⁷

Особенно большое значение придают близкие к позитивизму историки случайностям, связанным с деятельностью личности. Так, Д. Фрэнк пишет: «Многие историки забывают, что позиция короля, диктатора, премьер-министра, президента может повлиять на будущие судьбы его страны и других стран. Важные правительственные решения принимаются одним человеком либо небольшой группой людей. Как случилось, что они оказались в данный момент вооруженными полномочиями принимать решения, и что влияло на эти решения — это такие вопросы, которые никто не может сформулировать на языке «законов» или «социальных сил». Так, Александр Македонский, Наполеон или Гитлер — личности, способные вызвать общественные изменения, подобные землетрясению. Потрясения, вызываемые ими, считает Фрэнк, могут разрушить целую цивилизацию. Однако никто не мог бы их предвидеть: ведь само рождение великого человека — «это случайность, результат случайной встречи и брака его родителей»¹⁸.

Д. Фрэнк полагает, что случай, «делающий историю», не обязательно должен быть актом только великого человека. «История Европы, — пишет он, — однажды зависела от того, обнаружит ли вахтенный на судне Нельсона корабли экспедиции Наполеона, направляющиеся в Египет. Поворотным пунктом в истории США было в действительности поражение генерала Ли в битве при Геттисберге. Впоследствии Ли сказал, и многие с ним соглашались, что он одержал бы победу, если бы Стоунволл Джексон был с ним; однако несколькими месяцами раньше Джексона случайно застрелили его солдаты»¹⁹.

Естественно, никто не знает точных ответов на такие вопросы, как «что было бы, если бы...». «Ибо изменение

¹⁷ К. Маркс и Ф. Энгельс. Избр. произв., т. II. Госполитиздат, М., 1955, стр. 306.

¹⁸ D. Frank. The Fate and Freedom. N. Y., 1953, p. 43.

¹⁹ Ibid.

в одном важном факторе не означает только лишь это изменение — за одним случаем обычно следуют другие; совокупность нескольких случаев может произвести взрывчатую смесь, которая взорвет одну «тенденцию» и даст место другой»²⁰.

Мы, конечно, не отрицаем того значения, какое имеет личность в истории. К. Маркс писал, что «история имела бы очень мистический характер, если бы «случайности» не играли никакой роли». К числу таких случайностей относится «и такой «случай», как характер людей, стоящих вначале во главе движения»²¹.

Вместе с тем признание исторической роли случайностей, связанных с деятельностью отдельных личностей, нисколько не опровергает наличия исторической необходимости. Деятельность личностей, хотя и осуществляется в соответствии с их желанием достигнуть определенной «своей» цели, в конечном счете диктуется объективными закономерностями, обусловленными материальными условиями жизни общества.

«Идея исторической необходимости, — писал В. И. Ленин, — ничуть не подрывает роли личности в истории: история вся слагается именно из действий личностей, представляющих из себя несомненно деятелей. Действительный вопрос, возникающий при оценке общественной деятельности личности, состоит в том, при каких условиях этой деятельности обеспечен успех? в чем состоят гарантии того, что деятельность эта не останется одиночным актом, тонущим в море актов противоположных»²².

Великая личность играет положительную роль в истории, если она своей деятельностью правильно выражает потребности экономического развития общества, потребности передового класса. Если же идеи, пожелания и деятельность великой личности идут вразрез с экономическими потребностями развития общества, с интересами передового класса, то такая личность играет отрицательную роль в общественном развитии.

В наше время мирное сосуществование социалистических и капиталистических государств — объективная

²⁰ D. Frank. The Fate and Freedom. N. Y., 1953, p. 56.

²¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма. Госполитиздат, М., 1953, стр. 264.

²² В. И. Ленин. Соч., т. 1, стр. 142.

историческая необходимость развития человеческого общества. В конечном итоге эта необходимость реализуется в деятельности объединенных сил могучего социалистического лагеря, миролюбивых несоциалистических государств, международного рабочего класса и всех сил, отстаивающих дело мира. В то же время сохранение мирного сосуществования между двумя мировыми системами — капиталистической и социалистической — во многом зависит от того, в каком направлении будет проводить политику тот или другой руководящий деятель в ведущих капиталистических странах, насколько он понимает необходимость сохранения мира во всем мире.

Отрицая наличие исторической необходимости и сводя историю общества к хаосу случайностей, якобы лишенных в своей основе причинной обусловленности, современные позитивисты на этом основании не признают и научного предвидения в общественной жизни.

К. Поппер в книге «Открытое общество и его враги» пишет: «Переенесение центра тяжести на научное предвидение, — само по себе важное и прогрессивное методологическое открытие, — к несчастью, сбilo Маркса с правильного пути. Ибо правдоподобный довод, что наука может предвидеть будущее лишь при условии, если будущее предопределено, словно будущее, так сказать, присутствует в прошлом и отражается в нем — привел его к ложному убеждению, что строгий научный метод может основываться на строгом детерминизме. Марксовы «неумолимые законы» природы и исторического развития совершенно ясно показывают влияние лапласовской атмосферы и французских материалистов... Никакая разновидность детерминизма, выражается ли он в принципе закономерности природы или в качестве закона всеобщей обусловленности, не может больше рассматриваться как необходимая предпосылка научного метода: ибо наиболее развитая из всех наук — физика показала, что она не только может обойтись без таких предположений, но также, что она в известной степени опровергает их. Детерминизм не является необходимым предварительным условием науки»²³.

²³ К. Поппер. The Open Society and its Enemies, v. I. London, 1957, p. 84—85.

В другой своей социологической работе — «Нищета историзма» К. Поппер еще более открыто высказывается против возможности научного предвидения в общественной жизни и того методологического подхода в социологии — историзма²⁴, который ставит своей целью раскрытие научного предвидения.

«...Мы не можем, — пишет он, — предвидеть развитие человеческой истории в будущем. Все это означает, что мы должны отвергнуть возможность теоретической истории, то есть социальной исторической науки, которая по своему значению была бы равна теоретической физике. Научная теория исторического развития, на которой могло бы основываться историческое предвидение, не может существовать. Вот почему несостоятельна главная цель методов историзма и несостоятелен сам историзм»²⁵.

В статье «Предсказание и творчество в общественных науках», опубликованной в сборнике «Теории истории», отрицая возможность предвидения общественных явлений, К. Поппер пишет: «Наиболее замечательные аспекты исторического развития неповторимы. Тот факт, что мы можем предсказывать затмения, не дает... законного основания ожидать, что мы можем предсказывать революции»²⁶. К. Поппер не только отрицает возможность предсказания революции, но и самую необходимость революционного преобразования общества. «Я убежден, — пишет он, — что революционные методы могут ухудшить положение: они вызовут излишнее страдание, приведут к еще большему насилию, они могут, наконец, разрушить свободу»²⁷.

В действительности, однако, социалистические революции, в ходе которых коммунизм придет на смену капитализма, являются результатом необходимо детерминированного внутреннего развития каждой страны, крайнего обострения в ней социальных противоречий.

²⁴ Под историзмом К. Поппером понимается «теория, относящаяся ко всем социальным наукам, которая делает своей главной целью историческое предвидение и которая указывает, что эта цель может быть достигнута, если раскрыть ритмы, «законы» или «общие тенденции», лежащие в основе исторического развития».

²⁵ К. Поппер. *Misere de l'historicisme*. Paris, 1956, pp. IX—X.

²⁶ См. Gardiner (ed.). *Theories in History*. London, 1959, p. 280.

²⁷ *Ibid.*, p. 283.

В Программе КПСС отмечается: «Пролетарская революция в каждой стране, являясь частью мировой социалистической революции, совершается рабочим классом, народными массами данной страны. Революция не происходит по заказу. Ее нельзя навязать народу извне. Она возникает в результате глубоких внутренних и международных противоречий капитализма. Победивший пролетариат не может навязать народу другой страны никакого осчастливления, не подрывая этим своей собственной победы»²⁸. Неизбежность победы коммунизма над капитализмом вытекает из действия объективных общественно-исторических законов. Марксисты уверены поэтому в победе коммунизма во всемирном масштабе. Ныне, как указывается в Заявлении Совещания представителей коммунистических и рабочих партий (1960), когда мировая социалистическая система превращается в решающий фактор развития человеческого общества, никакие усилия защитников империализма не смогут приостановить поступательное развитие истории. Заложены прочные предпосылки для дальнейших решающих побед социализма, и полная победа социализма неизбежна²⁹.

Утверждение неопозитивистов-социологов о том, что история человечества лишена объективной исторической необходимости и вообще объективных закономерностей, что в ней господствуют одни лишь случайности (в вышеотмеченном позитивистском их понимании), объясняется не столько трудностями исследования явлений исторической действительности, хотя и они имеют место (сложность предвидения событий общественной жизни, анархия производства и стихийность развития капиталистического общества и т. п.), сколько классовыми, социальными причинами. Буржуазии и ее идеологам выгодно представить историю общества не как историю развития производительных сил и производственных отношений, как историю трудящихся масс — подлинных создателей материальных и духовных ценностей, а как историю деятельности отдельных субъектов и тем самым воспитывать трудящихся в духе реакционной теории

²⁸ Материалы XXII съезда КПСС. Госполитиздат, М., 1961, стр. 348.

²⁹ Документы Совещания представителей коммунистических и рабочих партий. Госполитиздат, М., 1960, стр. 9.

культы «героев», в духе преклонения перед последним.

Если в общественной жизни все случайно, как это твердят неопозитивисты, то, следовательно, не существует и исторической неизбежности гибели капитализма и победы коммунизма. Этот вывод часто используется буржуазией для того, чтобы парализовать революционную борьбу рабочего класса, приукрасить капитализм как якобы «вечную» социальную систему, обвинить коммунистов всего мира в стремлении путем «насильственного вмешательства» в ход общественного процесса «навязать» коммунистический строй «свободному миру». Так неопозитивистская концепция общественных изменений вливается в общий хор антикоммунистической пропаганды, ведущейся капиталистическими идеологами.

* *

*

Субъективно-идеалистическое понимание неопозитивистами категорий необходимости и случайности (по существу их отождествление на базе «случайности») оказывает определенное отрицательное влияние на многих буржуазных естествоиспытателей. Некоторые из них широко применяют способ отрицания необходимых связей на основе идеалистического истолкования квантовой физики. Так, Б. Рассел заявляет в своей книге «Человеческое познание», что понятие причинности неприменимо в современной физике и что последняя все более решительно отходит от принципа детерминизма. «Имеются основания думать, что это отсутствие полного детерминизма (в квантовой теории. — *Н. П.*) объясняется не несовершенством теории, а собственными свойствами событий малого масштаба»³⁰. В этом же духе известный немецкий физик В. Гейзенберг (стоявший в то время на неопозитивистских позициях) писал в 30-х годах, что открытое им соотношение неопределенностей дает возможность отказаться от детерминизма в объяснении явлений микромира. Гейзенберг, Бор, Иордан и др. усматривали в соотношении неопределенностей отражение факта неконтролируемого взаимодействия

³⁰ Б. Рассел. Человеческое познание, его сфера и границы. ИЛ, М., 1957, стр. 59.

прибора и микрообъекта. «Воздействие средств наблюдения на объект наблюдения, — писал В. Гейзенберг, — должно рассматриваться как частично неконтролируемое. Эта принципиально неконтролируемая часть возмущения, которая обязательно связана с каждым наблюдением, важна для нас во многих отношениях»³¹. В действительности же, как показали советские ученые В. И. Вавилов, В. А. Фок, А. Д. Александров и др., в соотношении неопределенности отнюдь не кроется никакого индетерминизма в собственном смысле слова. Соотношение неопределенностей не отрицает принципа причинности. Во всяком случае, это соотношение не отрицает того, что всякий раз, как будет происходить локализация микрочастицы в пространстве, в это время обязательно будут происходить и вполне определенные изменения в ее скорости (энергии). В то же время в соотношении неопределенности не содержится прямого указания на то, что оно дает возможность выразить объективные причинные связи индивидуальных микрочастиц (электронов, протонов и т. д.). О детерминированности поведения отдельных частиц можно говорить лишь в смысле большей или меньшей вероятности и то лишь на основе детерминированности ансамбля (коллектива) микрочастиц. Значит, соотношение неопределенностей через призму статистики отражает причинную связь между взаимодействующими микрочастицами, с одной стороны, и между ними и приборами, с другой стороны.

Из того факта, что квантовая физика имеет дело не с динамическими закономерностями и лежащей в их основе механической причинностью, а со статистическими закономерностями, отражающими необходимые связи массовидных микрообъектов (ансамблей электронов, позитронов, фотонов, мезонов и т. д.), еще нельзя делать вывод об отсутствии причинности и необходимости в микромире, как это делает Б. Рассел и другие позитивисты XX в. (М. Шлик, Ф. Франк, Г. Райхенбах).

Дело в том, что наличие динамической закономерности в явлениях классической физики обусловлено такой

³¹ См. В. Гейзенберг. Философские проблемы атомной физики. ИЛ, М., 1953, стр. 8.

формой причинности, при которой устойчивые, необходимые связи объекта с его материальным окружением совместно с начальным его состоянием детерминируют всю последовательность состояний, случайные же связи играют при этом роль лишь «мелких возмущений». Иначе говоря, при динамической закономерности внутренние свойства объектов и их необходимые связи при заданном начальном состоянии допускают одну-единственную возможность течения процесса, которая с неизбежностью реализуется в действительность.

Основанием же статистических закономерностей, отражающих необходимость в поведении объектов квантовой механики, является иная форма причинности, при которой внутренние особенности микрообъектов и их устойчивые, необходимые связи с материальным окружением не детерминируют каждый отдельный процесс однозначно. Они определяют лишь объективные возможности течения процесса и их вероятность в виде устойчивости относительной частоты процессов каждого возможного их типа.

Выясняя причины статистических закономерностей, присущих квантовой механике, члены-корреспонденты АН СССР Д. И. Блохинцев, С. В. Вонсовский и профессор Г. А. Курсанов считают, что они обусловлены взаимодействием микро- и макропроцессов. Действительно, микрочастицы всегда находятся во взаимосвязи, взаимодействии с макроэлементами, составляющими их макроокружение. Совокупность взаимодействий, имеющих по отношению к самому микрообъекту случайный характер, якобы и обуславливает наличие статистической закономерности в квантовой механике³².

Несколько по другому объясняет причины статистических закономерностей в квантовой механике А. А. Соколов. Он считает, что они являются результатом «взаимодействия электрона с флуктуациями поля фотонов и электронио-позитронного вакуума»³³.

³² «Философские вопросы современной физики». Изд-во АН СССР, М., 1952, стр. 377 и статью «О связи динамических и статистических закономерностей в атомных явлениях». «Вестн. АН СССР», 1957, № 4.

³³ «Философские вопросы естествознания». Изд-во МГУ, 1959, стр. 29.

В настоящее время все большее число физиков приходит к убеждению, что существует субквантовомеханический мир, через посредство которого статистические закономерности квантовомеханического мира смогут получить такое же детерминистское объяснение, как и статистические закономерности в макромире обычной механики, метеорологии и т. д.

Физики Д. Бом, Ж. П. Вижье разработали на этот счет «гипотезу уровней», согласно которой статистический характер законов квантовой механики будто бы объясняется тем, что микрочастицы испытывают воздействия объектов, составляющих более глубокий (субатомный) уровень материальных процессов, подобно тому как статистический характер движения броуновской частицы есть результат того, что она испытывает воздействие огромного числа молекул жидкости³⁴.

Под воздействием неопозитивистской философии отрицание необходимости и преувеличение роли случайности (притом понятой субъективистски) наблюдается в той или иной мере среди ряда крупных естествоиспытателей капиталистических стран и в таких кардинальных вопросах современной науки, как возникновение жизни на Земле, объяснение причин изменения наследственности организмов, превращение одних видов в другие и т. п.

На международном симпозиуме по вопросам о происхождении жизни (1957) профессор М. Кальвин (США) в докладе «Химическая эволюция и происхождение жизни», указывая на длительность эволюции природы, говорил: «Можно представить длительный процесс эволюции, начавшийся на голой земле (хотя в действительности следует представить эволюционный процесс начинающимся с первоначального взрыва) и идущий через образование более или менее сложных молекул и затем, путем случайных изменений аутокатализа и отбора, приведший к более сложным системам, и, наконец, к организованным структурам, которые являют-

³⁴ См. Д. Бом. Причинность и случайность в современной физике. ИЛ, М., 1959, стр. 158—164, а также статью Ж. П. Вижье «К вопросу о теории поведения индивидуальных микрообъектов». «Вопросы философии», 1956, № 6.

ся носителями постоянства и организованности современных живых существ»³⁵.

Современные сторонники Вейсмана, Моргана, Менделя в биологии и прежде всего Дельбрюк, Дж. Гексли, Г. Гамов и др. также много говорят о принципиальной «случайности» процессов появления мутаций и наследственных изменений у организмов, о господстве случая в создании пород животных и сортов растений. Так, Дж. Гексли рассматривает наследственную изменчивость как результат случайной ошибки и самокопирования генов³⁶.

Разумеется, материалистическая биология не отрицает роли случайностей в развитии организмов. Эволюция жизни на земле, изучаемая материалистической биологией, действительно не может быть раскрыта без учета влияния случайностей, а следовательно, без изучения последних, ибо в развитии живой природы то, что является «случайным» для отдельного животного или растения, как правило, является необходимым для вида в целом. Необходимые черты вновь формирующихся в процессе эволюции видов образуются из случайных индивидуальных изменений и приспособлений к условиям внешней среды.

Более того, материалистическая биология раскрывает сам механизм превращения случайности в необходимость в развитии живых организмов.

«...Всякое воздействие новыми условиями на живое тело является для данного живого тела, — отмечает академик Т. Д. Лысенко, — случайным. Но если такие новые, а следовательно и случайные условия внешней среды, воздействующие на живое тело, им ассимилированы, если из них или под их воздействием строится живое тело, то это живое тело будет уже иным. Биологически оно будет отличаться от старого своей наследственностью, то есть новым и определенным типом ассимиляции и диссимиляции, потребностью в новых, но так же определенных условиях внешней среды... Этими определенными условиями и станут те, которые впервые ассимилировались путем случайного воздействия на исход-

³⁵ М. Кальвин. Химическая эволюция и происхождение жизни. Сб. «Возникновение жизни на земле». Изд-во АН СССР, М., 1957, стр. 352.

³⁶ См. J. Huxley. Evolution in Action. N. Y. 1953, pp. 36—37.

ное живое тело. Так, в органическом мире осуществляется переход случайности в необходимость, в наследственность»³⁷.

В то же время материалистическая биология считает, что определяющей в развитии живых тел является необходимость, пробивающая себе дорогу через массу случайностей.

Руководствуясь законом адекватности изменений наследственности, то есть законом, согласно которому изменение наследственности адекватно воздействию внешней среды, и законом возникновения наследственной приспособленности организмов к их среде существования, мичуринское учение установило, что различные живые тела отличаются друг от друга спецификой требования ими определенных условий для своей жизни и для своего развития, отличаются типом ассимиляции, обмена веществ; они отличаются друг от друга определенным наследственным «основанием» как эффектом концентрирования воздействия условий внешней среды, ассимилированных организмами в ряде предшествующих поколений.

Эти требования растениями определенных внешних условий и выражают необходимость в их развитии. «...Наследственная основа... — указывает Т. Д. Лысенко, — определяет необходимость, в рамках которой идет все последующее индивидуальное развитие»³⁸.

Это несколько не означает, будто бы наследственное основание предопределяет образование конкретных признаков в индивидуальном развитии организмов. Такие признаки организмов, как зимостойкость, засухоустойчивость, окраска листьев и др., не заданы в наследственном основании, а являются результатом развития наследственного основания в тех или иных условиях внешней среды, участвующих в самом формировании конкретных признаков организма.

Наследственное основание дает только общую канву, определяет поступательный ход необходимых этапов индивидуального развития, «задавая», так сказать, общий тон всему циклу развития организма. В силу этого организм начинает развиваться, закономерно проходя

³⁷ «Вопросы философии», 1952, № 2, стр. 104—105.

³⁸ Т. Д. Лысенко. Агробиология. Сельхозиздат, М., 1949, стр. 76.

все стадии развития своих предков только в том случае, если внешние условия соответствуют наследственной основе организма.

Справедливости ради следует отметить, что ряд крупных буржуазных естествоиспытателей под влиянием марксистской критики понимания ими случайности и соотношения случайности и необходимости в последние годы в ряде вопросов, в том числе и в понимании принципа детерминизма, категорий причинности, необходимости и случайности, стали высказывать мысли, содержащие в себе элементы естественнонаучного материализма и стихийной диалектики, пытаются отходить от индетерминизма.

Так, Н. Бор в работе «Квантовая физика и философия» в противоположность своим ранее по существу идеалистическим взглядам на отсутствие причинности и необходимости в квантовой механике занимает в настоящее время более правильную позицию по указанному вопросу. Он, например, считает, что принцип причинности следует отличать от детерминизма лапласовского типа, что хотя причинность в квантовой механике отличается от старого принципа причинности в классической физике, тем не менее она все-таки имеет место³⁹.

Начал отходить от индетерминизма и физик-неопозитивист Ф. Франк. В вышедшей в русском переводе книге «Философия науки» он указывает на многообразие причинных связей в природе и обществе⁴⁰. Он не отрицает действие принципа причинности в области микропроцессов⁴¹, подчеркивая, что в квантовой механике должна, по его мнению, иметь место какая-то особая форма причинности⁴².

* * *

Но означает ли все сказанное выше, что подлинная наука, отвергая неопозитивистский индетерминизм (хотя бы и в форме объявления проблемы детерминизма

³⁹ См. Н. Бор. Атомная физика и человеческое познание. ИЛ, М., 1961, стр. 141, 143, 144, 146.

⁴⁰ См. Ф. Франк. Философия науки. ИЛ, М., 1961, стр. 427, 428.

⁴¹ См. там же, стр. 501.

⁴² См. там же, стр. 329, 363, 364.

псевдопроблемой), вообще «враждебна» по отношению к случайностям⁴³, объективно существующим в природе и обществе. Ответ на этот вопрос следует дать отрицательный.

Задача подлинной науки состоит в том, чтобы раскрыть, обнаружить и познать необходимые, закономерные связи развития изучаемых явлений, процессов, событий, проникнуть в их сущность. «Наука, — указывал Ф. Энгельс в работе «Диалектика природы», — прекращается там, где теряет силу необходимая связь».

В то же время наука обязана показать, в каких формах проявляются раскрытые ею законы, то есть необходимо повторяющиеся связи изучаемых явлений. «Задача науки, — писал К. Маркс, — состоит именно в том, чтобы объяснить, как проявляется закон...»⁴⁴.

Поскольку необходимость прокладывает себе дорогу через случайности, являющиеся формой ее проявления и дополнением к ней, то уже только по одной этой причине наука не может быть «враждебна» по отношению к случайностям, не может игнорировать их. Именно в этом смысле К. Маркс говорил: «...если бы форма проявления и сущность вещей непосредственно совпадали, то всякая наука была бы излишня»⁴⁵.

Наука не «враждебна» по отношению к случайностям не только потому, что необходимость и закономерность обнаруживаются и познаются только через посредство случайностей, но и потому, что имеются целые области материального мира, изучение которых, если оно проходит помимо анализа случайностей, заранее обречено на провал. Речь здесь идет о таких областях действительности, изучение которых невозможно без применения статистических методов, дающих возможность через подсчет событий, количественное соотношение множества случайных явлений находить скрытую за ними необходимость в форме статистических закономерностей.

Действительно, выявление статистических законов, управляющих большими коллективами частиц, никоим

⁴³ Под случайностью мы понимаем здесь все то, что вытекает преимущественно из внешних, поверхностных связей и в силу этого может быть, а может и не быть, может произойти так или же произойдет как-нибудь иначе.

⁴⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма, стр. 209.

⁴⁵ К. Маркс. Капитал, т. III, Госполитиздат, М., 1955, стр. 830

образом не может обойтись без изучения случайностей. Академик С. Л. Соболев в статье «Ленин и естествознание»⁴⁶ правильно указывает на то, что почти во всех вопросах физики, механики сплошных сред, химической кинетики и т. п. индивидуальное (здесь можно сказать: случайное. — Н. П.) поведение частиц вещества, атомов, химических элементов и т. д. не может само по себе определить ход происходящих в системе процессов. Сложные явления в газах, давление, оказываемое ими на тела, возникновение ударных волн в них, характер струйного течения, вихреобразование и т. п. обязаны главным образом столкновению частиц газа между собой и не очень зависят от того, каковы результаты отдельных столкновений и каковы законы, управляющие этими отдельными столкновениями.

В материалистической биологии статистический метод также применим. Появление наиболее приспособленных к условиям среды видов живых тел осуществляется в результате действия таких закономерностей, которые управляют развитием и изменением больших коллективов взаимодействующих между собой особей. Значительная роль статистических методов обнаруживается при применении их к характеристике ассоциации растительности⁴⁷. Вообще надо отметить, что поскольку явления, изучаемые биологией, обладают значительной вариабильностью, а связи между ними являются корреляционными, то изучение таких явлений требует применения статистических методов.

В наше время регулирование процессов автоматизированного производства, работы автоматических радиолокационных установок, математических вычислительных машин и т. д. не может обойтись без учета непрерывно возникающих случайных возмущений и тем са-

⁴⁶ С. Л. Соболев. Ленин и естествознание. «Вопросы философии», 1960, № 7, стр. 17.

⁴⁷ Ассоциация — основная таксономическая единица в геоботанике, характеризующаяся однородным видовым составом и однородным составом факторов внешней среды. О применении статистических методов для характеристики ассоциации растительности см.: В. А. Василевич. Биогенетические методы нервно-мышечной физиологии. «Вестн. Ленингр. ун-та», серия биология, 1960, вып. 2, стр. 64—70.

мым без приложения статистических методов к обработке эмпирического материала.

Можно в общей форме сказать, что в широком круге проблем естествознания и производства, где приходится иметь дело с массовидными процессами, испытывающими большее или меньшее влияние со стороны случайных факторов, которые вызывают рассеяние результатов многократных измерений, повторяющихся в неизменных условиях опытов, применение статистической интерпретации является обязательным. Иначе говоря, в материальном мире есть много явлений, причинные связи которых не обязательно бывают непосредственно однозначными.

В зависимости от условий у них может обнаружиться множественность причин, а значит, и неоднородность результатов. Отсюда к таким явлениям безусловно необходимо применение статистических методов.

При изучении массовидных явлений общественной жизни, хотя они и существенным образом отличаются от явлений природы, доказано также, что в видимом хаосе случайностей историческая необходимость обнаруживается лишь при значительно большем числе наблюдений⁴⁸ и что внутренний закон, как отмечал К. Маркс, прокладывающий себе дорогу через эти случайности и регулирующий их, становится видимым лишь тогда, когда они охватываются им в больших массах событий⁴⁹.

Статистический метод применим и для изучения ряда процессов, имеющих место в социалистическом обществе. К таким процессам относятся, например: определение материального уровня жизни народа, распределения доходов, использования свободного времени, выяснение показателей народного потребления и культурного уровня народа, выявление резервов производства, выявление и устранение диспропорций, правильное распределение материальных и денежных средств и т. д.

Наука не может быть «враждебна» к случайностям и в силу самой логики своего развития.

⁴⁸ Этот общий принцип известен как закон больших (средних) чисел. Чтобы выявить статистическим путем необходимость, скрытую за внешней оболочкой множества случайностей, надо изучить их такое множество, которое дало бы возможность сделать вывод о характере необходимости, лежащей в основе данных случайностей,

⁴⁹ К. Маркс. Капитал, т. III, стр. 841.

До тех пор, пока ученый в своей научной работе не опирается на подтвержденную практикой теорию или определенную теоретическую идею, он может иногда неожиданно натолкнуться на «случайные» открытия.

Все выше изложенное говорит о том, что наука отнюдь не может игнорировать случайности. Встречаясь с ними, она обязана раскрыть и познать необходимость, скрытую под видимой пеленой случайностей, и на этой основе предвидеть направление развития процессов материального мира. Ф. Энгельс писал, что там, «где на поверхности происходит игра случайностей, там сама эта случайность всегда оказывается подчиненной внутренним скрытым законам. Все дело лишь в том, чтобы открыть эти законы»⁵⁰.

В силу сказанного нам представляются неправильными утверждения, встречающиеся в литературе, согласно которым любое предвидение базируется исключительно на знании необходимости как таковой, так что ни о каком предвидении на основе случайности не может быть и речи⁵¹.



В современных нам условиях, когда мировая социалистическая система обнаружила свое превосходство над капитализмом во всемирно-историческом масштабе, буржуазная идеология вынуждена все более и более маскировать свою реакционную сущность для того, чтобы скрыть свою приверженность к капитализму, свою враждебность интересам широких масс трудящихся и делу общественного прогресса вообще. Идеологи империализма, как указывает Н. С. Хрущев в своем докладе «За новые победы мирового коммунистического движения», стремятся «дезориентировать широкие народные массы, совлечь их с революционного пути, привязать к колеснице империализма, представить дело таким образом, будто капитализм находится не в агонии, а совершает некое рассчитанное «эволюционное» вползание в социализм. Это и есть пресловутая теория о так называемой «трансформации» капитализма. Фальсификаторы утвер-

⁵⁰ К. Маркс и Ф. Энгельс. Избр. произв., т. II, стр. 371.

⁵¹ Сб. «Диалектика развития социалистического общества». Изд-во ВПШ и АОН, М., 1961, стр. 123.

ждают, что в такого рода «трансформации» заинтересованы буквально все классы общества и потому-де сейчас в лоне капитализма процветают мир и гармония. Так изображают современную эпоху буржуазные идеологи, правые социал-демократы и ревизионистские ренегаты коммунизма. Не случайно идеологи капитализма стремятся заменить понятия «капитализм» и «империализм» такими надуманными определениями, как «народный капитализм» или «государство всеобщего благосостояния»⁵².

В свете этого высказывания Н. С. Хрущева становится ясным величайшее значение принципиальной теоретической борьбы против буржуазной идеологии во всех ее видах, против различных теорий антикоммунизма, все возрастающее значение нашей борьбы против различных форм современного буржуазного миропонимания. Вот почему научная критика реакционной буржуазной философии и социологии, в том числе и неопозитивизма с его агностическими, индетерминистскими и другими софистическими идейками, составляет неотъемлемую часть идейно-политического воспитания и закалки нашего студенчества, аспирантов, преподавателей вузов. Эта научная критика способствует творческому овладению ими марксистско-ленинской теорией и выработке умения применять оружие диалектико-материалистического мировоззрения к решению новых проблем, встающих перед общественными и естественными науками в условиях развернутого строительства коммунизма.

⁵² Н. С. Хрущев. За новые победы мирового коммунистического движения. Госполитиздат, М., 1961, стр. 8—9.

К КРИТИКЕ НЕОПОЗИТИВИСТСКОГО ПОНИМАНИЯ РОЛИ
МОДЕЛЕЙ В ПОЗНАНИИ

В современной науке понятие модели все больше и больше приобретает характер важной гносеологической и методологической категории. Это делает ее объектом философского рассмотрения, в котором, как всегда в подобных случаях, обнаруживаются в основном два противоположных подхода к ее истолкованию — материалистический и идеалистический.

Материалистический подход к пониманию модели состоит в том, что при всем разнообразии своих конкретных форм модель рассматривается как одна из форм познания той или иной области явлений объективного мира. Во всех случаях модель считается вторичной по отношению к оригиналу, то есть к объекту изучения, существующему в конечном счете независимо от сознания. При этом утверждается, что модель является специфическим образом действительности, так как она во всех своих формах, начиная от физического воспроизведения сложной системы посредством более простой системы и кончая изображением при помощи логических, математических, химических или иных символов структурных особенностей изучаемого объекта, отражает, то есть гомоморфно или изоморфно передает свойства и структуру этого объекта. Метод построения моделей полностью удовлетворяет этим двум предпосылкам, что делает его совместимым по своей сущности только с материалистической гносеологией.

Тем не менее идеализм пытается дать ему свое, противоположное истолкование, сущность которого сводится к тому, что сходство между моделью и оригиналом не является отражением объективной реальности, а выражает отношения сходства между различными участками нашего сознания или между теорией и опытом и

т. п. Идеализм, таким образом, лишает модель объективного содержания. Поэтому даже в том случае, когда мы встречаемся на первый взгляд с весьма материалистическими оценками сущности и роли моделей как образов действительности, это не должно вводить нас в заблуждение, ибо, с точки зрения идеализма, действительность есть внутренний мир субъекта, его чувственный опыт. Так, когда Л. Витгенштейн говорит, что «образ есть модель действительности»¹, и поясняет, что элементы образа соединяются друг с другом таким же определенным способом, каким соединяются друг с другом вещи, то, конечно, никакого материализма, никакой теории отражения здесь нет и в помине, ибо под словами «действительность», «вещь» и «образ» он понимает различные факты нашего сознания.

В подобном подходе к моделям обнаруживается берклианско-юмистская гносеология, которая свойственна всему позитивизму.

На позициях неопозитивизма и позитивистской семантической философии, бесспорно, стоят два английских автора, которые много внимания уделяют методологическому анализу моделей, — М. Хесс и Е. Хаттен. В их работах наиболее полно представлен позитивистский взгляд на сущность, роль и значение моделей в современной физике. Обратимся к анализу этого взгляда.

Хаттен в своих работах рассматривает главным образом мысленные, воображаемые модели, которые стали применяться в классической физике XIX в. в виде механических моделей и используются в современной физике в более широком значении этого слова. Под моделью согласно этому Хаттен понимает «некоторое трехмерное воспроизведение, копию или диаграмму»².

«Модель, — говорит он, — это трехмерное изображение предмета. Модель предназначена для того, чтобы продемонстрировать связи, которые существуют между составными частями предмета. В случае необходимости мы удовлетворяемся двухмерным изображением или поперечным сечением предмета; таким образом, мы прихо-

¹ Л. Витгенштейн. Логико-философский трактат. ИЛ, М., 1958, стр. 34.

² E. H. Hutten. The Language of Modern Physics. London, 1956, p. 83.

дим к модели, как к рисунку или диаграмме»³. При этом он оговаривается, что это — предварительное определение. Однако уже этого достаточно, чтобы поставить вопрос о гносеологических позициях автора. На первый взгляд может показаться, что это определение дано в рамках теории отражения. Но согласно позитивистской философии предметы — это не фрагменты объективной реальности, не материальные объекты, а различные чувственные ситуации, элементы опыта. Следовательно, модель есть не образ действительности, а лишь воспроизведение чувственных данных. Поэтому при более «точных» определениях модели позитивист Хаттен старается избежать «реалистического» языка, говорящего о том, что модель как-то выражает отношение между образом и объектом. В связи с этим модель им определяется «как наглядное представление (*visual representation*), которое позволяет нам как психологически, так и логически употребить точную математическую формулу, несмотря на неточное значение символов»⁴. В таком определении, в самом деле, нет упоминания об отношении модели к объекту.

Развивая далее свое понимание моделей, Хаттен указывает, что они являются интерпретациями.

В математике и современной логике действительно принято рассматривать модель как интерпретацию (истолкование) аксиоматической теории. Так, если взять какую-нибудь геометрическую теорию, например, геометрию Лобачевского, то, оказывается, ее можно истолковать в том смысле, что она служит для того, чтобы, во-первых, указать на тот объект, пространственную структуру которого она описывает, и, во-вторых, на ту уже известную теорию, в терминах которой она может быть непротиворечивым образом изложена. Другими словами, обнаруживается возможность двоякого истолкования геометрической теории — физического и математического. Если первое означает отнесение теории к конкретным объектам, то второе предполагает сопоставление ее с абстрактными геометрическими понятиями, ис-

³ E. H. Hutten. *The Role of Models in Physics*. «The British Journal for the Philosophy of Science», 1954, v. 4, No. 16, p. 284.

⁴ E. H. Hutten. *The Language of Modern Physics*, p. 82.

тинность которых подтверждена всей предшествующей практикой. Так, еще в 1861 г. Бельтрами показал, что геометрия Лобачевского может быть истолкована при помощи построений на псевдосфере, на которой роль прямых будут выполнять геодезические линии, а роль движений — изгибания поверхности на себя. Но поскольку такая поверхность есть также и объект евклидовой геометрии, то оказывается, что геометрия Лобачевского при известных условиях может быть истолкована в понятиях геометрии Эвклида. Другим истолкованием геометрии Лобачевского является модель Ф. Клейна, которая, в отличие от модели на псевдосфере, изображающей кусок плоскости Лобачевского, изображает всю плоскость Лобачевского. Эта модель строится в виде внутренности круга, где точками являются обычные евклидовы точки, расположенные внутри круга, но не на его границе, а прямыми — все хорды данного круга без точек, лежащих на окружности.

Подобные модели носят абстрактный характер (точнее, абстрактно-наглядный — в смысле «абстрактной чувственности геометра», по выражению Маркса). Но они помогают связать одну теорию (в данном примере геометрию Лобачевского) с другой (в данном случае с геометрией Эвклида) и через нее тем самым — с объективной действительностью.

Таким образом, модель как *истолкование* теории принимается в математике даже тогда, когда в качестве модели выступают довольно абстрактные построения, используемые в конце концов как средство отнесения теории к объективной действительности (во всяком случае как средство проверки возможности существования такой действительности, структуру которой описывает данная аксиоматическая теория).

Так же обстоит дело и в физике, когда под истолкованием теории понимают раскрытие ее физического смысла. Интерпретировать теорию — значит указать на реальный объект, к которому она относится. И если этот объект непосредственно наблюдению не дан, то модель служит средством перекинуть мост от теории к объекту, чем облегчается истолкование теории. Классическим примером истолкования являлись многочисленные модели эфира как средства связать уравнения электромагнитного поля (теорию) Максвелла с определен-

ным физическим объектом. Таким образом, истолкование теории означает установление ее объективного содержания, и модель является средством охарактеризовать это объективное содержание.

Вопрос о том, каким путем это достигается и насколько успешно, — задача дальнейших исследований.

Позитивистское же понимание модели как орудия истолкования теории предполагает нечто другое, и это естественно, так как позитивизм не признает объективной реальности, объявляя самую постановку вопроса о ней устаревшей, ненаучной «метафизикой», отвергая «тезис о реальности внешнего мира и тезис о его нереальности как псевдоутверждения»⁵ Когда Хаттен рассуждает о физическом мире как предмете науки физики с ее теориями, моделями, гипотезами и пр., то физический мир для него — это опыт, то есть совокупность чувственных данных.

С этих субъективистских и агностических позиций и подходит к вопросу о гносеологических возможностях моделей Карнап. Его точка зрения является превосходным примером того, как философы-позитивисты используют трудности современной науки в защиту идеализма при толковании любой проблемы, имеющей сколько-нибудь гносеологическое значение. Как известно, современная физика столкнулась с кругом явлений, для которых не удастся построить строгой или единой механической модели. На этом основании Карнап отрицает возможность какой бы то ни было интерпретации микропроцессов при помощи моделей и вообще отвергает метод построения моделей как способ воспроизводства изучаемого микропроцесса посредством аналогии с известными микропроцессами. «Важно понять, — пишет он, — что открытие модели имеет не более как эстетическую, дидактическую или эвристическую ценность, но вовсе не является существенным для успешного применения физической теории»⁶.

Такие сложные физические понятия, утверждает он, как, например, «вектор электромагнитного поля E » в

⁵ Р. Карнап. Значение и необходимость. ИЛ, М., 1958, стр. 301.

⁶ R. Carnap. The Interpretation of Physics. «Readings in the Philosophy of Science»: N. Y., 1953, p. 317.

электродинамике Максвелла или ψ -функция в современной квантовой механике, нельзя интерпретировать в явном виде, чтобы сделать их «интуитивно» понятными. Интерпретация этих понятий может быть «дана только косвенно, семантическими правилами», относящимися к элементарным знакам, и вместе с формулами, связывающими их в данном случае с «Е». Поскольку для этих понятий интерпретация в виде модели невозможна, то физик, по мнению Карнапа, может достичь лишь такого понимания, которое ограничивается знанием того, как употреблять эти символы (« ψ », «Е» и др.) в исчислении, чтобы получить предсказания, проверяемые при помощи наблюдений.

Таким образом, отрицание интерпретации посредством моделей у Карнапа связано с агностическим запретом проникнуть в объективно существующую структуру микромира, понять специфику и сущность его законов.

Другие неопозитивисты склонны признать необходимость привлечь модели в качестве интерпретации. Так, согласно Хаттену, «модель дает возможную интерпретацию символов, которые таким путем приобретают значение, и мы можем применять уравнение или формулу и проверять их»⁷.

В отличие от Карнапа и от тех, кто осуждает употребление наглядных моделей, Хаттен признает возможность частичной интерпретации объектов физического знания при помощи моделей. Но что значит подобная интерпретация? Означает ли она хотя бы частичное познание, отображение объективного мира? Несмотря на то что Хаттен высказывает много справедливых замечаний и интересных мыслей о тех или иных чертах и функциях моделей, в целом его ответ на поставленный вопрос дан с позиций и в границах неопозитивистской гносеологии.

Оказывается, интерпретация, по Хаттену, — это процесс отнесения и сопоставления формальных исчислений (языковых систем) и опыта (чувственных данных). Интерпретация, по словам Хаттена, должна «перебросить мост между формальным исчислением и опытом»⁸.

⁷ E. N. Hutten. *The Language of Modern Physics*. London, 1956, p. 82.

⁸ *Ibid.*, p. 43.

«В то время как математика, — пишет он, — может рассматриваться как формальная система, которая ничего не говорит о мире, физика должна описывать опыт. И так как физическая теория обычно формулируется в математических терминах, мы видим, что она должна содержать, отдельно от математики, другую составную часть, относящуюся к физическому миру. Физическая теория, таким образом, состоит по меньшей мере из двух частей: формальных исчислений и интерпретаций в терминах опыта»⁹.

При этом под формальными исчислениями понимаются как математические уравнения, так и логические символы и правила. В таком случае, согласно Хаттену, интерпретация состоит в том, чтобы снабдить формальные исчисления системой семантических правил. «Семантические правила устанавливают значение утверждений теории; в конечном счете они обеспечивают связь с опытом, и таким способом мы получаем интерпретацию». Если, далее, математика благодаря ее чисто формальному характеру ограничивается лишь синтаксическими правилами, устанавливающими связь между символами, и ее суждения носят аналитический характер, то в физике, которая стремится к описанию мира (то есть опыта), уже нельзя ограничиться только аналитическими суждениями. Используя кантовское учение о различии между аналитическими и синтетическими суждениями, Хаттен считает, что в физике даются преимущественно синтетические суждения, имеющие, по его выражению, фактуальное значение, то есть привязанные каким-то образом к опыту, чувственным данным. Таким образом, вслед за Кантом Хаттен считает, что физика состоит из двух частей: аксиом и опыта. Хаттен не только воспроизводит терминологию Канта и его различие двух типов суждений, но и по сути дела сталкивается, как весь позитивизм, с задачей, которую в свое время немецкий философ сформулировал в виде вопроса о возможности синтетических суждений а priori.

Действительно, перед Кантом стояла задача связать воедино две стороны, которые он предварительно разорвал и метафизически противопоставил друг другу: с одной стороны, рассудок с его понятиями, категориями,

⁹ E. H. Hutten. The Language of Modern Physics. London, 1956, p. 36.

логическими правилами; с другой — ощущения, хаотически наполняющие чувственность с ее принципиально наглядным характером. И эта задача, эквивалентная в некоторой степени проблемам соотношения рационального и чувственного, общего и единичного, сущности и явления и т. п., ставилась и решалась Кантом на почве субъективизма и феноменологизма.

Аналогичная задача возникла и перед логическим позитивистом Хаттенюм. При этом рассудку с его априорными категориями соответствуют у Хаттена как неопозитивиста формальные исчисления и аксиоматика, а чувственности с ее ощущениями соответствует опыт как совокупность чувственных данных. Далее аналогия между Кантом и Хаттенюмом продолжена быть не может, на этом она обрывается. Последний заявляет, что он «не может более поддерживать взгляд Канта, т. е. взгляд трансцендентального идеализма, каким бы привлекательным он ни был 150 лет тому назад»¹⁰, по двум причинам: во-первых, потому, что теория познания Канта «вводит онтологические предположения относительно того, чем должны быть природа и разум»; во-вторых, потому, что в философии Канта ключевые понятия, выраженные в аксиомах (например, понятия «пространства» и «времени»), обладают собственно априорным характером. «Теория относительности, — говорит Хаттенюм, — показала, что эта концепция (априоризма. — В. Ш.) является ложной, т. к. мы не могли бы в противном случае описать мир в терминах неевклидовой геометрии» (там же).

Если первое возражение Канту придает взглядам Хаттена характер юмистской разновидности идеализма, то второе возражение обнаруживает присущий его взглядам чистый релятивизм, означающий отрицание объективной истины и утверждение субъективизма и произвола в науке. Хаттенюм выступает против мнения тех ученых, которые считают, что «мы вычитываем наши фундаментальные предположения или аксиомы из опыта». «Верно, что они подсказаны опытом, но они не даны в опыте. В современной физике, — пишет он, — основные допущения, аксиомы и ключевые понятия, заданные ими, являются очень абстрактными; это значит, что они настолько далеки от реального опыта, что никто

¹⁰ E. H u t t e n. The Language of Modern Physics, p. 40.

не смог бы взять их из опыта непосредственно. Скорее бы мы должны сказать, что аксиомы и основные гипотезы в физике являются изобретением ученых, которым опыт в психологическом смысле только подсказывает их»¹¹.

Итак, на примере рассуждений Хаттена мы видим, что современный позитивизм, сменив кантовский априоризм на крайний релятивизм в трактовке категорий и общих принципов (аксиом), встал перед той же задачей, которую пытался разрешить Кант, — найти связь между логическим и чувственным (и, следовательно, хотя бы в этих рамках, — между общим и единичным). Следует сразу же заметить, что при тех условиях, в которых эта задача формулируется и Кантом, и неопозитивистами, несмотря на указанные различия между ними, она в равной мере неразрешима. Этими условиями являются: во-первых, полный разрыв между чувственным и логическим, превращение этих моментов познания в метафизически противопоставленные друг другу крайности и, во-вторых, обособление познания (и сознания) от объективного мира и присущей ему объективной диалектики общего и единичного, сущности и явления.

Напомним, как Кант пытался разрешить эту задачу.

«...Чистые понятия рассудка, — писал он, — совершенно *неоднородны* с эмпирическими (и вообще чувственными) наглядными представлениями. Отсюда возникает вопрос, как возможно *подведение* наглядных представлений под чистые понятия, т. е. применение категорий к явлениям, так как никто ведь не станет утверждать, будто категории, например категория причинности, могут быть также наглядно представлены посредством чувств и содержаться в явлении»¹².

Расчленив самой постановкой вопроса чувственное и логическое, единичное и общее на две самостоятельные и взаимоизолированные области, Кант затем в поисках способа связи их предлагал найти «нечто третье, однородное в одном отношении с категориями, а в другом отношении с явлениями и обуславливающее возможность применения категорий к явлениям». Оно должно быть, «с одной стороны, интеллектуальным, а с другой —

¹¹ E. Hutten. The Language of Modern Physics, pp. 40—41.

¹² И. Кант. Критика чистого разума. Перев. Н. Лосского. Пг., 1915, стр. 118—119.

чувственным. Такой характер имеет *трансцендентальная схема*»¹³. Этой схемой (мы чуть было не сказали моделью), позволяющей объединить категории и явления (логическое и чувственное), является, по Канту, трансцендентальное определение времени. «Поэтому применение категорий к явлениям, — заключает Кант, — становится возможным при посредстве трансцендентального определения времени, которое, как схема понятий рассудка, опосредствует подведение явлений под категории»¹⁴.

Е. Хаттен как представитель неопозитивизма не может присоединиться к кантовскому решению вопроса прежде всего потому, что, с его точки зрения, не существует собственно априорных понятий вообще, и та роль, которую отводит Кант времени, остается вакантной. Поэтому Хаттен вслед за позитивистами-семантиками при решении аналогичной задачи, состоящей в том, чтобы «перебросить мост между формальным исчислением и опытом», указывает на *интерпретацию*. Но здесь нужно указать еще на одно отличие неопозитивистов от Канта. У последнего шла речь об отношении *понятий* к явлениям, у неопозитивистов же говорится об отношении *символов* и *правил* связи между ними к опыту. Правда, следует заметить, что этого номинализма придерживаются отнюдь не все позитивисты¹⁵.

Но как бы ни были заметны различия между Кантом и неопозитивистами, старая кантовская проблема стоит и в их философии, и попыткой решить ее в рамках субъективно-идеалистической философии и является понятие интерпретации. Так, например, Б. Рассел, учеником которого является Хаттен, пишет: «Как мы видели в отношении геометрии, имеющийся набор аксиом допускает два способа интерпретации — один логический и один эмпирический. Все номинальные определения, если их проследить достаточно далеко, должны привести в конце концов к терминам, имеющим только наглядные определения, и в случае эмпирической науки эмпирические термины должны зависеть от терминов, наглядные определения которых даются в восприятии. Солнце ас-

¹³ И. Кант. Критика чистого разума. Пг., 1915, стр. 119.

¹⁴ Там же.

¹⁵ Ср., например, Р. Карнал. Значение и необходимость, стр. 296 и далее.

тронома, например, сильно отличается от того, что видим мы, но оно должно иметь определение, полученное из наглядного определения слова «солнце», которое мы познали еще в детстве. Таким образом, эмпирическая интерпретация набора аксиом, когда она является полной, должна всегда включать в себя термины, имеющие наглядное определение, полученное из чувственного опыта»¹⁶.

Так интерпретация выступает как связующее звено между аксиомами и опытом, то есть между общими понятиями и единичными опытными фактами. Сама же интерпретация состоит в составлении правил, которые должны указать, каким образом следует относить слова, символы, обозначающие «абстрактные объекты», то есть общее, к единичным чувственным явлениям.

Считая, в отличие от Б. Рассела, что «наглядных определений (*ostensive definitions*) не существует» и что определение, устанавливающее равенство двух выражений, есть операция чисто логическая, Хаттен указывает, что отнесение слова к той или иной части физического мира, то есть составление семантических правил, требует выхода за пределы данного языка. Мост между логическим, или лингвистическим, и чувственным, или фактическим, оказывается, может быть построен при помощи экстралингвистических средств. К таким средствам может быть отнесена практика, однако она, по мнению Хаттена, в этом отношении малоэффективна. «Благодаря практике, — заявляет он, — мы достигаем успеха в отнесении наших выражений к физическому миру, и иногда это нам не совсем хорошо удается или же не удается вовсе».

Исключая практику даже в узком, чисто прагматическом ее понимании из теории познания, Хаттен считает, что интерпретация может быть успешно осуществлена при помощи метаязыка, то есть посредством введения правил обозначения.

Но, кроме того, существует; по его мнению, еще одно эффективное средство решения этой же задачи, во всяком случае в области физики. Этим средством и является модель как способ интерпретации. В концепции Хат-

¹⁶ Б. Рассел. Человеческое познание. ИЛ, М., 1957, стр. 275—276.

тёна модель выполняет ту же роль, которую в кантовской теории опыта выполняла трансцендентальная схема. Вот почему понятие модели здесь выступает не как техническое, физическое и не столько как методологическое понятие, а как логическая, точнее гносеологическая и методологическая категория. В качестве способа интерпретации она призвана связать теорию с опытом, общее — с единичным, логическое — с чувственным при условии того, что принципиально не желают опереться на объективную диалектику самой материальной действительности.

Вот почему, по мнению Хаттена, «мы не можем обойтись без моделей и вот почему модель должна быть обязательно наглядной, быть «метафорой», «картиной» (образом), «диаграммой», «схемой» или «графиком»¹⁷.

Сходство роли, выполняемой моделью в концепции Хаттена, с ролью, которую играет у Канта трансцендентальная схема, состоит еще и в том, что Хаттен неоднократно подчеркивает отличие модели от вещи или ситуации, с одной стороны, и от абстрактной теории, с другой. Она есть нечто третье, промежуточное, есть связующее звено между абстрактной теорией, которая не наглядна, и опытом, который всегда нагляден.

В своем стремлении привлечь понятие модели для решения вопроса о возможности синтетических суждений Хаттен, в отличие от априорного схематизма Канта, нащупал такое гносеологическое явление, которое действительно является ярким примером не искусственного (как у Канта), а подлинного единства логического и чувственного. Модель действительно является логической формой отражения, поскольку она является в известном смысле абстракцией, упрощенным, схематизированным выражением некоторой структуры действительности, системы ее существенных взаимосвязей и отношений, то есть закономерностей. Этим свойством отличаются не только классические модели, например, газа в виде упругих шаров или электрического тока в проводниках в виде движения жидкости в трубах, но и современные (боровские и последующие частичные) модели атома, модели атомного ядра или отдельных нуклонов. Но при этом специфическим для модели яв-

¹⁷ E. Hatten. The Language of Modern Physics, pp. 83, 84, 85.

ляется сохранение наглядности хотя бы в виде пространственного расположения ее элементов, схемы, графика или диаграммы. Во всех этих случаях наглядность модельного представления выражает относительный изоморфизм модели и пространственно-временной закономерной структуры объекта. Но причиной этого единства — логического и чувственного, абстрактного и конкретно-наглядного — является не субъективная деятельность познающего субъекта, произвольно и свободно, как полагают позитивисты, творящего различные системы понятий (аксиомы) и столь же произвольно относящего согласно изобретенным им же самим правилам эти понятия к чувственным данным. Напротив, причиной, основанием этого единства служит диалектическое единство общего и отдельного (единичного), внутренне присущее всей действительности и каждому из ее элементов.

Однако такой единственно правильный подход к исследованию гносеологической и методологической функции модели закрыт для позитивизма вследствие его панического, почти суеверного ужаса перед «онтологией», то есть материализмом, перед «метафизикой», то есть признанием внешнего мира.

Несколько иначе, но с тех же общегносеологических позиций рассматривает вопрос о роли моделей в физике другой «философ науки» — М. Хесс. В отличие от Хаттена, она рассматривает модель как элемент гипотетически-дедуктивного метода, который более или менее свободен от тесной связи с чувственными данными. «Научные теории, — утверждает Хесс, — создаются не лишь из одних только чувственных данных или одних только операционалистических определений, но являются по форме гипотетически-дедуктивными; это значит, что они состоят из гипотез, которые сами по себе могут не иметь никакого отношения к непосредственным наблюдениям, но из которых могут быть сделаны выводы, соответствующие результатам экспериментов, при условии если они должным образом переведены на язык эксперимента»¹⁸.

Тяготая к той форме физического идеализма, гносео-

¹⁸ M. B. Hesse. Models in Physics. «The British Journal for the Philosophy of Science», 1953, v. 4, No. 15, p. 193.

логическим источником которого является математизация физики («материя исчезает, остаются уравнения»), Хесс, в отличие от Хаттена, безудержно логизирует и математизирует науку, отъединяя ее содержание от опыта даже в позитивистской трактовке последнего. Если Хаттен еще связывает интерпретацию теории с возможностью наглядного истолкования ее понятий в элементах чувственных данных, то Хесс считает это требование необязательным для науки. Если поэтому Хаттен считает модель необходимой формой интерпретации, признавая модель за наглядный в принципе «образ», то Хесс находит возможным освободить физические теории от обязательной для них наглядности. Ссылаясь на данные современной физики, имеющей дело с такими объектами и их свойствами (как, например, спин электрона), которые наглядно представить невозможно, она заявляет, «что мы не можем требовать наглядных (picturable) механических или электрических моделей», подобно модели в виде упругих шаров (в кинетической теории теплоты) или модели, состоящей из заряженных частиц, движущихся под действием сил электростатического притяжения (в учении об электричестве). В современных теориях, утверждает Хесс, роль, выполнявшаяся ранее моделями, с успехом заменяет *математическая гипотеза*.

«Математический формализм, — пишет она, — используемый в качестве гипотезы в описании физических явлений, может функционировать подобно тому, как на ранних ступенях физики функционировали механические модели, не имея, однако, никакой механической или другой физической интерпретации»¹⁹.

Впрочем, эта тенденция к полному отрыву логического от чувственного, или, в терминах М. Хесс, математического формализма от наглядности, вполне понятна и естественна для идеалиста. Ведь стремление связать логическое с чувственным проистекает из того положения материалистического сенсуализма, что все наши знания возникают из ощущений, а ощущения являются отображением внешнего мира, который представляет собой конечный источник наших знаний. Но если существование внешнего мира отвергается или

¹⁹ М. В. Hesse. Models in Physics. «The British Journal for the Philosophy of Science», 1953, v. 4, No. 15, pp. 198—199.

же объявляется бессмысленной «метафизикой», то тогда, действительно, требование, с одной стороны, так или иначе опираться при логических построениях на чувственный базис, а с другой — искать в этих построениях переход к чувственному, является необоснованным. Если неопозитивистская поправка к старому позитивизму Э. Маха состояла в «логическом анализе», то Хесс придает этому «логическому анализу» преимущественное значение. Применительно к вопросу о роли моделей это значит, что можно отказаться от требования интерпретации физической теории с помощью *наглядных* моделей.

Отказ от стремления дать абстрактной теории наглядную интерпретацию, понимаемого как общеметодологическое требование, выражается далее у Хесс в сближении понятий модели и математической гипотезы. Считая вопрос о том, можно ли назвать абстрактные математические гипотезы моделями, чисто лингвистической проблемой, она решает ее следующим образом: «Нам не кажется полезным пытаться провести резкую грань между теми гипотезами, которые воплощаются в механических, электрических или гидродинамических (волновые теории и т. п.) моделях, и теми, которые являются чисто математическими. Существует много гибридов, подобных модели атома Бора, в которой электрон рассматривается перескакивающим с одной орбиты на другую, — фокус, который нельзя вообразить существующим по отношению к механической частице, — а также подобных идее искривления трехмерного пространства, которую нельзя себе представить отдельно от математического выражения... Современная физика, по-видимому, санкционирует употребление «модели» для всех таких случаев, независимо от того, являются ли они вообразимыми (*imaginable*) или нет»²⁰.

Характерно то, что у Хесс полемика против теории отражения связана с отрицанием наглядности как обязательной черты модели. Основной тезис, который она защищает, состоит в том, что модели не являются буквальным описанием природы, а находятся к ней в отношении аналогии, причем под аналогией понимается «либо отношение между двумя гипотезами, либо отно-

²⁰ M. B. Hesse. *Models in Physics*. «The British Journal for the Philosophy of Science», 1953, v. 4, No. 15, p. 200.

шение между гипотезой и некоторыми экспериментальными результатами, в которых некоторые аспекты обоих членов отношения могут быть описаны посредством одного и того же математического формализма»²¹.

Таким образом, было бы ошибочно полагать, что отрицание наглядности моделей и, следовательно, теории отражения является обязательным условием и формой позитивистской концепции моделей. На примере воззрений Хаттена мы видели, что можно, признавая наглядность модели ее необходимым свойством, стоять на точке зрения идеализма в теории познания, то есть быть противником теории отражения. Разногласия между Хесс и Хаттеном являются, с этой точки зрения, второстепенными. Следовательно, и признание, и отрицание наглядности моделей вполне совместимы с их идеалистической трактовкой.

Можно ли отсюда сделать вывод, что проблема наглядности моделей безразлична и для материалистического их понимания с позиций теории отражения? Очевидно, нет. Важнейшая посылка теории отражения, как известно, состоит в том, что единственным источником наших знаний являются ощущения как результат воздействия внешних объектов на наши органы чувств. Эта чувственно-наглядная основа наших знаний не случайна, она с необходимостью связана с их происхождением.

Правда, в мышлении, оперирующем понятиями, эта наглядность, свойственная чувственности, снимается, то есть диалектически отрицается. Лишенные чувственной наглядности, понятия способны отразить такие стороны, отношения, связи, свойства предметов окружающей нас действительности, которые недоступны непосредственно наглядному созерцанию. Необходимость относительного освобождения от чувственной наглядности в особенности диктуется особенностями современной субатомной физики, где невозможно в принципе с полной наглядностью представить ни движение электронов вокруг атомного ядра, ни процессы внутри последнего. Мышление, освобожденное от ограничений чувственной наглядности, уже не встречает никаких препятствий для отражения самых «диковин-

²¹ М. В. Hesse. Models in Physics. «The British Journal for the Philosophy of Science», 1953, v. 4, No. 15, p. 202.

ных», самых «чудовищных» и «странных», с точки зрения обычного здравого смысла или даже предшествующего ему уровня знаний, явлений и свойств.

Однако, отталкиваясь в процессе образования понятий от чувственной наглядности, стремясь в ходе умозаключений освободиться от нее полностью, мышление все же вновь и вновь неодолимо тяготеет к ней как своей необходимой опоре. Это тяготение к чувственной основе состоит, во-первых, уже в том, что понятие не может существовать без слова, в котором оно фиксируется, закрепляется, приобретает определенную устойчивость²².

Слово, написанное или произнесенное, есть чувственная форма, «оболочка», доступная для восприятия и воздействия на органы чувств (слух и зрение или осязание у слепых) других людей. Но в чувственно воспринимаемой форме слова понятие связано с такими элементами чувственных восприятий, которые не имеют уже никакой необходимой связи с содержанием понятия. Но наглядность словесной формы понятия далеко еще не есть образ действительности. Это особенно отчетливо видно на примере научной терминологии, хотя в принципе это свойственно и обычному языку.

Однако понятийное мышление тяготеет к чувственной наглядности не только в форме языка, но главным образом в своем стремлении опереться на наглядные образы в форме представлений, которые сопровождают наши мысли как его неизбежные спутники. Правда, эти представления, сопутствующие понятию, не являются строгими и такими точными, как понятия; они не однозначны, но являются дополнительной чувственной опорой для мышления. В отличие, скажем, от понятия о газе, однозначно раскрываемого в точном определении, представления, которые возникают у людей при этом слове, очень различны, но они необходимы, ибо представление есть способ связи понятия с чувственным образом и через него с действительностью. Вот эту-то функцию, которую в обыденной жизни выполняет представление, в научном отношении и выполняет модель. Она является промежуточным звеном между теорией, в которой отражена сущность, и самой действитель-

²² См. Л. О. Резников. Понятие и слово. Изд-во ЛГУ, 1958, стр. 18 и далее.

ностью. Если в теории как таковой наглядность может совсем отсутствовать, то модель соединяет в себе теоретические идеи и наглядные, то есть непосредственно доступные чувственности, выражения определенной системы связей, структуры и т. д.

При этом модель как чувственно-наглядный образ действительности является, в отличие от представления, не расплывчатым, варьирующимся у различных людей в зависимости от ряда случайных условий, а более или менее однозначным соответствием, структурой изоморфной (или гомоморфной) действительности. И те элементы модели, связь которых воспроизводит структуру соответствующих явлений действительности, выбираются не случайно, а исходя из определенных оснований. В таких моделях содержится наглядность как существенная их черта. Если для субатомных структур в физике моделирование их и не в состоянии сделать все уже познанные основные свойства тех или иных микрообъектов наглядными в рамках одной и той же модели, то для этой цели применима совокупность (система) моделей, из которых каждая делает наглядными определенные (хотя и не все) свойства этих объектов.

Поэтому мы не можем согласиться с утверждением М. Хесс о том, что математическая гипотеза призвана заменить наглядные модели прошлого или что математическая гипотеза сама может рассматриваться как модель. Стремление к наглядности — это непреодолимая тенденция нашего познания, связанная с чувственным происхождением всего нашего знания, с макроскопическими его истоками и практическими нашими запросами. И модель в науке — это именно то, что реализует эту потребность в форме, свободной от недостатков, присущих обычному представлению.

Характерно, что Хесс пытается использовать «статус» модели и аналогии в познании для пропаганды фидеистической идеи о «сближении» науки и религии. Вообще при чтении ее работ невольно приходят в память слова Ф. Франка о П. Дюгеме, указывающие на прямую связь позитивизма с религией: «Его работы относятся к самому ценному вкладу в новый позитивизм, он горячо рекомендован Эрнстом Махом в качестве позитивиста. Но многие ученые никогда не знали, что основой взглядов Дюгема была определенно ари-

стотелевская или вернее томистская метафизика»²³. Так же и Хесс. Если в ее специальных работах о моделях и аналогии она всячески скрывает свои теологические симпатии и даже пытается при обосновании аналогии избежать какой-либо «онтологии», то в монографии «Наука и человеческое воображение» тайное становится явным. Основная идея этой книги состоит в том, чтобы показать, что научное познание благодаря методу аналогий и моделей сближается с теологией и религией. По ее мнению, реальное существование электрона отличается от существования таких предметов, как столы, стулья и т. д., которые даны непосредственно. Подобно тому как реальное существование электрона доказывается посредством аналогий в физике, теология вправе пользоваться методом аналогий для доказательства бытия бога. «Физика, — пишет Хесс, — по меньшей мере прояснила в достаточной степени основание, позволяющее нам сказать, что если в природе существует много родов сотворенного бытия, которые мы можем изучать, и некоторые из них, подобно электронам, вовсе не являются «эмпирическими» в юмовском смысле слова, то не кажется ли более разумным говорить еще и о другом роде бытия, а именно о бытии бога и о его местопребывании в небесах. Употребление такого языка аналогий применительно к богу должно быть тщательно исследовано, подобно тому как мы исследовали применение корпускулярной аналогии в рассуждениях об электронах, и мы имеем полное право просить теологов провести это исследование, но связанный с этим принцип мало чем отличается (по существу)»²⁴.

Такова программа, которую намечает для философии науки Хесс, и эта программа по существу ничем не отличается от томистской линии на превращение науки в служанку теологии. Это лишний раз показывает, в какие дебри фидеизма и мракобесия способен завести естествознание позитивизм, коль скоро при решении любой гносеологической проблемы он выступает неприимым противником материалистической теории отражения.

²³ P. Frank. *Modern science and its Philosophy*. Cambridge, 1950, p. 25.

²⁴ M. B. Hesse. *Science and Human Imagination*. N. Y., 1955, p. 157.

ПРОБЛЕМА ЕДИНСТВА ЗНАНИЯ В НЕОПОЗИТИВИЗМЕ
И В МЕТОДОЛОГИИ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ»

Среди философских вопросов современного естествознания большое место занимает проблема единства научного знания. Она была выдвинута прежде всего развитием естественных наук и привлекла внимание многих крупнейших физиков — Л. Больцмана, М. Планка, А. Эйнштейна, Н. Бора и др.

Революция в естествознании на рубеже XIX—XX вв., вызванная проникновением ученых-экспериментаторов в глубь атома, в новый для них мир микроявлений, остро поставила вопрос и о создании новой естественно-научной картины мира, новой классификации наук и концепции синтеза человеческого знания. В гуще философских вопросов, поставленных новейшими открытиями, выделились наряду с другими вопросы о целостности научного знания, отношениях между различными теориями (в частности, старыми и новыми), о связи в познании абсолютного и относительного, сохраняющегося и изменяющегося.

В этот период наглядно проявилась диалектика процесса познания: новые теории, приходя на смену старым, не просто отбрасывали их, а воспринимали все ценное, удерживая это ценное в «снятом» виде. Такое, диалектическое отрицание подтверждало не «всеобщий разгром принципов», как говорил А. Пуанкаре, а неуклонный процесс возрастания суммы человеческого знания и объединения его различных сторон в единую, более общую, целостную и одновременно более конкретную картину. Но подобное понимание проблемы единства знания было несовместимо с позитивистской оценкой науки как совокупности систем знаков и дефиниций, удобных для описания и систематизации «опыта» и на время принятых по соглашению между учеными.

Большинство подлинных естествоиспытателей в обстановке методологического кризиса в физике и модных увлечений махизмом остались стихийно верными материализму. Критикуя философию Маха, Л. Больцман подчеркивал, что «теория не может быть инвентарной описью... она — квинт-эссенция практики». В ряде своих выступлений, посвященных методологическим проблемам физики, он отмечал тенденцию современного естествознания к установлению единства, к «все более глубокому переплетению различных областей науки», к достижению более обобщенной точки зрения. «На первый взгляд кажется, — говорил Л. Больцман в одном из докладов, — что естествознание совершенно теряет из виду великие проблемы общего характера. Но тем великолепнее успех, когда, с трудом пробиваясь в густой чаще специальных вопросов, мы вдруг находим небольшой просвет, сквозь который открывается неожиданный вид на все целое»¹. Как естествоиспытатель-материалист, Л. Больцман выводил единство знания из единства материального мира, из фактов взаимного переплетения наук, отражающих существенные связи окружающей действительности.

С противоположных позиций подходили к этой проблеме сторонники позитивистской философии эмпириокритицизма. Э. Мах обосновывал единство знания, исходя из концепции «элементов мира» (ощущений) и принципа «экономии мышления». По существу это была утонченная попытка вывести единство мира и знания об этом мире из мышления, своеобразная форма возрождения замыслов Дюринга, подвергнутых в свое время критике Ф. Энгельсом.

Сложная проблема единства знания и анализа его объективных основ заменялась в философии Маха плоской «экономностью» мышления, которая призвана была гармонически согласовывать все в стройное единство. В книге «Материализм и эмпириокритицизм» В. И. Ленин посвятил обстоятельной критике этой концепции специальный параграф «Принцип экономии мышления» и вопрос о «единстве мира». Он показал, что махистское понимание единства знания, проведен-

¹ Л. Больцман. Очерки методологии физики. М., 1929, стр. 37.

ное последовательно до конца, приводит к солипсизму, ибо «экономнее всего» признавать существующим только одного субъекта с его ощущениями.

Одной из характернейших черт этого ленинского анализа была глубокая научность. Показательно, что с рядом моментов его анализа совпали основные идеи доклада крупнейшего немецкого физика-материалиста Макса Планка «Единство физической картины мира», прочитанного в 1909 г. (то есть в год выхода книги В. И. Ленина в свет). В своем докладе он подробно останавливается на существе спора физиков-материалистов и махистов: «Является ли физическая картина мира произвольным созданием нашего ума, или же, наоборот, она отражает реальные, совершенно не зависящие от нас явления?». Защищая материалистическое решение данного вопроса, Планк критикует позитивизм Маха. «Развитие науки, — говорил он, — было бы роковым образом задержано, если бы принцип экономии Маха действительно сделался бы центральным пунктом теории познания»².

В этом же докладе М. Планк подробно излагает материалистические представления о единстве научного знания, указывая, что «цельная картина мира представляет собой ту неизбежную цель, к которой стремится естествознание». Одно из отличий старой системы физики от новой он видит в том, что последняя будет обладать большим теоретическим единством, и, исходя из этого, сравнивает старую физику с коллекцией картин, а новую — с одной картиной. «Все эти различные картины, — говорил М. Планк, — не были связаны между собой; можно было удалить любую из них, нисколько не повлияв на все остальные. Это окажется уже невозможным по отношению к будущей картине физического мира. В ней... каждый штрих представится необходимой составной частью целого»³.

Сейчас, спустя полвека, мы видим, как блестяще оправдались эти прогнозы крупнейшего физика-материалиста своего времени. Проблема единства знания, например, в современной физике выявила много различных аспектов. Среди них можно отметить проб-

² М. П л а н к. Физические очерки. М., 1925, стр. 32.

³ Там же, стр. 26.

лему целостного воспроизведения противоречивой корпускулярно-волновой природы микрообъектов, установления инвариантности законов, принципы классификации «элементарных» частиц, попытки построения единой теории поля, возбужденные состояния которого давали бы набор уже открытых и гипотетических частиц, существование которых будет подтверждено последующими открытиями. Постепенно начинают проступать контуры новой физической картины мира, которая объединит в будущем теорию относительности, квантовую механику и физику «элементарных» частиц.

Одним из примеров диалектического единства знания в современной физике является тенденция к установлению тесной связи между основными физическими константами наряду с процессом увеличения их числа. Эта тенденция обнаруживает неправомочность рассмотрения определенных констант порознь, обособленно друг от друга. В статье, посвященной состоянию вопроса об основных константах физики, в февральском номере журнала «Успехи физических наук» за 1961 г., отмечалось: «...в настоящее время весь комплекс наших сведений об основных константах подобен огромной паутине, каждая часть которой в какой-то степени зависит от всей остальной сети так, что если коснуться одной части или изменить что-либо, то вся сеть в целом подвергнется изменению»⁴.

Справедливость этого положения можно показать на примере связи двух универсальных постоянных — скорости света (C) и кванта действия (h). То или иное значение этих взаимосвязанных величин сказывается на изменении всей «сети» знания, требуя соответствующего перехода от одной теории к другой. Так, в классической механике имеет место следующее соотношение: $C \rightarrow \infty$, $h = 0$, в теории относительности: $C = \text{const}$, $h = 0$; в квантовой механике: $C \rightarrow \infty$, $h = \text{const}$; в квантовой электродинамике: $C = \text{const}$, $h = \text{const}$; в физике «элементарных» частиц: $C = \text{const}$, $h = \text{const}$, l (предполагаемая константа длины) = const .

Проблема единства знания важна не только применительно к отдельной, в данном случае к физической,

⁴ Дж. Дю-Монд. Состояние вопроса об основных константах физики и химии на январь 1959 г. «Успехи физических наук», 1961, т. LXXIII, вып. 2, стр. 333.

науке. Она имеет не меньшее значение для всего комплекса развития современного научного знания. Одной из особенностей этого развития является одновременно углубляющаяся дифференциация и интеграция наук. Появление новых отраслей знания, специализация последнего не ведет теперь к взаимообособлению наук, а связана с возникновением смежных дисциплин на стыке различных областей (например, таких, как физическая химия, химическая физика, радиохимия, биофизика, геоботаника и др.). Все это подтверждает глубоко диалектический характер проблемы единства знания и правильность оценки Ф. Энгельса, высказанной в «Диалектике природы», что «теоретическое естествознание свои взгляды на природу насколько возможно объединяет в одно гармоническое целое». Напомним в этой связи, что В. И. Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме» обратил внимание на ту же проблему в связи с фактом аналогичности дифференциальных уравнений в различных областях научного осмысления природы.

Как же решается проблема единства знания в современном позитивизме? Она заняла одно из центральных мест в работах представителей «Венского кружка» и стала своеобразным «пробным камнем», на котором споткнулся логический позитивизм. Уже на заре логико-позитивистского движения эта проблема приняла форму объединения знания, создания «унифицированной» науки. Эта задача была провозглашена в первом программном документе «Венского кружка» — его манифесте 1929 г. В дальнейшем она получила развитие в работах Морица Шлика, Рудольфа Карнапа, Отто Нейрата и др., в докладах на международных конгрессах неопозитивистов, в частности, в 1936 г. на Конгрессе единства науки и в публикации серии брошюр под претенциозным названием «Международная энциклопедия унифицированной науки». В статье «Социология и физикализм» (1931—1932) О. Нейрат писал: «Венский кружок», распространяющий научное миропонимание, стремится создать атмосферу, свободную от метафизики, чтобы посредством логического анализа способствовать научным исследованиям во всех областях»⁵. На этой основе он рассматривал как цель позна-

⁵ Сб. «Logical Positivism». Illinois, 1959, p. 282.

ния «унифицированную науку», рядом с которой не существует ни «философии», ни «метафизики». В унификации науки он увидел главную задачу логического позитивизма.

Следует отметить, что в этот период идея единства знания широко дискутировалась в научной среде, поскольку дальнейший прогресс науки требовал все более тесного сотрудничества ученых различных дисциплин, улучшения их взаимопонимания. Разумеется, это не означало, что такое сближение должно было прийти на основе создания единого, а тем более единственного, языка наук (а именно так поставили вопрос неопозитивисты) или за счет стирания специфических различий между предметами отдельных наук, их сведения к какой-либо одной науке. Но если дело обстояло не так, то естественно возникал вопрос, какова же подлинная основа единства знания?

Диалектический материализм учит, что при решении этой проблемы необходимо исходить из двух факторов: объективного — материального единства мира, единства различных форм движения материи и ее структурных «уровней» — и, так сказать, «субъективного» — верных методологических принципов отражения материального единства мира. Это находит подтверждение, например, в создании объединительных теорий. Так, возникновение квантовой теории света, которая синтезировала корпускулярные и волновые представления о природе света, было обусловлено, с одной стороны, открытием нового, субатомного «уровня» материи и, с другой — появлением новых логических принципов, новых приемов и способов мышления, отличных от тех, которыми пользовались при развитии классической механики.

Устраняя эти факторы как якобы «метафизические спекуляции» (а именно с этого они начали «разработку» проблемы единства науки), логические позитивисты тем самым лишали себя научной основы для решения проблемы единства знания. Не случайно они стали искать эту основу прежде всего на путях логического синтаксиса языка. Если у Маха единство знания обосновывалось природой чувственных восприятий, то у его преемников оно стало базироваться на специфике языковых средств и логического аппарата.

В ряде статей Р Карнапа (в частности, в статье «Психология на языке физики») наиболее четко обрисовываются этапы поисков единого научного языка. К этому в основном и свелась в логическом позитивизме проблема унификации знания. Венцом этих поисков явился так называемый физикализм⁶. Его существо заключается в том, что при разработке унифицированного языка науки в качестве такового был избран язык математической физики. На этот язык было задумано перевести всю систему существующего знания и таким способом достичь его унификации. В книге «Единство науки» Карнап писал: «Физический язык есть всеобщий язык. Он является языком всей науки... Тезис физикализма приводит к тезису единства науки». В этом его замысле произошло, на наш взгляд, своеобразное возрождение механистического принципа сводимости. Как известно, на этом пути логических позитивистов постигла неудача, и впоследствии многие из них, в том числе и сам Карнап, отошли от «ортодоксального» физикализма. Такой же конец постиг и такие разновидности физикализма, в которых все внимание было обращено на поиски структурных эквивалентов различных физикалистских предложений и на рассмотрение самих предложений науки как особых физических «объектов».

В проблеме единства знания наряду с вопросами, относящимися к связи различных наук, имеется и такой важный аспект, как взаимоотношение самих частных наук и философии. Этой теме в работах современных позитивистов отводится немалое место. Она, например, является центральной в одной из последних книг Филиппа Франка — «Философия науки» (1957), имеющей подзаголовок «Связь между наукой и философией».

В этой работе обстоятельно анализируется «разрыв цепи» между философией и наукой и подчеркивается необходимость его ликвидации в интересах «точки зрения единой науки». Однако конкретные оценки и способы решения данной проблемы, предлагаемые автором, вызывают сомнения в возможности устранить этот «разрыв». Прежде всего, потому, что Ф. Франк игнорирует объективную основу взаимосвязи философии и

⁶ Подробнее об этом см.: И. С. Нарский. Очерки по истории позитивизма. Изд-во МГУ, 1960, стр. 191—195.

частных наук, убедительно раскрытую диалектическим материализмом.

Оценки исторической роли наук и философии, которые встречаются в книге, вряд ли способствуют преодолению «разрыва цепи»; они, напротив, помимо субъективных желаний автора, могут лишь углубить его. Так, по словам Ф. Франка, повторяющего в этом отношении старую идею О. Конта, «наука не отвечает на вопрос «почему»; она только отвечает на вопросы, касающиеся того, что происходит, а не почему происходит»⁷. Ответ на последний вопрос — «почему» — является, таким образом, функцией не науки, а философии. «Философия, — пишет Ф. Франк, — вводит в науку нечто такое, чем ученый «как таковой» не интересуется»⁸. Но ведь именно такого рода противопоставления характерны для тех, кто «разрывает» союз философии и науки, то есть для тех, против кого Франк как будто бы выступает, но кто в действительности оказываются его философскими единомышленниками.

Показательно и другое. Ф. Франк настойчиво подчеркивает важность для развития научного познания критерия «экономии мышления», выдвинутого Махом. Он считает, что «действительный прогресс науки всегда создавался с помощью критерия экономии и простоты»⁹. Здесь дана буквально та ошибочная оценка принципа «экономии», против которой предостерегал М. Планк в приведенном выше высказывании из доклада «Единство физической картины мира».

Широко разрекламированная на заре логического позитивизма программа «единства науки» осталась неосуществленной. Интересные признания на этот счет содержатся в сборнике «Логический позитивизм», вышедшем в США в 1959 г., то есть спустя 30 лет после опубликования венского Манифеста. В своей вступительной статье ведущий представитель современного английского позитивизма, профессор А. Айер пытается объяснить, по его словам, «некоторую неудовлетворенность, которая возникла благодаря логическому позитивизму». Он приводит немало оправданий этому факту, но в ряде мест вынужден признать неутешительность

⁷ Ф. Франк. Философия науки. ИЛ, М., 1960, стр. 84.

⁸ Там же, стр. 116.

⁹ Там же, стр. 511.

итогов логико-позитивистского движения за прошедшие 30 лет. «Они (то есть представители «Венского кружка». — А. П.) думали, — пишет он, — что, найдя способ поставить философию на надежный путь науки, они достигли успеха там, где Кант потерпел поражение. Этот результат не был достигнут. В действительности, он, возможно, и не достижим»¹⁰.

Проблема единства знания занимает видное место и в философской концепции так называемой «копенгагенской школы», в ее методологии «дополнительности». Хотя на развитие этой методологии, особенно в 30-х годах, существенное влияние оказал современный позитивизм, было бы неверно полностью отождествлять те решения, которые даются данному вопросу логическим позитивизмом и методологией «дополнительности». Здесь необходимо различать взгляды самого Нильса Бора — крупнейшего физика современности, сделавшего в свое время определенные уступки позитивизму, и некоторых его сторонников, разделяющих или разделявших крайние позитивистские воззрения (П. Иордана, Ф. Франка, Г. Райхенбаха, В. Гейзенберга и др.). Следует учитывать и то, что из перечисленных здесь физиков некоторые эволюционировали затем к платонизму (В. Гейзенберг) и то, что Н. Бор в своих последних выступлениях избегает ряда прежних субъективистских положений и сделал значительные шаги к материалистическому пониманию философских проблем квантовой механики. Тем не менее иногда еще можно встретить толкование концепции «дополнительности» как полностью «идеалистической теорией»¹¹ что мы считаем неточным и неправомерным.

Методологический принцип «дополнительности» был выдвинут Н. Бором в связи с интерпретацией квантовой механики. В общей форме он может быть сформулирован здесь следующим образом: в процессе познания для воспроизведения единой, целостной картины объекта следует применять взаимоисключающие, «дополнительные» классы понятий.

Этот принцип часто отождествлялся с соотношением неопределенностей В. Гейзенберга. Такое рассмотрение

¹⁰ «Logical Positivism», р. 9.

¹¹ См., например: И. Е. Богачева. Диалектический материализм и естествознание. Воронеж, 1962, стр. 23, 36.

имело известное основание, например, в том, что определенность координаты микрочастицы взаимоисключающим образом связана с определенностью ее импульса, но в целом оно все же неправомёрно. Содержание идеи «дополнительности» носит более общий характер, и к ней Н. Бор пришел независимо от соотношения неопределенностей еще на ранних этапах развития квантовой физики, хотя открытие этого соотношения, а точнее его позитивистское истолкование усилило, несомненно, позиции Н. Бора как защитника идеи «дополнительности».

Известно, что для объяснения устойчивости атомов и особенностей их спектра излучения Бор ввел свои знаменитые постулаты. Раскрывая их существо, он писал: «Динамическое равновесие систем в стационарных состояниях подчиняется обычным законам механики, в то время как эти законы неприменимы для перехода системы между различными состояниями»¹². Благодаря постулатам Бора удалось механически соединить в одной модели классические и квантовые представления о движении электрона.

Применяя сформулированный им принцип соответствия, Н. Бор показал, что в области больших квантовых чисел, определяющих то или иное состояние атома, расстояния между соседними орбитами уменьшаются, а соответствующие «уровни энергии» сближаются. В этой области выводы квантовой теории относительно частоты излучения приближаются к выводам классической теории. Но попытка обратного перехода применения классических представлений к области малых квантовых чисел (то есть к типично квантовым явлениям) не давала правильных, адекватных результатов.

Необходимо было философски осмыслить данную ситуацию. Н. Бор увидел выход в том, чтобы развить идею новой формы связи классических и квантовых понятий. Если принцип соответствия, до некоторой степени выражая диалектику процесса познания, показывал не только противоположность классической и квантовой механики, но и их единство, совпадение в предельном

¹² «Philosophical Magazine», 1913, v. XXVI, p. 874.

переходе, то возникавшая идея «дополнительности» пошла по другому пути (не «единство», но лишь «дополнение» в смысле взаимоисключения).

Как это произошло? В процессе дальнейшего развития квантовой теории в 20-х годах возникли, казалось, непреодолимые гносеологические трудности. Какова физическая природа микрообъектов? Возможно ли органическое соединение в одной картине взаимоисключающих сторон, свойств микрочастиц? Эти вопросы стали тревожить многих ведущих физиков. Положение усугублялось незнанием западными физиками диалектики и активизацией приверженцев идеалистической философии, устремившихся к философской проблематике субатомной физики.

Одной из попыток разрешения этих трудностей и явилась детальная разработка Н. Бором идеи «дополнительности». Свое название «Complementarity» эта идея получила в период формулировки основных принципов квантовой механики. Выступая осенью 1927 г. на международном конгрессе физиков в Комо, Н. Бор рассматривал историю возникновения этой идеи в связи с «квантовым постулатом», согласно которому любой атомный процесс содержит черты прерывности, выражаемые постоянной Планка (квантом действия). По его словам, «при описании атомных явлений квантовый постулат выдвигает перед нами задачу развития некоторой теории «дополнительности»¹³. Ее основное требование заключается в необходимости применения взаимоисключающих неадекватных (макроскопических) понятий в виде «дополнительных пар» для анализа противоречивых свойств квантовых микроявлений.

Характеризуя эту ситуацию, Н. Бор в докладе «Свет и Жизнь» (1932) указывал: «Пространственная непрерывность нашей картины распространения света и атомизм световых эффектов являются дополнительными аспектами в том смысле, что они одинаково объясняют важные черты световых явлений, которые никогда не могут быть приведены в непосредственное противоречие друг с другом, так как их глубокий анализ в терминах механики требует взаимоисключающих

¹³ N. Bohr. Atomic Theory and the Description of Nature. Cambridge, 1934, p. 55.

экспериментальных устройств»¹⁴. Правильно вскрывая факт противоположности волновых и корпускулярных свойств света, Н. Бор по существу отрицает возможность объективного противоречивого единства этих свойств и устанавливает два эквивалентных аспекта описания: либо корпускула, либо волна. В этом наглядно проявилась механическая, антидиалектическая односторонность идеи «дополнительности».

Находясь в 30—40-х годах под влиянием неопозитивизма, Н. Бор считал, что «дополнительность» служит для того, «чтобы символизировать фундаментальное ограничение существования явления независимо от средств наблюдения» и выступил с требованием «радикального пересмотра взглядов на проблему физической реальности» в позитивистском духе.

В работах ряда сторонников копенгагенской интерпретации П. Иордана, Ф. Франка, Г. Райхенбаха и др., разделявших крайне позитивистские взгляды, идея «дополнительности» была использована для пропаганды субъективного идеализма, идей «краха причинности», «свободы воли» электрона и пр. Ошибочно абсолютизируя роль измерительного прибора, трактуя ее как «неконтролируемое взаимодействие», «приготовление субъектом физической реальности», эти физики не смогли научно объяснить специфику процесса познания в микромире. Выявленная В. Гейзенбергом невозможность одновременного точного определения координаты и импульса микрочастицы обусловлена, по их мнению, не противоречивой (корпускулярно-волновой) природой микрообъектов, а использованием двух взаимоисключающих классов приборов: одного — для определения пространственно-временных характеристик, другого — импульсно-энергетических. Таким образом, специфика процесса познания микроявлений объяснялась этими философствующими физиками не особенностями познаваемого объекта, а, наоборот, как следствие самого познания, то есть в типично махистском духе. Исходя из подобной трактовки двух классов приборов, взаимоисключающими, «дополняющими» друг друга объявлялись описание микропроцессов в пространстве

¹⁴ N. Bohr. Atomic Theory and the Description of Nature. Cambridge, 1934, p. 5.

и времени, с одной стороны, и их причинное описание, с другой... Здесь начиналась уже топкая почва индетерминизма со всеми вытекающими отсюда для науки опасными последствиями.

Существенным моментом в понимании рассматриваемой идеи явилась разработка Н. Бором своеобразного общего метода «дополнительности». Не ограничиваясь областью квантовой механики, он стал подчеркивать всеобщий характер тех логических связей и ситуаций в различных областях знания, для исследования которых необходим метод «дополнительности». «Цельность живых организмов и характеристики людей, обладающих сознанием, а также и человеческих культур, — писал Н. Бор, — представляют черты целостности, отображение которых требует типично дополнительного способа описания»¹⁵.

Среди понятий или ситуаций, требующих подобного способа описания, им указываются, например, такие, как разум и инстинкт, свобода воли и детерминизм — в психологии; понятие и звуковой фон — в лингвистике; механицизм и витализм — в биологии; личная свобода и социальное равенство — в социологии; правосудие и милосердие — в юриспруденции и др. При конкретном анализе этих противоречивых отношений с позиций метода «дополнительности» иногда обнаруживается некоторое внешнее сходство с диалектикой. На этом основании в швейцарском журнале «Диалектика» («Международное обозрение философии познания») стало модным отождествление диалектических противоположностей с «дополнительностями» и соответственно — диалектики с методом «дополнительности». В статье Г Мюллера «Диалектика — логика философии», опубликованной в этом журнале, в частности, говорилось: «Философия есть логическое отражение существенных ценностей... Они являются диалектическими противоположностями или дополнительностями»¹⁶.

Неправомерность и большой вред такого рода попыток, вносящих немалую путаницу, обнаруживаются прежде всего в неверном понимании самой сущности про-

¹⁵ Н. Бор. Квантовая физика и философия. «Успехи физических наук», 1959, т. LXVII, вып. 1, стр. 42.

¹⁶ «Dialectica», 1959, v, 13, No. 3/4, p. 237.

тиворечия. С точки зрения научной диалектики, объективно существует не только раздвоение единого на взаимоисключающие стороны, но и взаимодействие между ними, их единство, неотделимость одного от другого. В одном из писем Ф. Энгельс писал: «Меня вначале мучила как раз эта неотделимость тождеств и различия... Как только собираешься ухватиться крепко за одну сторону (противоречия), так она незаметно превращается в другую».

Для метода «дополнительности» нет такой проблемы, ибо в его понимании взаимоисключение противоположностей приводит к их фактическому разрыву, к абсолютному взаимообособлению. Для «дополнительности» характерны механистическое отчленение противоположностей друг от друга, а затем их статичное «дополнение» («удвоение»); для диалектики — не только взаимоисключение, но и взаимосвязь, динамика взаимодействия противоположностей. В концепции «дополнительности», следовательно, постулируется сосуществование противоположностей и упускается из виду целостное воспроизведение объекта в единстве его противоположных сторон, в их взаимопроникновении. Здесь можно видеть, как методология «дополнительности» испытывает серьезные затруднения, когда встает проблема, как понять противоречивое единство общего и частного, целого (единого) и отдельного. В отличие от диалектики, эта методология весьма неточно допускает такое обособление частей, отдельных сторон от целого, что они, эти части, теряют связь с целым, а само целое в таком случае предстает как механическая сумма своих частей, что в принципе неверно.

В связи с этим следует заметить, что на примере метода «дополнительности» обнаруживается недостаточность чисто формальнологических приемов исследования противоречий. В ряде работ сторонников неопозитивизма (Райхенбаха, Детуш-Феврие, Вейцеккера) было показано, что так называемая трехзначная формальная логика в качестве отличительной своей черты обладает свойством «дополнительности». Не затрагивая специально в данной статье сложного вопроса, насколько вообще плодотворна попытка использовать трехзначную логику при анализе микропроцессов (это — предмет специального исследования), заметим, что сам

Н. Бор не является сторонником такого подхода и считает достаточно «работоспособной» обычную двухзначную логику. По мнению же Г Райхенбаха, «только трехзначная логика обеспечивает адекватную интерпретацию квантовой механики». «Эта логика призвана, — писал он, — стать окончательной формой квантовой физики»¹⁷.

Третья логическая значимость — «неопределенность» была использована Г Райхенбахом для устранения некоторых логико-философских трудностей в интерпретации квантовой механики. Два высказывания «X» и «Y» считаются дополняющими друг друга, если для них выполняется соотношение «дополнительности», которое можно сформулировать так: «X» и «Y» дополняют друг друга при том и только при том условии, что если «X» истинно или ложно, то «Y» — неопределенно, и наоборот.

Чем вызвана объективная необходимость применения трехзначной логики в квантовой механике, является ли эта логика специфической логикой для познания микромира? Г Райхенбах не дает ясного ответа на эти вопросы, поскольку он рассматривает трехзначную логику как удобное средство рассуждений, как инструмент для усовершенствования нашего языка. При таком понимании трехзначная логика, или, как ее иногда называют, логика «дополнительности», не представляет качественно новых по сравнению с обычной формальной логикой возможностей для познания реальных противоречий. Более того, сводя реальные противоречия к «неопределенностям» и «двусмысленностям» языка, можно лишь затруднить это познание. Такого рода пример дает сам Г Райхенбах, относя трехзначность только к языку, описывающему квантовые явления, а законы квантовой механики как таковые считая... двузначными. В своей книге «Философские основы квантовой механики» он писал, что «принцип сохранения энергии устраняется из сферы истинных высказываний». Следуя его логике, придется признать, что этот принцип, как и в целом уравнение, характеризующее статистические закономерности движения микрообъектов, не входит в число квантовомеханических закономерностей...

¹⁷ H. Reichenbach. The Rise of Scientific Philosophy. Berkeley, 1954, p. 189.

Все сказанное выше в той или иной степени определяло подход Н. Бора к проблеме единства знания. Следует отметить, что в 30-х годах он находился по этому вопросу в тесном контакте с логическими позитивистами, о чем свидетельствует его выступление на «Конгрессе единства науки» в 1936 г. в Копенгагене. Однако в последнее время, в частности в статьях, опубликованных в сборнике «Атомная физика и человеческое познание» (1959) и в статье «Квантовая физика и философия» (1959), обнаруживается его стремление к более объективному подходу к данной проблеме. Эта же тенденция прозвучала в лекции Н. Бора, прочитанной 8 мая 1961 г. для студентов физического факультета МГУ, в которой Бор, однако, вновь подчеркивал универсальность метода «дополнительности».

В статье «Единство знания» (1954) Н. Бор исследует эту проблему в связи с вопросом о том, «как может сохраняться объективность в период возрастания опыта, находящегося вне сферы повседневной жизни»¹⁸. По этому поводу он пишет: «...обобщение системы понятий предоставляет соответствующие средства для ограничения субъективных элементов и увеличения сферы объективного описания»¹⁹. Здесь нельзя не увидеть определенной аналогии с позицией М. Планка, когда он говорил об «освобождении физической картины мира от антропоморфных элементов» как о незабываемой цели естествознания.

Н. Бор в упомянутой статье указывает, что «поиски основных физических законов» и «сохранение идеи детерминизма» помогли Эйнштейну «перестроить все здание классической физики, придав нашей картине мира единство, превосходящее все предыдущие ожидания». Основной теоретико-познавательный урок атомной физики, по его мнению, напоминает нам о сходстве ситуаций в отношении описания и понимания опыта далеко за пределами физической науки и позволяет проследить общие черты, способствующие исследованию единства знания. Основу этого единства Н. Бор видит в «аналогичности нашей позиции по отношению к анализу и синтезу опыта в областях знания, кажущихся обо-

¹⁸ N. Bohr. Atomic Physics and Human Knowledge. London, 1959, p. 69.

¹⁹ Ibid., p. 69.

собленными». В этих положениях, в отличие от точки зрения ортодоксального неопозитивизма, выражается тенденция научного подхода, связывающего единство знания с его объективностью.

Но каким же способом можно достигнуть такого обобщения, которое выявляет единство знания в его различных, специфических областях? Н. Бор вновь считает, что для этого необходима «дополнительность» как методологический принцип построения единой картины мира. «Фактически мы должны признать, — пишет он, — что требования объективного описания, по крайней мере в тенденции, выполняются с помощью типичного способа дополнительности»²⁰. При этом он рассматривает теорию «дополнительности» как следующий шаг после теории относительности в рациональном обобщении и унификации существующего знания.

Таким образом, в то время как Р. Карнап искал основу единства знания в построении единого языка науки, Н. Бор видит ее в сходстве логических ситуаций, требующих для своего анализа метода «дополнительности». Несомненно, подход Н. Бора к этой проблеме отличается от первого по своему содержанию, но и он не приводит к удовлетворительному решению. Хотя Н. Бор в своей трактовке вопроса делает некоторые шаги в сторону материализма, он все еще не покинул пределов неадекватной методологической схемы «дополнительности».

Философские основы этой схемы были подвергнуты критическому анализу со стороны крупнейших советских и зарубежных ученых—П. Ланжевена, С. И. Вавилова, В. А. Фока, Д. И. Блохинцева, Луи де Бройля, Л. Яноши и др. Выступая против абсолютизации первоначальной интерпретации квантовой механики, С. И. Вавилов подчеркивал необходимость разработки таких понятий, которые могли бы адекватно отобразить диалектическую природу микрообъектов так, чтобы физик не был вынужден «пользоваться почти всем арсеналом понятий, связанных с изолированными частицами и волнами». Сходная с этим оценка дается в интересной статье мексиканского физика-экспериментатора Томаса Броди «Образование

²⁰ N. Bohr. Atomic Physics and Human Knowledge. London, 1959, p. 73.

и область применимости научных понятий». В этой статье он, в частности, пишет: «Непригодность принципа дополнительности, по-видимому, покоится на слишком негибком, категорическом толковании значения некоторых физических понятий»²¹. В работах Д. И. Блохинцева, М. Э. Омеляновского и других советских ученых содержится аргументированная критика в адрес позитивистски настроенных сторонников «дополнительности», которые выдвигали на первый план в своем анализе не объективную специфику микроявлений, а субъективно оцениваемые возможности макроскопических измерительных приборов. Это приводило, как показали М. Э. Омеляновский и др., к ошибочной абсолютизации роли приборов, к концепции «принципиальной неконтролируемости», к отрицанию причинности и объективного характера статистических закономерностей в микромире. В ряде статей В. А. Фока и А. Д. Александрова подчеркивалась неправильность отождествления идеи «дополнительности» с идеей принципиальной ограниченности познавательных возможностей человека. «Поскольку термин «принцип дополнительности», — писал В. А. Фок, — потерял свой первоначальный разумный смысл и стал употребляться как обозначение для несуществующих ограничений познания и для других неправильных понятий, лучше всего от него отказаться»²².

Все сказанное выше свидетельствует о сложности философской ситуации, в которой оказался создатель методологии «дополнительности». В развитии современной физики Н. Бору принадлежат выдающиеся заслуги. Он по праву считается одним из ее патриархов. Ему впервые удалось проквантовать движение электронов, вычислить размеры атома, внести существенный вклад в создание квантовой механики и изучение механизма деления ядер урана.

В его философских взглядах наряду со старыми формами и способами мышления нашли стихийное отражение элементы диалектики. Объективное содержание исследований Н. Бора, и в частности некоторые аспекты его анализа проблемы единства знания, показывают, что он вплотную подошел к выводу о том, что в природе все

²¹ «Философские вопросы современной физики». Изд-во АН СССР, М., 1958, стр. 168.

²² Там же, стр. 78.

развивается диалектически. Но дальнейшее движение требует от ученого сознательного овладения единственно адекватным методом познания — методом материалистической диалектики.

Подытоживая сказанное, следует подчеркнуть, что проблема единства знания, то есть воспроизведения в научном мышлении целостной картины отдельных объектов и объективного мира в целом имеет весьма важное значение для развития современной науки. Эта проблема родилась в недрах естествознания и призвана способствовать его дальнейшему прогрессу. Исследования логической структуры различных наук, объективной основы и методологических принципов построения теоретических систем, их связей, различия и единства — все это на деле способствует созданию единой научной картины мира, если эти исследования пойдут далее по верному пути, который указан материалистической гносеологией. Ни в современном позитивизме, ни в методологии «дополнительности», несмотря на различия, существующие между ними, адекватного решения этой проблемы не дано. Ее научное разрешение становится возможным лишь благодаря марксистско-ленинской теории материального единства мира и диалектическому методу познания — концептуальному аналогу процессов, происходящих в самой объективной реальности.

О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ОПЕРАЦИОНАЛИЗМА
П. БРИДЖМЕНА

Критическое рассмотрение операционализма как одного из вариантов неопозитивизма уже было дано в работах ряда авторов, как советских (в статьях С. Г. Суворова, Т. Н. Горнштейн, Б. Э. Быховского и др.), так и зарубежных (например, в работах американского ученого Ганса Фрейштадта). Однако в уже имеющихся критических исследованиях еще не рассмотрена основательно последняя книга П. У. Бриджмена «The way things are», вышедшая в 1959 г. в Нью-Йорке. Эта книга посвящена в основном проблемам теории познания, поэтому ее название и было переведено на русский язык как «Метод познания вещей». Однако это не совсем точный перевод. Пожалуй, было бы лучше перевести название книги: «Способ существования вещей».

В этой книге Бриджмен подводит некоторые итоги своей более чем 30-летней деятельности в области философского осмысления мира. Каковы же эти итоги?

Заметим, что еще со времени написания работы «The intelligent individual and society» (1939) он пришел к убеждению, что есть что-то коренным образом ложное в том способе, которым цивилизованный человек употребляет свой ум. «...Я все более и более убеждался в правильности (validity) моего прежнего взгляда, что наши наиболее важные трудности коренятся в том способе, которым мы выражаем наши отношения друг к другу».

Исходными положениями новой книги Бриджмена являются следующие:

1) инструменты нашего мышления ограничены и очень важно лучше понять их ограниченность;

2) налицо фундаментальная непригодность того способа, которым мы «владеем нашим умом»,

Эти положения не являются для Бриджмена новыми. И до этого он уже писал о двойственности проблемы понимания: во-первых, это проблема понимания мира вокруг нас и, во-вторых, — особая проблема понимания природы тех интеллектуальных инструментов, с помощью которых мы пытаемся понять мир вокруг нас. Но вторую проблему он раньше считал замкнутой (closed), теперь же надеется разрешить с достаточным приближением, анализируя ее в терминах «сделанного или случившегося» (doings or happenings).

Поскольку методом исследования умственной деятельности человека является, по Бриджмену, операциональный анализ, а операции выполняются опять-таки индивидом, то Бриджмен приходит к положению: мы никогда не можем уйти от самих себя (go away from ourselves). В связи с этим Бриджмен, считая проблему зависимости субъекта от своей собственной субъективной деятельности наиболее важной проблемой, стоящей перед нами, заявляет, что единственное надежное, что нам остается, — это изучать средства языкового общения между собой.

Бриджмен рассуждает в своей книге о языковой деятельности индивида в его отношении к другим индивидам вне связи мышления с объективным миром и вне рассмотрения общественной практики в создании и развитии языка. Исходя из таких предпосылок, П. Бриджмен выдвигает следующее решение проблемы значения: значение слова точно определено (is specified) перечислением всех условий, при которых слово применяется¹. Однако выявить все условия применения слова практически невозможно. В результате Бриджмен приходит к весьма пессимистическому выводу: «Часто лучшее, что мы можем сделать... это — закрыть глаза и надеяться, что мы достигли успеха»².

Операциональный анализ, предлагаемый Бриджменом в качестве универсального средства познания процесса умственной деятельности человека, оказался бесильным. С позиции диалектического материализма понять такой финал операционализма не трудно, ибо субъективистский подход к слову в изоляции его от связей

¹ P. W. Bridgman. The Way Things Are. N. Y., 1959, p. 16.

² Ibid., p. 17.

с объективной реальностью неизбежно заводит науку в тупик. Бриджмен подчеркивает, что слово не похоже на физический объект, что общение между людьми явно отличается от передачи физического объекта одним лицом другому. Но что же это за процесс? Он утверждает, что, «грубо говоря, местоположение наиболее важной части того, что дает слову идентичность или смысл, находится в мозге людей, употребляющих слова»³. Бриджмен разъясняет: лишь потому, что связь между физическим словом (написание) и его смыслом в мозгу человеческого не полностью строга, мы можем читать язык майя с большим трудом. Но откуда появляются в мозге человека значения слов? Откуда берутся слова, «употреблению которых надо учиться»? Операциональный анализ П. Бриджмена ответов на эти вопросы дать не может.

Определяя значение (смысл), Бриджмен пишет: «...я скажу, что знаю смысл слова, если я могу установить (state) условия, которые диктуют употребление слова Вами или мной»⁴. Но что такое «условия»? Бриджмен отвечает, что однообразие условий есть отношение лица, употребляющего слово к «референту», то есть указанному специфическому объекту. «Референт» различен для различных лиц, употребляющих слово, например в случае слова «я». И хотя Бриджмен желал бы, чтобы смысл не зависел от лица, употребляющего слово, тем не менее получается, что смыслов столько, сколько людей, данное слово применяющих. Мир Бриджмена плюралистичен. Отсюда следует, что нет однозначной объективной истины, а это приводит в конечном счете к господству субъективизма в трактовке познания⁵, к обоснованию конвенционалистской трактовки понятий.

В рассуждениях Бриджмена возникает своеобразное противоречие, которое увидел он сам. Бриджмен спрашивает: как можно понять наши умственные средства (tools) оперирования словами, если единственным средством понимания являются сами эти средства?⁶. И здесь

³ P. W. Bridgman. The Way Things Are. N. Y., 1959, p. 18.

⁴ Ibid., p. 19.

⁵ Характерно, например, что понятие «будущего» Бриджмен сводит в конце концов к операции «ожидания».

⁶ См. P. W. Bridgman. The Way Things Are. N. Y., 1959, p. 28.

операциональный анализ вынужден признаться в своей беспомощности.

Неопозитивистский характер основных идей П. Бриджмена хорошо обнаруживается при рассмотрении его взглядов на философию и логику как на такие сферы человеческой деятельности, которые якобы почти полностью находятся на «вербальном уровне».

Касаясь философии, Бриджмен отмечает: «Я подозреваю (*suspect*), что значительная часть философских учений имеет свое начало в стремлении найти вербально удовлетворительные ответы на вопросы, которые звучат так, словно они должны иметь ответ»⁷. По Бриджмену, «открытая» для наблюдения часть философии является чисто вербальной, или словесной. Излюбленное средство философствования, по Бриджмену, — чисто вербальный эксперимент, ибо философ выдвигает на пробу различные формы выражения и спрашивает: «Будете ли вы считать данный способ высказывания удовлетворительным?». В отличие от физика, химика или биолога, философ, по мнению Бриджмена, интересуется лишь одним аспектом человеческой деятельности — мышлением, а именно только тем его аспектом, который находит свое наиболее прямое выражение в вербальном поведении. «Грубо говоря, кажется, что первой заботой философа является то, как он будет говорить о том, что он думает и что он говорит»⁸. Получается, что вся философия сводится Бриджменом лишь к операциональному анализу смысла слов и к анализу взаиморасположения последних.

П. Бриджмен заявляет, что концентрация внимания на вербальной природе общения людей и мышления имеет свои преимущества, поскольку для наших целей во многих контекстах большего и не требуется. Например, при обсуждении вопроса, что такое длина, скорость, масса, вполне достаточно будто бы определить условия, при которых мы будем употреблять эти слова. Причем не следует спрашивать «что *есть* длина?», ибо такая форма вопроса часто влечет за собой «метафизический» подтекст. Но вопросы, называемые «метафизическими», можно автоматически отстранить, если сосредоточить

⁷ P. W. Bridgman. *The Way Things Are*. N. Y., 1959, p. 24

⁸ *Ibid.*, p. 30.

внимание на вербальном аспекте дела. В данном случае нужно будет определить операцию измерения. Операциональный подход Бриджмен выражает так: «Я применяю слово «длина», чтоб указать, что я получил число путем (именно) такой-то и такой-то процедуры»⁹.

Бриджмен отмечает, что исследованием абстракций вообще можно заниматься только на чисто вербальном уровне. На вопросы, что есть истина, время, существование или другие философские абстракции, достаточно ответить, по Бриджмену, что имеются слова, которые мы применяем при таких-то условиях. Но вновь Бриджмен вынужден признать, что вербальный подход не может избавить от серьезных трудностей в понимании мышления, ибо язык не в состоянии точно определить (*specify*) в своих языковых средствах конкретный «референт» для любого слова, но в конце концов мы всегда должны указать этот «референт», и само это указание приобретает значение лишь в контексте бесконечных повторений.

Операциональный анализ Бриджмена уклоняется от вопросов происхождения языка, его объективного содержания, его роли в общественном развитии и т. д.

Законы природы, в понимании Бриджмена, — не что иное, как часть созданной человеком программы операций, то есть продукт творчества человека. Трудно поверить, что это написал такой крупный физик-экспериментатор, в своей научной деятельности постоянно имеющий дело с объективными законами природы, не зависящими ни от программ, ни от сознания человека вообще. С трудом верится также, что этот крупный ученый считает, что будущее не может быть предсказано определенно и единственная возможная позиция — принять его тогда, когда оно придет¹⁰.

Для того чтобы применять операциональный анализ в науке во всей ее широте, Бриджмен считает необходимым различать три уровня операций: 1) в небιологических науках (физика, химия), 2) в науках биологических (от ботаники до психологии), 3) в рассмотрении общественных явлений.

Чем различаются эти уровни? На первом уровне мы

⁹ P. W. Bridgman. *The Way Things Are*. N. Y. 1959, p. 32.

¹⁰ *Ibid.*, p. 69.

не обращаем внимания на исполнителя операций как такового и не говорим, как мы чувствуем или мыслим. Вербально определенные операции имеют интерсубъективный характер, так как определения можно записать, их можно накопить в библиотеке, читать и т. д.

На втором уровне операции теряют свою универсальную применимость, ситуации, если и повторяются, то редко, исходный материал для эксперимента никогда не бывает тем же самым во второй раз. Поэтому инструментом описания мира становятся статистика и вероятность.

На третьем уровне операции, дающие смысл социальным понятиям, в большинстве случаев включают исполнителя операций.

Математику и логику П. Бриджмен считает гораздо менее «объективными», чем физику¹¹, поскольку математика есть «исключительно человеческое» предприятие.

Остановимся на одном из важных аспектов программы операционального анализа научного познания—рассмотрении явлений общественной жизни. Интерес, проявленный П. Бриджменом в его последней книге к социологии, свидетельствует о его стремлении превратить операционализм во всеобщую философскую доктрину.

Все рассмотрение общественных проблем Бриджмен ведет в плане анализа вербальных отношений индивидов между собой, исходя из следующей «глубокомысленной» идеи: необходимо рассмотрение социальных явлений в первом лице. Уже в предисловии к данной книге Бриджмен указывает: «В обсуждении ситуаций в физике и математике употребление 3-го лица естественно и обычно адекватно, но когда рассматриваем ситуации, включающие большой социальный элемент, то представляется особенно желательным употребление 1-го лица, и это даже необходимо...»¹². С точки зрения «первого лица», то есть с позиций буржуазного индивидуалиста, П. Бриджмен приходит к тезису о том, что научное описание общества должно быть получено через полное описание поведения всех его индивидов.

В своей этической концепции П. Бриджмен выдвинул учение о «минимальном коде» поведения индивидов, ос-

¹¹ См. P. W. Bridgman. *The Way Things Are*. N. Y., 1959, p. 78.

¹² Ibid., p. 5.

нова которого состоит в следующем: не требовать от ближнего делать для меня то, чего я не могу возместить ему взамен адекватно. Этот «код» переносится и на отношения индивида к обществу: «нормальный» индивид не захочет взять от общества (то есть от своих ближних) того, за что не может дать равной замены¹³. Поскольку точный возврат полученного мало возможен, индивид постарается отдать больше, чем взял, и такое общество будет развиваться прогрессивно. Таковы скудные и абстрактные социально-этические идеалы Бриджмена. Но абстрактность их скрывает под собой вполне конкретные классовые позиции П. Бриджмена. Он рассматривает основной принцип коммунизма «от каждого по способностям, каждому по потребностям» и утверждает, что такой «код» не является минимальным и что в таком обществе он лично жить не хотел бы. Он пишет: «Вероятно, основная причина, почему мне не нравится общество, в котором потребность является первенствующей, состоит в том, что такое общество не совместимо с уверенностью в себе (?), независимостью и достоинством (??) индивида, которые я ценю выше материального комфорта»¹⁴. Не нравится Бриджмену и требование коммунизма трудиться по способностям. Он пренебрежительно называет коммунистический идеал уравнилельной философией. Но критика Бриджмена бьет мимо цели, ибо он не понял существа основного принципа коммунизма и излагает лишь индивидуалистическую точку зрения буржуа, перепугавшегося, что ему придется жертвовать своим комфортом ради кого-то другого. В своих рассуждениях о коммунизме П. Бриджмен исходит из совершенно ошибочного представления будто бы в условиях коммунизма (и вообще в будущем) применение способностей каждого человека создаст чисто количественно гораздо меньше благ, чем необходимо для удовлетворения его потребностей. Он не желает видеть того, что даже при капитализме общество создает огромные богатства, понять появление которых было бы невозможно, если бы они создавались простым количественным суммированием операций отдельных людей,

¹³ См. P. W. Bridgman. *The Way Things Are*, N. Y., 1959, p. 283.

¹⁴ *Ibid.*, p. 281.

осуществляемых ими порознь, каждым по себе. Понятие общественного характера производства осталось для метафизика Бриджмена совершенно им не осмысленным.

Стоит заметить, что Бриджмен не удовлетворен и некоторыми сторонами жизни американского общества (низкая зарплата учителей, антиинтеллектуальность молодого поколения и др.) и говорит о необходимости изменения его. Но каковы пути этого «изменения»? Вновь Бриджмен предлагает индивидуалистский и крайне абстрактный рецепт: необходимо развивать, по его мнению, операции самоконтроля каждой личности по отношению к себе; это ее морально усовершенствует, а значит, и общество в целом. «Операциональные» лекарства социального исправления могут вызвать только улыбку иронии насчет бесплодного прекраснодушия их автора.

Весь ход рассуждений и выводы, к которым приходит в своей последней книге П. Бриджмен, показывают, что при всем его желании он не смог выбраться из лабиринта субъективно-идеалистического понимания мира. Он обнаружил свое бессилие в разрешении основных проблем теории познания и методологии. Перси Бриджмен не смог ни уяснить для самого себя, ни показать своим читателям, каким же именно способом «существуют вещи». Обращение его к социологическим проблемам лишь еще более обнаружило узость и туманность его исходного понятия «операция» и субъективно-идеалистический характер его эпистемологии.

О НЕОПОЗИТИВИСТСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
ЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НАУКИ

Под неопозитивистской концепцией логического анализа науки мы понимаем концепцию исходных принципов, целей и средств логического анализа науки, выдвинутую логическим позитивизмом¹. Сводя философию к «логике науки», логический позитивизм предпринял попытку решить реальную научную задачу исследования логического строения знания с определенных гносеологических и методологических позиций. Это и позволяет говорить не просто о логическом анализе как научной задаче, но о некоторой философской *концепции* логического анализа науки.

Существенное значение критического исследования этой концепции определяется двумя основными факторами. Во-первых, той ролью, которую концепция логического анализа науки играет в системе философии неопозитивизма. Как известно, неопозитивисты объявили логический анализ языка науки единственной задачей «подлинно научной философии», на создание и разработку которой они претендуют. Ясно, что без критиче-

¹ Термин «неопозитивизм» в данной статье мы употребляем как синоним термина «логический позитивизм», обозначая последним школу современного позитивизма, выросшую на основе «Венского кружка» и известную на американском этапе своего существования (конец 30-х, 40—50-е годы) под самоназванием «логический эмпиризм». Нам кажется нецелесообразным применять термин «неопозитивизм», исторически ассоциируемый в основном с направлением последователей «Венского кружка» для обозначения всей современной позитивистской философии, как, например, сторонников так называемого лингвистического анализа в Англии, как это иногда делается в нашей литературе. В советской философской литературе встречается и иное решение вопроса, когда под логическим позитивизмом, или неопозитивизмом, понимают всю современную позитивистскую философию.

ского разбора способности логического позитивизма к осуществлению выдвинутой им положительной программы любая оценка этого философского направления окажется неполной. Между тем в нашей литературе при критике логического позитивизма этой стороне уделяется недостаточно внимания. Далее, поскольку именно логические позитивисты, заявив в свое время претензию на всеохватывающую реконструкцию «языка науки» средствами математической логики, в наибольшей степени занимались вопросами применения современного логического аппарата для решения методологических задач науки, то опыт неопозитивистской «логики науки» имеет несомненное значение для позитивной разработки проблематики логики и методологии наук. Анализ этого опыта, во-первых, наглядно показывает «тупиковые пути» исследований в этом направлении, а во-вторых, позволяет судить о пределах применимости современного логического аппарата к исследованию методологической проблематики науки, выработать более правильную гносеологическую оценку возможностей этого аппарата с позиций диалектического материализма. Эта проблематика также недостаточно освещена в нашей философской и логической литературе, а между тем она имеет очень большое значение.

То значительное влияние, которое в свое время сумела приобрести неопозитивистская концепция логического анализа науки, следует объяснить прежде всего тем, что она создала видимость широких перспектив для решения очень важных и актуальных задач логики и методологии наук. Усложнение структуры научного знания, увеличение удельного веса математики, потеря в значительной степени наглядности естественнонаучных представлений — все это со всей силой ставило перед наукой вопросы логического и методологического характера. Если раньше вопросы логики и методологии науки привлекали в основном внимание незначительного числа наиболее глубоких, дальновидных и проницательных представителей науки, то в условиях науки XX в. методологическая и логическая «вооруженность» стала практической потребностью для любого серьезного и самостоятельного мыслящего исследователя. Положение в логике и методологии науки 20-х годов не соответствовало, однако, указанным потребностям науки. Для этого периода

характерно резкое падение влияния различных гносеологических школ, идеалистических по своему существу, распространенных в начале XX в. — неокантианства, феноменологии Гуссерля и пр., — претендовавших на выработку целостных концепций природы знания. Фиаско этих школ способствовало в значительной мере росту скептического отношения к традиционной философской проблематике познания (отношение субъекта и объекта и т. д.) и традиционным методам ее исследования. С другой стороны, появившиеся в это время многочисленные эмпирические исследования по анализу методологии и логического строения науки носили крайне фрагментарный характер.

Шумный успех логических позитивистов объяснялся, в частности, тем, что в этой обстановке они сумели предложить некоторую целостную по своим задачам и по характеру лежащей в ее основе теоретико-познавательной концепции программу конкретного логического исследования знания, осуществляемого точными методами математической логики, зарекомендовавшими себя в исследованиях по основаниям математики. Точность и строгость логико-математических методов противопоставлялись при этом логическими позитивистами «туманности» и «неясности» традиционного философского подхода к познанию и аморфности и описательности эмпирического методологического исследования. Это и привлекло симпатии многих ученых к неопозитивистской концепции логического анализа науки.

Задача нашей критики этой концепции заключается в том, чтобы, отнюдь не игнорируя связи неопозитивистских концепций с действительной логико-методологической проблематикой науки, показать, что эта целостная программа логического анализа, о которой было сказано выше, основывалась на неверной, извращающей действительный характер научного знания теоретико-познавательной концепции, а столь рекламированные точные методы математической логики были привлечены для решения заведомо неправильно поставленной теоретико-познавательной задачи. Следует отметить, что выявление в последнее десятилетие несостоятельности неопозитивистской концепции логического анализа науки привело к значительному падению ее авторитета. В настоящее время в зарубежной философско-логической лите-

ратуре очень сильно даёт себя знать критическая по отношению к неопозитивистской концепции логического анализа тенденция. Она характерна для сторонников так называемого лингвистического анализа в Англии — последователей Дж. Мура и позднего Витгенштейна², для ряда европейских логиков, участвующих в журнале *Logique et Analyse*, издаваемом в Брюсселе, и для некоторых американских логиков и философов (Куайн, Пап, Баркер, Паш и др.). Можно даже сказать, что критика исходных принципов неопозитивистской «логики науки» стала в какой-то мере «модой». Тем не менее влияние последней еще довольно сильно, и оно определяется как тем, что зарубежные логики и философы, понимающие ее несостоятельность, не в состоянии выработать какой-то единой и цельной программы, которую можно было бы противопоставить исходным установкам логического позитивизма, так и тем, что критика останавливается на поверхности и не направлена на гносеологическую сущность исходных установок неопозитивистского «анализа»³.

Важнейшим теоретическим источником неопозитивистской концепции логического анализа науки явилось учение Б. Рассела о логическом анализе. Исходя из своей логицистской программы обоснования математики путем сведения ее исходных понятий и положений к понятиям и положениям математической логики, Рассел выдвинул тезис, что все, что вообще можно точно высказать, должно быть выражаемо на языке, грамматикой которого служила бы математическая логика типа системы «*Principia Mathematica*». Одна из основных идей Рассела, лежавших в основе его концепций логического анализа, к которой он пришел в результате исследования парадоксов теории множеств, — это идея несоответствия грамматической формы предложений их подлинной логической форме. Искажение грамматикой и языковой практикой естественных языков подлинной логической структуры мысли приводит, по Расселу, к неточности значения, бессмыслице как крайнему случаю. Отсюда задача логического анализа, как ее понимает Рас-

² См. например: J. O. Urmson. *Philosophical Analysis*. Oxford, 1956; S. Toulmin. *The Uses of Argument*. Cambridge, 1958.

³ См. по этому поводу статью В. Н. Садовского в настоящем сборнике.

сел, — вскрыть реальную логическую структуру выражений, переводя их на «логически совершенный», или «идеальный язык», правила построения которого определялись бы математической логикой. При этом выразимость утверждений в «логически совершенном языке» рассматривается как необходимое условие четкой значимости утверждения.

Как известно, математическая логика «Principia Mathematica» предполагает сводимость каждого предложения к некоторой совокупности элементарных предложений, однозначно определяющих значение истинности данного предложения. Значения же истинности самих элементарных предложений должны быть, очевидно, заданы каким-то внелогическим путем. Это ставит перед рассматриваемой концепцией логического анализа вопрос гносеологического характера. Неопозитивисты «Венского кружка», восприняв в основном через «Логико-философский трактат» Витгенштейна идею логического анализа науки при помощи логической модели знания, основанной на логической системе «Principia Mathematica», решили вопрос о характере элементарных высказываний в духе эмпиризма махистского толка: содержание элементарных предложений они стали толковать как «непосредственно данное» (das Gegebene), а установление истинности последних (и косвенно, в силу свойств применяемого логического аппарата установление истинности любого утверждения) свели к «верификации» путем непосредственного личного восприятия. Расселовская идея логического анализа языка путем выявления его подлинной логической структуры, сочетаясь с позитивистской философией, привела к постановке в «Венском кружке» задачи всеохватывающей реконструкции научного знания с целью выявления его «непосредственно данного» содержания.

В философском, гносеологическом плане, таким образом, логический позитивизм выступает непосредственно наследником махизма и вообще той позитивистской, субъективно-идеалистической линии, которая идет еще от Юма. Логический позитивизм отказывается, однако, от психологистского подхода к познанию, характерного для старого позитивизма, и принимает «логическую ориентацию» — первичность «непосредственно данного» в познании понимается им не в плане *возникновения*,

рассматриваемого как психологический процесс образования ассоциаций или биологический процесс приспособляемости организма к среде, а в плане выявления *логической сводимости* одних знаний к другим, в плане логического анализа «готового» знания. При этом особую роль как направляющее начало логического анализа приобретает принцип познавательного значения высказываний; последним, по мнению логических позитивистов, обладают либо высказывания, истинность или ложность которых в конечном счете может быть установлена непосредственным восприятием,— утверждения с эмпирическим значением («синтетические высказывания»), либо утверждения с формальным значением,— таковыми логические позитивисты считают положения логики и математики («аналитические высказывания»). Первые, согласно неопозитивистам, составляют собственно науку о мире — так называемую «реальную», или «фактуальную», науку. Вторые представляют собой вспомогательный компонент научного знания, цель которого заключается в обеспечении средств преобразования языковых выражений в науке, и составляют так называемую «формальную» науку.

Неопозитивисты соответственно различают негативную и позитивную функции своей программы логического анализа. В качестве негативной функции логического анализа неопозитивисты рассматривают устранение «метафизики», то есть философии, поскольку положения последней, претендуя на роль знаний о действительности, не сводимы к «непосредственно данному». Позитивная же функция, по их утверждению, состоит в исследовании логического строения научного знания, в точном анализе познавательного значения понятий и утверждений науки с целью выявления их «непосредственно данного содержания».

Конечная цель такого исследования, по замыслу неопозитивистов, состояла в реорганизации научного знания в системе «единой науки» (*Einheitswissenschaft*), которая должна была бы давать описание «непосредственно данного» и в которой тем самым стирались бы важные различия между отдельными науками — физикой, биологией, психологией, социологией и т. п. — как по типу содержания понятий, так и по способам их образования.

Первый аспект неопозитивистской концепции логического анализа достаточно основательно раскритикован в нашей философской литературе. Задача состоит теперь в том, чтобы показать провал охарактеризованной выше программы в области конкретного логического исследования науки. Иными словами, следует подвергнуть критике неопозитивистскую концепцию анализа в ее мнимопозитивной функции ⁴.

Реализация программы логического анализа науки, предложенная неопозитивистами, предполагала решение двух задач: 1) выделение в системе знания исходных базисных элементов и терминов, обладающих непосредственно воспринимаемым содержанием; 2) сведение остальных понятий и утверждений к этой эмпирической основе. Рассмотрение итогов тридцатилетних исследований логиков-неопозитивистов в этом направлении свидетельствует о том, что неопозитивисты оказались не способны разрешить обе эти задачи.

Относительно оценки этих итогов необходимо подчеркнуть следующее. Провал попыток осуществления поставленных неопозитивистской концепцией логического анализа задач в том виде, в каком они были сформулированы в период «Венского кружка», выявился столь резко, что сами логические позитивисты, так или иначе, прямо или косвенно, вынуждены были это признать. Однако, как очень верно замечает зарубежный критик главной из разновидностей позитивизма в современной Англии — так называемой лингвистической философии — Э. Геллнер, «существует громадное различие между тем, чтобы представить какой-то пункт как опровержение, или же тем, чтобы представить его как незначительную уступку или даже как новую составную часть доктрины и новое расширение понимания, хотя бы *логически* этот пункт и неизбежно имел силу опровержения» ⁵. Это высказывание Э. Геллнера, которое он относит к критикуемой им «лингвистической философии», вполне примени-

⁴ Речь идет о бесплодии именно специфически позитивистского подхода к логическому анализу с его принципами непосредственно данного, верификации и т. д. Это отнюдь не означает отрицания значения результатов исследований ряда логиков-неопозитивистов в разработке конкретной логической проблематики, результатов, не зависящих по существу от их позитивистских взглядов и в ряде случаев объективно даже приходящих в противоречие с ними.

⁵ E. Gellner. *Words and Things*. London, 1959, pp. 194—195.

мо и к собственно логическому позитивизму. Для современных продолжателей доктрины логического позитивизма как раз характерно стремление создать впечатление, что вносимые ими в свои концепции изменения, обусловливаемые необходимостью каким-то образом устранить явное несоответствие последних действительному характеру научного знания, изменения, логически имеющие силу опровержения исходных принципов, не противоречат будто бы этим принципам, а представляют собой лишь их «развитие», «улучшение». В действительности же эти изменения являются по существу вынужденной реакцией на неявное признание ими несостоятельности исходных принципов своей концепции.

* *

*

Исходное воззрение неопозитивизма на эмпирическую основу знания состояло в том, что эта основа представляет собой «класс таких высказываний, которые выражают результат чистого непосредственного опыта без какого-либо теоретического добавления». Эти высказывания назывались «протокольными предложениями» и первоначально мыслились как не требующие доказательства, как «конечные и не допускающие какого-либо сомнения»⁶. Считалось, что проверка этих высказываний полностью обеспечивается восприятием того непосредственного факта, который они выражают.

Продолжительная дискуссия по проблеме «протокольных предложений»⁷ показала, однако, что в системе знания невозможно выделить утверждения, содержание которых целиком сводилось бы к чувственному восприятию. Получение единичных высказываний о чувственно воспринимаемых ситуациях, которые служили для неопозитивистов прообразом непосредственного опытного знания, не сводится к акту восприятия, хотя последний и является его необходимым условием. Уже

⁶ C. Hempel. The Logical Positivists' Theory of Truth. «Analysis», 1935, v. 2, p. 51.

⁷ См. O. Neurath. Physicalismus. «Scientia», 1931, v. 50; е р о же. Protokollsätze. «Erkenntnis», Bd. III, 1932—1933; M. Schlick. Über das Fundament der Erkenntnis. «Erkenntnis», Bd. IV, 1933; K. Popper. Logik der Forschung. Wien, 1935.

само по себе выражение восприятия в речи привносит в высказывание общие и неличностные значения, что предполагает определенную познавательную деятельность, несводимую к акту восприятия. Рассматривая эмпирические значения, мы должны восстановить связи, лежащие за рамками отдельного индивидуального сознания (общественно-практическая деятельность человека, происхождение языка и мышления в связи с ней и пр.). Неопозитивисты вынуждены были принять, что «к каждому эмпирическому высказыванию может быть присоединена цепь проверочных шагов, в которой нет абсолютно последнего звена»⁸, и что допущение определенных высказываний, установление истинности которых непосредственно предполагает акт восприятия, в качестве базисных всегда содержит момент условности, конвенции.

Не спасает неопозитивистскую концепцию абсолютной основы проверки и отказ от крайне субъективистской интерпретации базисных высказываний в качестве записей непосредственного чувственного опыта индивидуального субъекта, как понимали логические позитивисты «протокольные предложения». Отказ этот был обусловлен тем, что противоречие подобной точки зрения научным требованиям общезначимости и объективности трактовки экспериментальных данных, а также ее солипсистские следствия слишком явно бросались в глаза. С последним обстоятельством был связан переход от так называемого «феноменалистского языка»⁹ к «физикалистскому», или, как впоследствии было уточнено, «вещному языку»¹⁰, что, однако, в связи с понятием «предложений наблюдения», выступающим в «вещном языке» в качестве заместителя понятия «протокольных предложений» «феноменалистского языка», столкнулось с такими же, если не с большими трудностями.

Что касается проблемы сведения знания к эмпирической основе (последняя в разных своих ракурсах выступает как проблема выявления эмпирического содержания знания, критерия эмпири-

⁸ C. Hempel. The Logical Positivists' Theory of Truth. «Analysis». 1935, v. 2, p. 53.

⁹ R. Carnap. Logische Aufbau der Welt. Berlin, 1928.

¹⁰ R. Carnap. Testability and Meaning. «Philosophy of Science», 1936, v. 3; 1937, v. 4.

ческого значения, эмпирической проверки знания), то в этой области неопозитивистская «логика науки» претерпела наиболее значительную эволюцию, обусловленную стремлением как-то примирить свои исходные установки в решении этой проблемы с действительным характером научного знания. Первоначально предполагалось, что каждое понятие должно определяться на основе терминов «непосредственно данного» (так называемая «теория конституирования» мира Р. Карнапа, изложенная им в «Логическом конституировании мира»¹¹), а каждое высказывание эквивалентно конечной совокупности высказываний о «непосредственно данном». Соответственно в качестве критерия познавательного значения высказываний о мире рассматривалась возможность полной верификации, то есть строгого установления истинности предложений на основе эмпирически данного либо непосредственным путем, либо косвенно через сведение того или иного предложения к конечной совокупности непосредственно верифицируемых высказываний, функцией истинности которых это предложение является.

Указанная точка зрения оказалась несостоятельной уже потому, что научные положения имеют характер неограниченной общности и, следовательно, не могут быть эквивалентны конечному классу единичных высказываний. Как средство разрешения этой трудности в неопозитивистской «логике науки» была предложена замена строгой верифицируемости как критерия познавательного значения утверждений о мире принципом частичной верифицируемости (подтверждаемости)¹².

Введение понятия частичной верифицируемости (подтверждаемости) высказываний влечет за собой проблематику точного определения понятия степени подтверждения. Для выработки количественных критериев подтверждения гипотезы логики-неопозитивисты пытаются применять вероятностные методы, развитые математической теорией вероятностей. Это приводит к созданию вероятностной логики, которую логики-неопозитивисты считают современной формой индуктивной логики.

¹¹ R. Carnap. *Logische Aufbau der Welt*.

¹² См. R. Carnap. *Testability and Meaning*. «*Philosophy of Science*», 1936, v. 3; 1937, v. 4; H. Reichenbach. *Experience and Prediction*. Chicago, 1938.

Эта проблематика выходит по существу за рамки неопозитивистской концепции логического анализа науки, и исследования в этом направлении Карнапа, Райхенбаха, Поппера и других логиков-неопозитивистов относятся именно к числу тех конкретных логических исследований, непосредственно не связанных по своему основному содержанию с исходными установками неопозитивизма, о которых мы говорили выше.

Замена принципа верифицируемости принципом подтверждаемости не устраняет, однако, принципиальной несостоятельности вышеуказанной исходной точки зрения логического позитивизма, а именно тезиса о том, что каждое осмысленное утверждение о мире может быть переведено в логическую конструкцию, термины которой относились бы к «непосредственному опыту». Эта концепция «радикального редукционизма» (от лат. *reductio* — сведение), как впоследствии назвал ее Куайн, терпит крах прежде всего потому, что научные понятия, такие, как «электрон», «стоимость», «масса» и пр., лишены чувственно воспринимаемого содержания и не могут, следовательно, быть определены на основе «терминов наблюдения». Это означает, что высказывания теоретического уровня знания, содержащие эти понятия, обладают условиями истинности, принципиально отличными и непосредственно несопоставимыми с высказываниями эмпирического уровня. В настоящее время эта точка зрения в зарубежной логической литературе является общепризнанной: Карнап, выдвинувший в «*Logische Aufbau der Welt*» (1928) редукционистский тезис относительно понятий, вынужден сейчас признать ошибочность своих прежних взглядов¹³. Несостоятельность редукционистских взглядов раннего неопозитивизма получила также признание в работах таких представителей современного «логического эмпиризма», как Фейгль и Гемпель¹⁴.

Отказавшись от принципов сведения всякого элемента научного знания к некоторому множеству элементов,

¹³ См. R. Carnap. *The Methodological Character of Theoretical Concepts*. «Minnesota Studies in the Philosophy of Science», 1956, v 1.

¹⁴ Например, H. Feigl. *Some Major Issues and Developments of the Philosophy of Science of Logical Empiricism*. «Minnesota Studies in the Philosophy of Science», 1956, v. 1; C. Hempel. *The Theoretician's Dilemma*. *Op. cit.*, 1958, v. 2.

непосредственно относимых к эмпирически данному, неопозитивисты вынуждены были принять, что способом логической организации научного знания является гипотетико-дедуктивная система, отдельные элементы которой связаны с эмпирическим уровнем знания непосредственно, а остальные — через посредство первых.

По характеристике Гемпеля, ее «можно... уподобить сложной пространственной сети, где термины представляются узлами, тогда как нити, связывающие последние, соответствуют частью определениям, а частью — исходным и выводным гипотезам, входящим в теорию. Вся система парит, так сказать, над плоскостью наблюдения и скрепляется с ней правилами интерпретации. Они могут рассматриваться как связки, которые не являются частями сети, но соединяют определенные точки последней с определенными точками в плоскости наблюдения. Посредством этих интерпретирующих связей сеть может функционировать как научная теория — от известных данных наблюдения мы можем восходить к некоторым точкам теоретической сети, затем переходить посредством определений и гипотез к иным точкам, из которых другие интерпретирующие связки позволяют спуститься в плоскость наблюдения»¹⁵.

Следует подчеркнуть, что само по себе понятие гипотетико-дедуктивной теории является конкретным понятием методологии науки и независимо от неопозитивизма. Оно было использовано, однако, неопозитивистами в их концепции логического анализа науки после того, как стала очевидной непригодность их «редукционистской модели» организации научного знания. И здесь существенно иное положение, чем было на этапе редукционизма. Тогда как редукционизм представляется специфически позитивистским подходом к строению научного знания, причем в корне неверным подходом, принятие идеи организации научного знания в гипотетико-дедуктивные системы, связанное с признанием несводимости теоретических понятий к эмпирическому уровню, является вынужденным компромиссом неопозитивистской концепции «логики науки» с реальным характером строения научного знания. Представление о гипотетико-дедукти-

¹⁵ C. Hempel. Fundamentals of Concept Formation in Empirical Science. «International Encyclopedia of Unified Science». Chicago, 1952, v. 2, No. 7, p. 37.

вистской организации научного знания, которое разрабатывалось, в частности и логиками-неопозитивистами (хотя, конечно, не только ими), в «послередукционистский» период, то есть с конца 30-х годов, схватывает определенные реальные черты структуры научных теорий. Критика неопозитивистской концепции логического анализа науки должна быть направлена здесь не на сам по себе факт утверждения «гипотетико-дедуктивистской модели» организации знания, как это было в отношении «редукционистской модели», а на выявление тех логических неувязок и противоречий, с которыми сталкивается современный «логический эмпиризм» в своих попытках сочетать признание факта несводимости системно организованного теоретического знания к знанию на уровне наблюдения со своими исходными доктринами — «эмпирической проверяемости», «эмпирического значения», строгой дихотомии аналитических и синтетических утверждений и пр.

Эти принципиальные трудности, возникающие перед логическим позитивизмом на современном «гипотетико-дедуктивистском» этапе осуществления выдвинутой им программы логического анализа, можно резюмировать в следующих пунктах:

1. Современный логический позитивизм не в состоянии дать удовлетворительного объяснения «надэмпирического значения» теоретических понятий. Наиболее распространенная в свое время среди неопозитивистов точка зрения на этот счет заключалась в том, что теоретические понятия — это лишь полезные формальные конструкции, сокращающие схемы для описания сложных связей между наблюдаемыми признаками. Подобная, по существу номиналистическая, точка зрения сталкивается, во-первых, с такого рода трудностью: если теоретические понятия служат той цели, которую приписывает им данная точка зрения, то есть устанавливают связи между наблюдаемыми явлениями, то они могут быть устранены, поскольку любая цепь законов и «правил соответствия» теоретического и эмпирического знания, устанавливающих такую связь, может быть замещена законом, который связывает наблюдаемые явления непосредственно. Итак, если теоретические понятия служат цели, приписываемой им вышеуказанной

точкой зрения, они не являются необходимыми. Но если они не служат этой цели, не связывают непосредственно наблюдаемые характеристики, то, с данной точки зрения, они тем более не нужны¹⁶.

Во-вторых, если последовательно придерживаться взгляда, что теоретические термины и составленные из них формулы являются лишь чисто формальным средством, облегчающим вывод «предложений наблюдения», то, как иронически замечает американский логик Баркер, манипулирование формулами, которое ученый может осуществлять для того, чтобы получить наблюдаемое предвидение, по существу не отличается в логическом отношении от заклинаний, которые произносит колдун перед тем как сделать предсказание. Наука, указывает Баркер, «становится тогда скорее искусством, чем наукой, ее теории могут быть элегантными или неэlegantными, удобными или бесполезными, но не истинными или ложными»¹⁷. По существу это чисто прагматистский взгляд на науку, своеобразно сочетаемый с ее формалистической синтаксической интерпретацией.

Существует, правда, и другая, не столь явно одиозная, и надо сказать, более распространенная версия этой концепции, в соответствии с которой теоретические термины получают все-таки определенное косвенное эмпирическое значение через логические связи с «предикатами наблюдения». Поскольку, однако, при этом признается, что эта эмпирическая интерпретация — лишь *частичная* интерпретация, то получается, что основные познавательные функции теоретического термина, раскрываемые через его связи в теоретической системе, остаются за пределами интерпретации, и тогда мы действительно оказываемся перед загадкой, как справедливо отмечает Баркер в своей критике этой точки зрения, каким это образом из конфигурации значков можно вывести эмпирически проверяемую информацию о мире.

¹⁶ Эту внутреннюю противоречивость точки зрения, по которой теоретические понятия суть лишь чисто формальное средство упорядочения непосредственно воспринимаемых характеристик, Гемпель называет «парадоксом теоретизирования» (С. Hempel. *The Theoretician's Dilemma*. «Minnesota Studies in the Philosophy of Science», 1958, v. 2).

¹⁷ S. F. Barker. *Induction and Hypothesis*. N. Y., 1957, p. 143.

Явная несостоятельность охарактеризованной выше точки зрения заставляет логических позитивистов все более и более пересматривать свои взгляды. Фейгль, например, противопоставляет этой точке зрения, которую он называет «синтаксическим позитивизмом», концепцию так называемого «семантического реализма»¹⁸. Фейгль указывает, что необходимо различать редукционистское значение «значения», то есть эмпирически воспринимаемые условия истинности, выявление которых он называет «эпистемической редукцией», и другое, более согласующееся со здравым смыслом и более широкое значение «значения» как «фактического отнесения». Последнее, основывающееся на семантическом отношении обозначения, не обязательно предполагает сводимость значения высказывания к «непосредственно данным условиям истинности», на котором настаивали логические позитивисты в период «Венского кружка». По Фейглю, теоретические утверждения, если их брать в семантическом плане, имеют «фактическое отнесение», но к ним не применима «эпистемическая редукция».

«Семантический реализм» Фейгля представляет собой несомненную уступку материалистическому взгляду на содержание научных понятий и законов. Вместе с тем Фейгль отрешивается, как он выражается, от «трансцендентальной метафизики» материализма. Близких к позиции Г. Фейгля взглядов придерживается ныне, как он сам на это указывает, Р. Карнап, который признал практическую целесообразность принятия языков, выражающих абстрактные сущности, но считает «метафизическим» и, следовательно, бессмысленным *теоретический* вопрос о реальном существовании «абстрактных сущностей»¹⁹.

Концепция «семантического реализма» Фейгля не дает, однако, каких-либо ощутимых преимуществ для решения вопроса о «надэмпирическом значении» теоретических понятий в той форме, в какой его ставят логические позитивисты,— в связи с принципом эмпирической проверяемости теоретического знания. На это указывает Гемпель в своей критике концепции «семан-

¹⁸ См. H. Feigl. Existential Hypothesis. «Philosophy of Science», 1950, p. 17.

¹⁹ См. Р. Карнап. Значение и необходимость. Приложение А. Эмпиризм, семантика и онтология. ИЛ, М., 1958.

тического реализма»²⁰. Что собственно означает фраза «фактическое отнесение»? — спрашивает Гемпель. Это не просто синоним термина «обозначаемое» в техническом смысле современной семантики, поскольку, как сам Фейгль указывает, наличие «обозначаемого» для термина «t» в языке «L» зависит лишь от того, возможно ли перевести «t» в метаязык, в котором рассматривались бы «референты» выражения L. Так, при обсуждении семантики английского языка в русском как метаязыке мы можем сказать, что обозначаемое (десигнатум) термина «god» есть «бог». Но вряд ли из этого можно сделать вывод о существовании бога. Очевидно, продолжает Гемпель, к «фактическому отнесению» должны предъявляться какие-то дополнительные требования, и Фейгль в качестве таких требований выдвигает связи терминов с эмпирической основой. Но это возвращает нас, замечает Гемпель, к исходной проблеме — связи «надэмпирического значения» с эмпирической основой — и не представляет собой какого-то прогресса по сравнению с раскритикованной точкой зрения «синтаксического позитивизма».

Сам Гемпель при этом утверждает, что «надэмпирическое значение» раскрывается в логических связях, в «способе употребления» утверждения. Но поскольку логические связи высказываний, взятые в семантическом плане, представляют собой отношения высказываний по условиям истинности, то такое понимание опять-таки неизбежно возвращает к исходному вопросу — что же представляет собой «надэмпирическое значение», не раскрываемое через эмпирические условия истинности?

2. Согласование теоретических систем с эмпирическим значением не может рассматриваться как непосредственная и безоговорочная проверка теоретических положений «эмпирической очевидностью».

Суть идеи частичной эмпирической проверяемости, как известно, заключается в том, что может быть получена некоторая непосредственная эмпирическая информация, которая составляет часть информации, сообщаемой проверяемым высказыванием. В логическом плане

²⁰ См. C. Hempel. A Note on Semantic Realism. «Philosophy of Science», 1950, v. 17, No. 2, pp. 169—173.

это означает возможность дедукции из высказывания эмпирически проверяемого следствия. При этом наблюдаемые ситуации, подтверждающие проверяемое высказывание, будут единичными примерами некоторой общей ситуации, утверждаемой в этом высказывании. Для теоретических положений последнее, очевидно, не может иметь места, так как сообщаемая ими информация не носит непосредственно эмпирического характера. Однако когда логики-неопозитивисты пытаются применить к теоретическим положениям принцип подтверждаемости, то они прилагают к ним вышеуказанную логическую схему подтверждения — выводимость из утверждения эмпирически проверяемого следствия. С этой точки зрения теоретическое положение считается подтверждаемым, если в конъюнкции с некоторыми «предложениями наблюдения» мы можем дедуктивно вывести другие «предложения наблюдения», то есть процесс подтверждения основан на выводе:

$$(1) E' \cdot T \rightarrow E'',$$

где E' — имеющееся эмпирическое знание, T — теоретическая гипотеза, а E'' — выводное эмпирическое знание, подлежащее проверке путем непосредственного наблюдения.

Но поскольку эмпирическое знание, выраженное в «предикатах наблюдения», не может непосредственно связываться с теоретическим знанием, в составе которого нет «предикатов наблюдения», вышеуказанный процесс выведения должен включать также особые знания — назовем их «интерпретативными предложениями», пользуясь термином Гемпеля, — которые устанавливают переходы между эмпирическим и теоретическим знанием. Схема (1) должна быть поэтому конкретизирована:

$$E' \cdot I' \cdot T \cdot I'' \rightarrow E'',$$

где I' и I'' — общие высказывания, включающие, с одной стороны, «предикаты наблюдения», входящие соответственно в E' и E'' , а с другой стороны — «теоретические термины», входящие в T . I' и I'' , таким образом, не являются непосредственно эмпирическим знанием и не могут быть получены посредством наблюдения. Их функция состоит именно в том, чтобы указать *переход*

от эмпирически данного к теоретическому знанию, лишенному непосредственно чувственного коррелята. Этот переход нельзя эмпирически обосновать при помощи *индукции*, ибо традиционная неполная индукция сводится к комбинированию единичных высказываний с непосредственно наблюдаемым содержанием и экстраполяции заключенного в них содержания на не наблюдавшиеся дотоле случаи. Что же касается бэконо-миллевской индукции, то она устанавливает причинные зависимости также между эмпирически данными явлениями — и та и другая, таким образом, не могут объяснить процессы перехода к знанию, лишенному чувственного коррелята. Из неспособности индукции, традиционно рассматриваемой как логический метод получения общего знания, объяснить действительные процессы формирования теоретического знания логики — неопозитивисты делают вывод о том, что эти процессы вообще не подлежат логическому контролю ²¹.

«Интерпретативные предложения», далее, не могут быть приняты конвенционально, как соглашения о значении теоретических терминов, как аналитические предложения, поскольку теоретические термины, входящие в них, имеют уже значение помимо той связи с «предикатами наблюдения», которая устанавливается данным «интерпретативным предложением», — это значение раскрывается и через другие «интерпретативные предложения», и через связи с остальными теоретическими терминами ²².

Таким образом, «интерпретативные предложения», так же как и теоретические положения, принимаются как гипотезы и, следовательно, в равной мере подлежат эмпирическому подтверждению. Но последнее осуществляется в рамках схемы (2). Получается, таким образом, что один и тот же процесс вывода эмпирически подтверждаемого следствия должен служить средством

²¹ Об этой точке зрения см.: В. С. Швырев. Критика неопозитивистской концепции индуктивной логики. «Вопросы философии», 1961, № 3.

²² По этой причине, в частности, к «интерпретативным предложениям» не может быть применен метод «постулатов значений» Карнапа, предусматривающий установление связи терминов в семантической системе на основе соглашения. На это специально указывает Гемпель (C. Hempel. H. The logical appraisal of operationism. «Scientific Monthly», 1954, v. 79, No. 4).

подтверждения и теоретической гипотезы, и тех предложений, которые принимаются нами для перехода от эмпирических данных к теоретическим гипотезам. Как показано Гемпелем²³, это делает круговым определение понятия подтверждения гипотезы, основанное на возможности дедукции с ее помощью новых «предложений наблюдения», поскольку рассуждение, которое ведет от имеющихся данных наблюдения к предвидению новых, в действительности включает кроме дедуктивных выводов, как выражается Гемпель, «квазииндукцию» — процессы принятия промежуточных между эмпирией и теорией утверждений,— а определение «квазииндукции» само предполагает понятие подтверждения.

Все предыдущее рассмотрение велось относительно *изолированной* теоретической гипотезы. Вряд ли, однако, надо специально доказывать, что рассмотрение гипотезы в системе может только усложнить дело, но никак не устранил вышеуказанных трудностей.

Можно, конечно, предположить, что подтверждение следует относить не к отдельной гипотезе, а к совокупности гипотез, участвующих в выводе, ко всей той части теоретической системы, включая и «интерпретативные предложения», которая прямо или косвенно используется в выводе; поскольку, однако, любое теоретическое положение так или иначе связано со всеми другими положениями теории, то последовательное развитие этого взгляда ведет в конечном счете ко мнению, что речь должна идти о подтверждении теоретической системы в целом, как говорит Баркер, например «о подтверждении всей массы трансцендентальных гипотез всей массой наблюдаемой очевидности»²⁴. Эта точка зрения, однако, отрицает возможность *раздельно* подтверждения гипотез, между тем цель методологии науки — распутать по возможности клубок логических зависимостей в теоретической системе, рассмотреть логические связи одних положений независимо от других, выявить, что изменится в общей теоретической схеме, если отбросить или изменить то или иное положение.

Трудности выработки схемы процесса подтверждения теоретических гипотез обуславливаются, на наш

²³ О методе «постулатов значений» см. далее в связи с критической дихотомией аналитических и синтетических предложений.

²⁴ S. F. Barker. Induction and Hypothesis, p. 126.

взгляд, тем, что процесс применения теоретических гипотез для вывода «предложений наблюдения» по существу не может быть интерпретирован как «подтверждение» в том единственно точном смысле этого понятия, которое имеется в виду, когда содержание вывода пересекается с содержанием посылок. В случае если общая гипотеза H относится к эмпирически данной ситуации, схема $E' \cdot H \rightarrow E''$ действительно может служить основанием подтверждения, поскольку информация $E' \cdot E''$ является частью информации H . В случае же $E' \cdot I' \cdot T \cdot I'' \rightarrow E''$, T не включает информации E' и E'' , а вместе с I' и I'' служит определенным средством связи E' и E'' . Наличие E' и E'' не подтверждает $I' \cdot T \cdot I''$ еще и потому, что это не единственно возможные способы «увязывания» E' и E'' . Всегда возможны иные теоретические способы объяснения фактов. Именно благодаря этому соответствие теории каким-то частным эмпирическим ситуациям отнюдь не является еще критерием ее истинности. Итак, возможность успешного вывода знаний об одних эмпирических данных на основе знания других эмпирических данных при помощи понятийного аппарата теории не следует рассматривать как проверку теории в том смысле, что информация, включаемая в теорию, частично совпадает с эмпирически данной информацией. Это качественно различные виды знания, и переходы между ними не могут быть поняты в формальнологическом плане использования «готового» знания. Можно, конечно, говорить о проверке теории фактами, о ее подтверждении и т. д. Но за этими словами будет скрываться другой смысл, чем вкладывается в интуитивное представление о подтверждении как о получении эмпирическим путем такой информации, которая составляет часть информации, утверждаемой в общем суждении. Применительно к логическим связям теории и эмпирических данных правильнее и целесообразнее говорить скорее о *согласовании* теории с эмпирией, чем о «проверке» последней первой.

3. Признание несводимости теоретического уровня знания к эмпирическому создает для современного логического позитивизма неразрешимые трудности при выработке точного критерия познавательного значения утверждений о

действительности. Таким критерием после крушения принципа верифицируемости (строгой или частичной), предполагающего концепцию редукционизма, для логических позитивистов являлась выводимость из системы высказываний эмпирически проверяемого следствия. Поскольку, однако, как было показано выше, при таком выводе содержание заключения может и не пересекаться с содержанием каждой посылки (если такое пересечение даже и имеет место, то выводная эмпирическая информация может и не относиться ко всему содержанию посылки), постольку всегда возможно присутствие в системе посылок некоторого «метафизического» компонента. Эту возможность не исключают ни различные варианты критерия, сформулированного Айером²⁵, ни критерий Карнапа, предложенный им в статье «Методологический характер теоретических понятий»²⁶.

Таким образом, критерий познавательного значения, основанный на отождествлении последнего с эмпирическим значением, становится либо слишком узким, либо слишком широким. Если берется эмпирическое значение в буквальном смысле, как выражение эмпирически данного, то он слишком узок, поскольку лишает познавательной значимости теоретические утверждения; если же эмпирическая значимость связывается с возможностью вывода эмпирических следствий, то он слишком широк, ибо приписывает познавательное значение и ненаучным, мистическим утверждениям. (Ведь под «метафизикой» в неопозитивистском смысле можно понимать не только научные философские утверждения, но и действительно мистические, ненаучные рассуждения.)

Принципиальные трудности выработки критерия эмпирического значения заставили такого неопозитивиста, как Гемпель, отказаться от этой задачи и привели его к выводу, что можно ставить вопрос лишь о степени эмпи-

²⁵ См. A. Ayer. *Language, Truth and Logic*. I ed. London, 1936; 2 ed. London, 1946; O' Connor. *Some Consequences of pr. Ayer's Verification Principle*. «*Analysis*», 1950, v. 10; A. Church. *Review of Ayer's Language, Truth and Logic*; «*Journal of Symbolic Logic*», 1949, v. 14, No. 1.

²⁶ R. Carnap. *The Methodological Character of Theoretical Concepts*. «*Minnesota Studies in the Philosophy of Science*», 1956, v. I. Критику см. в кн.: S. F. Barker. *Induction and Hypothesis*. N. Y., 1957. См. также рецензию на кн. Баркера в «*Philosophical Review*», 1959, v. 68, No. 2.

рической значимости теоретической системы, причем подтверждаемость теории эмпирической очевидностью выступает лишь как один из факторов оценки этой степени²⁷

4. Выделение теоретического уровня знания не дает возможности классифицировать высказывания с теоретическими понятиями в рамках дихотомии аналитических и синтетических высказываний в соответствии с тем пониманием этой дихотомии, которое характерно для логического позитивизма.

Специфика неопозитивистского решения традиционной, идущей еще от Лейбница и Канта проблемы различения аналитических и синтетических высказываний заключалась в том, что класс синтетических высказываний, то есть утверждений, расширяющих информацию о мире, отождествлялся с классом высказываний, получаемых при помощи эмпирического наблюдения. Согласно этому пониманию всякая связь терминов в осмысленном высказывании должна устанавливаться в конечном счете либо на основе эмпирического наблюдения (синтетические высказывания), либо путем логического анализа терминов, не требующего ознакомления с какими-то внеязыковыми фактами (аналитические высказывания). Как же с этой точки зрения обстоит дело с высказываниями, в которые входят теоретические понятия? Их истинность не может ведь устанавливаться только на основе эмпирического наблюдения. С другой стороны, эти высказывания не могут быть при помощи логических операций над терминами приведены к виду «законов логики». Это синтетические высказывания в том смысле, что они расширяют нашу информацию о мире, но эта информация не сводится к описанию «непосредственного данного», и, следовательно, с точки зрения последовательного позитивизма они не могут квалифицироваться как синтетические. Защищать идею синтетичности научных утверждений и в то же время признавать их «сверхэмпирическое значение», как это

²⁷ См. C. Hempel. The Concept of Cognitive Significance: a Reconsideration. «Proceedings of American Academy of Arts and Science», 1951, v. 80, No. 1.

делает современный «логический эмпирист» Фейгль²⁸, значит впадать в противоречие с исходными установками логического позитивизма или не придавать последним обязывающего значения.

Резкую критику неопозитивистской дихотомии аналитических и синтетических высказываний применительно к естественнонаучному знанию дал недавно умерший американский философ А. Пап, который отмечал, что в научном исследовании процесс анализа понятий и определения их, что должно иметь своим результатом аналитическую истину, неразрывно сочетается с процессом эмпирического исследования и фиксации новых данных в синтетических предложениях. Научные положения, указывает А. Пап, обладают двойной функцией: они, с одной стороны, определяют значение входящих в них терминов (в этом смысле они аналитичны), с другой стороны, вместе с «правилами соответствия» служат для вывода эмпирически проверяемых следствий (в этом смысле они синтетичны). Поэтому «бесполезно стараться реконструировать научную теорию дуалистически, как систему положений, некоторые из которых аналитичны, а некоторые имеют фактическое содержание»²⁹. Пап считает, что постулаты естественнонаучной теории, которые выступают как «неявные определения» по отношению к содержащимся в них первичным терминам теории, являются «аналитическими в широком смысле слова», то есть «истинными посредством их значения». Он выдвигает тезис, что «случайные высказывания» естественных наук превращаются в процессе образования научных понятий в «неявные определения» содержащихся в них терминов и тем самым становятся аналитическими истинами в широком смысле слова.

Несостоятельность дихотомии аналитических и синтетических высказываний применительно к научно-теоретическому знанию признает и логический позитивист Гемпель, который занимает очень близкую к взглядам А. Папа в этом вопросе позицию³⁰. Критика неопозити-

²⁸ См. H. Feigl. Some Major Issues and the Developments of the Philosophy of Science of Logical Empiricism. «Minnesota Studies in the Philosophy of Science», 1956, v. I.

²⁹ A. Pap. Semantics and Necessary Truth. N. Y., 1958, p. 321.

³⁰ См. C. Hempel. A Logical Appraisal of Operationism. «The scientific monthly», 1959, v. 79, No. 4.

вистской дихотомии аналитических и синтетических утверждений имеет место также в работах американского логика У. Куайна, который подходит к проблеме с несколько иной точки зрения, чем Пап и Гемпель. Куайн основывает свою критику на отсутствии точных логических критериев аналитичности как возможности определения истинности посредством анализа значения входящих в высказывание терминов. Отправляясь от этого, он приходит, однако, к выводу, близкому к точке зрения Папа и Гемпеля, что в науке невозможно строго разграничить формальный (лингвистический) и фактический (эмпирический) компоненты³¹.

Непосредственным ответом на критику Куайна является понятие «постулатов значений» Карнапа. Это понятие предлагается Карнапом как уточнение расплывчатого понятия «аналитичности», критикуемого Куайном. Оно действительно дает такое уточнение для искусственных семантических систем. Поскольку, однако, «постулаты значений», устанавливающие соглашение о связи терминов в семантической системе, являются логически истинными предложениями и тем самым, по определению, не сообщают информации о фактах, они не могут быть применены для выражения «неявных определений» первичных теоретических терминов, постулатов теорий, которые имеют информативный характер и используются для вывода эмпирически проверяемых следствий. Таким образом, введение понятия «постулата значений» не устраняет оснований критики дихотомии аналитических и синтетических высказываний со стороны Папа и Гемпеля.

5. Неопозитивисты оказываются не в состоянии провести в жизнь свою программу унификации науки.

Эта программа, выдвинутая еще в период «Венского кружка», первоначально основывалась на постулировании возможности сведения всего знания о мире к «непосредственно данному», что предусматривало определение любого научного понятия на основе предикатов так называемого феноменалистического языка. Впоследствии, в связи с изменением взглядов логических позитивистов на характер исходного знания и заменой «фено-

³¹ См. W. v. O. Quine. Two Dogmas of Empiricism. «Philosophical Review», 1951, v. 60, No. 1.

меналистического языка» в качестве «единого языка науки» так называемым «вещным» языком³², постулат сводимости понятий к предикатам феноменалистического языка был заменен постулатом сводимости к предикатам наблюдения «вещного» языка. Именно эта концепция «унификации научного знания» характерна для логического позитивизма начиная с середины 30-х годов, и именно она послужила теоретической основой для деятельности по созданию «унифицированной науки», которая нашла свое выражение в публикации серии «Энциклопедия унифицированной науки»³³. Провал редуccionизма и несводимость теоретических понятий к «предикатам наблюдения» свидетельствует, однако, о качественном своеобразии содержания понятий тех или иных наук и о невозможности унификации знания на феноменалистической основе, которую предполагали осуществить логические позитивисты. В настоящее время «логический эмпиризм» фактически отказался от широковещательных программ разработки «единой науки», а движение «унифицированного знания» умерло незаметной, тихой смертью без некрологов и извещения о времени похорон.

* * *

✱

Рассмотрение тридцатилетней эволюции неопозитивистской «логики науки» и тех итогов, к которым она в результате этой эволюции пришла, убедительно свидетельствует о несостоятельности неопозитивистской концепции логического анализа науки. Несостоятельность эта определяется неверным пониманием целей и задач логического анализа, что в свою очередь обусловлено ложностью исходных гносеологических, философских установок логического позитивизма. Выдвинув принцип «непосредственно данного» и считая «непосредственное эмпирическое знание» единственным подлинным знанием мира, неопозитивизм усматривает конечную гносеологическую цель логического анализа в выявлении чув-

³² См. R. Carnap. *Testability and Meaning*. «Philosophy of Science», 1936—1937.

³³ R. Carnap. *Logical Foundations of Unified Science*. «International Encyclopedia of Unified Science», v. I. Chicago, 1938.

ственно данного содержания понятий и высказываний науки. Впоследствии, ввиду очевидной несостоятельности этой программы, неопозитивисты принимают ослабленный вариант этой концепции и говорят лишь о частичной эмпирической интерпретации теоретического знания, но так или иначе, в том и другом случае, целью логического анализа оказывается *обоснование* «верхних этажей» знания посредством сведения (полного или частичного) к некоторому исходному знанию, истинность которого предполагается заданной, с достаточной степенью уверенности путем эмпирического наблюдения. Подобная установка обречена на неудачу, во-первых, потому, что не существует какого-то «чистого» эмпирического знания, истинность которого непосредственно усматривалась бы познающим субъектом и с принятия к сведению которого он начинал бы рациональное познание; во-вторых, потому, что «условия истинности» знания, типы его содержания качественно различны и не сводимы друг к другу.

Будучи вынуждены отказаться от редукционизма и признать несводимость теоретических понятий к «предикатам наблюдения», логические позитивисты оказываются перед неразрешимой проблемой установления связи между «теоретическим» и «эмпирическим» знанием формальнологическими методами, предполагающими сопоставимость условий истинности знаний, тогда как само выделение «теоретического уровня» основано на несводимости его условий истинности к эмпирическим. Все вышеотмеченные принципиальные трудности в связи с «теоретическими понятиями», с которыми сталкивается современный логический позитивизм, как нетрудно убедиться, связаны именно с невозможностью сведения условий истинности содержания теоретического знания к базисному эмпирическому знанию. Несомненно, что логическое знание можно и должно представить как некоторую иерархию уровней, различающихся по степени опосредствования их отношения к действительности. Высшие уровни в этой иерархии, с одной стороны, качественно своеобразны по сравнению с низшими, что обнаруживается в неоднородности условий истинности высказываний, принадлежащих к этим уровням, а, с другой стороны, высшие уровни определяются через низшие в том смысле, что низшие первичны по отноше-

нию к высшим в процессе развития познания. Неопозитивисты не могут согласовать качественное своеобразие высших уровней знания с их зависимостью от низших уровней потому, что отношения между уровнями понимаются ими лишь в формальнологическом плане, как отношения между готовыми знаниями. Такая постановка вопроса, конечно, прежде всего очень сужает ту область методологической проблематики научного мышления, которая делается объектом исследования,— проблема выявления логического механизма познающего мышления, не ограничивающегося применением и комбинаторикой готовых абстракций, а направленного на выявление нового мысленного содержания, всегда представляла и представляет важнейшее значение для науки. Но дело не сводится к этому — отношения самого готового знания, роль и значение научных понятий, гносеологическое существо процессов согласования теоретического знания с эмпирическим и пр. не могут быть выяснены без исследования процессов развития знания, его генетических связей. Так называемые теоретические понятия, то есть абстракции, лишенные чувственных коррелятов, могут быть поняты в их отношении к «низшим этапам» знания лишь как результат активной деятельности мышления по переработке последних, направленной на воспроизведение объекта в его глубинных связях.

Несостоятельность неопозитивистской логики науки, абсолютизирующей установку на исследование связей знания с заданным понятийным составом, еще раз свидетельствует, таким образом, о необходимости разработки теории знания, делающей предметом своего исследования процессы образования научных абстракций. Теория, рассматривающая эти процессы, должна исходить, во-первых, из того, что механизм этих процессов обуславливается типом вычленяемого в абстракциях объективного содержания, во-вторых, она должна рассматривать знание генетически, отправляясь от сопоставления знаний об одном и том же предмете на разных этапах его истории.

КРИЗИС НЕОПОЗИТИВИСТСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
«ЛОГИКИ НАУКИ» И АНТИПОЗИТИВИСТСКИЕ ТЕЧЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛОГИКЕ И МЕТОДОЛОГИИ
НАУКИ

В первой половине XX в. развитие зарубежной философии испытало на себе большое влияние неопозитивизма. Эта философская система впитала в себя, с одной стороны, результаты эволюции английского эмпиризма и позитивизма конца XIX — начала XX в., а с другой стороны, бурное развитие математической логики и оснований математики в трудах Дж. Буля, А. де Моргана, Ч. Пирса, Э. Шрёдера, Г. Фреге, Дж. Пеано, М. Паша, Д. Гильберта, А. Пуанкаре, Л. Кутюра, Б. Рассела и А. Уайтхеда. Провозглашенный Дж. Муром и Б. Расселом в начале XX в. «метод логического анализа» явился одной из основных идей неопозитивизма. Последний воспринял также многие положения «логического атомизма», наиболее четко сформулированного в «Логико-философском трактате» Л. Витгенштейна (1921). Однако официальное рождение неопозитивистской философии относится к началу деятельности сгруппировавшегося вокруг М. Шлика «Венского кружка» и о нем было объявлено в сформулированной в 1929 г. Р. Карнапом, О. Ганом и О. Нейратом в документе «Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis» программе этого объединения.

Выступив с общей теоретической концепцией, основанной на принципах эмпиризма и «строгого» логического анализа, и ведя беспощадную борьбу с метафизическими спекуляциями типа утверждения М. Хайдеггера: «das Nichts nichtet», неопозитивизм, или, как нередко его иначе называют, логический эмпиризм, смог сравнительно быстро завоевать большие симпатии как в среде философов-профессионалов, так и среди кругов зарубежной научной интеллигенции. Ежегодно устраиваемые в

30-х годах международные конгрессы неопозитивистов — в Париже (1935) и Копенгагене (1936), вновь в Париже (1937), в Кембридже (1938) и США (1939), а также участие неопозитивистов в конгрессах по специальным наукам и деятельность руководимого Р. Карнапом и Г. Райхенбахом журнала «Erkenntnis» (1930—1939) существенно способствовали росту авторитета неопозитивизма. Работа «Венского кружка», прерванная разразившейся второй мировой войной, была продолжена главным образом в США, а также в Англии, скандинавских странах, во Франции и т. д.

Ничто как будто не предвещало бури. Марксистская критика не оказывала воздействия на неопозитивизм, а критические замечания Б. Рассела, Дж. Вайнберга, И. Петцеля и др. фактически не принимались в расчет неопозитивистами. Еще в 1950 г. В. Крафт писал: «Неопозитивизм стоит на переднем плане в современной философии, особенно в англо-саксонских и скандинавских странах»¹.

Однако внутренние противоречия и серьезные несовершенства неопозитивистской программы и характер ее реализации постепенно привели логической эмпиризм к кризисному состоянию. Одним из важнейших внешних проявлений кризиса явилась опубликованная в 1951 г. статья У. Куайна «Две догмы эмпиризма»², содержащая резкую критику защищаемой логическими эмпиристами дихотомии аналитических и синтетических высказываний и принципа редукционизма (исчерпывающего сведения всех предложений эмпирических наук к протокольным). Эта статья ознаменовала собой начало полосы резких нападков на неопозитивизм как со стороны ряда его бывших сторонников, так и со стороны многих зарубежных философов, стоящих вне неопозитивистского движения.

Со времени опубликования статьи У. Куайна прошло всего десять лет. Однако за этот сравнительно небольшой срок в современной зарубежной логике и методологии науки произошли серьезные изменения. Выявленные противоречия неопозитивистской «логики науки» оказались столь существенными, что о кризисе логиче-

¹ V. Kraft. The Vienna Circle. N. Y., 1953, p. VII.

² W. v. O. Quine. Two Dogmas of Empiricism. «Philosophical Review», 1951, v. 60.

ского эмпиризма заговорили даже бывшие его видные сторонники³. Исчезла гегемония неопозитивизма за рубежом в философском истолковании логики. Его место заняли многочисленные направления логико-методологического анализа.

Создавшееся в современной зарубежной логике и методологии науки положение требует глубокого марксистского анализа. В данной статье мы попытаемся рассмотреть некоторые особенности этого положения, уделяя основное внимание анализу антипозитивистских тенденций в зарубежной логико-методологической литературе.

При этом необходимо иметь в виду следующее. Неопозитивизм нельзя рассматривать как некоторое направление в современной формальной логике (совокупности логико-математических исчислений) или ее определенную ветвь. То, что характерно для неопозитивизма прежде всего, — это особое философское истолкование математической логики и специфическая попытка построения «прикладной логики», методологии науки («логики науки»). Именно эта неопозитивистская доктрина была господствующей за рубежом долгое время, и именно она в настоящее время переживает кризис. Предлагаемые за рубежом — в явной или неявной форме — попытки ее замены и будут предметом нашего рассмотрения. Что же касается развития собственно математической логики (анализ существующих исчислений, построение новых и т. д.), то оно, как известно, началось задолго до появления логического эмпиризма, какого-либо существенного влияния на него неопозитивизм не оказал, и относительно него было бы бессмысленно говорить о каком-либо неопозитивистском этапе или периоде. Поэтому существующее состояние математической логики за рубежом нами затрагиваться совершенно не будет.

* *
*

Неопозитивистская концепция логического анализа науки, возникшая под влиянием «логического атомизма» Б. Рассела и Л. Витгенштейна и логицистского и

³ См., например., «Logical Positivism», ed. by A. Ayer. Illinois, 1959, p. 7.

формалистического направлений в обосновании математики, ставила своей целью выработать целостную теоретико-познавательную картину логического строения научного знания на основе использования аппарата математической логики. С точки зрения логических позитивистов, научное знание может рассматриваться как система связанных между собой по значениям истинности высказываний, причем значение исходных высказываний («протокольных предложений», «базисных высказываний») устанавливается внелогическим путем на основе показаний чувственного опыта (так называемая «чистая эмпирическая констатация»). В соответствии с этим основное внимание логические эмпиристы направили, во-первых, на анализ чувственного опыта, придающего внелогическое значение исходным понятиям и предложениям научной системы, и, во-вторых, на попытки изображения научного знания в виде системы предложений, связанных по условиям истинности.

Однако в ходе развития программы «логики науки» выяснилась невозможность ее осуществления.

Ключ для понимания переживаемого современным логическим позитивизмом кризиса лежит в особенностях его эволюции. Наиболее характерной чертой тридцатилетней истории неопозитивизма является постоянный, непрекращающийся вплоть до настоящего времени отк аз от выдвинутых первоначально принципов. Этот процесс захватил буквально все стороны программы логического эмпиризма, хотя и с разной степенью глубины.

Провозглашенная в начале 30-х годов «ликвидация» метафизики на деле оказалась мнимой. В связи с трудностями, встреченными неопозитивистами при разработке проблемы критерия эмпирического значения, они были вынуждены постоянно вновь обращаться к этому вопросу и в конечном счете признали свое «устранение метафизики» несостоятельным⁴.

Серьезным модификациям были подвергнуты все позитивные утверждения неопозитивистов: понимание «логики науки» как логического синтаксиса языка, попытка нахождения внелогических исходных оснований

⁴ См., например, «Logical Positivism», ed. by A. Ayer. Illinois, 1959, p. 7.

научного знания, дихотомия аналитических и синтетических высказываний, критерий эмпирического значения. В работах самих неопозитивистов была доказана невозможность сведения «логики науки» к логическому синтаксису. Многочисленные попытки найти адекватный критерий эмпирического значения теоретических высказываний также окончились неудачно. Наконец, и дихотомия аналитического и синтетического знания вызывает в последнее время все больше и больше возражений. Неопозитивисты постепенно отказались как от принципа физикализма, так и вообще от лозунга «единой науки» (Einheitswissenschaft), о котором они так много писали в 30-е годы⁵.

Необходимо отметить также и то, что тридцатилетнее развитие неопозитивистской «логики науки», несмотря на то что в разработке этой концепции приняло участие значительное число логиков и философов Западной Европы и Америки, не привело ни к каким существенным методологическим результатам. Неопозитивисты не смогли реконструировать в более или менее полном виде язык ни одной науки. Принципиальные трудности, с которыми они столкнулись при попытке сведения теоретического знания к эмпирическому, поставили под серьезное сомнение возможность такого построения на основе принципов логического эмпиризма. Все это свидетельствует о несостоятельности методологических принципов, выдвинутых неопозитивистами в их концепции «логики науки».

Анализ факта несостоятельности концепции «логики науки» показывает, что основными причинами неудач логических эмпиристов в их попытке исследования строения научного знания являются, с одной стороны, плоско-сенсуалистический подход к исходным элементам знания и, с другой стороны, неадекватность средств математической логики задаче выражения строения «языка науки» в целом.

Стремление логических эмпиристов построить свою гносеологию на основе «чувственно данного», которое

⁵ См. В. С. Швырев. Неопозитивистская концепция эмпирического значения и логический анализ научного знания. «Философские проблемы современной формальной логики». Изд-во АН СССР, М., 1962. См. также статью В. С. Швырева в настоящем сборнике.

предшествовало бы всякому логическому рассуждению, опровергнуто развитием психологии и логики, доказавшим невозможность существования «чистой эмпирической констатации».

Неопозитивисты отвергают понимание логики как науки об определенных сторонах реального человеческого мышления. Они используют для теоретико-познавательного анализа научного знания лишь средства математической логики. Однако последняя, представляя собой прежде всего совокупность построенных определенным образом формальных исчислений, не является специфическим и основным аппаратом теоретико-познавательного исследования. Поэтому логический анализ, ограничивающийся только использованием аппарата математической логики, не может дать всестороннего представления о строении научного знания, то есть определенных продуктов деятельности человеческого мышления⁶.

Указанные причины несостоятельности неопозитивистской «логики науки» дают возможность утверждать, что в настоящее время выдвинутая логическими эмпиристами концепция анализа «языка науки» переживает глубокий кризис. Более того, оставаясь на позициях плоско-сенсуалистического подхода и настаивая на исключительном использовании аппарата математической логики для теоретико-познавательного анализа научного знания, неопозитивизм закрывает для себя всякую возможность выхода из состояния кризиса.

Для характеристики современного состояния неопозитивизма чрезвычайно показательна новая работа одного из видных участников «Венского кружка» — В. Крафта — «Теория познания»⁷. Пытаясь дать в ней систематическое изложение учения о познании, опирающееся на полученные в этом направлении результаты за последние 15—20 лет, В. Крафт в ходе критического осмысления итогов неопозитивистского движения при-

⁶ См. Г. П. Щедровицкий. О взаимоотношении формальной логики и неопозитивистской «логики науки»; И. С. Ладенко. Проблемы обоснования математики и логический эмпиризм; Б. В. Созонов. К критике неопозитивистского анализа «естественного» языка науки. «Диалектический материализм и современный позитивизм». Тезисы докладов и выступлений. М., 1961.

⁷ V. Kraft. Erkenntnislehre. Wien, Springer-Verlag, 1960.

ходит фактически к отказу буквально от всех основных положений неопозитивистской философии. Он отвергает предпринятую неопозитивизмом попытку сведения задач и метода теории познания только к логическому анализу языка. С его точки зрения, всякий логический анализ должен быть не только чисто структурным анализом языка, но прежде всего анализом значения выражений и смысла предложений. Кроме того, логический анализ, являющийся чисто дедуктивным процессом, недостаточен для теоретико-познавательного исследования и требует существенного дополнения со стороны эмпирических фактов и интуиции. Интенциональное отношение, то есть отношение обозначения, кладется В. Крафтом — в противоположность не только чисто синтаксическому подходу, но и в отличие от семантического анализа — в основу *всякого* анализа языка. «Специфика знака,— пишет В. Крафт,— состоит не в том, что он представляет сам по себе, а в том, что он указывает на нечто отличное от того, чем он сам является. Без функции значения нет вообще знака, а имеется только физический предмет или процесс»⁸. В связи с этим подвергаются модификации разработанные в логическом синтаксисе и логической семантике классификации языковых выражений⁹, отвергается радикальное номиналистическое понимание, сводящее обозначаемое лишь к индивидуальному, и утверждается, что даже знаки чистых исчислений обладают значением («Они обозначают всеобщие классы: постоянные, переменные; частично они имеют даже вполне специальные значения, например, «или», «не», «все», «имеется»; также и скобки нечто обозначают, а именно — связанность»¹⁰). Наконец, В. Крафт тщательно анализирует попытки неопозитивистов определить критерий эмпирического значения теоретических терминов и особо останавливается на недостатках последнего варианта такого критерия, предложенного Р. Карнапом в 1956 г. В. Крафт считает, что в основе всех этих попыток лежит ложное стремление свести значение теоретических терминов к «наблюдаемому»¹¹.

⁸ V. Kraft. Erkenntnislehre. Wien, Springer-Verlag, 1960, S. 41.

⁹ Ibid., SS. 58—85.

¹⁰ Ibid., S. 41.

¹¹ Ibid., SS. 132—133.

В рассматриваемой книге имеется критика одного из важнейших положений неопозитивизма, согласно которому реальность сводится к «непосредственно данному», к «реальности переживаний» (*Erlebniswirklichkeit*). В. Крафт совершенно справедливо отмечает, что «эта точка зрения, последовательно проведенная, приводит к солипсизму»¹².

Следует также отметить критику В. Крафтом семантического определения истины, попыток построения индуктивной логики неопозитивистами, анализ «Логических оснований вероятности» Р. Карнапа и предложенной Г. Райхенбахом попытки использования статистической вероятности для исследования подтверждения гипотез и т. д.

В. Крафта, в прошлом одного из активных защитников идей логического эмпиризма, конечно, и сейчас роднят с неопозитивизмом некоторые общие принципы. Это проявляется, например, в защите В. Крафтом неопозитивистского истолкования логики, согласно которому логика есть специальный язык, устанавливающий формальные отношения между знаками и ничего не говорящий о действительности. Фактически он остается в рамках узкосенсуалистической трактовки научного знания¹³. Хотя В. Крафт в настоящее время и считает, что «признание объективного вещественного мира и чужой психической жизни, т. е. трансцендентной переживаниям действительности, образует неэлиминируемую основу как в науке, так и в практической жизни»¹⁴, однако это признание связано у него с рассмотрением путей конструирования «трансцендентной переживаниям действительности» из первоначально данной человеку «действительности переживаний». По В. Крафту, признание объективного внешнего мира является лишь гипотезой. Вместе с утверждаемым им ограничением задач логики анализом формальных исчислений и его тезисом о том, что логический анализ, основанный на таком образом истолкованной логике, «показывает путь, по которому должна идти теория познания»¹⁵,

¹² V. Kraft. Erkenntnislehre. Wien, Springer-Verlag, 1960, S. 344.

¹³ Ibid., SS. 139—154, 272—302.

¹⁴ Ibid., S. 269.

¹⁵ Ibid., S. 19.

плоский сенсуализм В. Крафта не дает ему возможности построить достаточно адекватную современному состоянию науки теорию познания и тем самым указать выход из кризиса неопозитивизма¹⁶. Таким образом, работа В. Крафта еще раз свидетельствует как о крахе неопозитивистской «логики науки», так и о неспособности логического эмпиризма выйти из этого кризисного состояния.

* * *

✱

Господствующее положение, занятое в зарубежной логике и методологии науки неопозитивистской концепцией — особенно в 30—40-х годах, — постепенно сменилось широким развитием и сосуществованием многих, часто весьма различных, школ, направлений и концепций. В настоящее время за рубежом отсутствует такая логическая и методологическая теория, которая объединяла бы вокруг себя достаточно широкие круги исследователей. Начиная с середины 50-х годов картина зарубежной логики представляет собой пеструю смесь различных направлений.

В Англии ведущую роль играют ныне сторонники «аналитической философии» («философии лингвистического анализа»), к числу которых относятся Дж. Уисдом, П. Малькольм, Дж. Райт, Дж. Остин, П. Строусон, С. Тулмин и др. В европейской континентальной логике большое влияние имеет «генетическая эпистемология» видного швейцарского и французского логика и психолога Ж. Пиаже, объединившего в последнее время в рамках «Международного центра по генетической эпистемологии» группу логиков (Л. Апостель, Э. Бет, У. Мейс), психологов (Дж. Брунер, Ф. Брессон, А. Маталон, А. Морф и др.) и других ученых. Большой интерес к анализу частных методологических проблем специальных наук проявляют французские ученые и философы (группа «Бурбаки», Ф. Ле Льенне, Ж. Ульмо и др.). Бельгийский логик Х. Перельман разрабатывает «теорию аргументации», представляющую, с его точки зрения, более широкую теорию, чем формальная логика. Ряд европейских логических журналов (например, «Lo-

¹⁶ Подробнее о книге В. Крафта «Теория познания» см. нашу рецензию в «Новые книги за рубежом по общественным наукам», 1961, № 7.

gique et Analyse», издаваемый в Брюсселе) в своих программах формулируют задачи разработки широкой логической проблематики, не ограниченной лишь рамками математической логики. Новые логические веяния коснулись и Америки. Здесь выделяются исследования по «общей теории систем» Л. Берталанфи, анализ теоретико-познавательных основ логики в трудах У. Куайна, А. Черча и др., многочисленные работы по проблемам методологии науки и т. д.

Остановимся прежде всего на отношении названных теорий к неопозитивистской «логике науки». Большинство из них критически относится к неопозитивистской концепции.

Хотя «философия лингвистического анализа» имеет ряд общих черт с неопозитивизмом, однако развитие этой концепции в 20—30-х годах и особенно ее второе рождение, связанное с деятельностью позднего Витгенштейна¹⁷, свидетельствуют о важном своеобразии этой эмпирически-позитивистской теории, на протяжении всей своей истории выдвигавшей критические замечания в адрес неопозитивизма «Венского кружка» и усилившей свои позиции в результате кризиса последнего.

Основные особенности «философии лингвистического анализа» заключаются: 1) в стремлении отрицать всякую «метафизику», в том числе и метафизику «Венского кружка» и современных американских неопозитивистов; 2) в резко критическом отношении к любым философским программам и в выдвигании тезиса, что философия есть лишь определенная деятельность, а не теория; 3) в признании того, что логико-лингвистическому анализу подлежит прежде всего обиходный язык. В силу этого аналитики отрицательно оценивают идущие от Б. Рассела и раннего Л. Витгенштейна попытки анализа теоретико-познавательных проблем путем построения искусственных языковых систем¹⁸.

Критическое исследование философии лингвистического анализа показывает, что она представляет собой новую разновидность эмпирически-позитивистской философской традиции. Явившись в Англии на смену логиче-

¹⁷ См. L. Wittgenstein. *Philosophical Investigations*. London, 1953.

¹⁸ См. А. Ф. Бегиашвили. *Метод анализа в современной буржуазной философии*, гл. II и IV. Тбилиси, 1960.

скому эмпиризму, она, не ликвидировав его субъективно-идеалистической основы, хотя и отказалась от наиболее скомпрометировавших себя тезисов неопозитивизма, но смогла противопоставить им лишь крайний эмпиризм и отсутствие общей теории.

Не менее критично относится к неопозитивистской «логике науки» Ж. Пиаже. Выдвигая в качестве основной задачи анализ генезиса знания, он выступает против сведения логики к языку. Используя обширный экспериментальный материал, он отрицает существование «уровня чистой эмпирической констатации», свободной якобы от какого-либо влияния логических факторов. Ж. Пиаже считает несостоятельным учение логических эмпиристов о строгой дихотомии аналитических и синтетических высказываний.

Конечно, было бы ошибочно рассматривать «генетическую эпистемологию» Ж. Пиаже как порождение кризиса, переживаемого ныне неопозитивизмом. Она начала оформляться с конца 30-х годов и была подробно изложена в 1950 г. в книге Пиаже «Введение в генетическую эпистемологию»¹⁹. «Генетическую эпистемологию» следует поэтому рассматривать скорее как конкурирующую с неопозитивизмом теоретико-познавательную и логико-психологическую систему. В то же время несомненно, что кризис неопозитивизма оказал влияние на концепцию Ж. Пиаже: постановка некоторых проблем в ней вызвана теми трудностями, с которыми столкнулся логический эмпиризм (как, например, в случае проблемы аналитических и синтетических высказываний), а ее наибольшее влияние падает на 50-е годы, то есть на период кризиса концепции неопозитивизма.

В связи с тем что неопозитивистская «логика науки», претендовавшая на реконструкцию всего научного знания, не в состоянии оказать реальную помощь специалистам конкретных наук в решении стоящих перед ними методологических проблем, некоторые зарубежные ученые, отказавшись от этой программы и не имея, как правило, достаточно разработанных теоретико-познавательных принципов, пошли по пути эмпирической разработки узких, специальных методологических вопросов отдельных научных дисциплин. Сошлемся, для примера,

¹⁹ J. Piaget. Introduction a l'épistemologie génétique. Paris, 1950.

на работу М. Флоркина «Исследование при деструкции и недеструктивные методы в биохимии», в которой рассмотрены условия применения и техника организации методов, основанных или на изолировании отдельных органов живого организма, или на использовании целостного организма с минимумом повреждений, и на статью Э. Вольфа «Экспериментальные рассуждения и их применение в биологической науке», где дан конкретный анализ форм наблюдения и эксперимента, применяемых в биологии²⁰. Совершенно ясно, что исследования подобного рода идут вразрез с неопозитивистским требованием анализа только языка науки. Не случайно, что попытки конкретного методологического анализа приобрели наибольший размах именно во Франции, где влияние логического эмпиризма было значительно меньше, чем в Австрии, Германии, Англии или Америке.

В некоторых случаях отрицательное отношение к неопозитивистской концепции «логики науки» принимает форму изучения границ возможностей формальной логики — того средства, с помощью которого логические эмпиристы пытались реконструировать научное знание. Показателен в этом отношении доклад Х. Перельмана «Логика, язык и коммуникация», прочитанный на XII Международном философском конгрессе (1958)²¹.

По мнению Х. Перельмана, задачей логики как науки является рассмотрение средств формального доказательства, законность которого зависит только от формы посылок и заключения. Обычный разговорный язык ввиду двусмысленности его выражений не дает возможности осуществления полной коммуникации. В связи с этим, замечает Х. Перельман, логику в настоящее время стали отождествлять с построением искусственного языка, свободного от недостатков обычных языков. Чисто формальная часть этого искусственного языка образует логическую систему, которая конструируется путем: 1) перечисления всех исходных знаков; 2) указания

²⁰ Указанные статьи содержатся в сб. «La Methode dans les sciences modernes», ed. F. Le Lionnais. Paris, 1958.

²¹ См. Ch. Perelman. Logique, language et communication. «Atti del XII Congresso Internazionale di Filosofia. Venezia, 12—18 settembre 1958», 1958, v. I, pp. 126—135. См. также Н. С. Юлина, Ю. П. Михаленко, В. Н. Садовский. Некоторые проблемы современной философии. Изд-во АН СССР, М., 1960, стр. 110—127.

правил формирования выражений данной системы; 3) перечисления аксиом; 4) фиксации правил вывода. Логическая система независима от интерпретации искусственного языка.

Х. Перельман считает, что для оценки формальной логики полезно рассмотреть философские предположения, принимаемые при ее построении. По его мнению, такое рассмотрение позволило бы «уточнить, в чем человеческая логика, рассуждающая в рамках формализма, превосходит последний»²².

Этот анализ Х. Перельман осуществляет путем сравнения возможностей человеческого разума и вычислительной машины, принципы конструирования которой тождественны принципам построения логической системы. Он обращает внимание на то, что вычислительная машина в тех случаях, когда происходят отклонения от правил системы, должна останавливаться и ждать, когда эти отклонения будут устранены; человек же в состоянии исправить имеющиеся ошибки, заменить неправильный знак правильным и продолжать рассуждение далее. «Теория логики и теория познания будут неполными, если они не примут во внимание это превосходство»²³.

Недостаточность в логике строго формалистической точки зрения проявляется не только в том, что человеческий разум превосходит по своим возможностям любую логическую систему. Х. Перельман подчеркивает, что эта недостаточность выявляется и тогда, когда речь идет об интерпретации логической системы. Хотя исчисление и может быть построено чисто формально, то есть независимо от любых интерпретаций, однако исчисление является языком и логикой только в том случае, «когда знаки и выражения интерпретированы, когда им приписан смысл, в силу которого аксиомы системы становятся утверждениями»²⁴. В связи с этим чисто формальный подход к построению логики недостаточен. Необходимы интерпретация системы и выяснение онтологических предпосылок, дающих возможность логической системе быть средством коммуникации, лишенным двусмысленностей и обладающим объективным значением.

²² Atti del XII Congresso..., p. 127.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid., p. 130.

Таким образом, рассмотрение отношения к логическому эмпиризму со стороны основных логических и методологических направлений, распространенных в настоящее время за рубежом, показывает прежде всего то, что в целом они занимают критическую позицию по отношению к неопозитивистской «логике науки». В некоторых случаях (английские аналитики, Ж. Пиаже и др.) эта критическая позиция выражается более или менее явно, а в других — выступает в виде совершенно чуждой неопозитивизму направленности исследования (работы французских ученых, «общая теория систем» Л. Берталанфи) или в форме критики отдельных общих положений, которые неопозитивизм разделяет вместе с некоторыми другими концепциями (анализ Х. Перельманом ограниченностей формальной логики).

Всем названным направлениям исследования в современной зарубежной логике обще также и то, что в результате кризиса неопозитивистской логико-методологической программы они получили непосредственный толчок для развития и усиления своего влияния.

Каковы же особенности позитивных программ, предлагаемых указанными логико-методологическими направлениями исследования?

Необходимо прежде всего отметить, что в противоположность общетеоретической концепции, выдвинутой неопозитивизмом, для современной зарубежной логики и методологии науки в подавляющем большинстве случаев характерны *крайний эмпиризм и отсутствие более или менее обобщенных теоретических представлений*. Наиболее показательно в этом отношении заявление редактора сборника «Метод в современных науках» Ф. Ле Лионне о том, что авторы этой книги вовсе не ставили своей задачей дать нечто вроде «Органона» Аристотеля или «Нового органона» Бэкона. Их задача более скромна. «Мы спрашиваем у наших современников, — пишет Ф. Ле Лионне, — каковы методы (методические приемы), которые приносят успех, и в какой степени они могут рассматриваться как вносящие изменения в методы, применяемые предшествующими поколениями»²⁵.

Практически не выходит за рамки конкретного эмпирического анализа методологических проблем и раз-

²⁵ «La Methode dans les sciences modernes», ed. F. Le Lionnais. Paris, 1958, p. V.

рабатываемая в последние годы бельгийским логиком Х. Перельманом «теория аргументации», наиболее подробно изложенная в двухтомной работе Х. Перельмана и Л. Ольбрехт-Титеки «Теория аргументации»²⁶. Указывая на греческую философию, Х. Перельман замечает, что «аргументация... в равной степени является частью логики, и Аристотель, отец формальной логики, изучал—наряду с *аналитическими* доказательствами—также доказательства, которые он квалифицировал как *диалектические* и которые рассматривал в «Топике», «Риторике» и «Софистических опровержениях»²⁷. По мнению Х. Перельмана, «рассуждать и доказывать—это не только исчислять, и логика не может довольствоваться лишь рассмотрением формального доказательства. *Последнее получает свое истинное значение только в более плодотворных рамках теории аргументации*»²⁸.

Х. Перельман совершенно правильно отмечает, что логика, как и все остальные гуманитарные дисциплины, включена в общий процесс познания, входит в состав наших философских и научных традиций и эволюционирует в зависимости от проблем, которые в них встают. «Если формальная логика развивалась и прогрессировала благодаря кропотливому анализу средств доказательства, используемых в математике, то математика не является единственной дисциплиной, где встает вопрос о доказательстве»²⁹.

Общий подход Х. Перельмана к логике не может не быть одобрен: он в значительной степени обусловлен теоретическими потребностями современной науки. Однако позитивная программа, предложенная бельгийским философом, вызывает разочарование.

Анализ методов аргументации, систематически проводившийся в философии начиная с Аристотеля, представляет собой по существу своеобразное соединение проблем педагогики, психологии и логики. «Теория аргументации» Х. Перельмана вырастает из этой смешанной традиции. В ней не выделена специфика собственно логического анализа. Поэтому такие насущные логи-

²⁶ Ch. Perelman et L'Olbrechts-Tyteca. *Traité de l'argumentation*. Paris, 1958.

²⁷ Atti del XII Congresso..., p. 135.

²⁸ Ibid. (курсив мой.— В. С.).

²⁹ Ibid.

ческие проблемы, как анализ законов науки, исследование структуры научных теорий, проблемы соотношения эмпирического и теоретического уровней знаний и т. д., в «теории аргументации» остаются без внимания.

Что интересует Х. Перельмана прежде всего? Если в формальной логике анализируются свойства необходимого вывода, то он исследует методы правдоподобного, вероятного заключения, то есть той техники рассуждения, которая позволяет добиться согласия разных лиц относительно определенных тезисов. В своей «теории аргументации» Х. Перельман подходит к средствам аргументации с позиций экспериментально-психологического анализа «силы» аргументов. Он исследует зависимость аргументации от специфических особенностей аудитории, к которой она направлена.

Исходя из этих установок, Х. Перельман останавливается на характеристике оратора и слушателя, рассматривает слушателя как своеобразную «конструкцию» оратора, изучает процесс приспособления оратора к особенностям аудитории и т. д. При анализе техники аргументации он исследует квазилогические аргументы, то есть аргументы, сравнимые с формальными рассуждениями, но обладающие неформальной природой и относящиеся к области правдоподобного. Квазилогическая техника аргументации дополняется, по Х. Перельману, аргументами, основанными на связях последовательности, сосуществования, на модельных представлениях и т. д.

Выявленные таким образом способы аргументации дают возможность, считает Х. Перельман, дополнить существующую логику и сделать ее инструментом исследования всех наук, а не только математических. Можно, бесспорно, стараться выявить способы аргументации, используемые в разных научных дисциплинах. На этом пути возможно получение нового эмпирического материала. Однако для того чтобы этот материал действительно выполнял логико-методологические функции, требуется его переосмысление на базе детально разработанных теоретических понятий логики и методологии науки. Без такого анализа, который, кстати сказать, должен указать и методы дальнейшего эмпирического исследования, весь собранный материал оказывается лишь набором отдельных положений и сведений, а не

теоретическим отображением различных аспектов логического мышления.

Указанный недостаток является общим как для теории Х. Перельмана, так и для исследований английских аналитиков, французских методологов науки и т. д. Но названные эмпирические исследования до некоторой степени идут в одном русле со стремлением к *содержательному* анализу знания. Как правило, подобные исследования не ограничиваются лишь анализом способов языкового оформления того или иного материала, а пытаются вскрыть специфические методы мышления, применяемые в тех или иных науках, связать методы доказательства и получения нового знания с конкретным предметным содержанием, анализируемым в определенных дисциплинах. В этом смысле они, несомненно, приводят к определенным положительным результатам.

Среди логико-методологических направлений, распространенных в настоящее время за рубежом, пожалуй, лишь одна «генетическая эпистемология» Ж. Пиаже выходит за рамки чисто эмпирического исследования. Будучи психологом по специальности, Ж. Пиаже опубликовал большую серию работ, сыгравших важную роль в развитии общей и особенно детской психологии. Важнейшим результатом его психологических исследований явились четко сформулированный операционный подход к исследованию мышления и созданная им теория формирования интеллекта. На основе большого эмпирического материала Ж. Пиаже выделил четыре стадии развития интеллекта: сенсомоторную, дооперативного интеллекта, конкретных операций и формальных операций. Главным показателем развития интеллекта, согласно Пиаже, является сформированность у человека системы интеллектуальных операций, то есть внутренних действий, являющихся продолженными внутрь (интериоризированными) предметными действиями.

Вполне естественно, что Ж. Пиаже не мог использовать для обоснования своих психологических построений существующую математическую логику, интерпретированную как синтаксис и семантика искусственных языков. Он понимает логику как «формальную теорию операций мысли»³⁰. Логика, по его мнению, «получает в качестве данного некоторое число высказываний, одни

³⁰ J. Piaget. *Traité de logique*. Paris, 1949, p. 9.

из которых квалифицируются как истинные, другие — как ложные, и ее собственная работа начинается с формальной композиции этих высказываний, истинных или ложных по гипотезе»³¹. Пиаже выступает против сведения логики к чистой игре символов, так как «необходимо помнить, что знак всегда включает в себя значение и что формальная игра, независимо от всякого обращения к ее содержанию, является системой различных значений». С его точки зрения, логические структуры выражают законы мысли.

Несогласие Ж. Пиаже с неопозитивистской трактовкой логики проявляется, например, в его следующем утверждении: «Логистика, находясь под двойным влиянием номиналистического течения и потребности в формализации, стремилась не применять выражений, заимствованных из области, внешней рассуждению; это привело к тому, что некоторые логики игнорировали понятие мысли и стремились создать то, что можно назвать видом логики поведения (по аналогии с психологией поведения); они хотели также свести мысль к языку до того, как вскроют ее отношение к действию»³².

Логика, по мнению Пиаже, должна исчерпывающим образом формализовать множество операций мысли. Реально эти операции являются действиями, изучаемыми психологией. Логика же рассматривает эти операции формально, то есть анализирует трансформации, позволяющие «устанавливать некоторые предложения или отношения, исходя из других предложений или отношений»³³. И за каждой операцией логики Пиаже видит определенные *операции мысли*, которые связываются в системы.

На базе таким образом интерпретированной логики Ж. Пиаже стремится основать свои психологические исследования. Связующим звеном между логикой и психологией оказывается у него операциональный подход.

Включение в логическую проблематику анализа деятельности субъекта и исследование интеллектуальных операций заслуживают пристального внимания. Вместе с тем необходимо высказать ряд замечаний относительно собственно логической концепции Пиаже. В избран-

³¹ J. Piaget. *Traité de logique*. Paris, 1949, p. 7.

³² *Ibid.*, p. 10.

³³ *Ibid.*, p. 12.

ном им пути рассмотрения логических проблем речь идет лишь о новой интерпретации логики. Ни в чем существенном невозможно выйти за рамки того материала, который интерпретируется (хотя бы и по-новому). Этим и объясняется тот факт, что Пиаже по существу ограничивается лишь анализом ставших уже традиционными логических проблем и оставил без внимания актуальные вопросы современной логики.

Важное значение имеют некоторые общие теоретико-познавательные положения Ж. Пиаже, развитые им в рамках «генетической эпистемологии». Наряду с принципом исследования деятельности субъекта Ж. Пиаже здесь формулирует положение о необходимости построения теории познания «исходя из генетической и историко-критической точки зрения умножения знаний»³⁴.

Исходный пункт «генетической эпистемологии» Ж. Пиаже противоположен основным положениям неопозитивистской трактовки структуры научного знания. Если с точки зрения логического эмпиризма существуют две формы знания: а) эмпирическое знание, получаемое из чувственного опыта независимо от какой-либо логики, и б) логико-математическое знание, независимое от чувственного опыта и связанное с конвенциональным употреблением языка, то Ж. Пиаже исходит из предположений: «а) что все уровни приобретения знаний (включая восприятие и научение) предполагают активность субъекта в таких формах, которые постепенно подготавливают различные ступени логических структур, и б) что логические структуры зависят от координации самих действий и в силу этого они создаются в результате функционирования наиболее элементарных инструментов, служащих для образования знаний»³⁵. Тем самым, во-первых, отрицается мнение логических эмпиристов о сведении логики к исследованию лишь одного языка, и, во-вторых, отвергается постулируемый Р. Карнапом и другими неопозитивистами уровень «чистого» наблюдения, свободного будто бы от какого-либо влияния логических элементов³⁶.

³⁴ J. Piaget. *Traité de logique*, p. 5.

³⁵ J. Piaget. *Perception, apprentissage et empirisme*. «*Dialectica*», 1959, v. 13. No. 1, p. 6.

³⁶ См. L. Apostel, W. Mays, A. Morf et J. Piaget. *Les liaisons analytiques et synthétiques dans les comportements du sujet*. Paris, 1957.

В целях дальнейшего развития генетической эпистемологии в связи с актуальными проблемами психологии, логики и лингвистики по инициативе Ж. Пиаже в 1955 г. в Женеве был создан «Международный центр по генетической эпистемологии», в работе которого принимают участие широкие круги европейских и американских логиков и психологов.

Общая теоретическая концепция Ж. Пиаже позволяет ему защищать и гораздо более адекватную точку зрения в вопросе об аналитическом и синтетическом характере научного знания. В основе выдвигаемой неопозитивизмом дихотомии знания на аналитические (лого-математические) и синтетические (эмпирические) утверждения лежит тезис о существовании резко обособленного уровня наблюдения («чистой эмпирической констатации»). Однако, как показали работы самих неопозитивистов и экспериментальные исследования Ж. Пиаже и его сотрудников, существование чисто эмпирического знания невозможно. Исходя из этого факта и опираясь на основные понятия логики, истолкованные в терминах действий и операций, Ж. Пиаже вместе со своими сотрудниками (У. Мейсом, А. Морфом и др.) отвергает тезис о дихотомии аналитического и синтетического знания и выдвигает точку зрения о наличии дихотомии между логико-математическими и физическими действиями субъекта и об отсутствии дихотомии между аналитическими и синтетическими действиями. Экспериментальный материал подтверждает наличие действий субъекта, являющихся одновременно аналитическими и синтетическими или логико-математическими и синтетическими ³⁷.

Сжатое изложение основных положений логико-методологической концепции, защищаемой в настоящее время Ж. Пиаже, показывает ее важное преимущество по сравнению с другими современными зарубежными направлениями развития логики и методологии науки. Это преимущество заключается прежде всего в материалистической тенденции ряда идей Ж. Пиаже, в теоретической обобщенности принципов его концепции и их

³⁷ См. L. Apostel, W. Mays, A. Morf et J. Piaget. *Les liaisons analytiques et synthétiques dans les comportements du sujet*. Paris, 1957, pp. 40—85, 134—145.

успешной экспериментальной разработке. Вместе с тем, как мы уже указывали, теория Ж. Пиаже вызывает ряд возражений. Математическая логика, даже в той ее интерпретации, которую дает ей Ж. Пиаже, не в состоянии дать анализ генезиса знания. Для этого требуется построение логической теории, основанной на диалектико-материалистическом исследовании содержательной стороны научного знания. Ж. Пиаже не удалось раскрыть (во всяком случае в настоящее время) процессы образования специфических методов мышления. В силу этого методологические запросы конкретных наук его концепцией не удовлетворяются. Поэтому «генетическая эпистемология» Ж. Пиаже, несмотря на полученный в ней интересный и богатый материал, не может все же рассматриваться как адекватный путь анализа логико-методологических проблем современной науки³⁸.

* * *

*

Рассмотрение современной зарубежной логической и методологической литературы показывает, что кризис логической теории неопозитивизма вызвал к жизни за рубежом много новых направлений логического исследования. Их объединяет отрицательное отношение к неопозитивистскому истолкованию логики и методологии науки. При всем разнообразии путей дальнейшего развития логики, предлагаемых перечисленными направлениями, школами и отдельными философами и логиками, все они страдают, на наш взгляд, рядом принципиальных недостатков. Главными из них являются эмпиризм, отсутствие достаточно глубоких обобщенных логико-методологических принципов (в частности, содержание знания во всех случаях выпадает из сферы логического анализа). В силу этого на путях, по которым идут ныне современные зарубежные логики, возможно получение лишь весьма ограниченных и частных результатов.

Реальное решение проблем логики и методологии

³⁸ Подробнее о «генетической эпистемологии» Ж. Пиаже см.: В. А. Лекторский, В. Н. Садовский. Основные идеи «генетической эпистемологии» Жана Пиаже. «Вопросы психологии», 1961, № 4.

науки требует сознательного применения принципов философии диалектического материализма. Проведенные в нашей стране за последние годы широкие исследования по анализу структуры акта мышления, рассмотрению мышления как специфической формы деятельности субъекта со знаками, по включению в логический анализ исследования содержания знания и т. д. дают, на наш взгляд, важный материал для действительно научного решения стоящих перед современной логикой проблем.

О ДОСТОИНСТВАХ И ОШИБКАХ
ОДНОЙ ЛОГИКО-ФИЛОСОФСКОЙ КОНЦЕПЦИИ

(критические заметки по поводу теории языковых каркасов
Р. Карнапа)

Теории и взгляды современных логических позитивистов представляют собой комплекс специально-логических и общеполософских положений. Тесно связаны логические и философские предпосылки и в выдвинутой Р. Карнапом теории языковых каркасов. Собственно, эта теория пытается решить — и решить с позитивистских позиций — коренной вопрос философии: вопрос о природе объектов науки. Какова природа объектов логики, математики, теоретического естествознания? Каков статус таких объектов, как число, свойство, суждение и т. д.? Какова, наконец, природа таких объектов, как треугольник, атом, молекула? Каждый знает, что, доказывая теорему о сумме углов треугольника, имеют в виду не треугольник, нарисованный в целях проведения доказательства, но треугольник вообще. Утверждение, что молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного кислорода, делают не относительно фиксированной (в пространстве и времени) молекулы, а относительно молекулы воды вообще. Что это за треугольник вообще, молекула воды вообще и т. д.?

Вопрос о природе объектов науки — традиционный коренной вопрос философии. Платон и Гоббс, Кант и Гуссерль, Локк и имманенты — эти имена достаточно говорят о многообразных, часто диаметрально противоположных подходах к данной проблематике.

Первоначально логические эмпиристы презрительно отворачивались от указанной выше традиционной проблематики, объявляли ее «дикой метафизикой», «платоновским бредом». Но с развитием логики, особенно с ин-

тенсивной разработкой основ логической семантики, они вынуждены были начать с ней считаться. В настоящее время логические позитивисты — по крайней мере наиболее дальновидные из них — пытаются уже не просто отбросить эту проблематику как якобы метафизическую, а дать ей свое истолкование. При анализе взглядов логических эмпиристов по данному вопросу необходимо учитывать не только тот факт, что они используют достижения логики и семантики для обоснования своей позитивистской установки (в том числе и по рассматриваемому вопросу), но и тот факт, что некоторые из приверженцев логического эмпиризма, в частности и Р. Карнап, вносят немалый вклад в положительную разработку специальных вопросов логики и семантики.

Взгляды современных логических эмпиристов на объекты науки не являются чем-то единым. Мы разберем лишь концепцию Р. Карнапа, наиболее ярко изложенную им в работе «Эмпиризм, семантика и онтология»¹. Не заменяя последующего анализа общими формулировками и не торопясь с выводами, мы считаем необходимым все же уже здесь отметить, что в основе теории языковых каркасов Р. Карнапа лежат идеи современного позитивизма, но в то же время, создавая эту теорию, Карнап пришел к ряду положений, которые не могут не заинтересовать советских логиков.

Прежде чем перейти к анализу взглядов Р. Карнапа на объекты науки, мы дадим свое понимание некоторых аспектов рассматриваемой проблематики.

С точки зрения материализма, наука изучает в конечном счете объективную реальность, существующую вне и независимо от сознания. Но из этого отнюдь не следует, что объект науки, особенно научной теории, тождествен объективно существующей реальности. Непосредственным объектом научной теории являются логические конструкции, создаваемые этой теорией. В этом смысле объекты научной теории имманентны ей, но — и это «но» есть водораздел между материализмом и идеализмом — эти логические конструкции являются более или менее приблизительными моделями реальности.

¹ Р. Карнап. Значение и необходимость. Приложение А. Эмпиризм, семантика и онтология. ИЛ, М., 1958.

Субъективные идеалисты и позитивисты считают невозможным установить связь между объектами, имманентными сознанию, и предметами, трансцендентными сознанию; для более откровенных идеалистов — таких, как имманенты, — содержание сознания, объекты науки и есть то, что реально существует. Для них быть предметом мысли и существовать — одно и то же.

Действительно, объекты научных теорий — как объекты научных теорий — не существуют вне науки, вне познающего субъекта. Но объект научной теории и реально существующая вещь не одно и то же. Необходимо строго различать саму объективную реальность, существующую вне и независимо от сознания, и модели — идеальные объекты², являющиеся содержанием мышления.

С другой стороны, необходимо различать *идеальный объект* и *понятие*. Явно это не делается, хотя вытекает из предпосылок, принятых большинством советских логиков. В нашей литературе общепринято различение предмета суждения и субъекта суждения. Предмет суждения — это то, о чем мы нечто высказываем, субъект суждения — это умственный образ предмета, понятие о предмете. В том случае, когда делаются теоретические утверждения, также необходимо различать понятие и предмет суждения, но в этом случае предметом, относительно которого ведется рассуждение, будет не эмпирически данный предмет, а именно идеальный объект. Признавая различие между предметом и субъектом суждения, мы не можем не принять идеальные объекты.

То, что понятие и идеальный объект не одно и то же, обнаруживается и из того факта, что операции, приложимые к идеальным объектам, не приложимы к понятиям и наоборот. Так, прибавив к единице число три, мы имеем новое число четыре. Здесь складываются идеальные объекты, а не понятия. Складывать понятия чисел, в том же смысле, что и сами числа (как идеальные объекты), нельзя. Если и идет речь

² Под идеальными (идеализированными) мы имеем в виду не только такие объекты, как число, свойство, суждение, то есть объекты более высоких уровней, но в ряде случаев и объекты нулевого уровня, то есть объекты, обозначаемые индивидуальными константами. Объекты выше нулевого уровня будем называть абстрактными.

о сложении (объединении) понятий, то результат иной. $\{1\} \cup \{3\}$ есть понятие, относящееся к единице или тройке, но не понятие четверки. Итак, содержательный анализ показывает, что понятие и идеальный объект не одно и то же.

Отсюда ясно, что отличны отношение именованного и отношение включения элемента в класс, отношение подпадения объекта под понятие.

Безусловно, между идеальным объектом и соответствующим понятием можно установить определенное соотношение. Так, каждому идеальному объекту соответствует понятие, под которое подпадают проявления идеального объекта. Обратное, видимо, не всегда имеет место, а лишь в том случае, когда между элементами, подпадающими под понятие, имеет место некоторое бинарное отношение, транзитивное, рефлексивное и симметричное на этом классе. В этом случае элементы, подпадающие под понятие, мы можем рассматривать как проявления некоторого идеального объекта.

Различение понятия и идеального объекта приводит к необходимости различить и те мыслительные процессы, результатом которых они являются. Прежде чем говорить о способах образования первоначальных, исходных понятий и идеальных объектов, уместно напомнить, что имеются способы образования новых понятий и идеальных объектов из уже данных. В случае понятий это будут процессы определения, в случае идеальных объектов — построения. Для процесса образования исходных понятий мы будем пользоваться термином «абстракция», исходных объектов — «идеализация».

Данная терминология несколько условна и иногда не соответствует обычному словоупотреблению; так, например, абстракция отождествления формулирует идеальный объект и в нашей терминологии должна быть причислена к идеализации.

Различие между абстракцией и идеализацией обычно не проводится ни терминологически, ни по существу. Исключение составляет работа Шольца и Швейцера «Так называемые определения через абстракцию»³.

В этой работе Шольц и Швейцер убедительно пока-

³ H. Scholz, H. Schweizer. Die sogenannten Definitionen durch Abstraktion. Leipzig, 1935.

зывают, что классическая абстракция (ведущая свое начало от Фомы Аквинского) дает понятия, тогда как абстракция (в нашей терминологии идеализация), как она имеет место у Аристотеля, дает «не понятия, а идеальные предметы». «Процесс абстракции классической логики,— пишут Шольц и Швейцер,— исходит из рассмотрения эмпирических индивидов, между которыми существует известное «сходство», и доставляет через обнаружение этого сходства понятие. Аристотелевский процесс абстракции исходит также из рассмотрения эмпирических предметов, но то, что он доставляет или, по крайней мере, должен доставить, суть не понятия, а идеальные предметы»⁴.

Далее Шольц и Швейцер приходят к выводу, что классическая абстракция исходит из определенного многообразия, находя то общее, что имеют друг с другом элементы этого многообразия. Для аристотелевской же абстракции достаточен один эмпирический предмет как основание для идеального предмета. Такая трактовка аристотелевской теории абстракции нам кажется убедительной, так же как и представленные аргументы. Шольц не находит у Аристотеля ни одного места, где бы он говорил о понятиях как результатах абстракции.

В плане различия идеального объекта и понятия интересно было бы рассмотреть борьбу между номинализмом и реализмом. Спор об универсалиях есть, на наш взгляд, спор прежде всего о природе абстрактных объектов. Лишь концептуалисты, начиная с Абеяра, переносят этот спор в плоскость понятия. Современное объемное понимание понятия есть продукт концептуализма. И неправомечно отождествлять понятие в смысле логики нового времени с универсалиями средних веков. Но и безотносительно к историческим параллелям разграничение идеального объекта и понятия, с одной стороны, и идеального объекта и реального предмета, с другой, по нашему мнению, имеет большую теоретическую значимость.

Какова природа идеального объекта и каково его отношение к действительности?

Идеальный объект (идеальный предмет, идеализированный предмет) есть схематическая, упрощенная

⁴ H. Scholz, H. Schweizer. Die sogenannten Definitionen durch Abstraktion. Leipzig, 1935, S. 19.

модель реальных предметов. Идеальный объект есть фрагмент действительности, рассматриваемый под определенным углом зрения. Отсюда ясно, что идеальный объект не существует как идеальный объект вне познающего субъекта. Сторона или фрагмент действительности, взятые вне связей, не существуют вне этих связей, но они делаются объектом изучения именно как таковые и в этом смысле являются идеальными объектами. Идеальные объекты суть результаты процессов схематизации и идеализации объективно существующей действительности. Идеализация есть вычленение какой-либо стороны из действительности и превращение ее в объект познания.

Всякое общее теоретическое знание относится непосредственно не к реальным предметам, а к идеальным объектам. Так, геометрия (как часть физики) изучает точки, прямые, поверхности и фигуры, из них образованные; механика относит свои утверждения к точечным массам, абсолютно твердым телам и т. д. Все эти точки, прямые, абсолютно твердые тела, точечные массы суть идеальные объекты, а не реально существующие предметы.

Но не превращаются ли в таком случае научные теории в построения о некоторых фикциях? Каково отношение их к действительности?

Поскольку идеальные объекты суть результаты схематизации и идеализации, «огрубления действительности», упрощенные ее модели, постольку — в границах, определяемых способом идеализации, — утверждения относительно моделей (идеальных объектов) есть утверждения и относительно самой действительности.

Создавая картину мира, конструируя ее из идеальных объектов, тем самым создают теоретическую более или менее приблизительную модель действительности. Очевидно, необходимо выяснить не только природу идеальных объектов, из которых строится картина мира, но и возможные типы объектов, то есть выяснить ту систему анализа окружающего мира, тот «тип деления явлений окружающего мира на изолированные участки» (Уорф), с помощью которого и осуществляется теоретическое освоение мира. В связи с этим законно встает вопрос об отношении принятой системы анализа, принятых типов идеализации, с одной стороны, к объективно

существующему миру и, с другой стороны, к логике и языку.

Выдвинутая Р. Карнапом теория языковых каркасов — это прежде всего попытки решить вопрос об объектах науки. Согласно Р. Карнапу, вопрос о принятии той или иной системы объектов коррелятивен вопросу о принятии того или иного языка. Точнее, принимаются те системы абстрактных объектов, для которых имеются переменные в языке. Введение в язык имен для абстрактных объектов еще не означает принятия новой системы абстрактных объектов. Для этого необходимо введение предикатов относительно объектов этого уровня и введение переменных нового уровня. Так рассматривать свойства как объекты можно лишь в языке, содержащем переменные для свойств и предикаты относительно свойств. Принятие новой системы объектов, по Карнапу, эквивалентно введению системы новых способов речи. Последнюю процедуру Карнап называет построением языкового каркаса для вводимых объектов. Принятие той или иной системы объектов означает построение соответствующего языкового каркаса. В качестве примера Карнап приводит определенные языковые системы, которым соответствует принятие системы объектов. К ним относятся: «вещный» язык с системой наблюдаемых вещей и событий, язык системы чисел, суждений, свойств вещей и т. д.

Тезис Р. Карнапа о коррелятивности принятия той или иной системы объектов введению соответствующего языкового каркаса — без последующих дополнительных предпосылок — верен. Но он не является столь уже новым. В лингвистике, как мы увидим ниже, он защищался Уорфом⁵.

В несколько иной трактовке — на базе логики, а не языка и в предположении универсальности логической системы — этот тезис был проведен Кантом. Наконец, внешне аналогичную мысль проводит диалектический материализм в положении, на деле не только более сильным, но вообще качественно иным, — что мышление есть отражение бытия не только по содержанию, но и по форме.

Мы относим к числу достоинств теории языковых каркасов Р. Карнапа также разделение вопроса о су-

⁵ Сб. «Новое в лингвистике», вып. 1. ИЛ, М., 1960.

существовании на внешний и внутренний. «А теперь мы должны различать два вида вопросов о существовании: первый — вопросы о существовании определенных объектов нового вида *в данном каркасе*; мы называем их *внутренними вопросами*; и второй — вопросы, касающиеся существования или реальности *системы объектов в целом*, называемые *внешними вопросами*»⁶.

Другими словами, одно дело — принять всю систему объектов и установить их статус, другое дело — высказывания с квантором существования.

На наш взгляд, только в высказываниях, фиксирующих фактическое положение дел, имеются утверждения о существовании предмета мысли, и эту нагрузку несет не связка, а субъект (имя объекта) суждения. Высказывания теоретического порядка — и с квантором общности и с квантором существования — не утверждают реального существования предмета мысли, если сам предикат не выражает существования. Так, в высказывании «Товары продаются по стоимости» нет утверждения о существовании товаров. Некоторые логики соглашаются, что высказывания с квантором общности не утверждают существования предметов, тогда как высказывания с квантором существования такое существование утверждают. Но такой подход не выдерживает критики. Квантор общности можно заменить (используя отрицание) квантором существования. Откуда же тогда берется знание о существовании предмета? Дело в том, что происходит смешение высказываний, утверждающих существование предмета, с высказываниями с квантором существования. Когда мы имеем высказывание, утверждающее существование, например «М существует», то по существу мы говорим: «Х, который есть М, есть предмет объективной реальности», то есть реальное существование утверждает особый предикат.

Разграничение Карнапом вопроса о существовании на внешний и внутренний — это и есть разграничение высказываний, утверждающих статус принимаемых объектов, то есть утверждающих определенный тип их существования, и высказываний с квантором существования.

⁶ Р Карнап. Значение и необходимость. Приложение А. Эмпиризм, семантика и онтология, стр. 300.

Описанные нами два момента теории языковых каркасов (принцип коррелятивности системы языка и системы объектов, разграничение вопросов о существовании на внутренний и внешний) являются правильными и ни в коей мере не несут позитивистских установок. Тем не менее часто в нашей литературе критикуют теорию языковых каркасов — в целом, как мы увидим ниже, позитивистскую — как раз за эти два момента. Но ничего позитивистского в этих установках мы не видим.

Нельзя согласиться с Карнапом при трактовке проблемы объектов науки в одном — и это главное, определяющее основную философскую установку, — в том, что внешний вопрос не есть теоретический, познавательный. Характеризуя внешний вопрос, Карнап пишет: «Многие философы рассматривают вопрос такого рода как онтологический вопрос, который должен быть поставлен и ответ на который должен быть получен до введения новых языковых форм. В противоположность этому взгляду мы полагаем, что введение новых способов речи не нуждается в каком-либо теоретическом оправдании, потому что оно не предполагает какого-либо утверждения реальности»⁷. Далее Карнап считает, что предложение, утверждающее реальность системы объектов, есть псевдопредложение, не несущее никакого познавательного значения. Согласно Карнапу, вопрос о принятии той или иной системы объектов (или, что эквивалентно, того или иного языкового каркаса) не является и не может являться познавательным вопросом.

В действительности, однако, поскольку принятие системы идеальных объектов эквивалентно не только принятию языкового каркаса, но и принятию определенных способов идеализации, постольку вопрос о «реальности» идеальных объектов есть вопрос о том, являются ли идеальные объекты моделями реального мира. Если да, то рассуждение относительно модели (идеальных объектов) есть рассуждение (с определенной степенью точности) и о реальном мире. В каких пределах и при каких условиях идеальные объекты остаются моделями действительности, определяется принятыми способами идеализации. В такой формулировке вопрос

⁷ Р. Карнап. Значение и необходимость. Приложение А. Эмпиризм, семантика и онтология, стр. 310.

о принятии системы абстрактных объектов (соответственно языкового каркаса) есть познавательный вопрос.

Р. Карнап совершенно справедливо замечает, что вопрос о принятии той или иной системы объектов,— «это не вопрос просто о «да или нет», а вопрос о степени»⁸.

В этом он видит подтверждение тому, что вопрос о принятии той или иной системы объектов не является познавательным вопросом. На наш же взгляд, вопрос о том, является ли та или иная система идеальных объектов моделью действительности, есть познавательный вопрос; а вопрос о степени точности модели включает в себя элемент выбора, определяемого практической установкой. Достаточна ли данная степень точности — это решается для различных ситуаций различно. Например, механика Ньютона (и соответственно ее язык, принимаемая система идеальных объектов) достаточна для расчета при строительстве моста, но недостаточна для объяснения субатомных процессов.

Еще В. И. Ленин показал, что вопрос о степени точности не подменяет и не ликвидирует вопроса о самом соответствии.

Какой принять язык, или — что то же самое — в рамках какой схемы, какого разреза действительности вести ее познание, как расчленить ее,— не безразлично к самой действительности.

Именно то расчленение, та идеализация будут оправданы, которые, хотя бы приблизительно, воспроизводят действительное членение, действительный «схематизм».

Конечно, идеальный объект и система идеальных объектов, так же как сама идеализация, не являются утверждениями; поэтому мы их и не квалифицируем как истинные или ложные. Но и это не означает, что выбор идеализации (выбор языка) не является познавательной проблемой, как это считает Р. Карнап.

Тот или иной способ идеализации оправдан, если имеют место (то есть являются истинными) те предпосылки, на которых он основан.

Поясним это на примере. Простейший вид идеализации — идеализация, носящая название абстракции отожд-

⁸ Р. Карнап. Значение и необходимость. Приложение А. эмпиризм, семантика и онтология, стр. 319—320.

дествления⁹. При каких предпосылках возможна абстракция отождествления, то есть когда мы можем говорить о различных объектах как проявлениях одного и того же идеального? Абстракция отождествления будет оправдана, если между предметами рассматриваемого класса имеет место отношение типа эквивалентности, то есть это отношение рефлексивно, симметрично и транзитивно. Там, где выполняются эти предпосылки, то есть там, где они истинны, допустима идеализация типа абстракции отождествления.

Основным пороком теории языковых каркасов Карнапа и является отказ признать за так называемым внешним вопросом познавательное значение.

Получается, что прогресс науки, этапы которого характеризуются сменой картин мира, то есть сменой систем объектов, сменой языка науки, сменой способов идеализации, означает лишь изменение инструментария, а отнюдь не углубление познания, не создание все более точных «картин мира». При таком подходе взаимоотношение между описаниями мира, различающегося различной его сегментацией, но одного уровня глубины, и взаимоотношение между описаниями мира различной степени глубины, различной степени точности, есть одно и то же. Но это, очевидно, не так. Из двух моделей, описывающих действительность с одинаковой степенью точности, уместно выбрать простейшую (при условии, конечно, что и та и другая суть модели, то есть соответствующие им теории истинны). Из двух моделей, описывающих действительность с различной степенью точности, уместно выбрать более точную, если есть необходимость в этой точности.

Отказ от решения внешнего вопроса, вопроса об отношении идеальных объектов к действительности,— это отказ от решения основного вопроса философии, что, как известно, характерно для позитивизма.

Отношение различных философских направлений к проблеме идеальных объектов можно охарактеризовать следующим образом:

1) Прямое отождествление идеальных объектов с реальными предметами, наделение их статусом реально-

⁹ См. А. А. Марков. Теория алгоритмов. «Труды Математического института АН СССР», т. 42. М., 1954.

го, независимого от субъекта существования есть объективный идеализм (платонизм) или метафизический материализм (в случае принятия «языка вещей»).

2) Рассмотрение идеальных объектов как свободных конструкций ума, как всего-навсего коррелятов более или менее удобного (но произвольно принятого) способа речи есть субъективный идеализм или позитивизм, к нему ведущий.

3) Квалификация идеальных объектов как более или менее точных моделей действительности соответствует концепции диалектического материализма.

Чтобы лучше вычленить в теории языковых каркасов заключенные в ней, на наш взгляд, глубокие и правильные мысли и вскрыть пороки, определяемые философской установкой позитивизма, сравним эту теорию с некоторыми аналогичными концепциями.

Прежде всего мне хотелось бы обратить внимание на сходство теории языковых каркасов Р. Карнапа и лингвистической гипотезы Сепира — Уорфа не столько в общефилософских, сколько в логических установках.

Рассматривая язык и его отношение к нормам мышления и поведения, Уорф ограничивается семантической стороной языка и даже еще уже — его интересуется та семантическая нагрузка, которую несет грамматическая структура языка. Уорф исходит из мысли, что действительный мир, или, как он его называет, макрокосм, можно понять посредством определенной «картины мира», «мыслительного мира», или микрокосма. «Иначе говоря, «мыслительный мир» является тем микрокосмом, который каждый человек несет в себе и с помощью которого он пытается измерить и понять макрокосм»¹⁰

Согласно Уорфу, существуют различные способы, различные типы конструкции картины мира (но, конечно, не самого мира). И эти способы, типы конструкции картины мира коррелятивны соответствующей языковой системе, точнее ее грамматике. Каждой языковой системе, грамматически отличной от другой, соответствует свой тип мышления, своя система категорий. «Мы расчленяем природу, — пишет Уорф, — в направлении, подсказанном нашим родным языком. Мы выделяем в мире явлений те или иные категории и типы совсем не потому, что они

¹⁰ Сб. «Новое в лингвистике», вып. 1, стр. 153.

(эти категории и типы) самоочевидны; напротив, мир предстает перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть организован нашим сознанием, а это значит в основном — языковой системой, хранящейся в нашем сознании. Мы расчлениаем мир, организуем его в понятия и распределяем значения так, а не иначе в основном потому, что мы — участники соглашения, предписывающего подобную систематизацию»¹¹.

Ограничиваясь только той стороной теории Уорфа, которая касается взаимоотношений грамматического строя языка и способов мышления, мы вычлением в этой теории следующие моменты:

1) Различаются объективно существующий мир и картины мира.

2) Картина мира, точнее, схема, по которой строится картина мира, коррелятивна грамматическому строю языка.

3) Возможны различные типы языков, отсюда возможны различные понятийные системы, с помощью которых строятся картины мира, — принцип «лингвистической относительности».

4) В вопросе о критериях выбора языковой системы (соответственно — понятийной системы) взгляды Уорфа непоследовательны. В целом он рассматривает это как дело случая, в ряде мест пытается наметить детерминированность языковой системы культурой; имеются высказывания, что некоторые способы мышления позволяют лучше понять некоторые стороны вселенной, чем другие. Иными словами, налицо колебания между позитивистским (выбор языковой системы — дело случая) и материалистическим (язык как более или менее точное средство понимания действительности) подходом к решению этой проблемы.

Сходство между теорией Уорфа, выросшей за базе лингвистики, и теорией языковых каркасов Карнапа, возникшей на базе логико-семантических исследований, налицо. Это сходство имеет место в некоторых позитивных, на наш взгляд, положениях, а именно: 1) в тезисе о коррелятивности структуры языковой системы с принятой системой идеальных объектов (по Карнапу)

¹¹ Сб. «Новое в лингвистике», вып. 1, стр. 174—175.

или с принятой понятийной системой (по Уорфу); 2) в теории относительности языковой системы.

Имеется определенная общность и в общефилософской направленности. Правда, Карнап более последовательно стоит на позитивистских позициях (вопрос выбора языка — внешний вопрос, не есть теоретический); Уорф в этом вопросе колеблется между позитивизмом и материализмом.

Часто гипотезу Уорфа пытаются опровергнуть следующим образом. Если всякий язык содержит в себе определенную онтологию, то как в этом языке можно сформулировать иную онтологию, иное миропонимание?

Но при таком подходе смешиваются две вещи. Одно дело — те онтологические предпосылки, которые выражаются структурой языка, другое дело — те онтологические положения, которые могут быть сформулированы на данном языке. На наш взгляд, в структуре (семантической) языка содержатся определенные онтологические предпосылки. Эти предпосылки являются идеализированными допущениями относительно системы объектов, о которых может идти речь в этом языке¹².

Было бы полезным выявить эти предпосылки первоначально для наиболее простых искусственно сконструированных языков, с тем чтобы затем перейти к более сложным, в конечном итоге таким, в которых описывается современная научная картина мира. Такой анализ позволил бы вычленить систему категорий, характерную для определенного этапа познания.

Для естественных языков — языков развивающихся — этот анализ протекал бы во многом иначе, так как реально происходит непрерывное развитие нашего познания, развитие и углубление картины мира, а уже вместе с ней — развитие самих форм познания и языка, зависящего от изменения *всех* сторон жизни языка.

Посредством смены картин мира, выработки все новых систем абстрактных объектов происходит все более глубокое познание объективно существующей дей-

¹² Эти «онтологические предпосылки» нельзя толковать расширительно, в смысле мировоззренческого диктата языка в отношении мышления, от чего не удержался Уорф. Критику этой его существенной ошибки см. в статье В. А. Звегинцева, помещенной в настоящем сборнике, а также в статье в журн. «Вопросы философии», 1961, № 3.

ствительности. То, что человеческий разум имеет дело не только с явлениями (в смысле Канта), не только с абстрактными объектами, но через них и с самой реальностью, подтверждается тем фактом, что он не замыкается в какой-то раз навсегда данной логической или языковой системе, а при необходимости разрывает рамки этих систем, переходя к более обширным и более адекватным. История науки это подтверждает. Субъективно-предикативная форма суждения была преодолена в пользу более широкой, базирующейся на отношении. Себе тождественный объект классической физики заменяется порождаемым и уничтожаемым объектом квантово-релятивистской концепции. Динамическая закономерность сменяется статистической.

Оставаясь в пределах теоретического освоения действительности, невозможно выйти за пределы имманентного сознанию. Но все дело в том, что само теоретическое освоение действительности основывается на практическом ее освоении. Человек расчленяет природу не только теоретически, но и практически. И практически не в смысле Карнапа, а реально преобразовывая мир, трансцендентный сознанию. Как раз практическое освоение действительности перебрасывает мост между имманентным и трансцендентным и делает возможным рассматривать внешний вопрос — об отношении имманентного и трансцендентного — как вопрос познавательный.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГНОСЕОЛОГИИ
«ОПЕРАЦИОНАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ» А. РАПОПОРТА

Для современной буржуазной философии в целом характерны не только обилие в ней различных философских «школ», но и их интеграция. Одним из основных мотивов последней является общность интересов буржуазных философов в их борьбе против идей диалектического и исторического материализма. Это особенно наглядно обнаруживается на международных конгрессах и встречах, когда представители марксистско-ленинской философии полемизируют с буржуазными философами. В дискуссиях буржуазные философы в столь широкой степени пытаются использовать аргументы различных идеалистических школ, что по их выступлениям порой трудно судить, к какой собственно школе принадлежат они сами, хотя в иной обстановке каждый из них охотно объявляет себя основателем совершенно особого и чуть ли не самого могучего из всех «измов» в философии.

В буржуазной философии в настоящее время наблюдается взаимотяготение прагматизма и семантической философии. Именно в результате этого сложилась так называемая «операциональная философия» как продукт скрещивания семантического идеализма с прагматизмом на базе уже обанкротившегося махизма¹.

¹ Констатируя общность содержания прагматизма, позитивизма и операционализма, американский прогрессивный мыслитель Ф. М. Тильден в интересной статье «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина и кризис современной физики» приходит к справедливому выводу: «Точно так же, как Ленин показал, что «новая философия» Маха и эмпириокритиков была не что иное, как перепев идеализма Беркли, сегодня «новая философия» логического позитивизма и операционализма представляет собой не что иное, как перепев махизма» (Philipp M. Tilden. Lenin's «Materialism and Empiricriticism» and the Crisis in Physics Today. «Political Affairs». N. Y., 1953, v. XXXII, No. 9, p. 591).

Возникновение операциональной философии семантиков в определенном смысле связано с появлением операционального анализа в интерпретации физики и с именем основателя последнего — американского физика Перси Бриджмена. Сам Бриджмен пишет, что идеи операционализма (операционизма) возникли у него еще в 1914 г. в связи с исследованием методологических проблем электродинамики. Концепция операционального анализа, но пока без употребления названия «операционализм», была им опубликована в 1922 г.² Термин же «операция» в специфическом «операциональном» смысле Бриджмен употребил в 1923 г. на симпозиуме по теории относительности в Бостоне. В более разработанном виде теория операционального анализа изложена в книге П. Бриджмена «Логика современной физики»³.

Согласно учению об операциональном определении, развитому Бриджменом в названной книге, а также в других работах, определить какой-либо предмет — значит указать на те операции, при осуществлении которых возникает определяемый предмет. Приложение этого учения к математическим понятиям означало отождествление определения с алгоритмом. Само по себе операциональное определение как указание способа возникновения определяемого предмета не заслуживает отрицания его с порога. По своему логическому содержанию операциональное определение имеет связь с давно известным генетическим определением. Способ возникновения предмета имеет большое значение для понимания его сущности во многих науках, в частности в экспериментальной физике, в лингвистических проблемах машинного перевода и в структуральной лингвистике. Применение операционального определения в этих областях знания является вполне правомерным. Нам представляется совершенно справедливым следующее замечание Луи Ельмслева: «В некоторых случаях необходимо в ходе лингвистического описания ввести в добавление к формальным определениям *операциональные* определения, играющие только временную роль»⁴.

² См. P. W. Bridgman. Dimensional Analysis. Jall., 1922.

³ См. P. W. Bridgman. The Logic of Modern Physics. N. Y., 1927.

⁴ «Новое в лингвистике», вып. 1, стр. 281. Ср. В. А. Звегинцев. Очерки по общему языкознанию, гл. II, § 3. Изд-во МГУ, 1962.

Обратим внимание на то, что Ёльмслев вводит операционное определение как *добавление* к формальным определениям. У Ёльмслева в данном случае нет и речи о том, что применение операционального определения исключает формальные определения. Он отождествляет операциональные термины с рабочими терминами (см. там же, стр. 338). Высоко оценивая идею операционального определения в науке о языке, советский лингвист С. К. Шаумян вместе с тем отмечает: «Существуют случаи, когда операциональные определения не применяются. Речь идет о тех многочисленных случаях, когда одни конструкты определяются через другие конструкты»⁵.

Между тем в работах П. Бриджмена и его последователей из лагеря «общей семантики» роль операциональных определений явно преувеличена, значение их абсолютизировано, и они объявлены единственно научными определениями. Так, Бриджмен утверждал, что понятия, не поддающиеся операциональному определению, лишены научного смысла.

П. Бриджмен интерпретировал основные понятия своей теории с позиций субъективного идеализма. В советской литературе уже раскрыта идеалистическая сущность исходных гносеологических посылок теоретических взглядов Бриджмена⁶.

Но на наш взгляд, П. Бриджмен вряд ли разработал операционализм как философскую систему; субъективистские предпосылки операциональной концепции П. Бриджмена разрослись в целую гносеологическую систему в философии «общих семантиков», и прежде всего у А. Рапопорта.

Операциональный анализ, с точки зрения Рапопорта, не является только узко логической теорией. Один из трех разделов своей книги «Операциональная философия» он даже посвящает «операциональной этике».

⁵ Применение логики в науке и технике. Изд-во АН СССР, М., 1960, стр. 153. О значении операционального определения см. также: Г. А. Брутян. Теория познания общей семантики, Ереван, 1959, стр. 50—52.

⁶ См. Т. Н. Горнштейн. Современный позитивизм и философские вопросы физики. «Современный субъективный идеализм». Соцэкгиз, М., 1957, стр. 397—420; Б. Э. Быховский. Операционализм Бриджмена. «Вопросы философии», 1958, № 2, а также статью Н. А. Киселевой в настоящем сборнике.

Связь философии и социологии «общей семантики» с операционализмом Рапопорт усматривает в том, что А. Кожибский (основатель «общей семантики») сделал операционализм методом изучения «человеческих дел». Вместо проблемы взаимоотношения «субъекта» и «объекта», свойственной, как выражается Рапопорт, «старой философии», операциональная философия рассматривает взаимоотношение между мышлением и действием.

В этом пункте Рапопорт усмотрел сходство между самыми различными мыслителями. Здесь прежде всего он упоминает Маркса, который, с точки зрения Рапопорта, пытался показать, как экономический строй общества, то есть «действие», определяет мысли людей о характере общества и даже физического мира. Очевидно, что такая характеристика ничего общего не имеет с действительным тезисом Маркса о зависимости общественного сознания от общественного бытия. Так же без всякого основания Рапопорт относит к сторонникам своей концепции Эйнштейна и Фрейда. Дьюи он называет одним из пионеров операциональной философии, а прагматизм считает в определенном смысле синонимом операционализма. В справедливости последнего замечания Рапопорту нельзя отказать. Он прав также, считая, что общность прагматизма и операционализма выражается прежде всего в определении истины и в понимании мотивов обучения людей. Безусловно, можно согласиться с Рапопортом и тогда, когда он заявляет, что имеется определенная общность во взглядах Дьюи и Кожибского.

Операциональная философия зиждется на известном гносеологическом фундаменте. Именно с гносеологии и начинается Рапопорт изложение своей философии.

Любая гносеология исходит из определенного решения основного вопроса философии. Этот вопрос ставится также и в философии операционализма, но в своеобразной форме: «Реально ли X?».

Ответ на этот вопрос дается типично неопозитивистский. «Операциональная философия,— пишет Рапопорт,— избегает многократно обсуждаемого вопроса «существует ли мир независимо от наших наблюдений». Этот спор никогда не мог бы быть решен, ибо спорящие стороны не имели общепринятого критерия применительно к вопросу о реальности. Вместо формулировки воп-

роса «что такое реальность» операциональная философия *ищет приемлемый критерий реальности*. Операциональный философ спрашивает: «К какому виду опыта отсылают обычно люди, когда они говорят, что нечто *«реально»?*»⁷. Однако такой ответ не спасает «операционального философа» от субъективизма, ибо он в конце концов ставит существование вещей в зависимость от тех операций, к которым он прибегает для определения природы этих вещей. «Операциональное определение веса... подразумевает, что понятие «вес» не может быть отделено от тех операций, которые измеряют его»⁸. При этом Рапопорт указывает, что различные операции могут дать различные результаты.

Философская позиция представителя операциональной философии сделается более ясной, когда будут разобраны его рассуждения о природе и применимости определения. Оказывается, что, по его мнению, нет никакого общего правила для создания определений. Оперирование определениями является скорее искусством, чем наукой. «Это означает,— разъясняет Рапопорт,— что при выборе хорошего определения мы большей частью руководствуемся интуитивными чувствами насчет потребностей данной ситуации, нежели применением хорошо выработанных принципов»⁹.

Вряд ли можно сомневаться в том, что если философ ставит существование вещей в полную зависимость от определений, а при выборе последних руководствуется интуицией, то он не имеет права считать, что ему удалось избежать вопроса о том, существует ли мир независимо от наших «наблюдений» (ощущений и переживаний). Мало того, он склоняется к тому, чтобы поставить мир в зависимость от «интуиций» этих переживаний.

Сторонники операциональной философии противопоставляют свое учение о так называемой «традиционной» философии, понимая под ней, как и неопозитивисты, всю философию, предшествующую своей собственной, то есть в данном случае операциональной философии. По мнению Рапопорта, вместо вопросов «традиционной» философии: «Какова природа вещей? Что такое реаль-

⁷ A. Rapoport. Operational Philosophy. N. Y., 1953, pp. 22—23.

⁸ Ibid., p. 24.

⁹ Ibid., p. 19.

ность?», операциональный философ спрашивает: «Какой вид ответов хотят иметь люди, когда они спрашивают «Что такое X?» или «Реально ли X?». Однако это типично прагматическое объяснение поставленных вопросов, и напрасно Рапопорт именно в этом усматривает подлинную специфичность операциональной философии.

Ближайшее ознакомление с операциональной философией показывает ее сходство с теорией так называемой лингвистической относительности. Едва ли не самой фундаментальной проблемой операциональной философии, по мнению Рапопорта, является вопрос об отношении языка к человеческому опыту. «Коммуникации» между людьми можно осуществить лишь в том случае, если они располагают одним и тем же опытом. В организации последнего операциональная философия отводит особую роль языку. «Изучение отношения языка к человеческому опыту,— пишет А. Рапопорт,— главная забота операциональной философии»¹⁰. При этом она, в отличие от логического позитивизма, акцентирует внимание на психологических и культурных аспектах языка.

Собственно говоря, в этом вопросе трудно усмотреть какую-либо разницу между операциональной философией и «общей семантикой». Еще задолго до появления «Операциональной философии» Рапопорта Альфред Кожибский в полном согласии с гипотезой Сепира — Уорфа пытался доказать решающую роль языка в мышлении, познании и поведении людей¹¹. Говорить действительно на одном и том же языке, с точки зрения Рапопорта, означает понимать друг друга. Вот почему он считает, что люди говорят на одном и том же языке тогда, когда у них один и тот же опыт. И в равной мере, люди могут употреблять одни и те же слова (говорить

¹⁰ A. Rapoport. *Operational Philosophy*, p. 14.

¹¹ Критику этой точки зрения см.: В. А. Звегинцев. Теоретико-лингвистические предпосылки гипотезы Сепира — Уорфа. «Новое в лингвистике», вып. 1, а также в нашей статье «К философской оценке теории лингвистической относительности» (о гипотезе Сепира — Уорфа — Кожибского). «Историко-филологический журнал». Ереван, 1961, № 2. Ср. статью И. С. Нарского «Критика концепции языка в теории познания «общей семантики» в сб. «Критика современной буржуазной философии и социологии», М., 1961, а также книгу A. Neubert. *Semantischer Positivismus in den USA*. Halle, 1962.

на английском языке), однако не понимать друг друга и, следовательно, «говорить на разных языках», если у людей различно содержание опыта. Это происходит потому, что, по мнению Рапопорта, «значения слов находятся не в самих словах, а в опытах (experiences), стоящих за ними»¹². Опыт же в операциональной философии понимается субъективистски.

Эта точка зрения совпадает со взглядами «общих семантиков». С. Хайакава, видный представитель этого течения, утверждает, что «значение слов не заключается в словах: оно в нас»¹³. Этот тезис в еще более решительной форме высказан Д. Броуном: «...любые языковые значения, как лексические, так и грамматические, находятся не в самом языке, а в сознании тех, кто употребляет этот язык»¹⁴.

Таким образом, в силу субъективистского понимания опыта совпадает истолкование значения как признака опыта и как содержания сознания субъекта.

На самом же деле, как показано в исследованиях советских философов и лингвистов, под значением слова было бы неверно понимать сам предмет или же опыт субъекта. Значение слова — это категория отношения, а именно познавательного отражения свойств предмета. Значение обусловлено предметом, существующим независимо от субъекта, но не «находится» в предмете, как не «находится» и в субъекте¹⁵.

Как в гносеологии неопозитивизма в целом, так и в операциональной философии большое место занимает проблема истины. При определении истинности суждений операционализм пользуется принципом верификации, выдвинутым логическим позитивизмом. Не случайно, что логических позитивистов Рапопорт называет даже основателями современной операциональной философии. Рапопорт всецело связывает механизм действия принципа верификации с «операциями» в том смысле, в каком они понимаются в операциональной философии

¹² A. Rapoport. Operational Philosophy, p. 14.

¹³ S. I. Hayakawa. Language in Thought and Action. N. Y., 1949, p. 292.

¹⁴ D. W. Brown. Does Language Structure Influence Thought? «Comments on the Psycho-linguistic Experiment of General Semantics», 1960, v. XVII, No. 3, p. 340.

¹⁵ См., в частности, А. И. Смирницкий. Значение слова. «Вопросы языкознания», 1955, № 2.

фии. Однако, согласно взглядам Рапопорта, операциональная философия самостоятельно обнаружила некоторые трудности, связанные с применением принципа верификации внутри логического позитивизма. Верификации (непосредственной чувственной проверке) подлежат простые предложения типа: «Идет дождь», «Название этой книги — «Операциональная философия» и т. д. Но не так легко вопрос о верификации решается при выяснении, например, истинности суждения о форме Земли. Рапопорт считает, что в этом случае разные конкретные приемы верификации ведут к существенно различным результатам.

По мнению Рапопорта, в ряде случаев возникает конфликт между логической правильностью и эмпирической истинностью. Для пояснения этого тезиса Рапопорт приводит следующий пример. Умозаключение «если все преступники — ненадежные люди, и этот человек преступник, то этот человек ненадежен» — логически правильно, но оно же может быть эмпирически ложным, т. е. фактическая проверка может показать, что на этого человека можно положиться во многих ситуациях¹⁶. Но этот довод зиждется на нигилистической оценке познавательного значения силлогистического умозаключения и заимствован, кстати говоря, по существу у английского прагматиста Ф. Шиллера¹⁷. И этот довод явно несостоятелен. Общеизвестно, что в случае правильности структуры силлогизма его заключение может быть ложным лишь в том случае, если посылки (или одна из их) являются ложными. Именно так и обстоит дело с примером Рапопорта, где ложность вывода обусловлена не чем иным, как ложностью большей посылки. «Конфликт» же между логической правильностью и эмпирической истинностью, о котором он пишет, мог бы возникнуть лишь в том случае, если бы, несмотря на строгое соблюдение логической правильности, из истинных посылок вытекал ложный вывод, чего в действительности не случается.

Отвергая аргумент А. Рапопорта против универсализации принципа верификации, мы, разумеется, не берем под защиту сам этот принцип, который является по

¹⁶ См. А. Рапопорт. *Operational Philosophy*, pp. 31—32.

¹⁷ См. F. C. S. Schiller. *Are all Men Mortal?* «Mind», 1935, v. 44, No. 174.

существо одним из выражений субъективно-идеалистической сущности неопозитивизма.

Самую серьезную трудность в применении принципа верификации Рапопорт видит в том, что верифицируемость таких суждений, как «Вселенная конечна», «Бог — это любовь», или «Мистер Х — предатель», далеко не очевидна. Заметим, что Рапопорт не первый указал на эту трудность и сами представители неопозитивизма пытались различными путями разрешить ее.

По утверждению Рапопорта, все трудности, связанные с принципом верификации, преодолеваются операциональной философией. С этой целью он предлагает признать два вида истинности, связанные с понятием верификации: 1. Если верификация включает в себя рассмотрение вещей, а не самого данного утверждения или других утверждений, то мы имеем дело с истинностью в собственном смысле. Так, для верификации истинности утверждения «Снег бел» мы рассматриваем снег, а не само это суждение (утверждение). 2. Если верификация включает в себя рассмотрение только утверждений как таковых, мы имеем дело с правильностью (validity). Например, для верификации правильности утверждения «Если Джон муж Марии, то Мария жена Джона» мы рассматриваем не Джона и Марию, а только то, что гласит данное предложение, то есть его строение. В некоторых случаях возможно проверять как истинность, так и правильность утверждения. Это положение Рапопорт иллюстрирует на следующем примере: «Квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов его других сторон». Правильность этой «теоремы Пифагора» можно проверить логически путем выяснения того, выводится ли она дедуктивно из других утверждений евклидовой геометрии. В то же время мы можем проверять истинность данной теоремы и непосредственно через измерение сторон прямоугольного треугольника.

Расщепление истинности на собственно истинность и на «логическую правильность» отнюдь не есть изобретение самого Рапопорта. В этом различии есть, бесспорно, рациональное зерно. Но важно заметить, что Рапопорт использует это различие для вывода о том, будто бы границы применения чувственного критерия истины все более и более суживаются применением «язы-

кового» критерия. Ограничивая поле действия принципа верификации (как принципа непосредственно чувственной проверки истинности), операциональная философия тем самым суживает объем понятия истины.

Механизм осуществления чувственной верификации Рапопорт расчленил на три «условия», причем, с точки зрения его операциональной философии, всякое предложение (суждение) может быть истинным, ложным, неопределенным или же бессмысленным. Вот эти «условия»:

1. Утверждение подразумевает предвидения (predictions), проверяемые возможными операциями их осуществления;

2. Операции в их реализации доводятся до фактической проверки предвидений;

3. Предвидения верифицируются операциями.

Согласно операциональной философии утверждение операционально-истинно, если соблюдены все три указанных условия. Утверждение ложно, если выполнение третьего условия приводит к отрицательному результату. Если же отсутствует второе условие, то утверждение является неопределенным. И, наконец, утверждение операционально-бессмысленно при отсутствии первого условия.

Деление осмысленных предложений не только на истинные, ложные и научные неосмысленные, но, кроме того, еще и на неопределенные, учитывает по сути дела необходимость различения между принципиальной верифицируемостью и верифицируемостью «технической», ибо неопределенные утверждения, по определению Рапопорта, — это такие предложения, которые «в принципе верифицируемы, но не могут быть верифицированы в данной ситуации»¹⁸. Независимо от Рапопорта, это разграничение было введено еще ранее в гносеологии логического позитивизма (например, Г Райхенбахом).

Для выяснения же вопроса о том, не является ли данное суждение научно неосмысленным, соблюдение первого условия, по Рапопорту, достаточно лишь в том случае, если имеется соглашение насчет характера необходимых операций. Если же таких определенных соглашений нет, то такие суждения, с операциональной

¹⁸ А. Рапопорт. Operational Philosophy, pp. 33—34.

точки зрения, являются лишь условно (provisionally) бессмысленными.

Если можно утверждать, что неопозитивисты своим принципом верификации не внесли в гносеологию субъективного идеализма ничего принципиально нового, поскольку «у классиков» последнего (Беркли, Юм) было уже намечено общегносеологическое содержание этого принципа, то тем более это можно сказать в адрес операциональной философии, если сравнивать ее с неопозитивизмом в целом, в качестве одной из разновидностей которого она и выступает. Сведение критерия истины к операциям, которые неотделимы от содержания сознания субъекта, в гносеологическом плане ничем не отличается от объяснения принципа верификации основоположниками логического позитивизма (Шлик, Витгенштейн, Карнап), которые считали критерием истины ее соответствие чувственным переживаниям людей. Основной порок гносеологии как логического позитивизма, так и операциональной философии, то есть неопозитивизма в целом, заключается в данном вопросе в игнорировании общественной практики как критерия истины и ее предметного, материального характера.

Конечно, в частности между операциональной трактовкой принципа верификации и его интерпретацией основоположниками логического позитивизма имеются различия, о которых уже упоминалось. Так, интерпретация А. Рапопорта переводит принцип верификации в термины операций (манипуляций) его применения. Если основоположники логического позитивизма первоначально считали бессмысленными все предложения, содержание которых не поддается непосредственному наблюдению, в результате чего в схему принципа верификации не укладывались предложения, выражающие общие законы науки, то операциональная философия попыталась избежать этой явной несуразности. Выше мы отметили, что операциональная философия к таким предложениям (особенно к предложениям средней степени общности) применяет понятие правильности, а научно неосмысленными считает те предложения, из которых не выводятся следствия, которые могли бы быть проверены возможными операциями. Но это есть своего рода кастрация истины, поскольку А. Рапопорт не сумел объяснить, как само понятие правильности вытекает из

истинности. Операциональная философия отнесла к сфере «правильности» или «неправильности» суждения типа «Объективный мир существует независимо от нашего сознания» и лишила их тем самым возможности называться истинными, хотя и сделала это в более завуалированной форме, чем логические позитивисты, отбросившие этот тезис вообще за пределы науки.

Необходимо отметить также, что Рапопорт попытался использовать учение о верификации в интересах антимарксистской пропаганды. В одной из своих последних статей Рапопорт вместе с Горовитцем пишут, что марксистское учение об обществе, или, по их словам, «теории Маркса насчет социальной динамики нельзя ни опровергнуть, ни верифицировать»¹⁹.

Что касается «правильности», то обратим внимание на то, что это понятие в операциональной философии имеет конвенциональный характер. Считая правильность утверждения зависящей только от логической, внутренней последовательности знаков, от правил дедукции, Рапопорт замечает: «Меняйте ваши утверждения или меняйте ваши правила, и то, что считалось правильным, станет неправильным в новой системе»²⁰. Правила силлогизма, например, Рапопорт сравнивает с правилами игры в шахматы.

А. Рапопорт восстает против «старого способа» гносеологической характеристики дедукции: заключение истинно, если истинны посылки. «Коль скоро установлено различие между истинностью и правильностью, понятие «истина» исчезает из теории дедукции»²¹, — заявляет Рапопорт.

Разделяя истинность и правильность в операциональном смысле глубокой пропастью, Рапопорт не только резко суживает сферу применения понятия «истина» (из компетенции истины он исключает все научные положения, имеющие дедуктивное происхождение), но и неверно толкует одно из важнейших понятий логической теории дедукции — «правильность». На самом деле правильность зависит от истинности. В результате соб-

¹⁹ A. Rapoport, A. Horowitz. The Sapir — Whorf — Korzybsky Hypothesis: a Report and Reply. «ETC: a Review of general semantics», 1960, v. XVII, No. 3, p. 363.

²⁰ A. Rapoport. Operational Philosophy, p. 39.

²¹ Ibid., p. 40.

людения правил дедукции, то есть ее правильности, при истинности взятых посылок, мы получаем *истинное* заключение, *истинный* вывод, то есть вывод, соответствующий объективной действительности. По справедливому замечанию Ф. Энгельса, «если наши предпосылки верны и если мы правильно применяем к ним законы мышления, то результат должен соответствовать действительности...»²². Очевидно, что о заключении (выводе) мы с полным основанием можем и должны говорить, что оно истинно (или же, что оно ложно).

Каков же характер исходных посылок дедуктивного умозаключения? Согласно операциональной философии А. Рапопорта они не могут быть истинными, но тоже лишь правильны, опять-таки в том смысле, что выведены дедуктивным путем из других посылок, последние же в свою очередь дедуцированы из иных посылок и т. д., но этот «обратный процесс» дедукции где-то должен прерваться, и посылки должны «лицом к лицу встретиться» с действительностью. Однако для того чтобы совершенно изгнать истину из дедуктивной теории, Рапопорт считает, что первоначальные посылки, из которых в той или иной дедуктивной цепи выводятся все остальные посылки и заключительный вывод, имеют конвенциональный характер: «их правильность — просто дело соглашения»²³.

Выше был отмечен контакт гносеологии операциональной философии с теорией лингвистической относительности. И это отнюдь не какое-то мимолетное обстоятельство. В конце концов операциональная философия ставит истину в зависимость от языка, от лингвистических правил. Это осуществляется через уже упомянутую трансформацию истины в правильность.

С этой целью Рапопорт стремится доказать, например, что формулы силлогизма не всегда дают правильные результаты. Он приводит следующий пример:

X сын Y
Y сын Z
Следовательно, X сын Z.

²² Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. Госполитиздат, М., 1957, стр. 317.

²³ А. Рапопорт. Operational Philosophy, p. 40.

Показав на этом примере ложность заключения, получающегося, если слепо следовать формуле «Все xRy , все yRz , следовательно, все xRz », Рапопорт видит причину такого результата в том, что приведенная формула умозаключения не соответствует правилам нашего обычного языка. «Мы замечаем теперь,— пишет Рапопорт,— что силлогизм теряет свою силу по отношению к нашим лингвистическим правилам»²⁴. Эта формула умозаключения имела бы логическую силу, рассуждает Рапопорт, в том случае, если бы отношения «быть сыном» и «быть внуком» выражались одним словом, подобно тому как «брат матери», «брат отца» и даже «муж сестры матери» и «муж сестры отца» и другие родственные отношения выражаются одним словом «дядя». На основе этого А. Рапопорт делает следующий обобщающий вывод: «Мы заключаем, следовательно, что правильность (validity) силлогизма и других логических выводов зависит исключительно от лингвистических правил и ни в коем случае (?) не зависит от «фактов». Противопоставляя по существу дедукцию индукции (хотя формально он ратует за их синтез), Рапопорт считает, что в то время как индукция обращается к познанию реального мира, «дедукция интересуется не опытами (experiences), а утверждениями. Она является не познанием мира, а познанием языка или использования символов»²⁵.

Вся изложенная нами концепция Рапопорта основана на смешении элементарных логических вопросов. В самом деле, классическая форма силлогизма (« X суть Y , Y суть Z , следовательно, X суть Z ») выражает объемное отношение между понятиями. Рапопорт же, во-первых, не видит разницы между этой формулой и умозаключением через отношения (« xRy , yRz , следовательно, xRz ») и, что еще более важно в данном случае, при помощи умозаключения через отношения пытается получить вывод из переноса интранзитивных отношений, что недопустимо и является ошибкой. Но через опровержение этой логической конструкции рушится и вывод Рапопорта о зависимости логических выводов от чисто лингвистических правил. Да иначе не могло и

²⁴ А. Рапопорт. Operational Philosophy, p. 43.

²⁵ Ibid., p. 49.

быть! Вся практика человеческого мышления доказывает общечеловеческую природу законов и форм логики, чем содержание последней и отличается от правил языка, имеющих национальный характер.

Впрочем, Рапорт не довольствуется объяснением «правильности» путем ссылок на лингвистические факторы. В компетенцию последних в операциональной философии попадает также сама истинность и истина в собственном смысле этих слов. Если сферу правильности, с точки зрения Рапорта, составляет исключительно язык, то область истинности и истины — это отношение между языком и опытом.

Если последовательно развивать эту концепцию далее, она приводит к плюралистическому пониманию истины, с тем, однако, отличием от прагматического понимания плюрализма, что последний в данном случае понимается как результат различий в языках.

Но независимо от того, по какому пути пойдет дальше операциональная философия в интерпретации истины, ясно одно — что она направлена против тезиса об объективном характере истины, против признания достоверности наших знаний в рамках науки. Не случайно, что в итоге изложения операциональной теории истины Рапорт приходит к выводу о том, что «всякая научная истина является гипотезой»²⁶.

Несомненно, гипотезы играют большую роль в науках. По справедливому замечанию Ф. Энгельса, «формой развития естествознания, поскольку оно мыслит, является гипотеза»²⁷ Однако это отнюдь не означает, что в науках нет никаких достоверных положений, не гипотетических, но уже доказанных теорий. Ценность гипотезы заключается именно в том, что она в конце концов способствует установлению закона в «чистом» виде.

Познать предмет означает выяснить причину его возникновения. Не случайно проблема причинности в операциональной философии рассматривается как только чисто гносеологическая проблема. Но с самого же начала рассмотрения этого вопроса Рапорт допускает явно позитивистскую ошибку — резко противопоставляет философию другим наукам, считая, что «философия» и

²⁶ А. Рапорт. *Operational Philosophy*, p. 50.

²⁷ Ф. Энгельс. *Диалектика природы*. Госполитиздат, М., 1948, стр. 193.

«наука» дают совершенно различные толкования проблемы причинности. С точки зрения операциональной философии такие понятия, как «реальность» и «каузальность», являются «метафизическими категориями». В конце концов создатель этой философии признает, что все, что он может сделать в данном вопросе,— это лишь солидаризироваться с прагматизмом. «Позиция операционалиста по отношению причинности,— пишет А. Рапопорт,— является прагматистской. Всякое причинное объяснение приемлемо, если оно служит экономии или служит умелому обращению с ситуацией»²⁸.

Сопоставляя теорию познания неопозитивизма с операционалистской гносеологией, А. Рапопорт приходит к выводу, что «позитивизм был прямым предвестником операционализма»²⁹.

Тем не менее, по мнению Рапопорта, «позитивизм и операционализм не тождественны», так как операциональная философия избегает крайностей в отрицании «метафизических понятий». Если позитивист прямо признает такие понятия, как «флогистон», «эфир» и т. д. негодными, то операционалист их называет «концептуальными моделями». Операционалист допускает построение всяких моделей, считая, что все они стимулируют наше познание, если хотя бы в малой степени соответствуют нашим операциям.

Далее, если неопозитивизм требует операционального определения всех понятий в физике, то операционализм допускает менее точное, но более «либеральное» так называемое постулированное (postulational) определение. Этот вид определения, по объяснению Рапопорта, отражает необходимость описывать нечто в определенных терминах. Постулированное определение преследует цель объяснения одного через другое, которое уже известно. Это значит, что операционализм стал прибегать к таким понятиям, которые не могут быть определены операционально. Но Рапопорт создает дымовую завесу, чтобы прикрыть ею факт бесславного крушения операциональной философии. Он утверждает, что операционализм по-прежнему отдает предпочтение операциональным определениям, считая, что вещи, определяемые операционально, «более реальны», чем те,

²⁸ А. Рапопорт. Operational Philosophy, p. 78.

²⁹ Ibid., p. 75.

которые определяются постулированным определением³⁰. Предметы же, которые поддаются лишь последнему определению, Рапопорт склонен считать лишь более или менее эфемерными концептуальными моделями. Посредством указанных различий операциональная философия по существу не отходит от позитивистских позиций, но лишь пытается защитить ортодоксальный позитивизм. Именно отрицание «субстанциальных понятий» было ахиллесовой пятой позитивизма. Однако «концептуальные модели», выдвинутые операционализмом в дополнение к позитивистской гносеологии, не вносят ничего принципиально нового в общую теорию позитивизма, так как это понятие вытекает из неопозитивистского учения о «логических конструкциях», которые выдвигаются типичными неопозитивистами.

Попытка утверждать, будто операционализм выступает против крайностей неопозитивизма в отрицании «метафизики», на деле есть попытка замаскировать пороки современного позитивизма в целом.

³⁰ A. R a p o r t. Operational Philosophy, p. 77

СЕМАНТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛИЗМ О ПРИРОДЕ ЯЗЫКА

Современный семантический идеализм Ричардса, Огдена, Морриса и других теоретиков объявляет основные философские вопросы чисто языковыми и пытается решить их путем упорядочения употребления языка. Центральную проблему этого направления мысли, естественно, представляет проблема природы языка и его категорий («значение» и др.).

Одной из наиболее распространенных среди семантиков теорий, которые исследуют природу и сущность языка, является теория знаков, систематически развитая и обоснованная Ричардсом и Огденом в их книге «Значение значения»¹.

Ричардс и Огден выступили на лингвистическую и философскую арену с большими претензиями. По их заявлениям, наука символизма, созданная ими в труде «Значение значения», дает совершенно новое понимание тех традиционных проблем, которые в течение долгого времени вызывали ожесточенные споры среди философов и метафизиков. Наука символизма, по их мнению, фундаментально изучает роль символов вообще, в том числе и языковых, в человеческой деятельности; особое значение придается при этом проблеме влияния символов на мышление.

Нередко говорят, что слова (символы) касаются непосредственно фактов. По мнению Ричардса и Огдена, это большое заблуждение. Слова сами по себе не имеют никакого значения. Слова обозначают что-либо

¹ I. A. Richards, C. K. Ogden. The Meaning of Meaning. N. Y., 1956 (впервые опубликована в 1923 г.). В задачу настоящей статьи не входит анализ проблемы знакового характера языка вообще. Мы хотим лишь показать, что теория знаков, основанная на позитивистской гносеологии и развитая Ричардсом, Огденом и некоторыми их единомышленниками, несостоятельна.

лишь тогда, когда кто-нибудь, кто способен мыслить, использует их для обозначения предметов. Это соображение Ричардс и Огден приводят для того, чтобы подчеркнуть тесную связь слов именно с мыслями. Связь слов с предметами, по мнению этих семантиков, всегда должна быть опосредована мыслью. Для иллюстрации своей точки зрения Ричардс и Огден предлагают следующую диаграмму:



По углам треугольника располагаем три фактора — символ, мысль и референт. (Предмет, обозначенный словом, Ричардс и Огден предлагают называть «референтом».) По сторонам треугольника разместятся те отношения, которые существуют между символом и мыслью и между мыслью и «референтом»². Эта диаграмма представляет точную формулировку точки зрения Ричардса и Огдена. Она дает нам и возможность установить пороки, присущие основным положениям этих двух семантиков.

Прежде всего нужно отметить, что теории Ричардса и Огдена присуще тесное родство с другими позитивистскими течениями, распространенными в английской и американской философии во второй четверти XX в.

Представители более поздних неопозитивистских течений, в частности логические позитивисты, пытались для каждого предложения науки найти соответствующий ему единичный факт и таким образом свести все наше знание к данным непосредственного опыта (sense-data).

Ричардс и Огден хотели решить эту задачу, указав для каждого слова на соответствующий ему единичный объект — «референт». Поэтому они не смогли понять значения слова как средства обобщения и пренебрегли тем фактом, что слово выражает общее понятие.

² I. A. Richards, C. K. Ogden. *The Meaning of Meaning*, p. 10.

Естественно, что в теории Ричардса и Огдена слово выполняет лишь функцию знака. Слово соотносится с единичным «референтом» и превращается в простой знак этого «референта». Рассмотрение вопросов языка приводит Ричардса и Огдена к необходимости создания теории знаков вообще.

Всю свою жизнь мы рассматриваем предметы как знаки, а потому изучение интерпретации знаков есть начало мудрости, заявляют Ричардс и Огден. Суть же интерпретации заключается в следующем: если какой-нибудь контекст оказал в прошлом на нас влияние, то на повторное воздействие на нас части этого контекста мы отвечаем такой же реакцией, как и при воздействии контекста в целом.

Возьмем такой пример — тесно связанные в нашем сознании два таких явления, как чирканье спичкой и появление пламени. Этого достаточно, пишут Ричардс и Огден, для того чтобы, услышав чирканье спичкой, мы повели бы себя так, как ведем себя при наличии пламени. В этом случае мы можем сказать, что «знак есть тот стимул, который походит на часть первичного стимула и который может вызвать впечатление, созданное первичным стимулом. Это впечатление есть не что иное, как след той адаптации к первичному стимулу, которая выработалась у организма»³.

Вышеприведенное определение понятия знака предполагает, что наши опытные данные время от времени повторяются, то есть опыт дается нам в более или менее однородных контекстах. Благодаря этой повторяемости и возможна, по мнению Ричардса и Огдена, интерпретация знаков. Собака, которая перед кормлением слышит звонок, привыкает к тому, что после звонка должен появиться корм. Давно известный и хорошо изученный И. П. Павловым факт выработки условных рефлексов Ричардс и Огден перетолковали так: собака интерпретирует звонок как знак.

Группу данных опыта, которые время от времени повторяются, Ричардс и Огден называют внешним или физическим контекстом; серия же психических явлений, например прошлое и настоящее восприятие звука звон-

³ I. A. Richards, C. K. Ogden. *The Meaning of Meaning*, p. 53.

ка, которое имеется у нашей собаки, и тот психический процесс, который побуждает ее бежать к кормушке,— все это составляет психологический контекст. Психологический контекст, с точки зрения Ричардса и Огдена, есть серия духовных явлений, которые время от времени повторяются и при этом сохраняют сходство друг с другом.

«В основе интерпретации лежит следующий факт: когда некоторая часть внешнего контекста повторно дается в нашем опыте и когда она находится в связи с соответствующей частью психологического контекста, она может стать знаком остальных частей внешнего контекста»⁴.

Вышеприведенное положение Ричардс и Огден иллюстрируют на своем излюбленном примере зажигания спички. Допустим, мы чиркнули спичкой и ждем появления пламени. Почему мы выбрали из всех возможных объектов именно пламя как то, что должно оправдать наше ожидание? Все дело в том, заявляет Ричардс и Огден, что только пламя может восполнить контекст, другим членом которого в данном случае является чирканье спичкой, и именно благодаря этому оно находится в соответствии с тем чувством ожидания, которое мы испытываем. Эти два момента внешнего контекста мы связываем при помощи психологического контекста, который состоит из чувства ожидания, а также прошлых восприятий чирканья спичкой и появления пламени.

Опираясь на рассмотренное соотношение психологического и внешнего контекстов, Ричардс и Огден пытаются дать определение истинности и ложности. «Если существует явление, которое восполнит внешний контекст, то отношение референции является истинным, а данное явление следует считать референтом. Если такого явления нет, то отношение референции ложно и наше ожидание неоправдано»⁵.

Как уже отмечалось, Ричардс и Огден не поняли функцию обобщения, присущую слову, и превратили слово в простой знак отдельного «референта». Основная же процедура, при помощи которой устанавливаются отношения референции между знаком и «референ-

⁴ J. A. Richards, C. K. Ogden. *The Meaning of Meaning*, p. 53.

⁵ *Ibid.*, p. 62.

том», заключается, по их мнению, в «совпадении» физического и психологического контекстов.

Но если что-либо фиксируется в качестве знака благодаря «совпадению» психологического контекста субъекта с физическим контекстом, то ясно, что «референтами» знаков могут быть предметы, известные субъекту по его личному опыту.

Понятно, что указанный принцип интерпретации не может быть применен к изучению языка, если мы решим рассмотреть язык как систему знаков. В этом случае нам пришлось бы ограничить сферу применения языковых знаков личным опытом некоторого отдельного субъекта.

Ричардс и Огден оказались перед трудностью, которая хорошо известна логическим позитивистам. Эти последние признавали осмысленными лишь те предложения, которые могут быть проверены при помощи данных непосредственного опыта. Но это вызывало сужение круга наших знаний до пределов непосредственного опыта⁶. Однако нужно сказать, что Ричардс и Огден не осознают полностью указанную трудность, и это происходит потому, что они не делают последовательно всех выводов из своих исходных положений.

Субъективизация языка, являющаяся неизбежным следствием требования «совпадения» психологического и внешнего контекстов, породила еще одну трудность: при таком понимании языка его уже нельзя считать средством общения между людьми.

Марксистское языкознание подчеркивает, что слово выражает не субъективные представления, а общее понятие. Именно благодаря тому, что слово выражает общее понятие, являющееся результатом развития мышления коллектива людей, оно и может быть использовано как средство общения.

Поэтому в марксистском языкознании основой словообразования совершенно справедливо признаются общие понятия, имеющие одинаковое значение для всех членов данного языкового коллектива, а не представления. Справедливо пишет по этому поводу Л. С. Ковтун:

⁶ Подробнее об этом см.: А. Ф. Бегиашвили. Метод анализа в современной буржуазной философии. Тбилиси, 1960, стр. 74—76.

«...представление о предмете у каждого говорящего связано с его индивидуальным опытом, а язык — это орудие общения, поэтому слова и выражают не представления, а понятия, которые являются результатом коллективного опыта»⁷

Вызывает возражения и определение истинности и ложности, предложенное Ричардсом и Огденом. В этом пункте теория Ричардса и Огдена встретилась с затруднением, аналогичным тому, которое хорошо известно представителям других позитивистских течений, в частности логического позитивизма, и заключается в том, что не все предложения вопреки принципу верификации могут быть подвергнуты эмпирической проверке. Критерий эмпирической проверки оказался недостаточным для объяснения практики научных исследований.

В аналогичном положении оказалась и теория Ричардса и Огдена. Согласно этой теории истинностью или ложностью характеризуется референция. Именно она бывает либо истинной, либо ложной. Но референция есть отношение к непосредственно данному единичному предмету. Поэтому определение истинности или ложности, предложенное Ричардсом и Огденом, не может охватить те знания, которые выходят за пределы сферы непосредственно данного. В отличие от логических позитивистов, они не прибегли к софистическим манипуляциям отождествления эмпирической непроверяемости и научной неосмысленности и предпочли оставить вопрос об оценке знаний за пределами сводимого к чувственным данным открытым.

Разработав теорию символизма, Ричардс и Огден попытались внести в употребление символов определенный порядок. С этой целью они разработали несколько правил, которые должны регулировать их использование. Особого внимания заслуживает «первое правило символизма» — правило единичности. Оно состоит в том, что один символ должен обозначать всегда один и только один «референт». Ричардс и Огден исходят здесь из того, что трудно допустить, что две референции могут быть полностью аналогичны друг другу. С другой стороны, если какой-либо символ выражает два или более «референтов», его следует расщепить и рассматривать

⁷ «Вопросы языкознания», 1955, № 5, стр. 68.

как два символа, которые надлежит отличать друг от друга.

Объявив слово простым знаком единичного «референта», Ричардс и Огден вполне последовательно требуют, чтобы слово употреблялось для обозначения лишь одного «референта». Теория знаков и референции оправдывается только в том случае, если признается точное соответствие слова (символа) и «референта».

Однако такое понимание нельзя не считать крайне упрощенным и просто неверным. Оно опровергается уже ссылкой на общеизвестный факт *полисемии*, то есть способности слова обладать различными значениями. Вопреки утверждениям Огдена и Ричардса мы не встречаем в языке точного соответствия слова одному «референту» и в силу того, что слово обобщает, и потому, что одно слово может обозначать несколько различных предметов, сходных лишь по одному существенному признаку, и т. д. Все эти факты находят убедительное объяснение в марксистском языкознании, но не в «языковом символизме» Ричардса и Огдена. А это значит, что изучение природы языка во всей его конкретности с позиций теории знаков просто невозможно.

Как отмечалось выше, основная трудность, с которой сталкивается рассматриваемая нами теория знаков, заключается в следующем: она ограничивает круг предметов, которые могут быть обозначены каким-либо знаком, узким кругом нашего непосредственного опыта. Ричардс и Огден попытались все же вырваться за узкие рамки сферы непосредственных данных, применив свою теорию дефиниций.

Мы должны располагать средствами для установления тождества «референтов», заявляют они. Когда мы ставим вопрос о том, к какому «референту» имеет данный символ отношение референции, ответ может заключаться в следующем: мы должны заменить непонятный символ другими, более знакомыми для нас символами. Такую замену Ричардс и Огден и называют дефиницией («определением»).

Способов установления тождества «референтов», или путей получения их дефиниции, не так уже много; их можно распределить по нескольким основным группам. Эти последние зависят от тех наглядных очевидных от-

ношений, в которых определенный «референт» находится с известными нам «референтами»⁸.

Для дефиниции могут быть использованы пространственно-временные отношения: например «Понедельник — это день, следующий за воскресеньем», «Вчерашний день — это день, предшествовавший сегодняшнему» и т. д. Могут быть использованы также отношения причинности, имея в виду, как считают Ричардс и Огден, что бывает как психическая и физическая, так и психофизическая причинность и т. д.: например — «Гром — это следствие определенных электрических явлений»; «Подсознательное есть то, что определяет содержание сновидений», «Восприятие апельсина есть результат воздействия световых волн на наше сознание»⁹.

Знакомство с методами получения дефиниций убеждает нас, что Ричардс и Огден не сумели выйти за узкие рамки их теории знаков. Они уверяют, что при помощи дефиниции устанавливается тождество «референтов». Однако в большинстве вышеприведенных примеров мы имеем описание признаков незнакомого «референта», а далеко не установление тождества «референтов» — так, например, «Понедельник — день, следующий за воскресеньем» есть описание признаков понедельника, а не отождествление с «понедельником» вообще именно того дня, который следует после данного конкретного воскресенья.

Принципы теории знаков Ричардса — Огдена явно недостаточны для объяснения процесса употребления знаков. До сих пор Ричардс и Огден заявляли, что нечто фиксируется в качестве знака в процессе непосредственного контакта нашего сознания (психологический контекст) с соответствующим «референтом» (физический контекст). Теперь же оказывается, что можно употреблять знаки, «референт» которых известен лишь по описанию. Но понятно, что нельзя говорить о совпадении психологического и физического контекстов в том случае, когда «референт» известен всего лишь по описанию.

Кроме того, нельзя выработать знаки для «референ-

⁸ I. A. Richards, C. K. Ogden. *The Meaning of Meaning*; p. 247.

⁹ *Ibid.*, pp. 118—119.

тов», известных лишь по описанию, еще по следующей причине: в этом случае «референтом» может стать несуществующий предмет, чье описание у нас откуда-либо имеется, например кентавр, фавн и т. д. В таком случае придется признать, что точного соответствия знак — «референт» не существует. Вместо схемы, предложенной Ричардсом и Огденом: символ — мысль — «референт», надо будет принять как справедливую схему: символ — мысль. Это значит, что слово нельзя считать простым знаком «референта», оно выражает результаты определенной и притом сложной мыслительной работы.

Выше уже отмечалось, что рассмотрение многих вопросов Ричардсом и Огденом не доведено до конца. Поэтому для понимания эволюции теории знаков значительный интерес представляет работа Х. Уолпола, сторонника идей Ричардса и Огдена, который в ряде случаев последовательно рассмотрел все выводы, вытекающие из основных положений их теории знаков.

Прежде всего следует сказать о решении Уолполом проблемы общих слов. Эта проблема для теории знаков, как и для любой позитивистской теории познания и языка, создает чрезвычайные затруднения. Уолпол попытался решить ее с наиболее радикальных позитивистских позиций. Абстрактные слова, по его заявлению, суть не что иное, как фикции, и их следует изъять из употребления. Он ссылается на бентамовскую теорию фикций. Если смысл предложения непонятен, пишет Уолпол, потому что в нем встречается много абстрактных слов, то, по совету Бентама, нужно проделать следующие процедуры: прежде всего непонятное предложение следует перефразировать таким образом, чтобы в нем остались лишь наиболее простые и конкретные слова. По Бентаму, смысл оригинала не изменится, если его выразить терминами, «близкими к реальности».

Вторую процедуру Бентам называл «архетипацией». Из предложения нужно выбрать наиболее абстрактные слова — эти самые большие грешники — и найти для них «архетипы». Например, контроль можно представить как пару вожжей или как рулевое колесо. Конечно, могут сказать, что эти представления вовсе не выражают того, что обозначается термином «контроль»; в таком случае Уолпол советует представить себе картину, которая смогла бы правильно передать природу конт-

роля¹⁰. «Архетип» не может сказать всего, соглашается Уолпол, но он является все-таки необходимым фактором для понимания слова; он выражает то коренное значение, от которого проистекает слово. Иными словами, необходим какой-то наглядный образный словарь для понимания абстракций; по мнению Уолпола, такой словарь поможет нам установить определенные соотношения между фикциями и реальностью.

Нетрудно видеть, что процедура «архетипации», предложенная Уолполом, не избавляет рассматриваемую здесь теорию знаков от ее затруднений. Прежде всего, вряд ли можно найти подобные «архетипы» для всех общих слов. И даже в тех случаях, когда можно найти предмет, чей образ не слишком отдаленно напоминает содержание абстрактного слова, значение этого последнего все равно не будет выражено адекватно.

Но главное заключается в другом; даже если изыскать «архетипы» для всех общих слов, исходные позиции теории знаков все равно не становятся от этого надежнее. Дело в том, что всякий такой «архетип» не будет «референтом» данного слова. Если вновь вернуться к вышерассмотренному примеру, «референтом» термина «контроль» не будет ни рулевое колесо, ни пара вожжей. И тот, и другой предмет обозначаются соответствующим словом (символом), «референтом» которого они и являются. Можно поэтому сказать прямо наоборот: слово «контроль» нельзя считать знаком колеса руля или пары вожжей.

Таким образом, для абстрактных слов можно найти приблизительно похожую картину того или иного отдельного предмета. Но в результате этой процедуры мы все-таки не сможем установить между ними отношения знака и «референта». Это значит, что существует значительная группа слов, объяснить природу которых в терминах теории знаков и «референтов» невозможно.

Большие изменения претерпело, и далеко не случайно, у Уолпола понятие *интерпретации*. Интерпретировать что-либо, по его мнению, значит не что иное, как испытывать воздействие со стороны чего-либо. Содержание интерпретации зависит от природы интерпретатора (то есть от того, кто интерпретирует).

¹⁰ См. Н. Walpole. Semantics. London, 1941, p. 166.

Уолпол подчеркивает, что для осуществления интерпретации отнюдь не необходимо наличие человеческого организма, иными словами, интерпретатор не обязательно является человеческой личностью. Например, движение ртути в трубке термометра есть интерпретация изменения температуры, осуществленная термометром. «Точно так же,— пишет он,— когда я вижу что-либо, мой зрительный нерв интерпретирует изменение сетчатки, которая в свою очередь интерпретирует (изменения) хрусталика, который интерпретирует световые волны; эти последние дают интерпретацию предмета»¹¹.

Чрезмерное расширение понятия интерпретации, с которым мы встречаемся у Уолпола, не является случайным, но неизбежно вытекает из исходных предпосылок теории знаков Ричардса и Огдена. Эти два семантических идеалиста не поняли того, что язык фиксирует и регистрирует успехи мышления. Поэтому, хотя они заявляют, что языковые символы всегда должны сопровождаться мыслью, это их заявление остается пустой декларацией. Функции мысли ограничены в их понимании тем, что она помогает интерпретировать символы и тем самым связывает символы с «референтами». Но, поскольку существует немало примеров такой «интерпретации» (если уж употребить здесь это слово), при которой стимул и соответствующая реакция связываются друг с другом без всякой помощи мысли, Уолпол и выработал некое расширенное понятие «интерпретации», в котором ничего не говорится о роли мышления.

Как видим, в системе теории знаков Ричардса и Огдена место и роль мышления остаются невыясненными. Поэтому далеко не случайно, что представители этой теории для установления смысла слов уделяют основное внимание тем поступкам и реакциям, которые следуют за появлением знака (слова). Что-либо является знаком лишь в том случае, если в его присутствии мы ведем себя так, как будто наличествует обозначенный этим знаком предмет. Поскольку в качестве критерия знаковой рассматривались здесь поступки и реакции на те или иные символы, было естественно ожидать, что теория знаков примет ярко выраженную бихевиорист-

¹¹ Н. Walpole. *Semantics*, p. 67.

скую окраску. Бихевиористский вариант теории знаков именно и представлен в работах Чарльза Морриса.

Процесс, в котором что-либо функционирует как знак, Ч. Моррис называет семиозисом. В процессе семиозиса следует различать, по его мнению, три фактора: то, что функционирует как знак-передатчик (*sign-vehicle*); то, с чем знак имеет отношение референции,— десигнат; и тот эффект, благодаря которому нечто является знаком для данного интерпретатора,— интерпретант (*interpretant*). Самого интерпретатора можно считать четвертым фактором.

При помощи этих терминов Моррис следующим образом определяет, что такое знак: *S* является знаком десигната *D* для интерпретатора, если в присутствии *S* интерпретатор ведет себя так, как он повел бы себя в присутствии *D*.

Указанное определение знака ставит Морриса перед той же трудностью, которую не вполне отчетливо осознали Ричардс, Огден и Уолпол; знак должен иметь десигнат; однако очевидно, что не каждый знак имеет его. Не каждый знак имеет отношение референции к актуально существующему предмету. Пытаясь устранить эту трудность, Моррис вводит различие *десигната* от *денотата*.

Десигнат какого-либо знака есть род объектов, которым приписывается данное свойство. Десигнат есть класс предметов, а не единичный предмет; класс может иметь много членов, или один член, или ни одного члена. Если член этого класса существует, этот член и есть денотат.

Интерпретатор узнает свойство объектов при помощи знака-передатчика. Понятно, что можно узнать свойства какого-либо объекта даже тогда, когда этот объект не существует актуально. Поэтому нет никакого противоречия в том, что каждый знак имеет десигнат, но не каждый знак имеет референцию к актуально существующему предмету. Если то, к чему знак имеет отношение референции, существует актуально, то знак имеет отношение к денотату¹².

Нетрудно увидеть, что различие десигната от денотата, на которое так много надежд возложил Моррис, ни

¹² См. Ch. Morris. *Foundations of the Theory of Signs*. Encyclopedia of Unified Science, v. 1, No. 2. Chicago, 1938, p. 5.

в коей мере не спасает его от трудностей и противоречий.

В отношении между знаком и «референтом»-десигнатом возможны два случая: во-первых, тот, когда член класса — десигнат актуально существует, то есть когда знак имеет денотат. Этот случай полностью уместается в рамки теории знаков.

Но бывает, во-вторых, и так, что «референт» знака не существует сейчас актуально или даже — и это самое важное — может вообще не существовать. Ч. Моррис пытается предусмотреть этот случай, заявляя, что класс-десигнат может не иметь ни одного члена, то есть быть пустым.

Однако этот случай уже никоим образом не укладывается в рамки теории знаков. Дело в том, что знак, так, как он понимается Ричардсом, Огденом, Моррисом и др., может быть знаком лишь существующего предмета. Вспомним, что знаковая ситуация может возникнуть лишь в том случае, если обозначенный предмет однажды уже был дан в нашем опыте. Но само собой понятно, что знаки, обозначающие совершенно несуществующие предметы, не могут, таким образом, связываться со своими «референтами».

С позиции теории знаков семантических идеалистов невозможно также объяснить происхождение знаков (слов), обозначающих несуществующие предметы. Ведь согласно определению знака, данному Моррисом, знак должен заставить нас вести себя так, как мы ведем себя в присутствии обозначенного объекта. Но если это так, то непонятно, для чего же именно созданы знаки, обозначающие несуществующие предметы.

Какую роль могут играть эти знаки? По словам Морриса, мы можем узнать свойства того или иного объекта при помощи соответствующего знака даже в том случае, когда этот объект не существует. Но, очевидно, в таком случае знак должен сопровождаться определенным мысленным образом обозначаемого объекта. При этом этот образ должен сопровождать знак и в сознании говорящего, и в сознании слушающего. Только в таком случае они смогут узнать свойства несуществующих объектов при помощи знака. А это значит, что слово представляет собой фиксацию, регистрирование успехов процесса мышления.

Для всестороннего обоснования бихевиористского варианта теории знаков надо было, очевидно, доказать, что участие мысли в комплексе «знак — поведение» совершенно излишне. Моррис и попытался решить эту задачу в более поздней своей книге «Знаки, язык и поведение».

Моррис предусмотрел здесь возражения, которые могут быть высказаны в адрес бихевиористского варианта теории знаков. Часто говорят, например, что наблюдение за последовательностью ответов есть один из способов установления существования знака (способ не особенно часто применяемый). В качестве примера здесь можно взять человека, который сидит у себя в комнате и читает книгу об Аляске. Буквы, безусловно, являются для него знаками; при этом он знает их значение независимо от того, как бы он отреагировал на условия Аляски, если бы попал туда, и независимо от того, какими он ответит реакциями на условия той среды, которая его окружает. А это значит, что бихевиористская формулировка не является правильной. Наблюдение за поступками может принести с собой ту очевидность, которая необходима для проверки знаков. Однако может существовать и другой род очевидности, еще более пригодный для этой же цели, например интроспекция, самонаблюдение.

Во всем этом много справедливого, признает Моррис, но тем не менее, как он считает, бихевиористскую формулировку все же нельзя признать неточной¹³.

Моррис делает отчаянную попытку доказать, что именно бихевиористская формулировка, и только она, является единственно надежным критерием для установления знаковой ситуации. Для этого он прежде всего старается расширить критерий проверки знаковой ситуации. Основное методологическое положение может быть, пишет Моррис, сформулировано следующим образом: комплекс условий, необходимых для установления знаковой ситуации, вовсе не обязывает организм к актуальному осуществлению ответов. Он обеспечивает лишь одно, а именно нацеливание организма на осуществление ответов в определенных условиях, обеспечение «расположенности» организма к этому.

¹³ См. Ch. Morris. Signs, Language and Behavior. N. Y., 1946, p. 12.

Расширение критерия проверки знаковости поставило Морриса перед новым затруднением — как проверить «расположение» или «нерасположение» организма к осуществлению ответов?

Самый простой способ, по Моррису,— это выполнить соответствующие условия и, если предполагаемые ответы появятся, можно будет судить о наличии расположения организма к ответам. Существуют и другие методы для установления наличия расположения к ответам.

Нетрудно видеть, что Моррису не случайно пришлось говорить о «расположении» организма к возможным ответам. Определение знака, сформулированное Моррисом, необходимо предполагает ответную реакцию в качестве критерия знаковой ситуации. Но этот критерий невозможно применить к языку. Дело в том, что в большинстве случаев употребление языковых символов не сопровождается непосредственными реакциями-поступками, и это прекрасно показал сам Моррис на своем примере человека, читающего книгу об Аляске.

Понятие «расположения» к возможным ответам, которое Моррис был вынужден допустить, не может облегчить объяснения подобных фактов.

Рассмотрим, например, чисто информационное употребление языка, когда не ожидают никакой реакции при сообщении другому лицу того или иного предложения. Вспомним пример, приводимый Расселом. Если вам скажут: «Вас завтра убьют», то это может вызвать значительное напряжение вашего тела и духа и может толкнуть вас на определенный поступок. Но трудно говорить о какой-либо заметной реакции, хотя бы даже лишь возможной, если вам скажут: «Брут убил Цезаря».

Конечно, приведенное предложение об убийстве Брутом Цезаря, так же как и вообще знание фактов истории, оказывает некоторое влияние на те реакции, которые вызываются совокупностью предложений о процессе развития человеческого общества, о его будущем и т. д. (в эту совокупность данное предложение о гибели Цезаря войдет лишь как одно из многочисленных частных звеньев). Но эти реакции будут ответами на те новые предложения, которые мы услышим в будущем, а не непосредственно на предложения, выражающие давнишние исторические факты.

Кроме того, требование Морриса, чтобы мы рассмотрели возможные реакции на тот или иной знак, невозможно по следующей причине — оно предполагает, что мы знаем, какую реакцию выдает организм на тот или иной знак. На самом деле, для того чтобы судить о знаковом характере внешнего стимула, мы должны установить, имеется ли у организма «расположение» ответить на него определенным образом. Но это как раз предполагает, что мы уже знаем, как именно отреагирует организм на тот или иной факт. Точно так же при этом предполагается, что мы знаем, какие условия должны быть выполнены для того, чтобы выявить реакцию, соответствующую данному стимулу.

Само собой ясно, что чаще всего мы заранее такими знаниями не располагаем. Если ограничиться примером выработки у собак условных рефлексов на звук сирены, приводимым Моррисом, то здесь все просто и понятно. Мы знаем, как реагирует собака на появление пищи, и, если у нее потекла слюна, она рвется из станка и т. д., мы можем утверждать, что у нее имеется «расположение» ответить на звук сирены таким же образом, как и на появление пищи, то есть что звук сирены для нее есть определенный знак. Но когда дело касается языковых символов, выражающих сложные явления — этического, юридического и другого порядка, — очень часто мы не можем судить заранее, какую реакцию должен дать организм на данный знак. Соответственно, мы не можем сказать, имеется ли у организма расположение ответить на данный стимул и соответственно — является ли данный стимул для него знаком.

Чувствуя слабость бихевиористской семиотики, Моррис пытается доказать, что отказ от нее неизбежно породит путаницу в науке. Нас могут упрекнуть, пишет он, что мы упустили из виду идеи, которые порождаются знаками в сознании интерпретаторов. Однако мы не считаем этот термин бессмысленным, заявляет Моррис, и не употребляли его только лишь потому, что без него построить систему научной семиотики легче.

Таким образом нас убеждают, что противоречия ментализма и бихевиоризма нет. Здесь имеется всего лишь методологическая проблема, являются ли термины «идея», «мысль», «дух» такими же точными, недвусмысленными и интерперсональными, как и термины «орга-

низм», «стимул», «последовательность ответов» и т. д. «Избрав эту последнюю терминологию,— пишет Ч. Моррис,— мы тем самым выразили убеждение, что она будет в большей мере содействовать прогрессу науки»¹⁴.

Возьмем основное положение менталистов, предлагает Моррис, о том, что каждый знак порождает в организме соответствующую идею. Рассмотрим это положение опять же на примере выработки условных рефлексов у собаки. Менталисты не смогли установить какой-либо критерий, при помощи которого различные исследователи смогли бы установить, имеется ли у собаки соответствующая идея.

Это значит, что если мы примем менталистскую точку зрения, то не сможем при помощи непосредственных наблюдений контролировать положение о знаках. Термины же, достоверность которых не может быть проверена при помощи непосредственного опыта, не должны употребляться в научных системах, однако они этим не отбрасываются, как если бы они считались ложными. Поэтому менталистскую семиотику нельзя считать альтернативой бихевиористской семиотике.

Не будем вдаваться в рассмотрение положения Морриса о том, что мы будто бы не располагаем никаким критерием для установления идей, мыслей, соответствующих знакам. Отметим лишь следующее: при рассмотрении одной из знаковых систем, а именно системы языковых знаков, мы не можем ни шагу ступить без допущения мыслей, идей и т. д.

Если мы исключим из отношений слова и предмета мысль, вернее опосредование мыслью, то придется признать, что значение слова и есть тот предмет, который обозначается этим словом. Однако такой результат легко опровергается данными языкознания.

В этой связи нельзя не вспомнить Л. Витгенштейна, который одно время утверждал, что значением слова служит обозначаемый им предмет; впоследствии он отказался от этой точки зрения и в своей позднейшей работе «Философские исследования» (1952) привел против нее ряд веских аргументов. Когда умирает мистер Х, пишет Витгенштейн, мы считаем, что умерла данная личность, а не значение символа «мистер Х»; после смер-

¹⁴ Ch. Morris. Signs, Language and Behavior, p. 28.

ти мистера X символ «мистер X» не теряет своего значения и не превращается в бессмысленный символ.

Мы считаем, что значение слова есть понятие, высказанное этим словом. Предмет же, обозначенный словом, его значением признать нельзя. Иначе, по замечанию А. И. Смирницкого, нельзя было бы объяснить существование слов, которые не обозначают реального предмета, но тем не менее имеют значение, например «кентавр», «фавн» и т. д.

Рассматривая данный вопрос, А. И. Смирницкий приходит к справедливому заключению: «Связь между звучанием слова и обозначаемым предметом или явлением, конечно, есть, но она не прямая и не непосредственная, и ее нет помимо отображения предмета или явления в сознании»¹⁵.

Как мы видим, при изучении природы языка исключить роль мышления невозможно. Подлинно научное рассмотрение этого вопроса возможно лишь на основе марксистского языкознания, которое утверждает неразрывное единство языка и мышления. Только с этих позиций и возможно дальнейшее, более углубленное рассмотрение данного вопроса.

¹⁵ «Вопросы языкознания», 1955, № 2, стр. 83.

К ВОПРОСУ О СВЯЗИ ЗНАЧЕНИЯ
И ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОСТИ

Проблема значения является одной из центральных проблем, обсуждаемых представителями неопозитивизма. Эта проблема имеет как философскую, теоретико-познавательную сторону, так и специальные стороны (логическую, семантическую и т. д.).

Мы, конечно, не можем претендовать на освещение проблемы значения в сколько-нибудь полном объеме, даже если учитывать только ее гносеологическую сторону, и берем только один аспект: значение и интерсубъективность (общезначимость).

Сами неопозитивисты большее внимание уделяют вопросу о связи значения и верификации. Под этим же углом зрения ведется в основном и критика неопозитивизма в нашей литературе. Между тем, как мы это надеемся показать ниже, освещение вопроса о связи значения и интерсубъективности также может и должно сыграть свою роль в критике неопозитивистских концепций.

Несколько слов о том, что мы понимаем под теми направлениями, которые собираемся критиковать, а именно под позитивизмом и априоризмом.

Позитивистом, на наш взгляд, можно назвать любого мыслителя, который сводит философию к логике, понимаемой как технология мышления, и вопрос о связи субъекта с объектом, вопрос о выходе за пределы имманентного называет «метафизикой» и псевдопроблемой. При этом технологией может служить традиционная формальная или математическая логика или еще какой-либо логический аппарат. Эти различия весьма существенны с точки зрения логики, но с точки зрения философии они абсолютно ничего не значат.

В то же время необходимо подчеркнуть, что отрицание «метафизических» проблем совершается позитиви-

стами только на словах. В действительности нельзя заниматься философией, уйдя от ее основного вопроса. И, закрывая перед ним дверь, неопозитивисты так или иначе впускают в окно определенное, действительно метафизическое его решение.

Специфическим отличием современного позитивизма действительно является широкое применение аппарата математической логики. Но отметим еще раз, что это не философское отличие.

С точки зрения основного вопроса философии отличие какого-нибудь «изма», например операционализма от позитивизма «Венского кружка», не более существенно, чем отличие эмпириомонизма Богданова от эмпириокритицизма. Витгенштейн, Рассел, Карнап использовали разные логики, но едва ли есть смысл считать существенными философские различия между ними.

Априоризм мы не связываем непременно только с философией Канта. Сами неопозитивисты расширяют понятие априоризма, называя так любое допущение внеопытного происхождения любых элементов человеческого знания. При этом они стараются подчеркнуть отличие своего априоризма от кантовского, утверждая, что конвенционалистский априоризм не ведет к идеализму и «метафизике». «Мы не метафизики (в аристотелевском смысле слова) и не априористы (в кантовском смысле), — говорят о себе позитивисты. — Мы считаем, что любой априоризм ведет к идеализму и метафизике».

Перейдем теперь к характеристике понятий — «значение» и «интерсубъективность».

Видимо, все согласятся с тем, что под значением, в самом широком смысле этого слова, можно понимать свойство знака передавать информацию. На чем же основано это свойство знаков, принадлежащих к языку? Чтобы знак языка был значим, передавал информацию, он должен быть таковым по крайней мере для двух индивидов: сообщающего и воспринимающего, то есть значимое в языке общества не может не быть общезначимым. Иными словами, проблема значения неразрывно связана с проблемой интерсубъективности (общезначимости), которую можно определить как вопрос об основании взаимоотношения двух сознаний, имеющих отношение к одному и тому же объекту. Говоря образно,

если уподобить язык коду, то чем выполняется функция расшифровки этого кода и чем программируются условия шифрования и дешифровки? Где находится ключ? Проблема значения неотделима от вопроса, почему люди понимают или не понимают друг друга.

Практическое значение этой проблемы очень велико. Проблема интерсубъективности — это в значительной степени педагогическая проблема. Для усвоения индивидом необходимых знаний, накопленных человечеством, и успешного практического и теоретического сотрудничества необходимо взаимопонимание. Последнее же невозможно без общезначимости знаний употребляемых слов. Известно, что современные языки далеко не идеальны в этом отношении. Многие буржуазные философы делают отсюда вывод о принципиальном несовершенстве человеческого языка и мышления. Поэтому рассмотрение проблемы значения и общезначимости с точки зрения диалектического материализма необходимо как для критики неправильных концепций, так и для ее положительного решения.

Отнюдь не претендуя на полноту эмпирического охвата, мы попытаемся показать на некоторых примерах, что представители современного позитивизма не могут дать на эти вопросы удовлетворительный ответ. Во-первых, мы остановимся на попытках решения проблемы значения и интерсубъективности, так сказать, классическим неопозитивизмом эпохи «Венского кружка». И, во-вторых, охарактеризуем некоторые более новые направления в решении этого вопроса в современной буржуазной философии. В обоих случаях основной упор будет сделан на выяснение причин, мешающих успешному решению проблемы.

Коротко, затруднения позитивизма в исследовании природы значения можно охарактеризовать так. Совершенно ясно, что люди в определенной мере понимают друг друга. Иначе никакое познание не было бы возможно, ибо никакая наука не может строиться на основе опыта только одного человека. Между тем опыт индивидуален. Откуда же берется общность? Предположить, что основы общезначимости находятся в объекте, с точки зрения позитивистов, является «метафизикой». Поместить источники общезначимости в субъект — значит стать априористом, то есть тоже перейти в «мета-

физическую» область. Позитивисты этого делать не хотят. Посмотрим, как они ищут третий путь.

В начале 30-х годов в журнале «Erkenntnis» шла дискуссия о природе «протокольных предложений», в которой приняли участие Р. Карнап, М. Шлик, О. Нейрат, К. Поппер и др. Вопрос о «протокольных предложениях» — это вопрос о фундаменте человеческого знания, об основах значений языка. Карнап в статье «Преодоление метафизики логическим анализом языка» отмечал, что слово имеет значение тогда, и только тогда, когда предложение, в котором имеется данное слово, сводимо к «протокольным предложениям».

Заметим, что проблема «протокольных предложений» и обсуждаемый нами вопрос не совпадают друг с другом. Мы берем лишь определенный общий аспект этих двух вопросов. Иногда также путают вопрос об основаниях общезначимости знаний с вопросом о переходе к необходимому знанию. Это также разные вещи. Здесь нас интересуют только основы общезначимости.

Карнап и Поппер считали выбор «протокольных предложений» произвольным. В то же время Карнап полагал, что эти предложения лежат вне системы языка, поэтому встает вопрос, что их детерминирует. Если «протокольные предложения» не зависят от системы языка, то, видимо, следует поставить вопрос об их связи с действительностью. Отмахнуться от этой дилеммы при помощи термина «произвольность», конечно, не есть решение вопроса. В самом деле, единственный реальный смысл слова «произвольный» — это детерминация со стороны субъекта. Но если эта детерминация не есть система языка, то что же это такое?

По пути установления связи с действительностью попытался пойти М. Шлик. Он требовал рассмотрения происхождения «протокольных предложений». Посмотрим, однако, как он понимал их действительность и происхождение. В статье «О фундаменте познания» Шлик писал, что в основу человеческого знания кладутся предложения, выражающие наши собственные переживания. При этом другие люди живут в ином мире, который «имеет общее с моим миром *лишь настолько*» (подчеркнуто мной.— В. С.), чтобы было возможно общение путем одного и того же языка.

Воистину, как говорится, слона-то он и не приметил!

То, что в моих высказываниях выражается состояние моего организма,— это, видимо, ясно каждому. Весь вопрос в том, как объяснить ежеминутно совершаемый нами выход за пределы собственного «я» в процессе речевого общения.

Откуда берется это общее, определяющее возможность общения индивидов путем языка и что оно из себя представляет? На это М. Шлик не отвечает. Следовательно, остается признать, что вывести интерсубъективность из действительности, которая отождествляется с переживаниями субъекта, невозможно.

О. Нейрат, на наш взгляд, более последователен. Он сразу же отбрасывает возможность монологического языка, всякий язык интерсубъективен. В статье «Протокольные предложения» Нейрат остроумно замечает, что если Робинзон связывает то, что он вчера протоколировал, с тем, что он протоколирует сегодня, то есть если он вообще хочет употреблять язык, то он должен пользоваться интерсубъективным языком. «Робинзон вчера и Робинзон сегодня так же относятся друг к другу, как Робинзон к Пятнице». Нельзя не согласиться с этим тонким замечанием. Если передать его в общей форме, то оно будет звучать так: язык есть там, где в двух различных сознаниях, или состояниях сознания, имеется общее. По Нейрату, основой этого общего являются синтаксические определения системного языка, то есть язык интерсубъективен, потому что мы его определили таким. Таким образом, если не хочешь довести субъективизм до солипсизма, приходится прибегать к конвенционализму. «Мы договорились, мы определили...» Но на каком основании? Каким образом два «я» вдруг становятся «мы», если не предположить, что общность в них существовала до начала их общения друг с другом?

Поскольку признание наличия общего в действительности любой позитивист обругает «метафизикой», остается обратиться к априоризму как основанию конвенции. Что не из опыта (а опыт, как признают все позитивисты, сугубо индивидуален) — то до опыта. В свою очередь допущение априорных начал в субъекте последовательно ведет к исканию их основы в каком-либо объективном идеальном единстве. Так что, например, «мистический эмпиризм» персоналиста Хоккинга, который

считает, что два сознания intersубъективны потому, что оба, как и весь мир, находятся в сознании бога, хорошо согласуется с конвенционализмом позитивистов, дает ему основу¹.

Другое дело, что позитивисты объявляют такую основу «метафизической псевдопроблемой». Можно к чему угодно сделать приставку «псевдо», но ведь проблема от этого не исчезнет. Если позитивисты говорят о фундаменте человеческого знания (а об этом нельзя не говорить), то они, видимо, должны указать, каков этот фундамент, а не утверждать, что то, чего они не могут познать, будто бы принципиально непознаваемо. Отказываясь от материализма, они закономерно идут к intersубъективному идеализму, к априоризму, а от последнего, как показывает вся история философии,— один шаг до объективного идеализма.

Б. Рассел остроумно заметил: «Вначале было Слово», — говорит «Евангелие от Иоанна», — и при чтении трудов некоторых логических позитивистов меня соблазняет мысль, что этот плохо переведенный текст из Евангелия служит выражением их взглядов»².

Действительно, получается круг: общезначимость языка позитивисты не могут объяснить, не допустив для этого наличия языка.

Так, американский философ У Перси в статье «Символ, значение и intersубъективность»³ утверждает, что основанием общезначимости является условное соглашение относительно определенного употребления знаков языка, обозначающих данный объект. Когда мы говорим «Я сознаю стул» или «Есть сознание стула», то это, согласно Перси, есть выражение индивидуального сознания. Надо говорить, пишет Перси, «Это есть стул для вас и для меня», и таким образом происходит соозначение (co-celebration) стула под покровительством символа.

Таким образом, отказываясь признать объективную общность в явлениях независимой от субъекта действительности, неопозитивисты вынуждены выводить intersубъективность из конвенции отдельных субъектов-индивидов. Но поскольку возможность установления такой

¹ «Journal of Philosophy», 1958, v. 55.

² Б. Рассел. Человеческое познание. ИЛ, М., 1957, стр. 91.

³ «Journal of Philosophy», 1958, v. 55, pp. 631—641.

конвенции уже предполагает интерсубъективность, общезначимость имеющихся языковых средств, то единственным «выходом» здесь было бы допущение некоего интерсубъективного субъекта. А это уже есть отчуждение и объектирование индивидуального сознания, превращение его в некий родовой дух, нечто вроде гегелевского субъекта-объекта.

Мы хотим еще раз подчеркнуть, что от позитивизма до самой настоящей идеалистической метафизики рукой подать. Обвиняя материалистов в «наивном реализме» и ненаучности, позитивисты вынуждены либо уходить от проблемы фундамента общезначимости человеческого знания, либо допускать абсолютно ненаучные идеалистические и метафизические предпосылки.

Отрицание неопозитивистами объективных основ общезначимости тесно связано с другой ошибочной установкой, также коренящейся в вековых традициях эмпиризма: основанием опыта считаются только *единичные факты* ⁴.

Так, представители «общей семантики» к тезису об уникальности личного опыта (понятого в юмистско-берклианском духе) добавляют тезис об уникальности единичных предметов ⁵. Они считают, что в самих предметах нет тождества, они непрерывно изменяются. Из этой ссылки на текучесть явлений делается вывод, что в идеальном языке каждый предмет должен иметь свое имя. Те же термины, которые невозможно поставить в однозначное соответствие с единичным предметом, объявляются лишенными смысла.

Но ведь, строго говоря, это непоследовательно. Само понятие «предмет», как и все прочие понятия, уже есть сгрубление действительности. Не только один предмет индивидуален по отношению к другому предмету, но и одно состояние данного предмета обладает индивидуальностью по отношению к другому его состоянию. Следовательно, мало, например, дать имя этому человеку, надо поименовать его разными именами в различ-

⁴ См., например, Б. Рассел. Человеческое познание; V. Kraft. The Vienna Circle. The Origin of Neo-positivism. N. Y., 1953; I. P. McKinney. Experience and Reality. «Mind», 1958, v. 67, No. 268.

⁵ См. А. Корзыбски. Science and Sanity, 3 ed. Lakeville, 1948.

ные периоды его жизни, деятельности и т. д. Такая индивидуализация может быть бесконечной, и если отказаться от того, что за различиями всегда стоит относительное тождество, то надо вообще отказаться от языка. Такое отрицание общего и такая же непоследовательность весьма напоминают Беркли. Ведь и он считал, что нет идеи треугольника вообще, движения вообще и т. д. Но вместе с тем Беркли допускал, что можно говорить о прямоугольном треугольнике или ходьбе как виде движения, как будто эти последние понятия представляют нечто уникальное, абсолютно индивидуальное, как будто вообще какое-то понятие способно выполнить функцию обозначения, абсолютно неизменного и уникального.

Как тут не вспомнить рассказ К. Д. Ушинского о споре двух мальчиков. Один спрашивает: «Видел ли ты когда-нибудь птицу?» — «Конечно, видел, вот она», — отвечает второй. — «Да это же не птица, а канарейка. Но и канарейки ты не видел», — продолжает первый мальчик, — ведь это же наша канарейка, а канарейки вообще ты не можешь видеть».

Таким образом, надо либо признавать наличие общего в мире и познании, либо отбросить любую общность на любых уровнях.

Но идя по такому пути, семантики в то же время не хотят полностью отказаться от языка (что, разумеется, невозможно). Абстракции либо изгоняются из языка, либо (если это «выгодно» в чисто прагматическом смысле) принимаются условно. Причем всем известно, какие именно абстракции считают нужным удалить из языка идеологи буржуазии: «капитализм», «безработица» и т. д.

Подобное возвращение к взглядам Беркли не способствует решению вопроса. Но даже если согласиться с «изгнанием» абстракций, то ведь и единичные факты не будут общезначимыми значениями до тех пор, пока не укажут объективного основания intersубъективности одного и того же единичного факта для двух сознаний.

Неопозитивисты, не решая вопроса о том, как элементы, лежащие в фундаменте знания, связаны с объективным миром, исследуют значения только как языковые структуры, абстрагируясь от их содержания; если же они пытаются исследовать значение с содержатель-

ной точки зрения, то это приводит к серьезным трудностям. Кроме того, их понимание объекта является не только субъективно-идеалистическим, но также и весьма ограниченным, метафизическим. А. Айер в своем докладе «Значение и интенциональность», сделанном на философском конгрессе в Венеции в 1958 г., выступил с критикой ряда существующих теорий значения. Айер не соглашается с тем, что значением слова является объект. В качестве аргумента берется то, что при такой точке зрения якобы остается неясным, какие объекты выступают в значениях слов, вроде «здесь», «теперь» или «я». Разумеется, это будет неясным, если заранее отождествить объект с вещью. Но кто сказал, что свойства, отношения, действия не являются объектами? Ведь отождествление объекта с вещью подобно метафизическому отождествлению материи с веществом. Не имея научного понятия об объекте, неопозитивисты, пользуясь этим термином, вкладывают в него устарелое метафизическое содержание.

Айер критикует далее точку зрения, согласно которой значением слова является «идея» ибо люди часто употребляют слова со смыслом, не обладая при этом соответствующими образами.

«Идея» здесь, следовательно, в духе английского эмпиризма XVII—XVIII вв., отождествляется с образом. Но едва ли в XX в. допустимо такое отождествление.

Мы не случайно остановились на этих моментах. Разобранные примеры показывают, что когда неопозитивисты начинают говорить о таких проблемах, где нельзя обойтись без правильного понимания развития (соотношение значения и объекта, идеи и чувственного, наглядного образа), они остаются в плену устарелых метафизических понятий. И даже если при этом высказываются отдельные интересные и верные положения, все же не получается цельной концепции — этому мешают исходные ложные установки.

Характерным примером может служить работа Е. Дейтца «Образная теория значения»⁶.

Дейтц принадлежит к школе аналитиков, которые стремятся подчеркнуть свое отличие от классического неопозитивизма. Но по существу в отношении проблемы значения аналитики не могут преодолеть тех трудностей,

⁶ Сб. «Essays in Conceptual Analysis». London, 1956.

которые стоят и перед другими позитивистскими школами. Полемизируя с Л. Витгенштейном, с точки зрения которого высказывание есть изображение, а знак подобен означаемому, Е. Дейтц приходит к мысли о двух видах значимости: «иконической» (от *icon* — образ) и конвенциональной. Объекты, согласно Дейтцу, могут быть изображены или описаны. С изображением мы имеем дело тогда, когда по крайней мере один из элементов знака равен элементу обозначаемого и порядок элементов в «образе» подобен порядку элементов в обозначаемом объекте. «Образ» *показывает* предмет. Показывание состоит в воспроизведении элементов, предмета и их расположения. Так, пятна на верхних концах линий изображают дерево. Описание предмета производится с помощью предложений. Предложение состоит из таких знаков, которые не изображают предмет, но относятся к нему и описывают его.

Такое деление значений на два вида представляется нам правильным. В самом деле, при произнесении одних слов в сознании возникают наглядные образы, представления (например, дерево, дом и т. д.), другие же слова не вызывают никаких непосредственных наглядных образов (например, материя, интеграл, нечто и т. д.), но тем не менее они понятны. Единственно верный путь, на котором можно объяснить природу необразных понятийных значений,— это проследить их связь с объектами посредством первичных образных значений, представлений. Поскольку Е. Дейтц встал на такой путь, это можно только приветствовать. Но посмотрим, сумел ли он проследить этот путь от предмета к образу и от образа к понятию.

Надо сразу же сказать, что Дейтц ограничился только постановкой вопроса и указанием трудностей, возникающих перед образной теорией значения. Остановимся на характеристике этих трудностей и постараемся показать, что они связаны с неверными гносеологическими и онтологическими предпосылками, заимствованными из арсенала метафизического эмпиризма и позитивизма.

Первую трудность Дейтц видит в том, каким образом можно указать элементы мира, соответствующие словам «не», «нечто» и т. д. Дейтц отмечает, что философ, привыкший обращаться с фактами как вещами, должен отбрасывать стесняющие его элементы, подобные словам

«нечто», «всякое», «вещь», «который» и т. д., поскольку все факты составлены из материальных элементов и эти затруднительные «нечто», «всякий» не встречаются в них. Здесь, как и у Айера, мы видим отождествление понятий «материального», «факта», «вещи». Мнение, что изобразить можно только вещь, присутствует как само собой разумеющееся. Дейтц считает, что вышеприведенные слова являются не «образами», но конвенциональными знаками. Однако основа, дающая возможность конвенции, остается нераскрытой. Вместо того чтобы показать образные значения как основу необразных и проследить генезис последних, Дейтц ограничивается простой констатацией двух различных видов значений.

Далее Дейтц не ограничивает область, в которой возможно отображение только вещами, но добавляет еще, что изображены могут быть только пространства и цвета. С точки зрения Дейтца, песня или вкус не могут быть ни отражены, ни изображены. Образность, наглядность отождествляются только со зрительной наглядностью.

И, наконец, образ может якобы изображать лишь этот объект. Так может быть рисунок красной розы, но не розы вообще. Противоречивость такой точки зрения мы уже выяснили выше. Если образы относятся только к единичностям, то они никак не могут быть основой языка, который всегда имеет дело с общим, и если они характеризуют отдельное, то только посредством общего.

Таким образом, Дейтц ставит верную цель, но узкое метафизическое понимание чувственной основы сложных, не являющихся непосредственно чувственными значений языка не дает ему возможности отказаться от конвенционализма со всеми его уже охарактеризованными последствиями. Кроме того, Дейтц не ставит вопроса об условиях общезначимости образных значений. В самом деле, если считать образ только субъективным образом, то как же он может быть значением слова? Ведь тогда за одним и тем же словом разные люди представят себе разные образы и никакого взаимопонимания не получится.

Мы рассмотрели точку зрения Дейтца для того, чтобы подчеркнуть необходимость исследования исходных чувственных элементов, являющихся базовыми значениями языка, на которых строятся все другие значения. Но

такое исследование может вестись только с позиций диалектического материализма.

Здесь мы не имеем возможности подробно изложить конкретные позитивные соображения по этому вопросу.

Чтобы показать, с каких позиций мы критикуем позитивизм, подчеркнем, что наша концепция состоит в следующем. Значения делятся на два вида: образные (представления) и понятийные. Образными значениями слов могут быть только общие и общезначимые представления. Общезначимость их гарантируется общностью практической деятельности. Эти представления изоморфны предметам (вещам, свойствам, отношениям) и представляют собой транспозиционную, то есть отвлекающуюся от несущественных индивидуальных особенностей и фиксирующую общую форму, схему класса предметов. Понятие есть определение, и все элементы его (субъект, предикат, связка) имеют в конечном счете чувственное происхождение. Самые абстрактные понятия представляют собой сложную иерархию понятийных определений, корни которых в любом случае уходят в чувственность. В отличие от плоского эмпиризма мы считаем понятие не суммой, но *системой* чувственных элементов. Открыть *систему необходимых чувственных элементов, лежащих в основе языка и мышления*, является важнейшей задачей, выполнение которой потребовало бы объединенных усилий философов, логиков, психологов, лингвистов и педагогов.

Таким образом, не умея вывести общезначимость значений языка из опыта, современные позитивисты либо пытаются представить значение как результат конвенции, либо мечтают о таких значениях, которые не были бы общими абстракциями, что противоречит природе мышления и языка; невозможность изгнать все абстракции опять-таки приводит к условному соглашению относительно того, какие абстракции нужны, а какие — нет. Поскольку объективное основание конвенции не указывается, конвенционализм ведет к априоризму, и позитивисты напрасно отрываются от Канта. Отрицание абстракций уходит своими корнями к Беркли, но субъективный идеализм Беркли помимо личного опыта допускает существование внеопытного и в то же время интересубъективного бога и духов и тем самым приводит к объективному идеализму.

Общей причиной неудач современных позитивистов в решении проблемы значения и интерсубъективности является их неумение проследить генезис интерсубъективности, показать ее как возникшую в процессе развития.

Это в свою очередь обусловлено: 1) отрицанием наличия общего в *объективном* мире, в опыте и чувственных данных как в отдельности, так и, в конечном счете, для всех трех рубрик вместе; 2) игнорированием роли общественной, практической деятельности в образовании исходных значений, которая и гарантирует их общезначимость.

Общезначимость значений можно вывести только из общего опыта и из действительности, в которой общее объективно существует в отдельном, отражаясь затем в опыте людей. Если считать опыт только индивидуальным, а предметы мира только единичными фрагментами сознания, то приходится выводить общезначимость не из опыта, а брать как данную *argiōi*. Третьего не дано.

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И НЕОПОЗИТИВИЗМ
ОБ ОТНОШЕНИИ ЯЗЫКА К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Проблема соотношения языка, мышления и объективной действительности имеет большое принципиальное гносеологическое значение. Эта проблема является ареной острой борьбы между диалектическим материализмом и многими направлениями современной идеалистической философии, в частности и в особенности — неопозитивизмом. Решение указанной проблемы является теоретической и методологической основой общего языкознания, следовательно, имеет также огромное значение и для лингвистики. Поэтому к той или иной трактовке данной проблемы необходимо отнестись с пристальным вниманием.

Одним из вопросов, входящих в состав указанной проблемы, является вопрос о том, следует ли рассматривать язык в целом как систему знаков и является ли такая характеристика языка удовлетворительной с философской точки зрения. В понимании данного вопроса нет единогласия и среди советских философов и лингвистов. Для всестороннего выяснения проблемы и правильного ее решения безусловно необходим анализ существующих знаковых концепций. Задачей настоящей статьи является критическое рассмотрение гносеологических основ неопозитивистской знаковой теории языка. Этому рассмотрению мы предпослём некоторые замечания позитивного характера, дабы сразу же определить наши исходные позиции.

1

Каждая относительно самостоятельная языковая единица, в том числе и слово, является сложным материально-идеальным образованием. Слово необходимо

включает в себя в качестве своих компонентов внешнюю звуковую форму и внутреннее смысловое содержание (значение). Звучание без значения не есть слово. Так как спор вокруг знаковой теории языка связан не с вопросом о его звуковой форме (знаковая функция последней не подлежит сомнению), а прежде всего с проблемой *значения*, то к ней мы и обратимся.

Предварительно отметим, что, говоря здесь о значении слова, мы будем употреблять этот термин в широком смысле, имея в виду всякое сознаваемое людьми содержание, относящееся к предметам, их свойствам, связям и отношениям и фиксируемое в звуковой (материальной) стороне языка. Структура значения слова чрезвычайно сложна, и специальное рассмотрение ее выходит за рамки данной статьи. Однако природа значения характеризуется некоторыми общими чертами, имеющими отношение к гносеологическим проблемам, и эти-то черты нас здесь прежде всего будут интересовать.

Что представляет собой значение слова? Прежде всего следует, конечно, отвергнуть вульгарное отождествление значения слова с объективным предметом. Уничтожая лист бумаги, я этим вовсе не уничтожаю значения слов «лист бумаги»; съедая булку, я вовсе не съедаю значения слова «булка» и т. п. И, наоборот, произнося слово «книга» и сообщая тем самым другому человеку некоторое значение, я этим вовсе еще не передаю ему самое книгу как предмет. Но главным основанием, по которому мы считаем необходимым отвергнуть взгляд, будто значением слова является сам предмет, служат гносеологические соображения. В самом деле, предметный мир существовал и тогда, когда еще не было мышления и языка. Например, такой предмет, как солнце, существовал и тогда, когда никакого слова, обозначающего этот предмет, не было. Поскольку не было слова, не было и двух его сторон — звуковой и семантической, формы и значения (ведь они коррелятивны). Но предмет был. Следовательно, нельзя отождествлять значение с предметом, хотя всякое значение прямо или косвенно относится к предмету, отражает его с тех или иных сторон. Академик В. Л. Комаров совершенно правильно писал, что для того, «чтобы человек мог придумать, как именовать сосну или березу, надо, чтобы эти деревья росли в лесу независимо от того, именуется

ли человек их этими наименованиями или никогда и не обнаруживал их существования»¹. Словесные наименования, включая их значения, являются вторичными по отношению к объективной действительности. Таким образом, мы должны признать, что значением слова не является сам предмет.

Но если значением слова не является предмет, то этим значением выступает нечто входящее в состав самого языка. Поэтому вначале и было сказано, что значение слова — это его внутренний компонент. Однако этим еще не определяется более конкретно природа значения. По этому вопросу возможны различные точки зрения. Одни считают значение знаком, другие — отражением, третьи — отношением знака к предмету, четвертые — отношением между знаками, пятые — отношением между взаимообобщающимися людьми и т. д. Мы постараемся показать, что значение является фиксированным в звуках языка отражением объективной действительности. Нам представляется, что только такое понимание значения соответствует принципам марксистско-ленинской теории отражения. Утверждение, что значение есть знак, или элемент знака, или сторона знака, или свойство знака, не может привести к решению проблемы, так как относительно знака в целом всегда остается правомерным вопрос: а каково его значение? Следовательно, понятие значения не совпадает с понятием знака ни полностью, ни частично. Знак лишь постольку является таковым, поскольку он представляет (репрезентирует) значение, но из этого отнюдь не следует, что значение входит в состав знака, является его стороной или свойством. То, что репрезентируется знаком, не есть сам знак, иначе процесс репрезентации потерял бы всякий смысл. Столь же несостоятельным, как мы увидим ниже, является мнение, будто значение есть отношение знака к предмету. Оба эти взгляда ведут к ложным гносеологическим выводам.

Как же следует понимать отношение звучания, значения и предмета?

Звучание слова является материальным и выполняет по отношению к предмету функцию знака. Но звучание

¹ В. Л. Комаров. Учение о виде у растений. Изд-во АН СССР, М., 1944, стр. 35.

выполняет эту функцию непосредственно, а опосредованно — через значение, носителем которого оно является. Эта опосредованность значением является условием понимания в процессе общения. Всякая иная постоянная или временная связь звучания и предмета не выходит за пределы действия механизмов первой сигнальной системы и не является языковой. Чтобы означать предмет, звучание должно иметь значение. Значение же является идеальным и выполняет по отношению к предмету функцию отображения. Значение не является чем-то внешним для слова, а принадлежит самому слову и является наиболее существенным в нем. Значение в свою очередь отображает предмет не непосредственно, а опосредованно — через звучание, так как обобщенное понятийное отражение действительности возможно только через вторую сигнальную систему, то есть особую систему физиологических связей, возникающих при произнесении и восприятии звуковых комплексов, имеющих обобщенное значение (выступающих как сигналы сигналов) ².

Неразрывная внутренняя связь звучания и значения в слове подтверждается и другими данными физиологии, психологии и психиатрии. Во всех тех случаях, когда вследствие патологических расстройств в деятельности определенных мозговых центров нарушается связь между звучанием и значением, а следовательно, и между звучанием и предметом, неизбежно происходит расстройство речи, и слова теряют свое коммуникативное и интеллектуальное значение, то есть перестают функционировать как явления языка. При поражении центра Брокá, расположенного в задней левой нижней лобной извилине головного мозга, возникает моторная афазия (словесная немота: больной может произносить членораздельные звуки, но они не связаны у него со значением и потому не выполняют речевой функции — больной не может говорить); при поражении центра Вернике, расположенного в заднем отделе верхней височной извилины головного мозга, возникает сенсорная афазия (словесная глухота: больной слышит членораздельные звуки, но они не связаны для него со значением и пото-

² См. об этом подробнее в нашей книге: «Понятие и слово». Изд-во ЛГУ, 1958.

му не выполняют речевой функции — больной не понимает речи). Таким образом, сущность афазии состоит именно в разрыве связи между значением и звучанием: при моторной афазии имеет место разрыв между значением и звукопроизнесением, а при сенсорной афазии — разрыв между значением и слуховым образом. Эти данные патологии речи являются дополнительным свидетельством в пользу того, что значение и звуковая форма в нормально функционирующем слове неразрывно связаны.

Признание значения слова его внутренним компонентом и трактовка значения как отображения предметов и явлений объективной действительности представляются совершенно необходимыми при последовательно-материалистическом понимании языка. Крупный современный психолог А. Валлон совершенно правильно пишет, что слово «ничего не значит, если оно не включает в себя в каждый момент образы вещей и возможное возвращение к их чувственной реальности, в чем оно получает свое истинное мерило». Видеть в слове «только символ вещи — значит производить препарирование, лишаящее психическую деятельность ее истинной жизни»³.

Итак, значение слова является специфически языковой формой отражения действительности. Специфичность значения как формы отражения заключается в том, что отражение, фиксированное в звуках слов и предложений, связано не только с природой отражаемой действительности, характером практического отношения к ней и формами их осознания, но и с исторически сложившейся системой языка как средства общения, которое существенным образом определяет особенности значения вследствие глубокой внутренней связи процесса отражения с потребностями и задачами коммуникации. Поэтому если изучение различных форм познания путем их абстрагирования от целостного сложного процесса отражения и деятельности людей, происходящих в условиях общения, осуществляется в различных аспектах гносеологией, логикой и психологией, то изучение форм отражения с той стороны, с какой они специфическим образом определяются коммуникативной

³ А. Валлон. От действия к мысли. ИЛ, М., 1956, стр. 230.

ролью языка как некоторой единой (в данном коллективе) системы средств общения, осуществляется семантикой (семасиологией). Такое изучение тоже осуществляется посредством абстрагирования, но последнее производится при этом под другим углом зрения, ибо отражение здесь оказывается значимым лишь с той стороны, с какой оно воплощается в средствах языка и передается ими, и больше ни с каких других сторон.

Исходя из этих соображений, мы считаем неправильным определение значения слова как отношения звукового комплекса к предмету. Что звучание каким-то образом относится к предмету — это не подлежит сомнению. Но в чем суть этого отношения, какова его природа? Ведь оно не является непосредственным и натуральным в прямом смысле слова. Отношение звучания к предмету *опосредовано значением*, носителем которого звуковой комплекс является. Само же значение является языковой формой отражения предмета. Поэтому сказать, что значение есть отношение звучания к предмету, — это значит утверждать тем самым, что значение есть отношение... опосредованное значением. Понятие «отношения» в данном случае (заметим: и в случае сведения значения к другим видам отношения) неспецифично. Все словесные звучания относятся к предметам и явлениям. Но как именно относятся? Это зависит от того, что они значат, то есть каково их значение. Последнее определяет природу отношения звучания к предмету, но само это отношение не есть значение. Отношение звучания к предмету есть отношение обозначения, но не значение. Это различные вещи. Ведь звучание выполняет по отношению к предмету функцию знака. И если определять значение как отношение звучания к предмету, то получится, что отношение знака к предмету и есть значение. Но ведь знак может не иметь ничего общего с обозначаемым предметом, никакого сходства с ним. Между тем значение слова есть его смысловое содержание, а со стороны смыслового содержания слово не обозначает, а отображает предмет. Источник значения лежит в объективной действительности. Но само значение — это социально-опосредованное, зафиксированное в звуках отражение объективной действительности. Значение слова, будучи внутренней его стороной, является специфическим предметом семасиологии как одного из

разделов языкознания, но, с другой стороны, значение слова связано с развитием общественного бытия и мышления, без которых оно не может быть понято. Поэтому значение слова есть именно тот его элемент, который связывает материальную, чувственную форму слова с отображающейся в мысли общающихся людей объективной действительностью.

2

Сведение значения к знаку или исключение значения из языка в равной мере приводят к неправильной трактовке языка как системы знаков. Как показывает современная философская, психологическая и лингвистическая литература, знаковая теория языка в ее нынешней форме тесно связана с неокантианской, неопозитивистской и прагматистской теориями познания, причем эта связь не случайна, а вытекает из существа рассматриваемой концепции. Прежде всего мы должны подчеркнуть, что, характеризуя язык как систему знаков, сторонники знаковой концепции имеют в виду не только внешнюю, звуковую сторону языка, но язык в целом. При этом они либо включают в понятие «языка» его внутреннюю, идеальную, смысловую сторону, характеризуя ее так же как знаковую (как элемент, ингредиент, компонент знака), либо совсем исключают из понятия «языка» область значений как идеальных отображений, соотнося звуковые комплексы языка непосредственно с явлениями окружающей действительности (трактуемой как совокупность чувственных данных опыта). Совершенно очевидно, что в обоих случаях сторонники знаковой концепции языка отрицают значение языка как средства отражения объективной действительности в сознании общающихся людей, как средства обмена мыслями, отражающими действительность.

Понимание значения как отношения знака к чувственным данным опыта тесно связано с основными идеями неопозитивистской теории познания. Причем эта связь, как уже было сказано, отнюдь не является чисто внешней и случайной.

По существу неопозитивистская гносеология сводит весь процесс познания к отношению между знаками и объектами, понимаемыми как комбинации ощущений.

Это отношение рассматривается как однозначное соответствие знаков предметам, но отнюдь не как отражение последних. «...Понятие соответствия в значении равенства или сходства,— пишет Шлик,— тает под лучами анализа, а то, что от него остается, сводится лишь к однозначному отнесению. В этом однозначном отнесении и состоит смысл отношения истинного суждения к действительности, а все наивные теории, согласно которым наши понятия и суждения будто бы могут как-то «отражать» действительность, тем самым окончательно опровергаются»⁴.

По мнению неопозитивистов, в особенности на логико-семантическом этапе развития их учения, философского вопроса об отношении сознания к материи не существует, а есть лишь логико-лингвистический вопрос об отнесении знаков к ощущениям. Они считают, что теория познания сводится только к анализу роли знаковых систем в упорядочении чувственных данных опыта и не имеет никакого отношения к отражению объективной действительности. «...Задачей философии,— пишет Карнап,— является семиотический анализ, проблемы философии относятся не к конечной природе бытия, а к семантической структуре языка науки, в том числе теоретической части повседневного языка»⁵. Структура языка образует знаковый каркас, в соответствии с правилами которого систематизируется весь материал нашего опыта, причем этот языковой, знаковый каркас имеет настолько определяющее значение, что признание самого эмпирического существования той или иной вещи, события зависит лишь от возможности включения их в систему обозначаемых явлений в соответствии со структурой языка. «Принять мир вещей,— пишет Карнап,— значит лишь принять определенную форму языка...» «Признать что-либо реальной вещью или событием — значит суметь включить эту вещь в систему вещей... в соответствии с правилами каркаса (языкового.— Л. Р.)»⁶.

⁴ M. Schlick. Allgemeine Erkenntnislehre, 2 Aufl. Berlin, 1925, S. 57.

⁵ R. Carnap. Introduction to Semantics. Cambridge, 1946, p. 250.

⁶ Р. Карнап. Значение и необходимость. ИЛ, М., 1959, стр. 301, 302.

Таким образом, мы видим, что неопозитивистский номинализм неизбежно приводит к знаковой теории мышления и познания. Однако проблема понятий этим ни в малейшей мере не решается, ибо остается непонятым, почему один и тот же знак относится ко многим вещам, если в них нет никакой реальной общности. К тому же неопозитивистами игнорируется обобщенный характер самого знака, который сохраняет одно и то же значение, несмотря на наличие его многообразных, варьирующих в известных пределах эмпирических осуществлений.

Неопозитивисты считают, что рациональному обозначению подлежат только единичные явления, данные в опыте. Но с этой точки зрения необъяснимыми оказываются не только знаки, имеющие значения (обозначающие классы предметов), но и знаки, обозначающие единичные явления, ибо единичное, если рассматривать его в абсолютном, чистом виде, является совершенно уникальным и неповторимым. А если еще при этом под единичным понимать не объективно существующий предмет, а лишь единичный факт индивидуального опыта (как считают субъективные идеалисты, в том числе и неопозитивисты), то знак должен быть признан пригодным лишь для обозначения единичного факта в сознании того или иного субъекта и должен служить лишь для внутренних целей систематизации его собственного опыта, но не может быть средством взаимосообщения и взаимопонимания. Более того, если проводить эту субъективно-идеалистическую точку зрения последовательно до конца, то придется сделать абсурдный вывод о том, что и для «внутреннего самообслуживания» нет никакой необходимости в знаках. В самом деле, если должно существовать столько знаков, сколько имеется единичных непосредственных данных индивидуального опыта, то тогда зачем вообще нужны знаки, зачем нужна знаковая репрезентация?

Роль знаков в обобщенном познании совершенно бесспорна, и ее невозможно отрицать. Поэтому неопозитивисты пытаются приписать обобщающую функцию самим знакам, как будто бы знак сам в себе несет принцип, полагающий обобщение, вносящий его в многообразие единичных данных опыта. Не случайно, что, обращаясь к этим искусственным «объяснениям», им приходится искать прибежища в идеях априоризма и конвен-

ционализма. На самом же деле знак служит лишь средством фиксации обобщенного отражения предметов и явлений действительности, обладающих реальной (независимой от сознания) общностью.

Таким образом, ход рассуждений сторонников знаковой теории языка и мышления состоит в следующем: язык есть система знаков; познание есть процесс отнесения языковых знаков к объектам (к этому отнесению сводится семантика всех высказываний); отношение языковых знаков к объектам есть отношение однозначного соответствия, но отнюдь не отражения; поэтому, когда мы характеризуем процесс познания, осуществляемый средствами языка, ни о каком отражении объективной действительности в этом процессе не может быть речи. Такова внутренняя логика концепции, которая не зависит от степени последовательности тех или иных ее сторонников.

Отсюда видно, что острие знаковой теории неопозитивистов направлено против материалистической теории отражения. Они изыскивают всевозможные аргументы для того, чтобы опровергнуть последнюю. «Отражение,— пишет Шлик,— никогда не может полностью выполнить свою задачу, ибо оно должно было бы быть вторым экземпляром оригинала, дубликатом; зато знак вполне способен выполнить то, чего мы от него хотим, т. к. от него требуется лишь однозначность его отнесения»⁷ Отрицая возможность отражения объективной действительности в сознании человека, Шлик приводит обветшалые доводы субъективного идеализма, вроде того, что предмет, мол, «никогда не может быть в отражении таким, каким он является сам по себе, ибо каждый образ должен быть заснят отражающим органом с определенной точки зрения, следовательно, может доставить лишь субъективный и вместе с тем перспективный вид предмета»⁸. Но если такие доводы могут иметь некоторое значение при критике наивного и метафизического материализма, то они совершенно бессильны по отношению к диалектико-материалистической теории познания, согласно которой наши восприятия, представления и понятия являются субъективными образами объективных пред-

⁷ M. Schlick. Allgemeine Erkenntnislehre, 2 Anfl., S. 82.

⁸ Ibid.

метов, относительно (следовательно, не полностью) сходными с отображаемыми предметами.

По существу у неопозитивистов познание тождественно обозначению и исчерпывается им. Теория познания оказывается тождественной теории обозначения, то есть теории условных знаков, с помощью которых упорядочиваются, организуются, систематизируются наши ощущения. Мир есть совокупность единичных объектов. Каждый объект есть совокупность ощущений. Познать объект — значит обозначить его, дать ему индивидуальное имя. «Правильно» дать вещи имя — значит обозначить ее таким образом, чтобы ее знак мог войти в знаковую систему и чтобы им «удобно» было пользоваться для упорядочения всего многообразия нашего опыта, то есть ощущений. С точки зрения неопозитивистов, все наши понятия — это в сущности только знаки, а логика — это способ употребления знаков. Отсюда понятно, почему мышление отождествляется у них с языком, логика — с грамматикой. Это отождествление дает им возможность отрицать отражение действительности в человеческом мышлении: если мышление сводится к языковому обозначению, а последнее отнюдь не предполагает сходства с обозначаемыми предметами и явлениями, то отсюда следует, что необходимо отвергнуть понятие отражения.

Так как неопозитивисты стоят на позициях номинализма, то они, естественно, рассматривают общие понятия как знаки, значение которых может быть установлено лишь посредством верификации, то есть сведения в конечном счете к обозначению единичных данных непосредственного чувственного опыта. Общее понятие, по мнению Рассела, — это такой знак, который обозначает ряд других знаков. Поэтому определение общих понятий (то есть раскрытие значения общих знаков) производится путем их сведения в конечном счете к знакам, обозначающим единичные комплексы ощущений. Никакого другого значения общие знаки, по мнению неопозитивистов, иметь не могут, так как они отрицают объективную общность предметов, свойств и отношений, отражаемую общими понятиями.

Неопозитивисты считают, что без языковых обозначений мир представляет собой нерасчленимый хаос чувственных впечатлений и ничего более. Лишь благодаря

тому, что ощущения как исходный материал опыта обозначаются, они приобретают «объектный» характер, то есть становятся предметом познания.

При этом, по мнению Карнапа, языковой каркас может определить «реальное существование» предметов лишь во внутреннем смысле. «Быть реальным в научном смысле,— пишет он,— значит быть элементом системы»⁹. Быть элементом системы — значит определяться языковым каркасом. Поэтому о реальном существовании предметного мира во внешнем смысле, то есть в смысле существования независимо от опыта и языка, не может быть речи ни при каких условиях, то есть даже и в том случае, если нами условно из каких-либо соображений принимается «предметный» язык.

Значение знака рассматривается неопозитивистами как его функция в некоторой произвольно созданной или избранной знаковой системе. Функция обозначения, выполняемая знаком, и образует, по их мнению, обозначаемый «объект». Если знаки обозначают какие-либо предметы, то эти предметы могут считаться существующими в рамках данной знаковой системы как ее «объекты». Но из этого отнюдь нельзя делать каких-либо заключений относительно действительного (внешнего, онтологического) существования предметов.

Идея структурности и формальности мышления и языка, несомненно имеющая, при правильном ее понимании, объективные основания, идеалистически извращается неопозитивистами и используется ими для отрицания предметности и содержательности мышления и языка, то есть, в конечном счете, для борьбы против материализма. Р. Карнап довольно откровенно выражает это, говоря, что структурное описание «составляет высшую ступень формализма и дематериализации»¹⁰.

Идеалистический характер этого принципа не изменяется от дополнения логического синтаксиса логической семантикой, ибо при этом формализм и конвенционализм синтаксиса переносятся и на семантику. С точки зрения «чистой семантики» реальность предметов означает лишь их положенность некоторой знаковой систе-

⁹ Р. Карнап. Значение и необходимость, стр. 301.

¹⁰ R. Carnap. Der logische Aufbau der Welt. Berlin, 1928, S. 15.

мой. В этом именно и состоит якобы семантическая функция знаков. В результате такого хода рассуждений получается, что предметный мир (как и всякий иной «возможный» мир) создается, конструируется самой системой знаков.

Познание, по мнению неопозитивистов, сводится к конвенциональному построению формальных знаковых (языковых) систем и к установлению формальных отношений между обозначенными в языке данными опыта, фактами, событиями (то есть ощущениями, переживаниями). Они считают, что познание есть обозначение чувственных данных опыта (ощущений) посредством знаков, которые приводятся в систему и преобразуются согласно конвенциональным правилам, «удобство» которых затем подтверждается последующей верификацией получаемых таким образом знаковых комбинаций. Согласно взгляду, защищаемому Р. Карнапом, В. Урбаном, А. Айером и другими неопозитивистами, языковые знаки в сущности *создают* значения (понятия), а из значений *конструируются* объекты. Например, Урбан пишет, что «язык создает значения, без которых невозможна конструкция объекта»¹¹.

Айер утверждает, что мы сами конструируем предметы из ощущений посредством системы условных языковых знаков.

Отрицая какую бы то ни было объективную детерминированность знаковых систем, неопозитивисты не в состоянии, в частности, объяснить единство значения языковых знаков в том или ином социальном коллективе. Принцип субъективного произвола отрезает путь к такому объяснению, и в качестве последнего прибежища они обращаются к конвенционализму. Например, У Перси в статье «Символ, сознание и интерсубъективность», опубликованной в 1958 г., рассуждает следующим образом: общение между людьми происходит через знаковую систему языка, который служит средством сообщения между сознаниями индивидов; так как содержания индивидуальных сознаний не имеют никакой объективной основы вне сознания, то интерсубъективность значения языковых знаков, являющаяся условием взаимопонимания, имеет своей основой условное согла-

¹¹ W. Urban. Language and Reality. London, 1939, p. 101.

шение между индивидами относительно значения тех или иных знаков.

Но принцип конвенциональности, взятый сам по себе, никогда и ничего не объяснял, ибо всегда неизбежно возникал вопрос об основаниях конвенции. Неопозитивисты, пытаясь отмахнуться от основного вопроса философии, как якобы «метафизического» и «бессмысленного», оказываются в состоянии с помощью своих построений в лучшем случае лишь отодвинуть этот вопрос, но он необходимо встает в дальнейшем в виде вопроса об основаниях конвенции: в чем эти основания, чем определяется конвенция — объективными причинами, находящимися в сфере материальной действительности и общественной практики, или же субъективными причинами, корнящимися в сознании индивида. От этого вопроса никуда не уйти, и неопозитивисты дают на него ответ хотя и в завуалированной форме (ссылаясь на удобство, эффективность, экономию мышления и т. д.), но в духе субъективного идеализма.

Субъективно-идеалистическому принципу конвенционализма в трактовке знаковых систем мы должны противопоставить диалектико-материалистический принцип детерминизма. Система знаков определяется системой понятий, а система понятий — структурой объективной действительности и практического отношения человека к ней. Практические связи людей с окружающей действительностью многообразны. Они зависят не только от разнообразия предметов, но и от разнообразия их отношений между собой и наших отношений к ним. Все это обуславливает многоплановость предметов окружающего мира, при которой различные стороны одних и тех же предметов могут выступать как существенные, значимые в каких-то отношениях, тем более что предметы и их отношения находятся в процессе непрерывного изменения и развития. Отсюда вытекает наличие различных планов, разрезов, уровней в структуре самой объективной действительности и в способах их концептуального отражения с использованием соответствующих знаковых систем (например, геометрия Эвклида и неэвклидовы геометрии, механика классическая и квантовая механика, классическая теория пространства и времени и теория относительности и т. д.).

Поэтому для всестороннего отражения действитель-

ности необходима соответствующая гибкость понятий. Эта гибкость, в частности, может выражаться не только в изменении содержания отдельных понятий, но и в создании различных систем понятий и их преобразованиях, для чего могут использоваться и различные знаковые системы. Элемент произвольности (условности) здесь, конечно, имеется, но он относителен, ибо выбор той или иной системы понятий (и соответствующих знаков) в конечном счете детерминируется их эффективностью в процессе отражения существенных сторон, свойств, отношений объективной действительности, существующей независимо от мышления и языка, причем критерием истинности этого отражения здесь, как и всюду, остается практика.

Отсюда вытекает, что мы не должны внешним образом, «с порога», начисто отвергать рассуждения неопозитивистов по данному вопросу, а должны критически преодолевать их. Необходимо иметь в виду, что утверждения неопозитивистов о возможности существования многих знаковых систем и о произвольности их выбора имеют определенные гносеологические корни. Они заключаются в реальной возможности образования многообразных систем понятий, детерминированных сложностью строения объективного мира и вытекающей из этого возможностью и даже необходимостью рассмотрения его в многообразных аспектах. Каждый из этих аспектов адекватен действительности в каком-то отношении, а в своей совокупности они составляют сложный целостный процесс развивающегося научного познания. Таким образом, относительная варьированность и произвольность понятийных и знаковых систем, детерминированная действительностью и человеческим отношением к ней, превращается у неопозитивистов в абсолютную множественность и произвольность понятийных и знаковых систем, ничем не детерминированную, исключительно конвенциональную.

В защите идеи о мирообразующей роли знаковых систем сходятся различные школы субъективно-идеалистической гносеологии. Различия между ними имеются лишь во второстепенных оттенках. Для неокантианцев язык — это система знаков, посредством которых сознание соответственно своим априорным формам организует непрерывный поток впечатлений. «Содержание, которое

мы только «воспринимаем», — пишет Г Риккерт, — не имеет вовсе формы, но оно оформляется уже тем, что мы о нем говорим»¹². Еще более отчетливо эта идеалистическая установка звучит в рассуждениях Э. Кассирера. «Мир создан языком, — утверждает он. — Объективные представления... это не исходная точка процесса образования языка, но конечная цель, к которой приводит этот процесс»¹³. Таким образом, объекты знания выступают как плод языковой конструкции.

Неопозитивистские концепции сходятся с неокантианскими в защите идеалистической идеи о том, что формальные структуры, априорно присущие субъекту или конвенционально принятые им, определяют, конструируют действительность. Специфика логико-синтаксического и семантического позитивизма в этом вопросе состоит лишь в том, что он переносит центр тяжести с формальных структур чувственного восприятия и логического мышления на формальную структуру языка как знаковой системы, определяющей все процессы чувственного и логического познания, а потому и весь строй действительности. Но для всех указанных концепций характерным является принципиальное отрицание возможности познания объективной действительности, такой, какой она есть, независимо от субъекта, то есть агностицизм.

Поэтому напрасно некоторые сторонники знаковой теории языка пытаются уверить читателей в том, что между этой теорией и агностической (в частности, иероглифической) теорией познания нет ничего общего. Конечно, не следует смешивать все виды применения понятия знака, в частности по отношению к явлениям сознания (ощущениям, восприятиям, понятиям) и явлениям языка (словам и предложениям). Но не следует также упускать из виду наличие некоторой связи между различными знаковыми концепциями в гносеологическом отношении. Эта связь не случайна, ибо сам факт существования глубокого внутреннего единства мышления и языка свидетельствует о принципиальной гносеологиче-

¹² Г. Риккерт. Два пути теории познания. «Новые идеи в философии». СПб., 1913, № 7, стр. 13.

¹³ E. Cassirer. Le langage et la construction du monde des objects. «Journal de Psychologie». Paris, XXX Année, 1933, p. 23. (Курсив мой. — Л. Р.)

ской значимости вопроса об отношении языка к объективной действительности. Попытка отрицания такой связи опровергается основными установками лидеров семантического идеализма. Например, Огден и Ричардс, разработавшие «теорию языкового символизма», прямо ссылаются на гносеологические идеи Гельмгольца и солидаризируются с ним. Г Гельмгольц, пишут они, совершенно правильно считал, что свойства ощущений не отражают свойств объектов, что знаки не являются отображением действительности. Язык является одной из знаковых систем и в качестве таковой имеет совершенно условный характер. Выбор той или иной знаковой системы зависит исключительно от ее удобства для субъективных целей ее употребления. Употребление языковых знаков сводится только к их однозначному отнесению к «референтам», то есть чувственным данным опыта. «Референты» и есть десигнаты, то есть то, что обозначается. Высказывать что-либо — значит лишь символизировать референцию. И было бы, с точки зрения Огдена и Ричардса, большой ошибкой думать, будто посредством языковых знаков достигается какое-либо познание действительности. Референция не отражается, но лишь обозначается, а за пределы референции мы вообще проникнуть не можем¹⁴.

Если такая гносеологическая интерпретация языка современными семантическими идеалистами и отличается от теории символов Гельмгольца, то лишь в том отношении, в каком более последовательная субъективно-идеалистическая система взглядов отличается от полуматериалистической стыдливо агностической теории.

Таким образом, с точки зрения неопозитивизма и других близких к нему философских направлений, интерпретация действительности зависит не от ее объективных законов, связей и отношений, постепенно все более полно и дифференцированно отражаемых в человеческом сознании при помощи языковых средств, которые сами сформировались в ходе исторического развития человеческого общества и его многообразных связей с окружающим миром, а только от языковых систем как первичных знаковых конструкций, формирующих картину

¹⁴ См. C. Ogden, I. Richards. *The Meaning of Meaning*. New York — London, 1945, pp. 78, 82, 188—189.

мира. На порочной основе этой идеалистической идеи стали формироваться различные лингвистическо-метафизические концепции («metaphysics of language», «die Weltanschauung der Sprache» и т. п.), пытающиеся объяснить различные взгляды на мир различиями языковых систем. И если представители так называемой «чистой» семантики пытаются преодолеть подобную метафизику, якобы порождаемую структурой исторически сложившихся «естественных» языков, путем создания единого искусственного языка науки, то этим исходная субъективно-идеалистическая идея не только не устраняется, а, наоборот, усиливается, приобретая еще более рафинированную форму. Совершенно очевидно, что эта идеалистическая трактовка вопроса об отношении языковых знаков к действительности направлена против материалистического учения об отражении объективного мира в человеческом мышлении, протекающем в языковой форме.

Согласно диалектическому материализму, материальные объекты воздействуют на органы чувств и вызывают чувственные образы, переработка которых в соответствии с природой объектов приводит к образованию понятий, отображающих эти объекты в их общих и существенных признаках. В этом процессе образования понятий языковые знаки играют весьма существенную роль, так как они являются средствами формирования и фиксирования понятий. Но знаки не являются ни источником образования понятий, ни тем более элементами, из которых конструируются сами объекты. Материальные объекты первичны, а чувственные восприятия и фиксированные в знаках понятия вторичны и являются отображениями объективной действительности.

Таким образом, мы видим, что знаковая теория языка, независимо от того, относится ли она к исторически сложившимся, «естественным», национальным языкам или к искусственным языкам науки, является ошибочной, так как она покоится на ложной гносеологической основе. Положение, что язык есть непосредственная действительность мысли, и утверждение, что язык является только системой знаков с точки зрения последовательного материализма, непримиримы. Знаковая теория языка, как уже отмечалось выше, основывается либо на выключении значения из состава слова и све-

дений слова только к звучанию, либо на отрицании отражения предмета в значении слова. В обоих случаях получается разрыв между языком и объективной действительностью, неизбежно ведущий к агностицизму.

Языку несомненно присуща знаковая сторона и она является существенной в языке, характеризуя во многих отношениях природу и функции звукового состава и грамматической формы по отношению к мыслимым значениям языковых единиц и к объективной действительности. Но язык в целом не может рассматриваться как система знаков, так как в состав языка входят и значения языковых единиц, отнюдь не являющиеся знаками. Более того, все знаковые дифференциации и связи в языке в конечном счете определяются потребностями фиксирования дифференцируемых и связываемых значений в соответствии с задачами все более полного, точного и всестороннего отображения объективной действительности. Вот почему мы считаем необходимым характеризовать язык как сложное материально-идеальное образование, сочетающее в себе по отношению к объективной действительности свойства обозначения и отображения, причем сочетающее их таким образом, что процесс обозначения подчинен задачам отображения, но отнюдь не наоборот. Языковой знак (в качестве которого выступает звуковая форма языка с принципами её морфологическими особенностями и синтаксическими соотношениями) является чувственным носителем мысли, средством её фиксации и реализации. Обозначающую функцию языковой знак выполняет по отношению к явлениям действительности (то есть разнообразным предметам мысли). Что касается значений (то есть смыслового содержания) всех языковых единиц, то они являются не знаками, а соответствующими структуре языка отображениями явлений действительности.

К КРИТИКЕ НЕОПОЗИТИВИСТСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОЦИОЛОГИИ

Характерной чертой современного кризиса буржуазной социологии является разочарование не только в схемах старой философии истории и традиционной контровской социологии, но и в результатах эмпирической социологии, долгое время господствовавшей и претендовавшей на исключительное место в современных буржуазных воззрениях на общество. Для выяснения причин краха этой узко эмпирической тенденции важно прежде всего выяснить, каким образом и насколько ее сторонникам и выразителям удалось выполнить социальный заказ буржуазии. Социальная задача, которая перед ними стояла, сводилась в сущности к тому, чтобы — благодаря почти прикладному характеру, который приобрела социология, — теоретически обосновать незначительное социальное реформаторство, создав тем самым представление о возможности научного вмешательства в процесс изменения социальной действительности. Дело сводилось в конце концов к апологии «теории малых дел» средствами социологии. Вся общая устремленность эмпирической социологии с ее отказом от широкой социальной проблематики и настоящим культом «исследования фактов» была подчинена именно этой задаче.

Однако надежды, возложенные на такого рода социологию, не оправдались. Отчасти потому, что сами возможности практического применения результатов исследований оказались ограниченными, но главным образом потому, что даже при условии использования услуг со стороны эмпирической социологии коренные социальные проблемы капиталистической действительности, конечно, не оказались разрешенными. Обострение социальных противоречий в капиталистических странах,

как отмечается в Заявлении коммунистических и рабочих партий 1960 г., есть одно из проявлений нового этапа общего кризиса капитализма, а усиление сопротивления трудящихся монополистическому капиталу свидетельствует о том, что массы встают не на путь принятия социального реформаторства при помощи «достижений» эмпирической социологии, а на единственно действенный путь социальных преобразований — на путь классовой борьбы.

В итоге этого разочарование в результатах эмпирической социологии наступило прежде всего именно потому, что социальную свою задачу, поставленную перед ней господствующим классом капиталистического общества, она практически выполнить не сумела.

Вместе с тем эмпирическая тенденция в социологии обнаружила свое банкротство и в чисто теоретическом, прежде всего методологическом, плане.

Прежде чем характеризовать методологические основы эмпирических исследований, надо уточнить некоторые представления об общей структуре и расстановке сил современной буржуазной социологии. В нашей литературе, посвященной критике современной буржуазной социологии, существуют различные мнения относительно основных ее направлений. Ряд авторов, как, например, М. П. Баскин, перечисляют старые традиционные школы буржуазной социологии, имевшие распространение еще в XIX в. или в лучшем случае в 20—30-х годах XX в.: географическую, психологическую, биологическую, экологическую и т. д. Другие, говоря о социологии, имеют в виду социологические воззрения, сложившиеся в недрах различных философских направлений: социологические воззрения экзистенциализма, прагматизма, персонализма и т. д. Наконец, третьи под направлениями в социологии понимают вообще самые разнообразные проявления социологического мышления: «направлением» именуется и эмпирическая тенденция, и психологическая школа, и социальный дарвинизм, и тенденциозная постановка отдельных проблем социологии — социальная стратификация, концепции технократии и т. д.

При таком разном и произвольном подходе к вопросу вообще трудно вычленить вопрос о методологических основах эмпирических исследований в социологии. Поэтому, на наш взгляд, в интересах анализа

было бы целесообразно провести ясное разграничение.

Во-первых, социологические концепции и теории наличествуют, конечно, в соответствующей части рассуждений представителей различных философских систем. Можно говорить о социологических воззрениях прагматизма, имея в виду, например, работы Д. Дьюи, или — экзистенциализма, имея в виду работы М. Хайдеггера и т. д. Однако эти работы, как правило, не являются собственно социологическими; совокупность воззрений на общество, представленная в работах таких авторов, скорее есть *социальная философия*, чем социология.

Говорить о методологической основе таких рассуждений относительно легко. Если анализировать социологические воззрения Дьюи или Хайдеггера, то не может возникнуть сомнения относительно их непосредственной методологической, то есть здесь собственно философской, основы.

Во-вторых, своего рода общесоциологические проблемы ставятся в трудах представителей исторической науки, тех, кто преимущественно сосредоточивает свое внимание на проблемах методологии истории. В качестве примера можно привести работы таких историков, как Арнольд Тойнби или Бенедетто Кроче. Здесь также можно более или менее определенно проследить связь между специфическим пониманием исторического процесса и исходными посылками той или иной философии (как известно, существует, например, прямая связь между «историзмом» Кроче и его же философским неогегельянством). Однако эти работы также не являются собственно социологическими; это работы историков, в которых если и поднимаются общие вопросы методологии истории, то скорее в рамках *философии истории*, но не социологии.

Несомненно, что для получения полного представления о воззрениях буржуазных идеологов на общество и на его историю, необходимо анализировать также и социальную философию современной буржуазии, и собственные ей концепции философии истории. Но все это, повторяем, не есть социология в собственном смысле этого слова. Начиная со времени О. Конта буржуазная социология заявила свою претензию на самостоятельное, независимое от философии существование, и поэтому

когда нас интересует вопрос методологической основе именно социологических эмпирических исследований, нужно обращаться к работам и взглядам *собственно социологов*. Традиционно сложившиеся в буржуазной социологии школы вряд ли сейчас имеют такую же четкую очерченность, как это было во времена их возникновения.

Поэтому, на наш взгляд, ныне целесообразно различать внутри социологии не столько эти ее традиционные школы, сколько прежде всего — две ее основные ветви: социологию теоретическую¹ и социологию эмпирическую.

Если представители теоретической социологии, допуская эмпирические исследования, пытаются разработать их общую методологию, то огромное большинство представителей эмпирической социологии афиширует именно свою незаинтересованность в общих вопросах методологии. Иногда дело обстоит сложнее: эта «независимость» от общеметодологических тезисов специально не декларируется, а социологи эмпирического толка в своих исследованиях просто-напросто стремятся как можно более строго остаться в рамках своей узкой специализации. Они выполняют работы прикладного характера в таких, например, областях, как социальная стратификация, аграрная или индустриальная социология, социология семьи и т. д., и ничем иным не занимаются. При такой позиции представителей эмпирической социологии возникает известная трудность для исследования ее методологической основы. Но в этой же их позиции можно найти и ключ для ее определения.

Несмотря на то что эмпирическая социология возникла как известная реакция на контовский позитивизм (в частности, как протест против абстрактных конструкций контовских законов), тем не менее в качестве ее методологической основы выступает именно позитивизм. Этого не следует понимать упрощенно. Прежде всего, ошибочно было бы предполагать, что позитивизм в современной социологии проявляется в той самой форме,

¹ Теоретическая социология связана с именами таких, например, крупнейших американских социологов, как Талкотт Парсонс, Роберт Мертон и др. Она включает в себя такие разделы, как структурная социология, функционалистская социология, социология познания и т. д.

в какой он выступал во второй половине XIX в. Видоизменение самой философии позитивизма на протяжении более чем столетия и тот факт, что наиболее распространенной его формой в настоящее время является неопозитивизм, имели свои последствия и в социологии. Представители одного из течений современной буржуазной социологической мысли более или менее определенно связывают свои рассуждения с идеями гносеологий неопозитивизма, хотя они и не обязательно употребляют этот термин (Ландберг, Додд, Лазарсфельд, Рашевский). В большинстве же работ огромной армии эмпирических социологов тщетно было бы искать прямых аналогий с гносеологической проблематикой неопозитивизма. Если, скажем, проанализировать работы таких американских социологов, как Бендикс или Липсет, то в них ни в коей мере не может быть обнаружена постановка проблем верификаций или конвенционализма, применение неопозитивистских формул решения этих проблем и т. д. Поэтому, говоря о позитивизме как методологической основе буржуазных эмпирических исследований, мы имеем в виду отнюдь не прямую связь этих исследований с философией неопозитивизма. Речь идет о некоторых самых общих принципах позитивизма, которые в конечном счете определяют и проблематику эмпирической социологии, и цель ее исследований, и исходные положения ее поисков.

В самом общем виде следовало бы охарактеризовать позитивистскую методологию эмпирических социологических исследований как стремление избежать объяснения сущности явлений и ограничиться простым описанием фактов общественной жизни. Однако это определение чересчур обще. Задача заключается в том, чтобы более конкретно выяснить, в чем же проявляется позитивистская методология эмпирических исследований, или, более широко, что именно представляет собой современный позитивизм в социологии.

*

Это удобнее всего сделать, рассмотрев какую-то одну конкретную область эмпирической социологии. В качестве иллюстрации можно взять те концепции, ко-

которые обращаются к характеристике социальной структуры общества,— так называемые теории «социальной стратификации» и «социальной мобильности».

Как известно, именно эти теории современная буржуазная социология противопоставляет марксистской теории классов и классовой борьбы. Исходным понятием социальной стратификации является понятие «страта» — слоя общества. Сам факт существования различных социальных слоев в сложной классовой структуре современных обществ совершенно очевиден. Кстати сказать, и в марксистском анализе классовой структуры любого общества всегда фиксируется наличие определенных слоев внутри классов, а также ряда слоев и прослоек внутри различных промежуточных групп. Но для представителей эмпирической социологии характерно именно противопоставление страта классу, говоря точнее, — отказ от изучения классов во имя исследования страт общества. Многие представители эмпирической социологии настойчиво предлагают как раз обойти проблему классов, а вопрос о «сущности классов», «главных чертах класса» отдать как «квазимистицизм» поэтам, журналистам или же представителям социальной философии. Таким образом, собственно социологи настаивают именно на *описании* слоев общества или отдельных групп этих слоев.

В данном случае можно было бы, пожалуй, установить прямую связь именно с неопозитивистским подходом к вопросу: если существование класса не верифицируется, а наличие группы (слоя) верифицируется, то, с точки зрения неопозитивизма, в науке принятым должно быть положение о существовании не класса, но страта. Но мы уже говорили, что дело не в таком прямом «проецировании» принципов философии неопозитивизма на социологическое исследование. В основе теорий «социальной стратификации» лежат позитивистские принципы в более широком и в более глубоком смысле слова. Так, например, в качестве критерия разделения по стратам берутся признаки, лежащие на поверхности общественных отношений, а не коренящиеся в сущности явлений. У Ландсгута, например, в качестве такого критерия используется даже характер... предпочитаемых телепередач.

Отказ от анализа сущности классов обосновывается

желанием избежать выхода за пределы непосредственного опыта и подъема от опытных данных к образованию абстракций. В этом, на наш взгляд, и заключается важнейшая черта эмпирической социологии, свидетельствующая о позитивистском характере ее методологии.

Было бы неправильным считать, что в социологических исследованиях такого рода вообще не делается никаких «обобщений». Иногда эмпиризм современной буржуазной социологии упрощенно изображают как «отказ от общих законов». Кстати, такое утверждение является неверным даже относительно традиционной контовской позитивистской социологии. О. Конт был одним из таких представителей социологии, которые именно ищут «естественный закон» в явлениях общественной жизни.

Эмпирическая социология сплошь и рядом признает необходимость различного рода обобщений: так называемого «эмпирического обобщения», «обобщения среднего ранга» (Р. Мертон) и др. Весь вопрос в том, каков характер этих обобщений.

Английский социолог Т. Маршалл — один из последователей Макса Вебера и Питирима Сорокина, сторонник так называемой «многоизмеримой стратификации», довольно прозрачно высказался о природе этих обобщений: «Социальная стратификация является предметом, с которым невозможно писать «строгую историю». Задача социологии состоит в том, чтобы считаться лишь с тем, «какие», «когда» и «где» произошли социальные изменения, а не с тем, «почему» и «как»². Но обобщения по принципу «какие», «когда», «где» и т. д. — это констатации, если угодно, в лучшем случае — определенный подбор фактов, но ни в коем случае не отображение закономерностей развития явления, которые, пожалуй, можно было бы назвать именно обобщениями по принципу «почему» и «как».

Специфический характер обобщения предполагает и определенную степень его широты. Американский социолог Р. Мертон прямо признает, что недостатком современной американской социологии является отсутствие общей теории (*general theory*), поэтому обобщения и делаются в лучшем случае на уровне «средних рангов».

² Цит. по «Transactions of the Third World Congress of Sociology», v. III, Changes in Class Structure. Published by the International Sociological Association, London, 1956, p. 5.

Поэтому можно считать второй важнейшей чертой позитивистской методологии эмпирических исследований (на примере социальной стратификации) именно противопоставление эмпирических фактов обобщенному знанию и узкий, односторонний характер самих обобщений в социологии.

Можно привести еще пример из области теорий «социальной мобильности». Как известно, исследования так называемого социального динамизма (то есть перемещений индивидов вверх и вниз по вертикали, из одного социального слоя в другой) особенно привлекают к себе интересы буржуазных социологов.

Целый ряд исследований по социальной мобильности призван доказать, что «современное общество» (имеется в виду общество капиталистическое) является обществом «открытого типа», с широким будто бы представлением «равных возможностей» всем его членам. Утверждаются относительная «легкость» в изменении социального положения индивидов, большие «шансы» на передвижение вверх по социальной лестнице и т. д. и т. п.

Каковы исходные методологические предпосылки, которыми пользуются буржуазные социологи при анализе социальной мобильности?

Об этом открыто заявляют сами представители этих теорий. Американский социолог Яновитц в докладе на III Международном социологическом конгрессе «Некоторые последствия социальной мобильности в США» сформулировал свою мысль так: «...методология американской науки социальных исследований, которая делает упор на шаблонное обследование ...концентрирует свое внимание на мобильности индивидов, а не на исторических изменениях общества в целом. Поэтому, как правило, доступные сведения о последствиях «социальной мобильности» касаются чаще всего индивидов, а не групп»³. Это же отмечает и Миллер, когда говорит, что американские социологи «изучали мобильность ограниченным традиционным способом, а именно так, что мобильность включает существенные перемещения вверх или вниз в положении занятости индивида»⁴.

Таким образом, утверждают, что динамизм социаль-

³ Цит. по «Transactions of the Third World Congress of Sociology», v. III, p. 194.

⁴ Ibid., p. 145.

ных отношений раскрывается через динамизм движения индивидов. Но еще Марксом была вскрыта крайняя абстрактность и по существу неправильность такого подхода, когда за основу анализа берется положение индивида, занимаемая им позиция. Восстав в свое время против абстрактных построений О. Конта, современная эмпирическая социология сама, но лишь с другого конца, пришла к не менее абстрактным представлениям об обществе и путях его изучения.

Концепцией, которая в состоянии была бы «оправдать» такого рода абстрактный подход, всегда была психологическая концепция. Точно так же и в теориях «социальной мобильности» психологизм играет важную роль как средство объяснения мотивов движения индивидов вверх по социальной лестнице. Американские социологи Липсет и Зеттерберг утверждают, что в конечном счете здесь все определяется тем, что «людям не нравится перемещаться вниз: они предпочитают сохранять свое положение или улучшать его»⁵.

На наш взгляд, это и есть третья характерная черта позитивистской методологии в эмпирическом социологическом исследовании — использование психологизма как принципа объяснения социальных явлений и вытекающая отсюда абстрактность в подходе к их изучению.

Во всех приведенных случаях рассматривались примеры из области теорий, которые обращены к актуальным социальным проблемам. Но существенным признаком эмпирической социологии является ведь именно тенденция к уходу от таких проблем. Это признают и многие буржуазные критики эмпиризма. В докладе на IV Международном конгрессе социологов Р. Мертон сделал, например, следующее заявление: «Несмотря на то что война и эксплуатация, бедность, несправедливость и неуверенность обременяют жизнь людей в обществе или угрожают самому их существованию, многие социологи играют проблемами, настолько отдаленными от этих катастрофических беспокоейств, что они являются безответственно мелкими»⁶.

⁵ Цит. по «Transactions of the Third World Congress of Sociology», p. 162.

⁶ Robert K. Merton. The Conflict between styles of Sociological Work. USA, 1959, p. 11.

Ему вторит П. Лазарсфельд: «Прежде всего следует сказать, что наше время — это время жгучих социальных проблем; однако американские социологические журналы полны небольших и незначительных исследований относительно того, каким образом студенты и студентки колледжей назначают друг другу свидания или о популярности радиопрограмм»⁷.

Разумеется, на этом общем фоне «мелкотемья» могут встречаться некоторые сами по себе не лишённые ценности работы. Они касаются отдельных сторон жизни некоторых определенных социальных групп, некоторых аспектов проблемы воспитания и т. д. В отдельных частных случаях, в каких-то ограниченных сферах эти исследования могут дать практически полезные результаты. Но в силу того что сама проблематика носит в общем случайный характер и исследователи довольствуются описанием несущественных второстепенных сторон общественных отношений, вся эмпирическая социология в целом оказывается бессильной раскрыть существо социальных явлений современной действительности. Таким образом, *сам характер проблематики эмпирических исследований* связан с неумением выделить критерий для отличия главного от второстепенного при выборе объекта исследования, и именно это методологически неизбежно вытекает из исходных посылок позитивизма. Это представляет собой, на наш взгляд, четвертую важнейшую черту социологического позитивизма.

Иногда как на еще один признак позитивистской методологии эмпирических социологических исследований указывают на специфический характер используемых в них частных методов, то есть самой техники исследования. Этот вопрос, однако, требует уточнения.

За многие годы своего существования эмпирическая социология создала и применяет целый ряд специфических методов исследования. Как это видно из большинства, скажем, американских учебников социологии и из

⁷ «Transactions of the Fourth World Congress of Sociology». Published by International Sociological Association. London, 1959, v. II, p. 227.

практики соответствующих исследований, методы эти сводятся в основном к следующим: наблюдение, интервью, анкеты, изучение личной документации, сбор статистических данных, математические методы, социальный эксперимент.

Можно, конечно, спорить о возможности и границах применения тех или иных из этих методов в различных социологических исследованиях, но вряд ли правильно считать, что все они обязательно несут на себе «позитивистскую нагрузку», или, наоборот, «позитивистский заряд», и потому сами по себе порочны и неприменимы. Было бы ошибочным считать, что именно в применении этих методов коренится порок эмпирических исследований буржуазной социологии.

Хорошо известно, что некоторые из частных методов, описанных в буржуазных учебниках эмпирической социологии, с успехом применялись и классиками марксизма-ленинизма в их работах. Стоит, например, вспомнить предисловие Энгельса к книге «Положение рабочего класса в Англии», где он перечисляет некоторые из методов, примененных при изучении жизненных условий и положения рабочего класса. Обращаясь к рабочим, Энгельс пишет здесь: «Я достаточно долго жил среди вас, чтобы ознакомиться с вашим положением. Я исследовал его с самым серьезным вниманием, изучил различные официальные и неофициальные документы, поскольку мне удавалось разработать их, но все это меня не удовлетворило. Я искал большего, чем одно абстрактное знание предмета, я хотел видеть вас в ваших жилищах, наблюдать вашу повседневную жизнь, беседовать с вами о вашем положении и ваших нуждах, быть свидетелем вашей борьбы против социальной и политической власти ваших угнетателей. Так я и сделал. Я оставил общество и званные обеды, портвейн и шампанское буржуазии и посвятил свои часы досуга почти исключительно общению с настоящими рабочими; я рад этому и горжусь этим»⁸. Здесь перечислены некоторые из методов, указываемые буржуазными социологами в качестве специфических методов эмпирической социологии.

Известно также, что В. И. Ленин, работая над «Раз-

⁸ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 2, стр. 235.

витием капитализма в России», широко использовал такие методы, как анализ статистических данных, вычерчивание различного рода таблиц и диаграмм по собранным для них сведениям. Следовательно, сами по себе такие методы исследования могут быть применены при условии совершенно иной исходной позиции исследователя, нежели та, что имеет место в изысканиях буржуазной эмпирической социологии.

Поэтому теоретически проблема стоит не как вопрос о пригодности или непригодности той техники исследования, которая применяется в эмпирических исследованиях буржуазных социологов, а как *проблема соотношения частных методов исследования, его техники и общей методологии*, используемой при этом, и по отношению к которой частные методы занимают подчиненное положение.

Рассмотрим применение этих методов в указанных нами выше разделах буржуазной социологии — учениях о «социальной стратификации» и о «социальной мобильности».

Исследовать концепцию страт общества можно и при помощи непосредственного наблюдения, и опроса, и интервью, и анкет, — но не этими приемами как таковыми будет определяться понимание роли и места изучаемых страт в социальной структуре общества.

Все дело в том, что общая методология оказывает влияние и на выбор объекта исследования, и на выбор того метода, который будет для его изучения применен. Так, например, при изучении социальных страт общества многие социологи, стоящие на позициях психологизма как руководящего в их исследовании принципа, совершенно субъективистски применяют такие методы, как опрос и интервью. Произвольно выбранному индивиду задается вопрос: «К какому классу Вы себя причисляете?», и получаемый ответ считается единственным основанием для определения классовой принадлежности опрашиваемого. Именно так поступали представители психологической школы Сорбоннского университета, жестоко высмеянные Жоржем Коньо, который говорил о них, что они посылают обследователей допрашивать людей у выхода из метро, ставя вопрос: «как Вы считаете, к какому классу Вы принадлежите?».

Можно ли считать, что такими приемами буржуазные

социологи скомпрометировали метод опроса? Конечно, нет. Не сам метод опроса является здесь «ответственным» за крайне произвольный результат, который таким путем будет получен, а общая исходная посылка в изысканиях представителей социальной психологии. Если Р. Сентерс пишет, что «класс человека является частью его «я», это его чувство принадлежности к чему-то»⁹, то ясно, что именно эта исходная позиция определяет специфику применения им метода опроса. Вместе с тем, метод опроса, примененный по-иному, как это, например, делается в переписях населения, где опрашиваемым задается вопрос относительно рода занятий и т. д., имеет большое положительное значение для определения социальной структуры общества.

Точно так же, если Ландберг, приступая к исследованию классов, заявляет: «Любое наблюдаемое различие может стать основой для «общественных классов»¹⁰, то ясно, что наблюдение, поставленное на такой произвольно избранной «основе», не сможет дать подлинно научного результата, как бы хорошо и «технично» оно само по себе не было поставлено.

Зависимость применения частных методов исследования от общей методологии бесспорна. Она проявляется еще более ярко, если рассмотреть не такие элементарные методы, как опрос, интервью или наблюдение, а более сложные. Для эмпирической социологии характерно увлечение математическими методами, то есть различными приемами формализации материала, что находит свое выражение в создании специальных математических моделей социальных процессов и в широком применении различного рода социограмм и матриц.

Сам по себе факт применения математических методов в социологии вовсе не является «признаком позитивизма». С развитием кибернетики открываются совершенно новые возможности ее применения и в социальных науках. Уже и сейчас известно, что в отдельных отраслях социальных наук с успехом применяются и математические модели, и расчеты при помощи электронно-счетных устройств, как, например, в демографии. Во-

⁹ R. Centers. The Psychology of Social Classes. Princeton, 1949, p. 27.

¹⁰ I. Lundberg, S. Schrag and O. Larsen. Sociology. N. Y., 1954, p. 162.

прос о моделировании социальных законов, очевидно, вопрос будущего общественной науки. Интересно, что еще в середине XIX в. Маркс допускал возможность создания определенных моделей для изучения проблемы кризисов.

Но для современной позитивистской социологии характерным является, во-первых, непропорциональный акцент на чисто количественные методы исследования и, во-вторых, использование этих методов опять-таки в рамках и с позиций общей порочной методологии. Это можно проследить на примере из области теорий «социальной мобильности».

При исследовании «социальной мобильности» особенно заманчивой является перспектива применения математических методов: вычисления мобильности легко поддаются статистической обработке, результаты исследований чисто внешне укладываются в различные таблицы и матрицы. Вот как, например, ведутся вычисления мобильности датским социологом профессором Сваластога. Выбирается ограниченная группа людей и высчитывается частота переходов в другой социальный слой в двух различных поколениях этой группы (в поколении «отцов» и «детей»). Определяется «коэффициент мобильности»: отношение количества переходов во 2-м поколении к количеству переходов в 1-м поколении.

В расчетах американского социолога Прейса¹¹ вводятся еще некоторые дополнительные показатели — побочные вероятности перехода. В особых так называемых «теоремах мобильности» сводят воедино все эти показатели — коэффициент мобильности и все дополнительные вероятности. В результате получается так называемая «матрица коэффициентов перехода» — своеобразная сводная таблица, которая для каждого поколения дает расчет «шансов» перехода в высшие слои общества. «Глубокомысленный» вывод, полученный на основании таких подсчетов, состоит в том, что теоретически для каждого члена общества имеется возможность «проникновения» в высшие слои.

Разумеется, сам математический расчет «не причастен» к этому выводу, хотя сильно «формализованная» манера рассуждений и настораживает. Ложность выво-

¹¹ «Popular Studies», 1955, No 1.

да (обусловленная, конечно, и классовой позицией социолога) определяется ложностью исходной посылки, а именно она проистекает из совершенно произвольного, субъективистского выбора группы для определения «коэффициента мобильности». Такая исходная посылка определяется принципами применяемой при этом общей методологии, а не спецификой самих расчетов.

Эту же мысль хорошо можно проиллюстрировать, если разобрать применение формул и социограмм в работах основателя американской социометрии Дж. Морено¹².

Доказательством того, что сами по себе технические приемы эмпирических исследований отнюдь не являются неприемлемыми, служит тот факт, что в отдельных частных вопросах они способствуют получению весьма ценных и положительных результатов. Тот же самый метод спроса или анкетирования помогает, например, выявить отрицательное отношение значительных групп населения к антипедагогическому и безнравственному содержанию телевизионных передач в капиталистических странах и т. д.

Данные, полученные в результате некоторых таких исследований, могли бы быть обобщены с пользой. Однако именно при обобщении этих данных, как оно происходит в буржуазной социологии, проявляются все отрицательные черты, свойственные позитивистской методологии. «Эмпиризм» социологических исследований в буржуазной социологии есть эмпиризм позитивистского толка. Отсюда вытекает, что порочными являются не эмпирические исследования сами по себе, а именно эта позитивистская методология, которой отнюдь не случайно пользуются представители буржуазной эмпирической социологии.

* * *

❖

Разочарование результатами эмпирической социологии в среде буржуазных социологов (критикуют ее главным образом представители «теоретической социологии») никогда не связывается, что весьма характерно,

¹² Дж. Морено. Социометрия. ИЛ, М., 1958. См. также: М. Ш. Бахитов. Об одной «новейшей» социальной утопии. Соц-экзиз, М., 1958.

с критикой ее методологических основ. Критики эмпирической социологии обходят молчанием присущую ей позитивистскую методологию и в лучшем случае отмечают методологическую беспомощность эмпирической социологии, недооценку ею общей теории, ее неспособность осознать и верно понять необходимость последней. С этой точки зрения показательным было выступление на IV Международном конгрессе социологов Р. Арона, который заявил, что «слабость американской социологии состоит в том, что она недостаточно ищет синтетической интерпретации эффективного функционирования различных режимов»¹³.

С этим положением согласился и Лазарсфельд: «У меня сложилось впечатление, что американские эмпирики стремятся оставлять бессвязными находимые ими материалы и что в этом отношении европейская критика оправдана... То, в чем мы нуждаемся,— это своего рода сочетание обычного американского эмпирика-экспериментатора и философа. Если я правильно смотрю на вещи, то мы и здесь упираемся в необходимость методологического разъяснения»¹⁴.

Интересно отметить, что такого рода критика обычно делает упор на то, что эмпирическая социология недооценивает значение методологических проблем. Она критикуется, таким образом, за известную «методологическую безответственность», за своеобразное игнорирование ею методологии, а отнюдь не за порочность этой втихомолку ею используемой методологии. Это и понятно, ибо критиковать методологические основы эмпирической социологии — значит критиковать позитивизм. Но именно позитивизм в конечном счете лежит чаще всего и в основе рассуждений самих критиков, то есть представителей так называемой «теоретической» социологии.

Поэтому те поиски, которые пытается предпринять буржуазная социология для выхода из тупика и кризиса, не могут быть состоятельными. Эти поиски «общей теории» снова не выходят по существу за пределы исходных представлений позитивизма.

¹³ «Transactions of the Fourth World Congress of Sociology», 1959, v. I, p. 15.

¹⁴ Ibid., v. II, p. 232.

Так, например, претензию на преодоление разрыва между эмпирическими исследованиями и общей теорией заявила микросоциология. Она отличается от прочих школ эмпирической социологии¹⁵ тем, что открыто считает своим преимуществом связь с определенными «философскими основами». Высказывая совершенно недвусмысленно свое отношение к ряду основных философских направлений, Жорж Гурвич пытается создать «новую философскую ориентацию» социологии, так называемый «диалектический гиперэмпиризм». И хотя к теориям, которые этот «диалектический гиперэмпиризм» категорически отрицает, относятся, по мнению Гурвича, идеализм, рационализм, критицизм, сенсуализм, спиритуализм, материализм и позитивизм¹⁶, в действительности весь характер рассуждений Гурвича показывает, что перед нами — весьма эклектическая смесь разнообразных посылок субъективного (и объективного!) идеализма с очень сильным включением позитивизма.

Если рассмотреть ту область социологии, которая обращается к характеристике социальной структуры общества, то легко видеть, что «диалектический гиперэмпиризм» Гурвича очень мало в чем изменяет характер исследований в этой области. Так, например, интерпретированное в свете этой «новой» основы понятие «класс» отнюдь не уводит Гурвича далеко от выводов последователей теорий «социальной стратификации».

По мнению Гурвича: «Динамизм социальных классов является комплексной реальностью, которая должна быть изучена эмпирическим и конкретным образом и которая не допускает *никакого широкого обобщения*

¹⁵ В связи с этим мы хотим выразить наше несогласие с оценкой микросоциологии, данной в интересной и содержательной статье чешских социологов Я. Клофача и В. Глусты «Кризис эмпирической социологии» («Вопросы философии», 1960, № 11). Авторы безоговорочно относят микросоциологию к теоретическим ветвям буржуазной социологии, в то время как, на наш взгляд, для этого нет достаточных оснований. Прикладная часть микросоциологии — социометрия самим Морено оценивается как строго «экспериментальный метод» исследования социальных явлений и в этой своей части относится к типично эмпирическим исследованиям.

¹⁶ См. об этом: М. Ш. Бахитов. Об одной «новейшей» социальной утопии.

(курсив мой. — Г. А.), предполагая в одно и то же время множественность видов, которые никогда нельзя игнорировать»¹⁷ При таком подходе к вопросу вновь получается типично позитивистское описание социальной структуры общества...

В силу сказанного эмпирические исследования буржуазной социологии, даже если они и будут «соединены» с «новой» методологической основой, останутся по своей общей тенденции исследованиями позитивистского толка, ибо сформулированная открыто или подразумеваемая молча основа самой этой методологии есть философский позитивизм.

Таким образом, можно сделать вывод, что при исследовании общественных явлений порочными являются не эмпирические исследования сами по себе и не столько частные методы и техника, применяемые в них, сколько именно та позитивистская методология, которой пользуются, как правило, представители буржуазной эмпирической социологии.

Совершенно иное значение приобретают эмпирические или, говоря точнее, *конкретные* социологические исследования, если они предпринимаются в рамках марксистской социологии, то есть в рамках исторического материализма. Необходимость этих исследований совершенно очевидна; потребность в них особенно велика сейчас — в период развернутого строительства коммунизма, когда социальные исследования могут оказать большую практическую помощь в строительстве коммунизма.

Очевидно, что в ходе таких исследований могут быть созданы и создаются новые частные и специальные методы, но они не исключают возможности применения и тех технических приемов, которые используются, но используются неверно в буржуазной эмпирической социологии.

Конкретные исследования марксистской социологии тем и отличаются от поисков буржуазной эмпирической социологии, что они осуществляются в рамках марксистской науки об обществе, то есть науки, обладающей подлинным знанием общих и специфических законов об-

¹⁷ «Transactions of the Fourth World Congress of Sociology», 1959, v. III, p. 290.

щественного развития. Только в единстве с общей теорией социального развития, на ее основе эти исследования могут иметь значение и смысл. Всякий иной подход к эмпирическим исследованиям приводит их в тот тупик «социологического позитивизма», в который с неизбежностью зашла ныне буржуазная эмпирическая социология.

СОВРЕМЕННАЯ БУРЖУАЗНАЯ СОЦИОЛОГИЯ
И «СОЦИАЛЬНЫЙ БИХЕВИОРИЗМ»

Кризис современной буржуазной социологии ярче всего демонстрируется существом расхождений «теоретических платформ» главных школ в буржуазной социологии, существом дискуссий и полемики между ними. О кризисе буржуазной социологии говорит факт безрезультатности взаимных попыток этих школ «преодолеть» теоретические пороки и недостатки друг друга.

Это относится прежде всего к борьбе между такими современными направлениями в буржуазной социологии, как «социологический позитивизм», представленный в виде определенной социологической концепции в работах Д. Ландберга, С. Додда и др., «теория социального действия», представленная прежде всего работами Т. Парсонса, и современные формы так называемой «понимающей социологии» (*verstehende Soziologie*), развиваемой Р. Макивером, Ф. Знанецким и принявшей форму «интегралистской социологии» в работах П. Сорокина.

Для того чтобы указать то место, которое в современной буржуазной социологии занимают различные школы (и, в частности, «социологический позитивизм» с характерной для него программой «социального бихевиоризма»), необходимо прежде всего охарактеризовать общую почву, на которой возникают эти школы, ту общую позицию, которой в понимании задач и предмета социологии придерживается в настоящее время большинство буржуазных социологов, независимо от принадлежности к враждующим между собой направлениям.

Специфической особенностью развития буржуазной социологии с начала 30-х годов XX в. является отказ от общеметодологических посылок вульгарно-социологических «теорий единого фактора». Объяснение всей со-

всёкупности социальных отношений и явлений с помощью сведения их закономерностей к закономерностям какой-то одной сферы жизни общества все более обнаруживало свою абсурдность по мере того, как доводилось до логического конца в таких системах, как концепции «социальной энергетики» Л. Оствальда и Т. Карвера, «социального биоорганицизма» Р. Вормса, «теория социального подражания» Г. Тарда и др. К концу 20-х годов XX в. в буржуазной социологии потеряли влияние такие широкие социологические направления, как психологическое, биологическое, экономическое, техницизм и др.

Дальнейшее развитие буржуазной социологии пошло в направлении хаотического описания самых разнообразных сторон жизни людей, в направлении превращения социологии в некое подобие сводки более или менее обработанных эмпирических данных. Этому сопутствовала выработка буржуазными социологами новой (по сравнению с «теориями единого фактора») концепции социологии.

Исходной точкой этой концепции является «уточнение» старого тезиса позитивизма о социологии как специальной, самостоятельной науке среди других общественных наук. Сознвая порочность вульгарно-социологических редуций, проводимых «теориями единого фактора», буржуазные социологи выдвинули в конце 20-х годов не менее порочную точку зрения, согласно которой социология имеет в качестве своего предмета особую, специфическую область общественной жизни. Подводя итог развитию буржуазной социологии в XX в., известный буржуазный социолог Н. Тимашев писал: «В настоящее время объект социологии, социальное явление, признается в качестве *suū generis*, другими словами, рассматривается как несводимый к несоциальным фактам, например психологическим или физическим»¹. В современной буржуазной социологии является сейчас широко распространенной та точка зрения, согласно которой, как пишет известный буржуазный социолог Д. Бернанд, «социологический подход не в состоянии (и не должен претендовать на это) объяснить все»².

¹ N. S. Timasheff. *Sociological Theory. Its Nature and Growth*. N. Y., 1955, p. 293.

² J. Bernard. *Social Problems of Mid-Century*. N. Y., 1957, p. IX.

Однако, пытаясь конкретно определить предмет и область социологии — сферу «социального», или, как говорят многие буржуазные социологи, «социэталного», буржуазная социология столкнулась с той проблемой, что наличие огромного числа специальных общественных дисциплин оставляло для социологии место лишь в качестве науки, являющейся каким-то образом общей наукой по отношению к этим дисциплинам.

Буржуазная социология оказалась не в состоянии правильно решить эту проблему — определить реальный предмет социологии как общей науки о социальных процессах и отношениях. И это определяет главные специфические черты ее современного состояния. Буржуазные социологи ставят вопрос о социологии как специальной науке об «общем» в социальных явлениях и процессах. Но они принципиально не могут понять, что таким общим во всей совокупности общественных связей и отношений являются законы и закономерности, которым последние подчиняются. Исходя из установки на «специальную науку», буржуазные социологи ставят вопрос о существовании особой сферы социальной действительности, спецификой которой является то, что она имеется налицо во всех процессах и формах общественной жизни.

Что же фактически выступает в качестве такой «общей» области социального мира, анализ которой является, с точки зрения буржуазной социологии, специфически социологическим по своему существу?

Н. Тимашов пишет: «В качестве главного объекта социологии, в качестве единицы для социологического анализа, сейчас всеми признается взаимодействие между двумя или более человеческими существами»³.

Тимашев подчеркивает, что такой точки зрения придерживаются и «социальные бихевиористы», и представители «теории социального действия», и «понимающая социология», сколь ни сильны между ними разногласия.

Но что же такое «взаимодействие людей», если понимать его как таковое, как общий момент социальных отношений? Это — область поведения людей, их сознательного отношения друг к другу и окружающей среде

³ N. S. Timasheff. Sociological Theory. Its Nature and Growth, p. 244.

и т. д. Действительно, поведение людей неотделимо от общественных процессов, ибо последние невозможны вне деятельности людей. Но было бы ошибкой на этом основании объявить дисциплину, которая занимается изучением этого фактора, общей наукой по отношению к дисциплинам, изучающим такие стороны общества, как экономика, политика, идеология и т. д. Однако буржуазные социологи совершают именно эту ошибку.

Подобное понимание предмета и общеметодологических посылок социологии (формировавшееся постепенно, на протяжении последних тридцати лет) привело к тому, что буржуазная социология замкнулась в рамках изучения поведения и психологических характеристик деятельности людей.

Подводя итоги отказу буржуазных социологов от принципов «социальной философии», и прежде всего «теории единого фактора», один из известных буржуазных социологов — Б. Хэлперн пишет: «Учитывая эти недостатки (то есть недостатки этих теорий. — *Н. Н.*), социологи сделали вывод, что для того, чтобы реформировать и построить социологию на новой основе, необходимо отвлечься от анализа исторического процесса и конструировать общую теорию, базирующуюся на перекрестном анализе поведения людей в группах»⁴.

Специфически социологическим способом подхода буржуазных социологов к разнообразным сторонам действительности (на основе которого существуют такие виды социологии, как «индустриальная социология», «социология расовых и этнических отношений», «социология брака и семьи», «социология социальных проблем» и т. д.) является попытка уяснить лишь внешние формы поведения людей, участвующих в тех или иных социальных процессах.

Эти общеметодологические установки современной буржуазной социологии привели к тому, что она все более сливается с современной буржуазной социальной психологией. В большинстве случаев стало невозможно отличить буржуазное «социологическое исследование» от «социально-психологического».

Социальная психология в лице таких ее теоретиков,

⁴ В. Halpern. *History, Sociology and Contemporary Area Studies*. «The American Journal of Sociology», 1957, July, p. 5.

как М. Шериф, К. Шериф, К. Янг, Г. Боннер, С. Спротт и др., подобно буржуазной социологии, ставит перед собой задачи изучения коллективного поведения, выявления механизма взаимодействия индивида и группы, исследования с точки зрения поведения людей таких процессов, как «социальная интеграция», «социальная дезинтеграция», «социальный конфликт», отношение власти и подчинения и т. д. Процесс слияния буржуазной социологии с социальной психологией в особенности расширился и углубился в последнее десятилетие в связи с сознательной установкой большинства буржуазных социологов на то, чтобы, как писал один из них, «объединить концептуальную систему социологии и социальной антропологии с подходящей замыкающей их рамкой социально-психологического анализа»⁵.

Нетрудно обнаружить связь между этой тенденцией подмены социологии социальной психологией и эмпиризмом современной буржуазной социологии. Программа превращения социологии в специальную науку включает в себя также и концепцию «замкнутости» социологии как дисциплины. Выступая против нелепости «теорий единого фактора», буржуазные социологи оказались в плену у логики своих противников. Редукционизм «теорий фактора», который эти социологи отвергают, является в их представлении единственным методом установления связей между различными областями общественной жизни. Отвергая этот редукционизм, буржуазные социологи приходят к противоположной крайности: «социальное» (то есть поведение людей) должно, с их точки зрения, анализироваться как нечто принципиально автогенное.

Отсюда — полный отрыв рассмотрения буржуазными социологами социологических проблем от анализа исторических, политических и экономических условий жизни людей, игнорирование принципа всесторонности исследования явлений общественной жизни, что служит одной из причин описательного подхода буржуазных социологов к изучаемым ими вопросам.

Понимание социологии как «науки о социальном поведении» и подмена социологии социальной психологией

⁵ S. F. Nadel. The Theory of Social Structure. London, 1957, p. XI.

являются новой специфической тенденцией в эволюции современной буржуазной социологии. Эта тенденция выступила на смену старому психологическому направлению в буржуазной социологии, представленному теориями Ле Бона, Тарда, Уорда, Гиддингса и др. Объяснение явлений и процессов общественной жизни с помощью законов индивидуальной психологии (как это проводилось Тардом, делавшим акцент на «подражание»), или с помощью обращения к психологическим потребностям людей (как это проводилось в «инстинктивистских» теориях Уорда или Гиддингса) сейчас в буржуазной социологии непопулярно.

Только учитывая тенденцию превращения ныне буржуазной социологии в науку о *поведении*, в буржуазную социальную психологию, можно понять специфические особенности кризиса современной буржуазной социологии и смысл происходящей в ней борьбы различных школ, в частности смысл расхождения и полемику между «социальным бихевиоризмом», «теорией социального действия» и «понимающей социологией».

«Социальный бихевиоризм» — это программа, с которой выступил в буржуазной социологии «социологический позитивизм». «Социологический позитивизм» был первой и наиболее последовательной доктриной, в которую вылилась оппозиция буржуазных социологов к «социальной философии» и в которой поведение было определено в качестве *предмета* социологии.

Излагая основы этого понимания и вопрос о социологии как «общей науке», буржуазные социологи Г Ландберг, К. Шрэг и О. Ларсен пишут: «Социология изучает социальное поведение индивидов и групп. Социальное поведение обуславливается тем, что люди живут вместе и общаются друг с другом»⁶.

«Отношение социологии к другим социальным наукам — экономике, политической науке и т. д., — продолжают эти социологи, — подобно отношению биологии к зоологии, ботанике и бактериологии. Это значит, что социология рассматривает человеческое социальное поведение так, как оно имеет место во всех формах соци-

⁶ G. Lundberg, C. Schrag, O. Larsen. *Sociology*. N. Y., 1954, p. 13.

альной жизни. Экономика же, политическая наука и психология изучают особые стороны этой общей картины»⁷. Именно на основе определения социологии как науки о поведении «социологические позитивисты» выступили в 30-х годах нашего века с претенциозными и крикливыми лозунгами «превращения социологии в точную науку».

В чем же, однако, состоит существо «социального бихевиоризма»? Главные идеи «социального бихевиоризма» имеют своим источником прежде всего бихевиористскую концепцию поведения, созданную Д. Уотсоном.

Бихевиоризм в психологии гласит, что факторы сознания людей (представления, цели, мотивы и т. д.) не могут быть установлены и изучены как продукты сознания, что сознание тождественно акту поведения.

«Социальный бихевиоризм» целиком воспринял этот принцип. С точки зрения «социальных бихевиористов», реально существует лишь сфера так называемого «открытого поведения», то есть поступки и деятельность людей как таковые, и допускать существование таких идеальных образований, как мотивы, цели и т. д., вне их конкретной реализации — это будто бы не что иное, как мистика. Д. Ландберг пишет: «То, что мы находим при исследовании — это множество человеческих факторов — любовь, ненависть, ревность, предрассудки, страх, надежды и расчеты людей. Мы знаем об этих факторах то, что мы знаем о них благодаря наблюдению человеческого поведения, и то, в знании чего мы еще нуждаемся или хотим знать еще лучше, должно быть изучено этим и никаким иным путем»⁸.

Спецификой «социального бихевиоризма» по сравнению с обычным бихевиоризмом в психологии (не касаясь вопроса о наличии разновидностей последнего) является то, что его представители, перенося бихевиористский принцип изучения индивидуальной деятельности на изучение поведения человека в обществе, в социальной среде, понимают под факторами сознания человека (чувства, эмоции, мотивы, цели, ценности и т. д.) формы поведения, связанные с групповыми чувствами и

⁷ G. Lundberg, C. Schrag, O. Larsen. *Sociology*. N. Y., 1954, p. 6.

⁸ G. Lundberg. *Can Science Save Us?* N. Y., 1947, p. 25.

представлениями. Имеющаяся в работах психологов-марксистов критика принципов бихевиористской психологии целиком применима и к «социальному бихевиоризму».

Нередко «социальные бихевиористы» скатываются вообще к отрицанию объективного существования сознания и его продуктов и отождествлению акта сознания с актом поведения. Характерным в этом отношении является взгляд «социальных бихевиористов» на мотивы поведения и ценности людей. Ландберг протестует против, как он пишет, «допущения существования в человеческих социальных явлениях чего-то уникального и мистического, называемого мотивами»⁹. Выступая против изучения представлений и взглядов людей как фактов сознания, Ландберг применительно к вопросу о ценностях пишет: «В данном случае ошибка состоит в превращении глагола «оценивать», означающего какое-либо избирательное поведение, в существительное «ценности». Мы поэтому охотимся за вещами, обозначенными этим существительным. Но таких вещей не существует. То, что мы говорили о мотивах, с одинаковым успехом приложимо и к ценностям. Они суть лишь выводы из поведения. Это значит, что мы говорим, что вещь имеет ценность или является ею в том случае, когда люди ведут себя так, чтобы закрепить или увеличить свое обладание ею. Это могут быть экономические блага и услуги, политическая карьера, а также образование, престиж — все что хотите... В том случае, если оценки и ценности являются эмпирически наблюдаемыми системами поведения, они могут изучаться как таковые, с помощью тех же самых общих методов, которые мы используем, изучая любой другой вид поведения»¹⁰.

Мы привели этот пространный отрывок, потому что он чрезвычайно ярко демонстрирует порочность претензий «социального бихевиоризма». «Социальные бихевиористы», отказываясь от анализа содержания сознания, вынуждены поставить знак равенства между содержанием сознательного намерения, сознательного мотива и т. д., руководствуясь которым человек совершает некоторый поступок, и самим поступком.

⁹ G. Lundberg. Can Science Save Us?, p. 18.

¹⁰ Ibid., p. 26.

Такая точка зрения ведет к полной невозможности установить действительные закономерности поведения и закономерные связи сознания и действительности.

Если взять пример из области «социального поведения», то скажем, достаточно ли для выяснения мотивов деятельности какого-либо капиталиста указание на то, что он в ней стремится к повышению престижа? Разумеется, нет. Ибо за стремлением к престижу стоит стремление к повышению богатства, средством чего выступает достижение престижа. Можно ли на основании того факта, что такой-то человек посещает церковь, сделать вывод о том, что религия — его ценность? Нет, ибо посещение им церкви может быть лишь внешним подчинением традиции. Таких примеров можно привести сотни. И все они говорят против «социального бихевиоризма».

Не приходится много говорить о том, что конкретные социологические исследования, построенные на основах «социального бихевиоризма», страдают подобными же принципиальными недостатками.

Когда «социологические позитивисты» призывают к применению «научных методов» в социологии, они имеют в виду прежде всего применение математических и, в частности, статистических способов обработки эмпирического материала. Именно в этом направлении идет разработка «теории» социологии в трудах таких буржуазных социологов, как П. Лазарсфельд, С. Рашевский и др. И надо сказать, что принцип «социально-бихевиористского» подхода к поведению действительно чрезвычайно «облегчил» применение подобных методов, поскольку такая трудная проблема, как изучение с помощью математических и статистических методов явлений сознания и духовной жизни людей, была попросту элиминирована «социально-бихевиористской» постановкой вопроса. Именно этим объясняется тот факт, что в особенности в 30—40-х годах нашего века платформой большинства крупных эмпирических социологических исследований в буржуазных странах был «социальный бихевиоризм».

Однако пороки «социального бихевиоризма» становились все более и более очевидными.

Первое отрезвление от повального увлечения «социологией как естественной наукой» среди буржуазных

социологов началось к концу 40-х годов XX в., когда буржуазные социологи начали все чаще обращаться к критической оценке периода господства «социологического позитивизма». Этому посвящают многочисленные статьи и работы такие видные буржуазные социологи, как Р. Мертон, Р. Бершtedт, П. Сорокин, Т. Парсонс и др. Можно сказать, что, в общем, несмотря на оговорки, ими было признано, что итоги плачевны.

Признания насчет теоретической пустоты и поверхностного описательства, характерные для работ «социологических позитивистов», можно сейчас нередко услышать и в лагере самих «позитивистов», как это продемонстрировали выступления П. Лазарсфельда и Р. Кенига на недавнем IV Международном социологическом конгрессе.

В буржуазной социологии возникла и сейчас все более укрепляется резкая оппозиция к «социологическому позитивизму» со стороны ряда буржуазных социологических школ. «Социальный бихевиоризм» как концепция поведения сейчас отвергается многими буржуазными социологами приблизительно с таким же энтузиазмом, с каким он принимался в начале 30-х годов. Этот процесс «переоценки ценностей» в буржуазной социологии — знаменательное и поучительное явление. Он вскрывает многие характерные черты кризиса современной буржуазной социологии. Он же показывает и неспособность современной буржуазной социологии выйти из этого кризиса.

«Социологическому позитивизму» и в особенности его основе — «социальному бихевиоризму» противостоят сейчас многие школы и школки в буржуазной социологии. Главной из них и наиболее влиятельной является так называемая «теория социального действия». Программа, которую на смену «социологическому позитивизму» выдвигают теоретики «социального действия», в последние годы привлекает на свою сторону все большее число буржуазных социологов, социальных психологов и антропологов культуры.

Ликвидирует ли программа, которую выдвигают теоретики «социального действия», принципиальные пороки, присущие буржуазной социологии и «социальному бихевиоризму»? В чем специфика этого направления, ставшего столь влиятельным в последние десятилетия?

Основы «теории социального действия» были заложены еще в 20-х годах известными буржуазными социологами М. Вебером и Ф. Знанецким. Но значение самостоятельного направления и влияние среди буржуазных социологов она приобрела лишь в последние десятилетия в той форме, которая была ей придана работами известного американского буржуазного социолога Т. Парсонса.

Уже в своей первой и основополагающей работе «Структура социального действия» (1937) Парсонс выступил с резкой критикой «социологического позитивизма» и «бихевиоризма».

Теоретики «социального действия» поставили вопрос о необходимости анализа собственно содержания сознания человека в обществе для объяснения деятельности людей и их взаимоотношений, а затем и вопрос о главных принципах такого анализа. В «теории социального действия» рассматривается соотношение мотивов, целей и общепринятых норм поведения, устанавливаются различные типы и виды «мотиваций» и «ориентаций». Особое внимание уделяется вопросу о соответствии поведения и действий людей общепринятым нормам и общим ценностям. Если «социальный бихевиоризм» рассматривает «норму» лишь как общераспространенный тип реакции, тип поведения какой-либо части людей, то «теория социального действия» попыталась возродить дюркгеймовские взгляды об объективном значении нормы как состояния коллективного сознания. Направленность индивидуальных действий к соответствию идеальным коллективным нормам считается в «теории социального действия» главным механизмом жизни и деятельности людей. Т. Парсонс пишет: «В отношении между всеми этими элементами (целями, средствами, мотивами и т. д.— *Н. Н.*) должен предполагаться необходимым нормативный характер ориентации действия, его телеологический характер... элиминация нормативного аспекта действия означает также и элиминацию понятия действия как такого и ведет к радикальной позитивистской точке зрения»¹¹.

Оппозиция «теории социального действия» «социологическому позитивизму», выражающаяся в принципиальной установке на изучение факторов сознания как само-

¹¹ Т. Parsons. The Structure of Social Action. N. Y., 1937, p. 732.

стоятельных и реальных объектов, привела теоретиков «социального действия» к выработке особого понимания задач социологического исследования, известного как программа «определения поля социологии», сформулированная впервые Т. Парсонсом и принятая в последнее время подавляющим большинством буржуазных, в особенности американских, социологов. Эта программа гласит, что анализ движущих сил поведения людей предполагает перевод всех явлений материального и духовного мира на язык представлений людей об этих явлениях. Социология, пишет Т. Парсонс, «имеет дело с явлениями, вещами и событиями, как они представляются с точки зрения индивидов, чье действие рассматривается и анализируется»¹².

Прежде всего это касается материальных условий, в которых протекает деятельность людей: событий общественной жизни, физического окружения, окружающих людей, коллективов и т. д. Т. Парсонс пишет: «Хотя ситуация включает как физическое окружение, так и других лиц, точка зрения, с которой она должна быть проанализирована...— это точка зрения учета различных типов значения фактов ситуации для действующего индивида... Т. е. мы можем дать точный анализ действия индивида лишь постольку, поскольку мы рассматриваем его действия и его ситуацию в понятиях, отражающих его попытки сознательно представить себе свое действие и свою ситуацию, отражающих его цели, за достижение которых он борется, и отражающих его аффективное отношение к этим целям и к этой ситуации»¹³.

Этот же принцип применяется в «теории социального действия» и к анализу продуктов сознания и духовной деятельности людей вообще. Сами факторы сознания (цели, ценности, нормы и т. д.) рассматриваются в «теории социального действия» в виде представлений окружающих людей об этих факторах.

Нетрудно заметить, что в основе программы «определения области социологии» и вышеуказанных специфических черт «теории социального действия» лежит все то же уже известное нам стремление буржуазных социологов вычленив «специфическую предметную»

¹² T. Parsons. The Structure of Social Action, p. 46.

¹³ T. Parsons. Essays in Sociological Theory Pure and Applied. The Free Press, Illinois, 1949, p. 6.

область «специально-социологического» анализа. Теоретики социального действия, подобно «социологическим позитивистам», воюют с «теориями единого фактора» и, отвергая их, приходят к выводу о необходимости «замкнутости» социологии в границах изучения «специального ряда» общественных явлений.

Какова в общем точка зрения теоретиков «социального действия» на объект социологии? Парсонс пишет, что «специально социологический» подход означает обращение к вопросу об «интеграции индивидов в связи с общей для них системой ценностей, которая проявляется в признании людьми институциональных норм, в общности главных целей действия, в ритуале и различных формах человеческого самовыражения. Все эти явления могут быть сведены к особому и общему признаку всех социальных систем, который можно определить как «интеграцию в связи с общностью ценностей». Это ярко и ясно проявляющееся качество, резко отличное от качеств экономической или политической систем действия...»¹⁴.

Это вычурное и туманное определение предмета социологии Т. Парсонсом, если разобраться, вполне укладывается в «классическое» определение Н. Тимашева, приведенное выше: социологическое явление — это «взаимодействие двух или более человеческих существ». Теоретики «социального действия» акцентируют роль сознания (и прежде всего таких его форм, как коллективные нормы) в процессе формирования различных групп и коллективов. Но точка зрения «теории социального действия» принципиально не выходит за пределы теории поведения. Было бы, конечно, странным отвергать ту банальную мысль (являющуюся главной посылкой «теории социального действия»), что люди в своих поступках исходят из своих представлений об окружающей среде, друг о друге и о существующих нормах поведения. Странно было бы отвергать тот факт, что многие виды объединений людей в группы и многие виды их отношений предполагают единство их взглядов («ценностей»).

Все это так. Но рассмотрение деятельности и отношений людей на таком теоретическом уровне еще далеко от подлинно научного социологического подхода. Отно-

¹⁴ T. Parsons. The Structure of Social Action, p. 768.

шения, например, между нанимателем и нанимаемым, безусловно, предполагают наличие *сознательного* отношения между ними, их представлений друг о друге и т. д. Но научная социология идет глубже уяснения чисто психологического механизма отношения этих двух лиц. Социология выясняет те объективные условия и причины, которые делают необходимым и неизбежным сам факт установления этих внешне выглядящих как чисто психологические отношений.

Мотив выгоды, например, является в капиталистическом обществе движущей силой жизнедеятельности людей. «Теория социального действия» пытается связать между собой различные моменты и этапы в реализации этой «ориентации» людей: цели, средства, условия и общепринятые нормы. Но научная социология, рассматривая этот вопрос, не должна строить свои теории на этом уровне. Теоретическое понимание такой специфической черты капиталистического общества, как стремление к выгоде, барышу, предполагает выявление сил, не зависящих от воли и намерений людей, сил, которые объективно диктуют погоню за выгодой в качестве цели производства и жизнедеятельности членов данного общества. Научная социология обращается к выяснению существа лежащей в основе данного общества системы производственных отношений, диктующей характерные для этого общества формы стихийной деятельности и стихийно складывающихся отношений между людьми.

Подобную задачу, разумеется, «теория социального действия» перед собой не ставит. Ее представители сознательно останавливаются в своем анализе на уровне «науки о социальном поведении» и в итоге подменяют социологию социальной психологией. Именно этим определяется то, что «теория социального действия» в принципе не способна преодолеть пороки «социологического позитивизма», хотя и претендует на это. Так же как и «социологический бихевиоризм», «теория социального действия» не может ответить на вопрос об объективных источниках и основах отношений людей в обществе и тенденциях их жизнедеятельности. «Теория социального действия» выступает лишь как особая по сравнению с «социальным бихевиоризмом» концепция «науки о социальном поведении». Программа «определения поля социологии», которую выдвинули теоретики «социально-

го действия», лежит в основе той специфической особенности современной буржуазной социологии, которая состоит в том, что знание общественных процессов и явлений подменяется в ней констатацией мнений членов буржуазного общества об этих процессах и явлениях. Эта тенденция является одной из господствующих в современной буржуазной социологии.

Буржуазные социологи в «теориях стратификации» отождествляют социальное деление общества с представлениями об этом делении у членов общества. В «теориях социальной структуры» буржуазные социологи отождествляют реальную принадлежность людей к группам, слоям и т. д. с их сознательным самоотнесением к составу этих групп. Подобный подход проник в «индустриальную социологию», в «социологию семьи и брака», в «социологию профессий» и другие разделы буржуазной социологии.

Таким образом, программа «теории социального действия» является основой ненаучного подхода буржуазных социологов к изучению явлений и форм сознания людей.

Одним из наиболее ярких выражений кризиса современной буржуазной социологии является рост и распространение в ней идей иррационализма. Речь здесь идет о сознательном выдвигании рядом буржуазных социологов «сверхчувственной и сверхрациональной интуиции» на роль метода познания общественных явлений. Наиболее полно воплощает ныне эту тенденцию так называемая «понимающая социология» (*verstehende Soziologie*). Она была разработана М. Вебером в 20-х годах нашего века. Впоследствии к ней примкнули такие известные буржуазные социологи, как Ф. Знанецкий, Р. Макивер, П. Сорокин и др.

Особый интерес представляет та форма «понимающей социологии», которую она приобрела в последнее десятилетие на основе попыток преодолеть ограниченность таких направлений, как «социологический позитивизм» и «теория социального действия». Она представлена прежде всего в социологической системе П. Сорокина.

Питирим Сорокин — один из «столпов» современной буржуазной социологии. Многие его идеи прочно укоренились в современной социологии, явившись основой «реформы» позитивистских направлений в ней. В своих

работах, прежде всего в книге «Претензии и слабости современной социологии» (1956), он подметил многие теоретические пороки современной буржуазной социологии. Так, он критикует представления «социологических позитивистов» о количественных методах как главных и единственных методах социологического анализа (он язвительно называет эти представления «квантофренией»). Он порицает подмену научного исследования психологии массированным проведением той или иной кампании тестов (он характеризует это как «тестоманию»); опровергает отождествление объективных социальных условий с мнением о них членов общества; критикует претензию «теории социального действия» создать «общую теорию социальных систем» на основе формального увязывания в произвольные схемы различных характеристик сознания людей.

В чем же коренной порок всех этих общеметодологических установок, с точки зрения Сорокина и его последователей? Каков путь «преодоления» этих установок? С точки зрения Сорокина, дело заключается в том, что с их помощью невозможно познать особую сферу социального, без уяснения которой нельзя понять существо широких социальных процессов и явлений (таких, как войны, революции, массовые движения, идеологические течения и т. д.). Этой сферой является сфера особого «смысла» («meaning») действий людей в обществе, которому Сорокин дает откровенно мистическую трактовку. Этот «смысл» непосредственно не наблюдается в поведении людей, он не тождествен реальным намерениям людей, а тем более — их представлениям и желаниям. Он буквально является «тайной» социальных процессов и отношений. Установить его, считает Сорокин, можно лишь с помощью интуиции, понимаемой как мистическое проникновение в объект, как акт слияния познающего субъекта и объекта познания в некое единое целое и т. д. Понимаемая таким образом интуиция должна стать одним из главных методов «интегралистской социологии», которая, по словам Сорокина, «использует комбинированно интуитивный, логико-математический и эмпирический способы познания»¹⁵.

¹⁵ P. Sorokin. *Fads and Faibles in Modern Sociology and Related Sciences*. Chicago, 1956, p. 300.

Понятно, что все эти идейки — обрывки давно обветшалого наследства «философии жизни» и исторического идеализма, вроде воззрений немецкого историка Ранке. Эти идейки всегда играли роль проводников исторического и социологического агностицизма.

Но каков же источник возрождения этих взглядов в современной буржуазной социологии и какова их связь с господствующими ныне ее направлениями?

Дело в том, что сторонники «понимающей социологии», отвергая современную позитивистскую социологию, тем не менее оставляют за ней значение истинно чувственного и истинно рационального знания. Глубокая ограниченность Сорокина как буржуазного социолога проявляется в том, что он не признает иного эмпирического метода, кроме описательного, и иного логического, кроме сугубо формального. Потому крах позитивистской социологии выступает в глазах Сорокина как якобы крах рациональной социальной науки вообще, а иррациональный путь познания — в качестве «метода», продиктованного фактом краха рационализма (на самом же деле — краха позитивизма).

Отвергая «социальный бихевиоризм» и «теорию социального действия», сторонники «понимающей социологии» тем не менее сами исходят из предпосылок социологии как «науки о социальном поведении». «Понимающая социология» опирается на тезис о том, что источник и основы социальных движений и отношений нужно искать в самом поведении. При этом падение «бихевиоризма» и «теории социального действия» свидетельствует якобы о том, что этот источник нужно искать в особой, далеко «скрытой» сфере поведения. Отсюда — обращение «понимающей социологии» к вопросу об «объекте» интуиции, о сфере «смысла», который обуславливает якобы и специфику причинности в общественной жизни. «Взамен «голой» причинной связи социокультурные явления имеют причинные отношения по смыслу, — заявляет П. Сорокин. — Наличие этого компонента («смысла». — *Н. Н.*) в психосоциальных явлениях превращает чисто причинные отношения в них в причинные отношения по смыслу»¹⁶.

Именно эти пресловутые «причинные отношения по

¹⁶ P. Sorokin. *Fads and Faibles in Modern Sociology and Related Sciences*, p. 277.

смыслу» обуславливают с точки зрения «понимающей социологии» единство всей области «социокультурных явлений» как специфического объекта социологии.

Не приходится говорить о том, что проблемы, выдвигаемые «понимающей социологией», не имеют никакого реального отношения к вопросу о методологии социальных наук. Квалификация интуиции как метода познания призвана лишь санкционировать тот субъективистский тип объяснения общественной жизни, который предпочитает выдвигать тот или иной буржуазный социолог. Это стносится прежде всего и к построениям самих представителей «понимающей социологии», которые через обращение к «смыслу» провозглашают неизбежность крушения современного общества, упадка культуры, гибели современной цивилизации вообще и т. д. Когда-то О. Шпенглер аналогичным образом объявил подобные же буржуазные бредни продуктом творческой интуиции ученого-социолога.

Итак, как мы видели, рост антипозитивистских тенденций в буржуазной социологии (и прежде всего распространение влияний «теории социального действия» и «понимающей социологии») ведет лишь к углублению кризиса буржуазной социологии. Однако эти тенденции принимают сейчас в буржуазной социологии все более и более яркую форму. Дело в том, что они являются одним из выражений определенных сдвигов в современной буржуазной идеологии и прежде всего — выражением изменения в тех задачах, которые ставятся господствующим классом перед буржуазной социологией.

В последние десятилетия в буржуазных странах, и в особенности в США, наметилось изменение в способах и методах осуществления влияния господствующих классов на трудящиеся массы. Это влияние, выражающееся в формировании выгодных для господствующих классов типов поведения и сознания у трудящихся и вообще широких слоев населения, всегда было одной из важных функций буржуазной социологии. Ныне влияние на широкие массы общества стало главным мотивом в деятельности буржуазных социологов. Такие «утилитарные» отрасли буржуазной социологии, как социология «человеческих отношений», «индустриальная социология», «социология социальных проблем» и т. д., непосредственно выдвигают в качестве своей задачи форми-

рование поведения людей. И основой всей практической политики в этом отношении является, как об этом писал известный буржуазный психолог К. Левин, «преобразование поведения людей посредством преобразования их представлений»¹⁷. Главный упор буржуазными социологами сейчас делается на формирование мнений людей, их взглядов и вкусов. Господствующий класс буржуазного общества сейчас в ряде случаев переходит от методов приказа и открытого командования к более изощренным способам «руководства» массами, рассчитанным на выработку у них сознательного предпочтения существующих, то есть капиталистических, социальных порядков. Тенденции бюрократического «манипулирования личностью» в современном буржуазном обществе все более принимают форму «руководства» убеждениями и принципами людей.

Именно в качестве теоретического обоснования развития подобного механизма подчинения масс господствующим в буржуазном обществе силам и выступают антипозитивистские школы в современной буржуазной социологии (прежде всего «теория социального действия») ¹⁸. «Социальный бихевиоризм» является по сравнению с этими школами уже более или менее устаревшей концепцией, ибо программа «социального бихевиоризма» не обосновывает «манипулирования» сознанием людей; теоретики «социального бихевиоризма» ставят вопрос лишь о возможном вмешательстве в сферу «открытого поведения», то есть «манипулировании» поступками людей.

Буржуазные социологи-практики опираются сегодня на идеи, нашедшие наиболее последовательное выражение в «теории социального действия», и строят конкретную работу по организации влияния на поведение людей на основе «принципов», получивших в этой доктрине «теоретическое» обоснование. Главным содержанием

¹⁷ К. Levin. *Resolving Social Conflicts*. N. Y., 1948, p. 139.

¹⁸ Такой роли, разумеется, не играет «понимающая социология», несмотря на ее резкую оппозицию к «социологическому позитивизму». По своему социальному значению «понимающая социология» — это своеобразный «опиум для интеллигенции», попытка направить духовную деятельность подавленного как личность в буржуазном обществе индивида в сторону иррационалистического отношения к действительности, знаменующего якобы для человека «свободу» познавать и действовать.

деятельности находящихся на службе у монополий и государства так называемых «социальных работников» является установка на то, что все проблемы отношений между людьми (конфликты между предпринимателем и рабочими, трения между различными национальными или расовыми группами и т. д.) должны решаться путем изменения представлений людей о себе и об окружающих людях. Основу конфликтов между руководством предприятий и рабочими пропагандисты доктрины «человеческих отношений» усматривают в плохом «взаимопонимании» («коммуникации») между ними, а не в факте эксплуатации. Эти «исследователи», как констатирует один буржуазный социолог, «не признают какого-либо конфликта интересов между рабочими и руководством. Они считают, что конфликты относятся к сфере плохой коммуникации. Поэтому, если стороны научатся более искусной коммуникации, то их проблемы будут разрешены»¹⁹.

Одним из центральных моментов в практических рекомендациях и практической деятельности буржуазных социологов является их стремление содействовать подчинению сознания и поведения людей общепринятым в буржуазном обществе нормам и традициям. Буржуазные социологи при этом непосредственно опираются на понимание этого вопроса в «теории социального действия». Они объявляют поведение, соответствующее нормам буржуазного общества, единственно допустимым и проповедают стандартизацию, унификацию образа мыслей людей как путь к достижению якобы «социального мира» и «социальной гармонии». В этом пункте «теория социального действия» оказывается питательной почвой наиболее реакционных идеологических течений в современном буржуазном обществе, подобных маккартизму. Как писал Р. Миллс, «идеологическое значение «великой системы» (Парсонса.— *Н. Н.*) в своей тенденции сводится главный образом к санкционированию устойчивых форм господства»²⁰.

Таковы те тенденции, которые лежат в основе определенного снижения социального и идеологического

¹⁹ «Review of Sociology. Analysis of a Decade», ed. by I. B. Gitter. N. Y., 1957, p. 392.

²⁰ C. W. Mills. The Sociological Imagination. N. Y., 1959, p. 48.

значения «социального бихевиоризма». Разумеется, эти процессы не приводят буржуазных социологов к отказу от позитивистской методологии, от тезисов позитивизма в области гносеологии и т. д. Но они привели к упадку влияния и кризису того направления в буржуазной социологии, которое наиболее ярко воплотило претензии современной позитивистской социологии — «социологического позитивизма». Кризис этого направления и растущая оппозиция к нему со стороны ряда буржуазных социологов в свою очередь углубили общий кризис буржуазной социологии середины XX в. еще более обнаруживая ее антинаучность.

К КРИТИКЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ НЕОПОЗИТИВИСТСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

В современной буржуазной социологии все большее значение приобретает математический метод. Обычно под этим понимают статистический подход к некоторым социальным явлениям, широкое использование статистики при обработке материала, получаемого путем интервьюирования и анкетирования отдельных групп населения. Однако статистика — лишь одна из областей математического знания, которая получила применение в социологии. Кроме нее можно назвать в той же роли также теорию игр, теорию информации, дифференциальные уравнения и др.

Статистика в социологии используется часто весьма успешно. Что же касается экспериментальных попыток использования других областей математического знания, то они в большинстве своем не носят практического характера и вызывают среди социологов скепсис.

Поскольку в рамках одной статьи трудно осветить все математические методы, нашедшие применение в буржуазной социологии, остановимся на одном из них — на математическом моделировании социальных явлений. В этом направлении работает ряд авторов: Поль Лазарсфельд, Николай Рашевский, Джейкоб Маршак, Герберт Саймон, Джеймс Колман, Х. Д. Ландау и др. Все они создают в общем разные модели и по-разному методологически подходят к построению своих моделей.

Отвергать в принципе самую попытку построения социальных моделей было бы неправильно. Мы подошли сейчас к такому рубежу в развитии марксистской социологии, когда все более необходимым становится количественный анализ социальных явлений. Математические модели (а мы имеем здесь в виду только такие модели) могут принести здесь немалую пользу, но лишь при од-

ном определенном условии, а именно при том условии, что качественная структура общества и той его стороны, которую предполагается моделировать, понимается правильно, то есть с позиций исторического материализма.

Следует отметить, что метод моделирования, а тем более математического, социальных явлений не является чем-то необычным и абсолютно новым для марксизма. «Капитал» К. Маркса есть не что иное, как теоретическая модель капиталистического общества. Еще более важно, что К. Маркс положительно отнесся к проблеме моделирования отдельных явлений капиталистической экономики в собственном смысле слова «модель». Напомним в этой связи о работах советского математика Канторовича по экономическому моделированию.

Первое, что бросается в глаза, когда мы сталкиваемся с социологическими моделями американских авторов, — это произвольность их построения. Попробуем это показать на ряде примеров моделей Николая Рашевского.

Возьмем наиболее детально разработанную Рашевским модель подражательного поведения (*imitative behaviour*). Предположим, что в обществе действуют две силы (две идеи или даже две популярные мелодии). Обозначим их соответственно R_1 и R_2 . Первое допущение, которого требует эта теория: все индивидуумы предрасположены к той или иной идее. Меру этой предрасположенности (или склонности) к первой идее (R_1) обозначим через E_1 и ко второй (R_2) через E_2 . Тогда очевидно, если $E_1 = E_2$, то есть ни одна склонность не перевешивает, то и вероятность того, что индивидуум будет вести себя в соответствии с какой-либо из идей (R_1 или R_2), будет одинакова и равна половине, то есть $P_1 = P_2 = 1/2$, где P_1 и P_2 — вероятности проявления соответственно идеям R_1 и R_2 в поведении человека. Если же предрасположенность индивидуума к идее R_1 больше, чем к идее R_2 , то есть $E_1 > E_2$, то и вероятность $P_1 > P_2$, а это значит, что следует ожидать, что человек скорее будет вести себя в соответствии с идеей R_1 , чем в соответствии с идеей R_2 . Очевидно, что эта вероятность будет приближаться к 1, если $E_1 - E_2 \rightarrow \infty$. Соответственно $P_2 \rightarrow 0$, если $E_2 - E_1 \rightarrow \infty$.

Если теперь рассмотреть социальную группу, состоящую из N_0 индивидуумов, которые будут вести себя в

соответствии с R_1 или R_2 , то поведение всей группы определится в зависимости от распределения вероятностей P_1 или P_2 и от того, какая из них будет больше.

Но так было бы, если бы действовали только внутренние стимулы или предпочтения, а поскольку на человека в обществе действуют также и другие люди или другие внешние стимулы, которые мы обозначим через E_1' и E_2' , соответствующие тем же идеям R_1 и R_2 , то окончательная тенденция сложится из суммы $\varphi + \psi$, где $\varphi = E_1 - E_2$, а $\psi = E_1' - E_2'$. На индивидуумов действуют другие индивидуумы, или, иначе говоря, человек действует так потому, что так поступают другие; в свою очередь он сам со своим внутренним импульсом действует на других. В этом и заключается подражательное поведение. А ригористы здесь принимают, что никто не свободен от подражания. «Таким образом, через посредство биологического измерения ряда индивидуумов мы могли бы сделать заключения относительно их социального поведения»¹.

Итак, перед нами уже первое произвольное для социологической модели допущение: каждый человек имеет внутренний импульс, предрасположенность к той или иной идее. Но откуда берется этот внутренний импульс? Н. Рашевский ссылается здесь на свою теорию функционирования центральной нервной системы и на уравнения, полученные им в этой теории (Н. Рашевский по специальности биофизик). Таким образом, основная его посылка психофизическая. Налицо и второе столь же произвольное допущение: все люди одинаково не свободны от подражания, которое есть обычный рефлекторный акт. Опять мы видим включение психофизической посылки в социальную модель.

Не вдаваясь в дискуссию о том, правильны или нет эти посылки сами по себе, следует отметить невозможность полагать их в основание социологической модели. Мы готовы допустить, что эти посылки играют некоторую роль в общественном механизме, но мы никак не можем согласиться с тем, что на них базируется поведение людей. Между тем именно из такого неверного допущения исходит Рашевский. «В очень больших группах

¹ N. Rashevsky. Two Models: Imitative Behaviour and Distribution of Status. «Mathematical Thinking in Social Sciences», ed. by P. Lazarsfeld. Glencoe, 1954, p. 85.

Автократическое общество или патриархальная семья представлены матрицей:

1	0	0	0	0
1	0	0	0	0
1	0	0	0	0
.....				
1	0	0	0	0

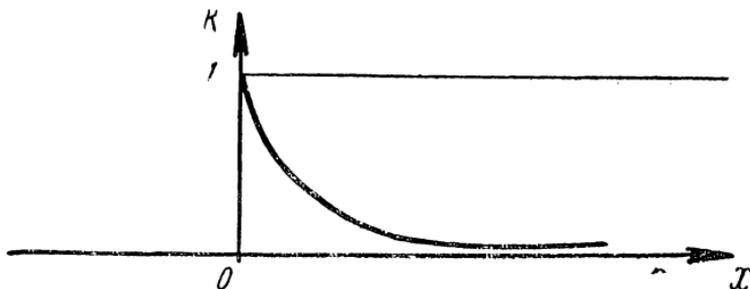
Эти матрицы легко понять, если все строки и ряды перенумеровать в соответствии с наличием людей в данной группе и читать матрицу примерно так, как мы читаем турнирную шахматную таблицу, принимая во внимание, что 1 означает заботу данного индивидуума о другом («есть дело до кого-либо»), а 0 — отсутствие такой заботы («нет дела ни до кого»). Например, 1-я строка первой матрицы читается так: «Первый индивид заботится только о первом, то есть о самом себе, но ему нет дела ни до 2-го, ни до 3-го индивидов» и т. д.

Само собой понятно, что не существует такого общества, члены которого вели бы себя именно так, как предписывает им матрица. Матрицы изображают лишь идеальное в своей абстрактности общество. В любом реальном обществе встречаются эгоистические люди и люди, настроенные альтруистически, причем отношение их к другим людям далеко не всегда остается постоянным. Ясно, что матрица не отражает всей сложности поведения людей в обществе. Она не только не выясняет, почему человек ведет себя так или иначе, и не добавляет ничего нового к уже имеющимся нашим знаниям, но не учитывает даже того простейшего факта, что в одних условиях человек ведет себя так, как в других условиях тот же самый человек вести себя не будет.

Н. Рашевский отдает себе отчет в том, что общества его матриц в чистом виде не существуют нигде; потому он считает такие общества лишь «крайними случаями». Он продолжает свои рассуждения далее так.

Обозначим каждый элемент матрицы через k_{ij} . Каждый такой элемент описывает поведение. Поведение является функцией социальной дистанции X . Эта социальная дистанция $X = S_i - S_j$ двух индивидов, где S_i — социальный статус i -того индивидуума, а S_j — социальный статус j -того индивидуума. Форма функции $k(S_i - S_j)$ такова, что когда $X = 0$, то есть

социальная дистанция равна 0, k —максимальна, то есть равна 1. С увеличением X k —уменьшается. В виде графика это можно представить так:



Поскольку, однако, элементы матрицы зависят не только от социальной дистанции, но и от географического расстояния p , можно рассматривать k как зависящую от двух факторов:

$$k(S_i - S_j, p) = k_S(S - S') k_p(p).$$

Поскольку же люди отличаются друг от друга еще и привычками и вкусами и т. д., надо ввести третий фактор L и написать

$$k(S_i - S_j, p, L) = k_S(S - S') k_p(p) k_L(L).$$

Таким образом, «мы можем описать количественно типы этического поведения, начиная с обожания какого-нибудь правителя с полным самоотречением индивидуума, через эгоистическое утверждение верховности собственной личности, до полного альтруизма. В этот же ряд включаются различные степени терпимости по отношению к другим точкам зрения, выражение дружеских чувств и социального «снобизма»³.

Что можно сказать об этой модели? В математике, если мы имеем какую-либо функцию, мы должны доказать ее полноту, то есть надо доказать, что функция не содержит больше никаких аргументов и что выбранные аргументы являются коренными, определяющими для данной функции, иначе мы получим неверные результа-

³ N. Rashevsky. Prolegomena to a Dynamics of Ideologies. «The Bulletin of Mathematical Biophysics». Chicago, 1952, v. 14, p. 104.

ты. Того же самого, но в других словах требует и социология. Надо доказать сперва, что элементы k_{ij} зависят (являются функцией) от социальной дистанции, географического расстояния, вкусов и привычек и т. д. и больше не зависят ни от чего. Надо далее доказать, что эти факторы являются определяющими в поведении людей, и, наконец, нужно доказать, что матрица адекватно отражает структуру всего общества. Ничего этого у Рашевского нет и в помине. Забыты те исключительно важные социальные институты, которые в конечном счете являются доминирующими в поведении людей. Общество представлено им в виде механического собрания каких-то роботов, между которыми действуют лишь те связи, которые приписаны (точнее, пожалуй, будет сказать: предписаны) им моделью.

В какой-то степени эта модель напоминает порочную «теорию факторов», давно разгромленную марксизмом. В той «теории» тоже выхватывались отдельные факторы, влияющие на поведение общества, и делались затем попытки установления между ними какой-то связи. И в том и в другом случае совершенно забывают, что определяющей основой всей жизни общества, в том числе и явлений морали, является материальная основа, то есть производство.

Существенным недостатком моделей Рашевского является также то, что его модель по сути дела не дает никаких новых знаний, не приводит ни к каким новым выводам. По большей части перед нами просто уже давно известные положения, иногда и трюизмы, но облеченные в математическую форму. Они ни в какой мере не помогают нам раскрыть причины тех явлений, которые при этом моделируются. Иногда же трюизмы могут указать даже прямо неправильный путь все по той же причине, а именно потому, что они неадекватно отражают действительную структуру явлений.

Так, в своей статье «Две модели: подражательное поведение и распределение социального статуса» Рашевский, посвятив добрых полтора десятка страниц распределению социального статуса и устанавливая зависимость между факторами, влияющими на социальное положение человека в обществе, а также приведя изрядное количество формул, делает такой неожиданный вывод: «Таким образом, мы находим следующий важный ре-

зультат: даже если распределение какой-либо внутренней способности, которая может действовать на социальный статус, однородно, социальный статус в общем распределяется неоднородно, пока не встретится какое-либо из следующих условий: социальный статус действует на вероятность социальных столкновений или же вероятность какого-нибудь индивидуума, передвинуться на определенную социальную дистанцию есть функция этой дистанции»⁴. Но очевидно, что этот «важный результат» в действительности — пустышка; его можно было предвидеть априори. Заранее можно сказать, что те или иные социальные столкновения будут зависеть от социального положения сталкивающихся сторон и что вероятность перехода человека из одной социальной группы в другую зависит (помимо всего прочего) и от его социального положения в настоящее время. Таким образом, в этом примере мы видим, что Рашевский в своем «выводе» не пошел дальше плоского трюизма.

Разберем другой пример, а именно построение Рашевским формулы, которая, по его мнению, показывает условия возникновения монотеистической религии.

Рассмотрим общество, состоящее из n подобществ, тесно взаимодействующих между собой. Религия каждого k -того подобщества состоит из ряда элементов. Скажем так:

$$B_k = (B_0, B_k^1, B_k^2, \dots, B_k^m),$$

где B_k^1 отлично от B_k^2 , а B_0 является общим элементом во всех религиозных подобществах. Благодаря взаимодействию всех подобществ B_0 усиливается в $1 + \omega(n - 1)$ раз, где ω — сила взаимодействия между двумя подобществами.

«Итак, условием выживания общего элемента некоторых образцов веры является достаточно широкое число n подобществ и достаточно строгое культурное взаимодействие ω между этими подобществами... Необходимо также, чтобы B_k^i для подобществ были малы по сравнению с B_0 »⁵. Такие условия реализуются в боль-

⁴ N. Rashevsky. Two Models: Imitative Behaviour and Distribution of Status. «Mathematical Thinking in the Social Sciences», p. 101.

⁵ «The Bulletin of Mathematical Biophysics», 1952, v. 14, No. 1, p. 99.

шинстве империй, где имеется много народов с различными религиями и где эти народы тесно связаны друг с другом. По мнению Рашевского, это объясняет, почему христианство возникло в Римской империи.

Нет нужды говорить о том, насколько неверно отображает эта концепция исторический процесс.

Интересно лишь отметить, что даже с чисто логической точки зрения правильнее было бы допустить, что ω не везде одно и то же, то есть что между различными подобществами существует неодинаковое взаимодействие, что различные элементы B_k^i также взаимодействуют с неодинаковой силой и что могут быть такие общие лишь для некоторых, а не для всех подобществ элементы, которые сильно повлияют на сам элемент B_0 , а, впрочем, также и на другие элементы. Вследствие этого картина весьма и весьма усложнится и формула примет совсем другой вид, чем тот, который предложил Рашевский. Формула Рашевского в таком случае будет лишь частным видом другой, гораздо более общей формулы.

Но не в этом суть дела. Здесь, нам кажется, особенно ясно виден субъективно-идеалистический подход Рашевского к явлениям общественного порядка. В самом деле, как строит свои формулы Рашевский? Из общих, чисто логических соображений и весьма произвольных посылок Рашевский конструирует математическую формулу, а затем подгоняет под нее факты. Впрочем, в большинстве случаев он поступает куда проще: просто-напросто игнорирует факты действительности.

Естественно, что пользу такие модели могут принести весьма сомнительную. Недаром они вызывают такой скепсис среди буржуазных же социологов. Против этого скепсиса выступают сторонники Рашевского. Но, пытаясь защитить Рашевского и его метод математического моделирования общественных явлений, один из его последователей — Д. Колман делает это так, что вконец запутывает вопрос и фактически обесценивает этот метод еще более. Он пишет: «На настоящей стадии развития социологии нам нужны многие пути развития этой науки... Мы хотим использовать модели не для того, чтобы они сказали нам что-то о социальном поведении, а для того, чтобы они сказали нам об отношениях

между (?) математическими моделями и социальным поведением. Наша основная цель — пополнение знаний»⁶.

Спору нет, модель, и в частности модель математическая, может внести много ценного в социальную науку, но этого нельзя достигнуть, если игнорировать действительность, которую модель призвана отображать, если ломать и перетасовывать структуру этой действительности по своему произволу в угоду предвзятой концепции.

⁶ I. S. Coleman. An Expository Analysis of Some of Rashevsky's Social Behaviour Models. «Mathematical Thinking in Social Sciences», ed. by P. Lazarsfeld. Glencoe, 1954, pp. 105, 116.

КРИТИКА МЕТОДОЛОГИИ ЛОГИЧЕСКОГО
ПОЗИТИВИЗМА В ЭТИКЕ

Логический позитивизм оказал огромное влияние на современную буржуазную этику. Оно не ограничивается существованием какого-либо особого направления в ней, как это считают многие буржуазные ученые, хотя и имеется несколько школ в этике, некоторые из которых можно было бы назвать «ортодоксально»-неопозитивистскими. Влияние методологии логического позитивизма гораздо шире, оно явственно ощущается во всех основных направлениях современной буржуазной этики, иногда даже в теологических теориях морали.

В наиболее «чистом» виде методология логического позитивизма нашла свое применение в эмотивизме и в его разновидностях — императивной и волютивной теориях, распространенных в США, Англии, Скандинавии и в некоторых других странах (Айер, Карнап, Стивенсон, Рассел, Эшер Мур, Райхенбах, Огден, Ричардс, Хегерстрём), а также в направлении, которое возникло в начале 50-х годов и часто называется «оксфордским» (Патрик Ноуэлл-Смит, Стефэн Тулмин, Стюарт Хэмпшир, Генри Эйкен, Джеймс Эрмсон, а также Р. М. Хеар, А. Гриффитс, А. Дж. Мелден, М. Макдональд и др.). Методологические установки неопозитивистской философии нашли свое отражение и за пределами этих направлений, прежде всего в понимании предмета исследования и задач этики, в трактовке природы морали и в решении некоторых принципиальных теоретических вопросов этики. Можно сказать, что проблематика современной буржуазной этики в США, Англии и в некоторых других странах английского языка сложилась в основном под доминирующим влиянием логического позитивизма. Это относится даже к двум главным «противникам» логического позитивизма в этике — интуитивизму

и натурализму. Неопозитивистской методологией в этике пользуются даже те буржуазные теоретики, которые не придерживаются позиций логического позитивизма в философии.

Неопозитивистский подход к решению моральных проблем явился результатом механического перенесения в этику методологии, выработанной на основе субъективистски-формалистического обобщения данных точных наук и их формальнологического аппарата. В задачу данной статьи не входит детальное рассмотрение тех конкретных выводов относительно морали и теории морали, к которым приходят неопозитивисты. Нас будет интересовать лишь то, *как* эти выводы были достигнуты, какую роль в этом сыграла *методология* логического позитивизма. В качестве иллюстраций будут приводиться главным образом положения эмотивистской теории, в которой теоретические средства «логического анализа» были использованы в максимальной мере и где их порочность проявилась наиболее ярко.

Буржуазные критики эмотивизма обычно обращают внимание на то, что в этой теории нашло свое выражение крайне скептическое и нигилистическое отношение к морали. Разделяя некоторые пороки позитивистского подхода к этике, эти авторы не замечают того, что причиной подобного отношения к морали являются принципиально неверные исходные посылки, которые прежде всего приводят к искаженному представлению о морали вообще и об объекте этического исследования. В трактовке логическими позитивистами предмета этики и самой морали нашло отражение их понимание предмета философии, которая, как они считают, должна заниматься лишь анализом логической структуры языка наук. Неопозитивисты по сути дела подгоняют объект этического исследования под свое понимание задач философии; в морали они видят лишь «моральный язык», анализом которого и должна заниматься, по их мнению, «философия морали».

Что же представляет собой «моральный язык»? Это совокупность моральных суждений (высказываний, утверждений, предложений), в которых формулируются моральные предписания или оценки. Все многообразие явлений нравственности, все элементы моральных отношений неопозитивисты сводят к форме различного рода

высказываний. Так, создаваемые в процессе истории человечества нравственные нормы превращаются в суждения типа «Человек (не) должен поступать так-то»; вырабатываемые обществом оценки — в утверждения типа «Убийство есть зло»; предъявляемое отдельному человеку обществом нравственное требование — в предписание «Ты должен поступить так-то»; чувство долга — в суждение «Я должен сделать то-то»; укоры совести регистрируются в виде предложения «Я поступил дурно».

Логический позитивизм совершает двойную подмену в трактовке морали. Первая состоит в том, что нравственность представляется лишь как совокупность идей и представлений, имеющих форму знания. В действительности же мораль не сводится только к сумме идей. В нее входят прежде всего объективно существующие взаимоотношения между людьми, посредством которых осуществляется моральный контроль со стороны общества над поведением отдельного человека. Хотя эти отношения и осуществляются через посредство языка, однако они не сводятся к тому, что люди говорят друг другу. Затем к области моральных явлений относятся определенного рода мысли и переживания людей, их чувства и ролевые импульсы, которые также нельзя свести к совокупности идей. Наконец, в сферу морали входят явления общественного сознания: нравственные нормативы, общепринятые оценки, понятия добра и зла, моральные идеалы. Хотя все эти явления общественного сознания представляют собой определенного рода идеи и представления, по своей форме они принципиально отличны от знания; они имеют не *теоретический*, а *практический* характер, в них содержится не только информация о фактах, независимых от воли человека, но и практическое руководство нормативного характера относительно действия людей. Иными словами, моральные идеи ближе стоят к общественной практике, чем теоретическое знание.

Методология логического позитивизма не позволяет высунуть структуру морального сознания общества. В лучшем случае она может создать возможность для установления логических связей между различными формами морального сознания, например между конкретным моральным долгом человека в данной ситуации и общей нравственной нормой, между нормой и поня-

тием добра, между понятием добра и социальным идеалом. «Вершиной» достижений логических позитивистов является построение дедуктивной системы морали, которая, однако, не выдерживает практической проверки. Превращение моральных отношений и форм нравственного сознания в совокупность идей, имеющих внешнюю форму теоретического знания, является для позитивистов лишь поводом для «ниспровержения» морали и всей предшествующей этики.

Между тем нравственные идеи и представления общества различны по своему отношению к отражаемому в них объекту и общественной практике. Так, нравственные нормативы представляют собой непосредственные предписания к действию и не содержат в себе прямой ссылки на отражаемую в них реальность. То же — в понятии долга, представляющем собой результат обобщения предъявляемых человеку нравственных требований. В моральных оценках, напротив, содержится прямое указание на объективное качество поступка («хороший» или «дурной»), тогда как рекомендация к действию присутствует здесь в «снятом» виде. На основе обобщения оценок общество вырабатывает понятия «добра» и «зла», которые играют роль критериев при оценке отдельных поступков. Наконец, вырабатываемые обществом или классом социальные или моральные идеалы, в которых в форме *представления* о будущем (или существующем) обществе устанавливаются определенные социальные *задачи*, являются конечным основанием всякой моральной системы и придают ей вполне определенный социальный смысл. Например, сила и жизненность коммунистической морали заключается в том, что она основывается на социальном идеале, который является научным предвидением будущего, в то время как мораль буржуазная, основанная на представлении о вечности капиталистического общества, неизбежно обречена на гибель, как и само капиталистическое общество.

Вторая подмена, которую совершают неопозитивисты, состоит в превращении моральных идей и представлений в «моральный язык», в совокупность моральных высказываний. Таким образом, в теориях, основывающихся на методе логического позитивизма, вместо морали фигурируют даже не субъективные идеи и представления, но лишь их языковая форма.

Подобная операция коренным образом искажает существо морали, ведя к крайней формализации этического исследования. Эта формализация, приемлемая как средство достижения большей ясности (например, чувство долга можно выразить в суждении: «Я должен поступить так-то»), заменяет у неопозитивистов сущность морального исследования. Во всех их рассуждениях молчаливо предполагается, что в морали нет ничего, кроме «морального языка», существующего якобы в отрыве от тех отношений между людьми, в которых он применяется. Подмена морали совокупностью моральных суждений позволяет неопозитивистам подменить изучение внутренней логики морального сознания выяснением формальнологических связей между моральными суждениями и их элементами. Вот, например, к каким выводам приводит этот метод при решении эмотивистами вопроса о связи между субъектом и предикатом оценочного суждения.

В качестве примера оценочного суждения Айер и Карнап берут суждение «Убийство есть зло». Субъект суждения «убийство», рассуждают они,— это фактический, или дескриптивный, термин, так как он описывает факты; предикат «зло» — это оценочный термин, или термин ценности. Логическая связь между субъектом и предикатом суждения может быть аналитическая или синтетическая. Первая отсутствует, ибо между «убийством» и «злом» нет логического тождества: «Сказать, что человек поступил... дурно — это не значит сказать, что он сделал»¹, — пишет Айер. «Но здесь также нет и синтетической связи, ибо слово «зло» не добавляет никаких новых деталей к происшествию»². Следовательно, заявляют эмотивисты, здесь нет никакой логической связи. На том же основании делается вывод об отсутствии какой бы то ни было логической связи между суждениями факта и суждениями ценности (то есть суждениями, в которых содержится оценка или предписание).

Но затем от чисто логических выводов эмотивисты переходят к практическим выводам относительно морали. Знание фактов не обязывает нас к тому, чтобы иметь определенную моральную точку зрения относительно

¹ A. Ayer. *Philosophical Essays*. London, 1954, p. 235.

² *Ibid.*, p. 236.

того или иного поступка, и не является основанием для того, чтобы осудить убийство или воровство³. Иными словами, мы свободны выбирать ту или иную оценку определенного факта.

Порочность рассуждений эмотивистов состоит в том, что они, пытаясь втиснуть мораль в рамки логического анализа, подменяют действительно существующие в обществе моральные оценки моральными суждениями, с которыми они обращаются так, как если бы это были положения точной науки. На деле же связь между убийством и злом отнюдь не логическая, а *социальная*. Установление этой связи является результатом длительной общественной практики человечества. Но это еще не все. Прodelав над моральным суждением ряд логических операций, неопозитивисты механически переносят свои выводы на реально существующую мораль, от которой они ранее сами же отrekliсь в пользу «морального языка»!

Интерпретация морали как совокупности моральных суждений тесно связана с неопозитивистским толкованием предмета «философии морали» и задач этического исследования. Вместо этики логические позитивисты предлагают анализ логической структуры моральных суждений, выяснение логической связи между ними, прояснение смысла «этических терминов» и рассмотрение методов обоснования моральных высказываний⁴. Сформулировав задачи философии морали таким образом, Стивенсон затем вынужден признать, что самые важные нравственные проблемы остаются вне поля внимания логических позитивистов⁵. Действительно, при такой постановке вопроса из этики совершенно исключается содержательная сторона морали и остается лишь ее формальная оболочка.

Стронники «оксфордской школы» уточняют эмотивистское понимание предмета этики. Они считают, что философия морали должна заниматься анализом «обычного словоупотребления» в «моральном языке», исследованием того, в каком смысле и в каких «контекстах»

³ См. A. Ayer. Language, Truth and Logic. London, 1936, p. 166.

⁴ C. L. Stevenson. Ethics and Language. New Haven, 1950, p. 1.

⁵ См. *ibid.*, p. 366.

люди употребляют слова «долг», «добро», «зло» и др. Ноуэлл-Смит даже заявляет, что «значительная часть «Этики» Аристотеля могла бы быть переписана без малейшей утери смысла и с несколько большей ясностью в стиле рассмотрения смысла определенных греческих слов»⁶.

Таким образом, объектом исследования неопозитивистов являются не объективные моральные отношения, а обыденные представления о них, существующие в голове человека капиталистического общества и нашедшие свое выражение в обычном разговорном языке. Такое исследование могло бы быть оправдано, если бы ставилась задача изучения социальной психологии общества. Например, можно было бы исследовать то, как отношения капиталистического общества в извращенной форме отражаются в обыденном буржуазном сознании. Но не это интересует неопозитивистов. Они выдают то, что думает, чувствует и говорит буржуазный обыватель, за действительное содержание моральных понятий. Этика в результате этого превращается из системы категорий в толковый словарь терминов морали.

Такое понимание предмета этики, во-первых, делает объектом исследования не объективную реальность, а субъективные представления о ней. Таким образом, субъективный идеализм является одной из методологических посылок логического позитивизма в этике. Во-вторых, научное исследование опускается до уровня мышления буржуазного обывателя. Теории морали как таковой уже больше не существует, ее место занимает наукоподобная апология обыденного сознания, нашедшего свое выражение в «обычном словоупотреблении». В этом почти сознается Айер, когда он говорит, что его задача «состоит лишь в том, чтобы проанализировать, как употребляются этические термины, а не в том, чтобы научно объяснить их»⁷.

Подмена этики логическим анализом «морального языка» имеет вполне определенный социальный смысл — превращение теории морали в «надпартийную» науку. Подлинная философия морали, заявляет Айер, «нейтральна» к поведению людей, она не дает никаких мо-

⁶ P. H. Nowell-Smith. *Ethics*. N. Y., 1957, pp. 7—8.

⁷ A. Ayer. *Philosophical Essays*, p. 239.

ральных предписаний и рекомендаций; философ не должен выступать в роли поборника добродетели⁸. Неопозитивисты изображают дело таким образом, что они исследуют лишь то, что думает и говорит о морали «обычный человек», сами же они не делают о нравственности никаких выводов. В этом, как полагают логические позитивисты, философия морали (или, как они еще ее называют, «метаэтика») коренным образом отличается от традиционной этики, целью которой всегда было выведение и обоснование тех или иных моральных нормативов, установление содержания понятий «добра» и «зла» и выработка практического руководства для поведения людей. Позитивисты пытаются ниспровергнуть всю предшествующую этику, считая ее ненаучной, а поставленные ею задачи — невыполнимыми обещаниями и безосновательными претензиями. При этом они недвусмысленно намекают на будто бы осуществленный ими «коренной переворот» в этике.

На самом же деле провозглашение логическими позитивистами «нейтральности» философии морали является не чем иным, как попыткой снять с себя ответственность за те выводы, которые, хотя того они или нет, содержатся в их теории, и переложить ответственность на того самого буржуазного обывателя, моральные суждения которого они исследуют. Как мы уже видели и увидим позднее, позитивисты вовсе не отказываются от практических моральных выводов. Некоторые положения эмотивистов по существу являются если не открытой проповедью, то молчаливым поощрением аморализма. Столь же безосновательны претензия неопозитивистов на научность их «метаэтики» и критика ими ненаучности нормативной этики. Повторение, хотя и в обобщенной форме, того, что говорит о морали «обычный человек», не может считаться наукой. Подлинная научность этики состоит не в отказе от нормативных выводов, то есть положений о том, что является добром и что злом, в чем состоит моральный долг человека, а в обосновании этих выводов посредством анализа социальных законов. Марксистская этика основывает свои нормативные выводы о коммунистической морали на научной теории общества, на учении о том, что в соот-

⁸ См. А. Аугер. *Philosophical Essays*, p. 246.

ветствии с объективными законами истории на смену капитализму идет коммунистическое общество.

Неопозитивисты перенесли в этику некоторые положения гносеологии логического эмпиризма, в частности положение о том, что термины научных суждений являются обозначениями (знаками) объектов эмпирического наблюдения. Так как моральные свойства поступков (заключенные в них добро или зло, присущее им долженствование) не являются эмпирически наблюдаемыми качествами, эмотивисты объявили понятия «добра», «зла» и «долга» лишенными какого-либо познавательного значения и даже смысла⁹. На том же основании они считают не имеющими значения моральные суждения (суждения ценности). Ценностные высказывания, говорят позитивисты, не содержат в себе никакой информации о фактах, этические же понятия являются просто «псевдопонятиями»¹⁰.

Данное положение эмотивизма является результатом механического перенесения в этику методологии, которая была выработана для естественных наук. Добро и зло не являются природными свойствами человеческих поступков. Действие человека, рассматриваемое как явление природного мира, взятое как внеобщественное событие, представляет собой не больше, чем совокупность механических телодвижений, физических и биохимических процессов и психологических реакций. Но всякий поступок человека — это прежде всего явление общественное, обладающее помимо своих вещественных характеристик социальными свойствами, которые нельзя непосредственно наблюдать или ощущать. Позитивисты выступают в данном вопросе как узкие эмпирики и примитивные сенсуалисты, не видящие специфики социальных свойств объектов.

Между тем поступок человека обладает определенными нравственными свойствами не как явление природного мира, а как частица общественной жизни. Должное, добро и зло присущи отдельному поступку как элементу, «клеточке» моральных отношений. Их нельзя наблюдать эмпирически, ибо в них выражена *связь* отдельного поступка с общественными условиями. Долж-

⁹ См. C. Ogden and I. Richards. *The Meaning of Meaning*. N. Y. 1936, p. 125.

¹⁰ См. A. Ayer. *Language, Truth and Logic*. I ed., p. 168.

ный поступок, который представляет собой моральное добро, есть воплощение существующей в данном обществе нравственной практики. Действие человека, происходящее в тех или иных общественных условиях, имеет определенные социально значимые последствия. Эти последствия могут приносить пользу или вред тому обществу, в котором совершен поступок, классу, окружающим человека людям. В этом поступки людей аналогичны процессу труда, ибо материальное благо (потребительная стоимость) точно также является «последствием» трудовой деятельности человека. Отличие состоит в том, что если экономической ценностью обладает продукт труда, а сам труд не обладает стоимостью, то моральной ценностью обладает сам поступок, хотя и обладает именно в силу своих действительных или возможных последствий. Существует еще ряд особенностей, специфических для моральной ценности, которые будет целесообразно разобрать в связи с критикой других положений неопозитивизма.

Логические позитивисты применяют к моральным суждениям свой общегносеологический принцип верификации. Так как моральные высказывания не поддаются верификации (поскольку они как таковые не констатируют никакого эмпирически наблюдаемого факта), они, с точки зрения эмотивистов, не истинны и не ложны¹¹.

Этот вывод логических позитивистов основывается на принципиально неверном их представлении о критерии истинности, который они понимают узко эмпирически. Критерием истинности, согласно диалектическому материализму, в конечном итоге всегда является общественная практика, хотя в более узком смысле, применительно к той или иной специальной области знания, существуют свои особые, но зависимые от практики критерии. Каким же образом проверяется истинность положений морали? Конечно, отдельное моральное суждение нельзя подвергнуть непосредственно эмпирической проверке. Моральная обязанность, объективно возникающая в той или иной конкретной ситуации, которая находит себе отражение в суждении «Ты должен поступить так-то», не является непосредственно наблюдаемым фактом, в

¹¹ См. R. Carnap. *Philosophy and Logical Syntax*. London, 1935, pp. 23—25; A. Ayer. *Language, Truth and Logic*, p. 161.

отличие от обстоятельств самой ситуации. Но тем не менее истинность этого суждения можно проверить опосредованно, сопоставив данную ситуацию с существующими в обществе нормами и принципами морали.

Представители «оксфордской школы» допускают возможность такой проверки (или обоснования) частных моральных суждений. Но они считают, что невозможно проверить истинность самых общих моральных принципов (или научно обосновать их), из которых дедуцируются частные моральные суждения. Система нравственных принципов (или система ценностей), как они утверждают, выбирается человеком произвольно, в зависимости от его приверженности к тому или иному образу жизни и общественному устройству.

Действительно, если человек сознательно придерживается какой-то системы моральных принципов, то в основе этого в конечном счете лежит его приверженность к определенному образу жизни и общественному строю. Но значит ли это, что выбор им моральных принципов произволен? Можно ли сказать, что нет научного критерия для решения общих нравственных проблем, когда сталкиваются две противоположные точки зрения, выражающие в себе две различные идеологии?

Та или иная идеология и общественно-политические убеждения людей, в которых она нашла свое выражение, являются закономерным отражением определенных социальных отношений; тот или иной общественный строй существует не в результате произвольного выбора людей, а в итоге действия объективных социальных законов, которое с необходимостью приводит к смене одной общественно-экономической формации другой. Моральные принципы того или иного общества обладают объективным основанием до тех пор, пока это общество не изжило себя исторически. Противоположность моральных ценностей социализма и капитализма не является просто результатом существования двух различных точек зрения по вопросу о том, какое общество «лучше». Эта противоположность выражает объективно существующее противоречие между двумя социальными системами. Но поскольку сосуществование и противоречия между социализмом и капитализмом занимают сравнительно короткий исторический срок и присущи периоду перехода от мирового господства капита-

лизма к всемирной победе коммунизма, постольку моральные принципы того и другого общества имеют неодинаковое объективное основание. Капитализм не имеет будущего, идет к своей гибели, и его моральные ценности все более изживают себя, лишаются своей социальной основы, утрачивают то прогрессивное значение и то гуманное содержание, которое они имели в эпоху восхождения буржуазного общества. Напротив, моральные ценности коммунизма по мере укрепления социалистического строя, построения социализма в новых странах, развития демократических форм общественной жизни и свободного участия в ней миллионов трудящихся масс получают все более прочную социальную основу.

Критерием истинности самых общих моральных принципов является общественная практика во всех сферах социальных отношений — в экономике, политике и идеологии, в классовой борьбе и в строительстве новых форм общества. Общественная практика постоянно опровергает одни и выдвигает другие моральные принципы, нормы, оценки. Истинность моральных суждений, таким образом, есть понятие историческое. Моральные оценки истинны в том смысле, что они соответствуют определенной ступени исторического процесса, эпохе, определенной общественно-экономической формации. Это, однако, не означает, что истинность моральных суждений можно понимать условно, как их соответствие произвольно выбранной системе социальных ценностей.

Основываясь на порочной методологии логического позитивизма, эмотивисты приходят к крайне субъективистским выводам относительно морали. Они считают, что значение моральных терминов («добро», «зло», «долг») и терминов ценности чисто «эмотивно», то есть эти понятия означают не свойства объекта, а лишь наше субъективное отношение к нему, наши моральные чувства¹². Термины «добро» и «зло», согласно эмотивистам, означают, что объекты, к которым мы их относим, вызывают наше расположение или нерасположение. Слова «должный», «правильный», «неправильный», употребляемые применительно к поступкам людей, выражают лишь наше одобрение или неодобрение, которые мы формули-

¹² См. А. Аугер. *Language, Truth and Logic*, pp. 160—161.

руем в таком виде, что они будто бы являются свойствами самих поступков. Иными словами, получается, что мы лишь «приписываем» поступкам людей их моральные свойства.

Когда человек употребляет применительно к поступкам людей моральные термины «добро», «зло», «правильно», «дурно» и др., он, конечно, выражает в них свои моральные чувства и убеждения. Но отсюда вовсе не следует, что в этом и состоит их значение. В действительности же эти термины обозначают социальные свойства поступков, отражают их объективное значение в системе социальных отношений. Моральная ценность не чужда объекту (поступку), не «приписывается» ему извне, а является внутренне присущим ему *идеальным* свойством, продуктом духовного производства, выражением таких отношений людей, которые осуществляются через сознание людей, общественное и личное.

Выяснение гносеологической природы моральных ценностей требует рассмотрения, хотя бы в самых общих чертах, того механизма духовного производства, который их порождает.

Выше уже отмечалась та особенность моральной ценности, что в ней социальное значение последствий поступков переносится на сам поступок. Но добро или зло, заключенное в поступке, не есть просто способность данного поступка приводить к определенным социально значимым результатам. Так понимали моральную ценность утилитаристы, которые считали, что нравственное добро, характеризующее поступок человека, совпадает с благом, содержащимся в его последствиях. Утилитаристы, таким образом, трактовали моральную ценность как нечто независимое от общественного сознания. Такое вульгарноматериалистическое толкование моральной ценности послужило поводом для критики утилитаризма со стороны эмотивистов и интуитивистов, выдвинувших в противовес Миллю и Бентаму идеалистические теории ценности.

На самом же деле моральная ценность отдельного поступка не совпадает с социальным значением его ближайших последствий (то есть непосредственного и ближайшего результата, который вытекает из поступка). На этом как раз и спекулируют теоретики морали, стоящие на позициях неопозитивистской методологии, начи-

ная от интуитивистов и кончая представителями «оксфордской школы». Сторонники так называемого деонтологического интуитивизма Гарольд Причард и Дэвид Росс делают отсюда вывод, что моральные свойства поступков не имеют никакой связи с их последствиями. Поступок, говорит Росс, «является нравственным благодаря своей собственной природе, а не благодаря своим последствиям»¹³.

На самом же деле несовпадение социального значения последствий поступка и морального значения самого поступка является результатом двух обстоятельств. Во-первых, общество заинтересовано не просто в отдельном поступке, а в поведении всех людей, живущих в нем. Поэтому в вырабатываемой системе нравственных оценок учитывается обобщенное значение человеческих поступков. Моральная ценность отдельного поступка определяется не теми последствиями, которые явились его фактическим результатом, а теми последствиями, к которым обычно приводят подобные поступки. Фактические последствия какого-то конкретного поступка зависят от ряда случайных обстоятельств, которые в отдельных случаях могут даже приводить к результатам, противоположным намерениям человека. В моральной же ценности выражаются «социально средние» последствия поступков, точно так же как в стоимости товара выражается среднее общественно необходимое рабочее время. Но что в экономике осуществляется через действие рыночного механизма, то в морали является результатом обобщающей работы общественного морального сознания.

Во-вторых, после того, как на основе познания социального значения действий людей общество выработало моральные нормы, поступки людей приобретают новое значение. Каждый поступок, который подпадает под действие существующего морального кодекса, является теперь актом соблюдения или нарушения нравственных нормативов; он воплощает в себе либо господствующую мораль, либо ту мораль, которая противоположна нравственным устоям общества. Вокруг поступков людей разгорается борьба за сохранение и упрочение господствующей морали, либо, наоборот — за ее ниспроверже-

¹³ W. D. Ross. The Right and the Good. Oxford, 1930, p. 44.

ние и замену новой моралью. Благодаря этой борьбе отдельные поступки могут играть определенную роль в укреплении или подрыве существующих моральных традиций. Особенно ощутимо влияние отдельных поступков проявляется в условиях острой классовой борьбы между старой и новой нравственностью. В. И. Ленин неоднократно указывал на громадное значение почина небольшой группы людей в переходе широких народных масс к новой моральной традиции, а также на опасность, которую представляет собой антисоциальное поведение отдельных носителей моральных пережитков капитализма в условиях, когда новая коммунистическая нравственность еще не утвердилась¹⁴.

После того как обществом сформулированы нравственные нормативы, моральная ценность отдельного поступка возрастает. Она теперь измеряется не средними социально значимыми последствиями, а теми возможными последствиями, к которым привело бы совершение подобных поступков всеми людьми. Теперь речь идет не просто о пользе или вреде подобных поступков для существующего общества, а о сохранении господства старой морали или о безусловной победе новой морали, идущей ей на смену. Хотя это новое моральное значение поступков людей является результатом развития общественного сознания, оно существует объективно как присущее им свойство; оно влияет на поведение людей и на их оценку отдельных поступков. Следовательно, производя оценку отдельных поступков, люди не *приписывают* им несуществующие ценностные свойства, как это считают неопозитивисты, а *познают* присущие им социальные свойства.

«Эмотивное» значение моральных терминов, как полагают эмотивисты, распространяется и на моральные суждения, которые якобы не содержат никакого фактического знания об объекте, а являются лишь выражением нравственных чувств говорящего, его субъективного отношения к объекту высказывания. Как говорит Айер, моральные предложения «суть чистые выражения чувств»¹⁵. Отсюда Айер делает вывод, который по сути дела является обоснованием морального волюнтаризма.

¹⁴ См. В. И. Ленин. Соч., т. 28, стр. 30; т. 29, стр. 393.

¹⁵ А. Айер. Language, Truth and Logic, p. 16.

Если я, рассуждает он, осуждая воровство, выражаю лишь свои моральные чувства, то человек, одобряющий воровство, точно так же «высказывает лишь свои нравственные чувства». Поэтому мы не противоречим друг другу. «Так что нет смысла в вопросе о том, кто из нас прав»¹⁶. Эшер Мур идет в своих рассуждениях еще дальше. «...Мои склонности,— говорит он,— это в конце концов мои склонности, а не склонности другого и, следовательно, мои моральные суждения, верно отражая мою собственную точку зрения, могут иметь не более, чем случайную истинность для другого. Будучи последовательным эмотивистом, я не могу иметь основания для оказания предпочтения моим склонностям перед теми, что у него, поэтому у меня нет никаких оснований для того, чтобы назвать его суждения ложными... Все идеалы, если только они являются истинными выражениями страстей, являются одинаково законными и одинаково произвольными»¹⁷.

К подобным утверждениям эмотивистов приводит анализ «морального языка» в полном отрыве от моральных отношений. Логические позитивисты видят в моральном суждении лишь то значение, которое в него вкладывает говорящий. В действительности же смысловое содержание морального суждения, высказываемого, скажем, при оценке поступка, состоит в том, какой смысл *обычно* вкладывается в это суждение как тем, кто его высказывает, так и тем, к кому он обращается. Иными словами, значение морального суждения определяется обществом, а не индивидом. В противном случае стало бы совершенно невозможным общение между людьми в процессе их моральных взаимоотношений.

«Эмотивное» значение моральных суждений, по мнению логических позитивистов, включает, помимо чувств говорящего, еще и другой элемент, а именно эмоционально-волевое воздействие на слушателя. Высказываемые моральные суждения, говорят эмотивисты, имеют целью внушить слушателю некие нравственные чувства и вызвать с его стороны соответствующие поступки. При этом эмотивисты предельно откровенно высказывают свое нигилистическое отношение к морали. Стивенсон,

¹⁶ A. Ayer. *Language, Truth and Logic*, p. 159.

¹⁷ A. Moore. *Emotivism: Theory and Practice*. «The Journal of Philosophy», 1958, v. 55, pp. 375—376.

разъясняя и уточняя суждение «Это добро», заявляет, что его истинный смысл выражается в суждении «Я одобряю это; одобри и ты!»¹⁸. Высказывание «Убийство есть зло», говорит Карнап, выражает лишь наше желание, чтобы другие не убивали, и является замаскированным приказом: «Не убий!»¹⁹. Рассел обобщает все это в виде следующего положения: моральные суждения — это «всего лишь попытки склонить других к тому, чтобы они разделили с нами наши желания»²⁰.

Действительно, во всяком высказываемом моральном суждении не только констатируется какой-то факт, не только содержится какая-то информация, но и присутствует элемент предписания. Моральные суждения, в отличие от теоретических положений, имеют нормативный характер. Особенно ясно это проявляется в повелительных суждениях типа «Ты должен поступить так-то!». Но эмотивисты не могут объяснить, что же именно заставляет слушателя подчиниться этому моральному требованию. Так как, с их точки зрения, моральное повеление — это просто выражение воли говорящего, они объясняют его воздействие на человека с сугубо психологической и иррационалистической позиции.

Например, Г. Райхенбах, автор «волютивного» варианта эмотивизма, «детально» разбирает, как моральное суждение воздействует на слушателя. Высказывание «Ты должен совершить поступок А», говорит он, воздействует не на разум человека, а на его волевые импульсы. Если бы оно воздействовало на сознание, рассуждает Райхенбах, то оно не привело бы к поступку А, ибо «Я могу сделать вывод о должном поступке и отказаться совершить его, не нарушая при этом логической последовательности». Моральный императив, делает он вывод, «действует как первое звено в цепи мускульных реакций, завершающихся поступком А; он приводит в действие эту цепь, подобно нажимаемой нами кнопке, которая запускает какой-то физический механизм»²¹.

¹⁸ C. Stevenson. *Ethics and Language*, p. 21.
p. 21.

¹⁹ R. Carnap. *Philosophy and Logical Syntax*, pp. 24—25.

²⁰ B. Russell. *Religion and Science*. London, 1935, p. 232.

²¹ H. Reichenbach. *Modern Philosophy of Science. Selected Essays*. London — New York, 1959, p. 198.

Ограничив область своего исследования «моральным языком», логические позитивисты не видят того, что источник эмоционально-волевого воздействия морального повеления на слушателя лежит не в самом суждении, не в том, как оно произносится, и вообще не в психологическом отношении между говорящим и слушателем, а в моральном авторитете общества (или класса), санкционирующего это моральное повеление. Тот человек, который его высказывает, выступает в данном случае как его представитель. Но это лишь одна сторона вопроса. Моральные «полномочия» этого человека существуют лишь постольку, поскольку то, что он говорит, истинно, поэтому в том случае, если слушатель с ним не согласится, то первому придется доказать истинность своего суждения. Люди повинуются моральным повелениям и руководствуются в своих действиях существующими моральными оценками в конечном счете потому, что те и другие отражают объективные общественные классовые потребности и законы истории. Иными словами, хотя воздействие морального высказывания на слушателя может быть эмоциональным по своей форме, в своей основе оно рационально и может быть подкреплено разумными доводами.

«Логика» морального сознания, хотя употребление здесь этого термина в какой-то мере условно, не является просто совокупностью общепринятых и узаконенных обычаев способов вывода в сфере моральной аргументации. В ней отражается структура морального сознания общества, представляющая собой систему моральных категорий. В последней же отражаются объективные моральные отношения, посредством которых осуществляется контроль со стороны общества над сознанием и поведением отдельного человека.

Анализ этических теорий, основывающихся на методологии логического позитивизма, приводит нас к выводу, что эта методология совершенно порочна и неприемлема для этики. В результате ее применения создается извращенное представление о морали. Исследование «морального языка» в отрыве от общественных отношений людей, внешним проявлением которых он является, приводит к тому, что явления нравственности толкуются крайне поверхностно и искаженно. Только марксистская методология, основывающаяся на диалектическом

и историческом материализме, способна помочь нам в решении сложных этических вопросов. Понять гносеологическую природу моральных понятий невозможно без марксистского социологического анализа моральной формы общественного сознания, без историко-материалистического анализа социально-классовых отношений.

НЕОПОЗИТИВИЗМ И ВОПРОСЫ ЭТИКИ

Один из вопросов, который стоит в центре внимания этической концепции неопозитивизма,— это вопрос о соотношении между наукой и моралью. Этот вопрос имеет два аспекта:

а) может ли мораль иметь научное основание, могут ли моральные суждения и оценки быть истинными и соответственно ложными?

б) может ли наука иметь моральные цели или она безразлична к морали? Должен ли, следовательно, ученый размышлять о моральных последствиях своих исследований, научных открытий при их практическом применении?

В своем анализе этических проблем неопозитивизм интересуется главным образом первым аспектом вопроса. Представители неопозитивистских течений, особенно логического позитивизма как такового, наиболее открыто отрицают возможность научного решения проблем этики, лишают мораль научного основания, полностью отгораживают науку от морали. Но тем самым неопозитивизм практически отвечает и на второй аспект вопроса; устраняет ученого от размышлений о том, каким целям служат его открытия, освобождает его от чувства моральной ответственности перед обществом, что, несомненно, выгодно силам реакции.

Каковы же те аргументы, с помощью которых неопозитивизм пытается обосновать свой основной тезис, что моральные суждения лишены научного основания и не могут поэтому быть ни истинными, ни ложными?

Займемся прежде всего выяснением того, как неопозитивизм определяет предмет этики как области философского знания.

Представители логического позитивизма (А. Айер, Р. Карнап, Ч. Стивенсон, Г. Райхенбах и др.) различа-

ют, в общем, несколько этик, каждая из которых имеет свой предмет исследования, а именно:

а) эмпирическая этика как составная часть психологии или социологии. Она описывает поведение людей и их моральные взгляды в различные эпохи, в том числе в современную. Исследования эмпирической этики, по их мнению, имеют научный смысл, ибо их можно подтвердить опытным путем и они представляют научный интерес с точки зрения выявления мотивов поведения.

б) Этика как нормативная дисциплина, но в чисто практицистском смысле, подчиненная политической, социальной и другим сферам деятельности и проверяемая в своем содержании через последние. Эта дисциплина имеет право на существование, поскольку она указывает, как добиться определенных целей, например, в политической области, как повлиять морально на людей, чтобы они считали себя счастливыми, чтобы подчинились данному правительству и т. д. Эта этика также не является областью философского знания; этой дисциплиной должны заниматься социологи.

в) Нормативная этика, формулирующая тот или иной моральный кодекс как якобы единственный или наиболее правильный.

г) Теоретическая этика, представляющая собой определенную систему этических категорий, понятий и взглядов, претендующую на истинность.

Положения этих двух последних этик, согласно неопозитивистам, не имеют научного смысла. Неопозитивисты относят их к «метаэтике», придавая в этом случае данному термину негативный смысл. Неопозитивисты утверждают, что эти два вида метаэтической интерпретации фактов «морального опыта» лишены научного смысла. «Современный анализ познания,— говорит Г. Райхенбах,— делает невозможным познавательную (cognitive) этику; познание не включает в себя каких-либо нормативных частей и, следовательно, не может объяснить этику... Стремление в течение двух тысяч лет создать этику на научной основе явилось следствием неправильного понимания познания, следствием ошибочного представления, что познание включает в себя нормативную часть»¹.

¹ H. Reichenbach. The Rise of Scientific Philosophy. Berkeley — Los Angeles, 1951, p. 277.

Наконец, неопозитивисты выделяют еще этику, в задачу которой входит описание и логический анализ различных существующих теоретических, этических систем, выясняющий логические отношения между ними, а также логический анализ важнейших этических понятий и категорий в этих системах (добро и зло, поведение правильное и неправильное и т. д.). По мнению неопозитивистов, эти вопросы и составляют предмет этики, которая не должна иметь ничего общего с философией в прежнем смысле слова, но является научно-философской «метаэтикой» в положительном смысле этого термина.

Неопозитивисты отвергают ту задачу, которую ставят себе при анализе этических категорий другие буржуазные этические школы (интуитивизм, натуралистическая этика и т. д.), а именно выяснение того, какая категория в этике является главной, какая производной и т. д. По их мнению, логический анализ этических категорий должен только помочь выяснить вопрос о природе этических оценочных суждений, доказать, что они научно неосмысленны и поэтому являются псевдосуждениями. Иначе говоря, неопозитивисты хотят научно доказать невозможность научной этики.

Обращаясь к анализу добра как главной этической категории, представители неопозитивизма приходят к выводу, что добро неопределимо, его нельзя определить с помощью неэтических понятий, так как мы не можем найти в мире эмпирические факты, или «референты», которые соответствовали бы ему. Добро, говорят они, не описывает фактов и ничего не дает для познания тех фактов, к которым оно относится. «Этические категории лишены фактического содержания. Они не описывают ни одной черты той ситуации, к которой они относятся»², — говорит А. Айер. Иными словами, важнейшую этическую категорию, с помощью которой оцениваются поступки людей, неопозитивисты превратили в «ничто».

Исходя из принципа верификации, то есть из требования, что каждое суждение должно быть доказано в непосредственном чувственном опыте субъекта, неопозитивисты объявляют этические суждения псевдосужде-

² А. Айер. On the Analysis of Moral Judgements. «Philosophical Essays». London, 1954, p. 236.

ниями. Фиксация фактов не является задачей псевдосуждений и подтвердить их путем проверки фактов нельзя.

Отрицая научный смысл за этическими суждениями, некоторые представители неопозитивизма, в частности Р. Карнап и Г. Райхенбах, обращают внимание на грамматическую форму, в которой выражены этические оценочные суждения, в отличие от научных суждений. Всякое научное суждение, утверждают они, поскольку оно говорит о фактах, выражено в утвердительной форме. Что же касается моральных правил, то они выражены в форме повелительных предложений, являются «императивами», которые не указывают на то, что есть и чего нет, а говорят о том, что нужно делать. Карнап говорит, что сама грамматическая форма такого, например, этического правила как «Не убий!» служит главным доказательством того, что оно не имеет ничего общего с научным суждением: оно выражает лишь волю, желание какого-либо лица. Этическое суждение «Убийство есть зло», говорит он, ничем не отличается от вышеприведенного этического правила, ибо оно также не описывает факты, а лишь оценивает их. Что же касается утвердительной формы, в которой оно выражено, то она не соответствует его содержанию и служит поэтому основанием для заблуждения многих философов и моралистов, считающих этические суждения научными суждениями. «Но на деле,— говорит Карнап,— оценочное суждение есть не что иное, как приказ, выраженный в вводящей в заблуждение грамматической форме. Оно может влиять на поступки людей, и это влияние может соответствовать или не соответствовать нашему желанию. Но оно не является ни истинным, ни ложным. Оно ничего не утверждает, его нельзя ни доказать, ни опровергнуть»³. Об этом же говорит Райхенбах: «Лингвистические выражения в этике не являются суждениями. Они являются директивами. Директивы нельзя классифицировать как истинные или ложные; эти предикаты к ним неприменимы, потому что директивные суждения по своему логическому характеру отличаются от суждений, указывающих на факты»⁴.

³ R. Carnap. *Philosophy and Logical Syntax*, p. 24.

⁴ H. Reichenbach. *The Rise of Scientific Philosophy*, p. 280.

Но мы легко можем убедиться в том, что и научные суждения могут быть выражены в форме императивов, правил. На основании анализа фактов наука может формулировать не только то, что есть, но и то, что надо или не надо делать, каким методом следует пользоваться для того или другого опыта и т. д. Это показывает, что грамматическая форма не может служить «доказательством» ненаучности этических суждений.

Было бы неправильным утверждать, что наука и мораль не отличаются друг от друга. Наука имеет дело с фактами, не зависящими от воли и желания людей, она говорит о том, как и почему происходят те или иные явления. Мораль имеет дело с нормами человеческого поведения, с оценкой поступков людей, она формулирует требования к поведению людей. Если законы науки, как мы говорили, не зависят от воли и желания людей, то нормы, формулируемые моралью, выражают требования определенного класса, общества, — требования, которые имеют конкретно-историческое содержание. Моральные нормы выражают волю лиц и общественных классов.

Но эта воля не является случайной. Она в конечном итоге обусловлена объективными экономическими условиями жизни тех или иных классов и их классовыми интересами. Эти интересы могут совпадать с тенденцией общественного развития или, наоборот, противоречить ей. Это значит, что можно научным образом, обращаясь к законам общественного развития, найти объективное содержание моральных норм того или иного класса и дать им научную, объективную оценку. Так, например, моральное требование коллективизма, солидарности между тружениками социалистического общества является правильным, истинным, поскольку оно выражает объективную потребность в развитии социалистического способа производства, в укреплении общественной собственности на средства производства, пришедшей на смену частнособственническим отношениям. Задача этики как науки о нравственности и состоит в том, чтобы показать закономерное развитие нравственности, закономерность смены старых норм нравственности, характерных для общества, основанного на антагонизме классов, новыми нормами, соответствующими назревшей потребности создания и укрепления нового общества без

антагонистических классов, без эксплуатации человека человеком.

Мы никак не можем согласиться также с тезисом неопозитивистов, что моральные оценки, поскольку они не описывают факты, ничего не дают для познания тех явлений, событий, поступков, к которым они относятся. Моральные оценки выявляют общественное значение поступков и устанавливают, являются ли они добром или злом. Мораль формулирует определенные требования к поведению людей, оценивает их поступки и тем самым направляет их. Итак, мы видим, что моральные нормы и оценки не являются произвольными предписаниями: они имеют объективное содержание; они истинны в том случае, если выражают потребности общественного развития, интересы его будущего.

С другой стороны, наука также не лежит вне области морали. Сами по себе научные открытия, конечно, этически нейтральны. Но наука служит социальным целям. Ее исследования и открытия могут служить интересам передового человечества, облегчать труд человека, создавать большие возможности для развития личности. Но они могут быть обращены и на иные цели — цели войны, истребления людей, уничтожения материальных и духовных ценностей. Честные ученые капиталистических стран имеют серьезные основания опасаться, что их открытия могут послужить аморальным, агрессивным замыслам врагов мира и человечества. Те, кто в соответствии с этикой неопозитивизма утверждают, что не дело науки решать вопрос, каким целям служат ее открытия, и рекомендуют воздерживаться от суждений относительно угрожающих человечеству опустошений от применения ядерного оружия, практически становятся соучастниками преступлений против человечества. Ученый не может быть «свободным» от вопросов, которые ставит общественная жизнь, не может быть равнодушен к тому, каким целям служит его научное открытие — регрессу или прогрессу, угнетению или освобождению людей. Наука перестала быть «этически нейтральной» не только там, где речь идет об использовании законов общественного развития, но и там, где возникает вопрос об использовании законов природы. Вопрос о применении научных открытий не может не интересовать ученого; не может не тревожить его совести, ибо это вопрос,

касающийся судеб миллионов мужчин, женщин и детей.

Обратимся теперь к вопросу о том, какое же значение придают неопозитивисты моральным суждениям, что представляют, по их мнению, этические суждения?

Здесь мы встречаемся с целым рядом точек зрения различных представителей неопозитивизма. Но в своих основных выводах эти точки зрения мало отличаются друг от друга.

Одна группа неопозитивистов во главе с А. Айером, Р. Карнапом, Ч. Стивенсоном и др. считает, что моральные суждения и оценки имеют главным образом «эмотивное» значение, они выражают эмоции, чувства людей. В связи с этим взгляды этой группы получили в буржуазной литературе название «эмотивной этики». Но и у различных представителей «эмотивной этики» имеются некоторые свои оттенки в понимании данного вопроса.

А. Айер утверждает, например, что в моральных суждениях выражаются эмоции человека; значение этих суждений он видит в том, чтобы возбудить у других людей соответствующие эмоции и призвать их действовать в направлении, желательном для данного лица. Об эмоциональной функции моральной оценки говорит также основатель «Венского кружка» М. Шлик. «Моральная оценка различного вида поведения людей или их характеров является не чем иным, как эмоциональной реакцией общества на приятные или прискорбные обстоятельства, которые... исходят от различного типа поведения или характеров»⁵.

Р. Карнап и Г. Райхенбах рассматривают моральные оценки как «команды», «императивы», выражающие волю, желания людей. Эти «императивы» они считают «инструментами» воли человека, которые используются для того, чтобы оказать воздействие на других людей, заставить их поступать так, как хочется тому или иному лицу или группе. «Несмотря на то,— пишет Райхенбах,— что императивы не являются ни истинными, ни ложными, другие люди их понимают, и они поэтому имеют значение, которое может быть названо *инструментальным значением*»⁶.

⁵ M. Schlick. Problems of Ethics. N. Y., 1939, p. 78.

⁶ H. Reichenbach. The Rise of Scientific Philosophy, p. 282.

По мнению тех и других представителей «эмотивной этики», моральные оценки, в которых выражаются чувства, воля людей, лишены объективной основы, не отражают условия жизни людей, классов, не опираются на убеждения людей в отношении тех или иных явлений общественной жизни. Свое влияние они оказывают лишь с помощью самих слов, звуков, независимо от их содержания. «Эмотивисты» говорят о «магнетическом» влиянии языка морали на людей. Обособляя моральные оценки от всей области человеческого сознания, от нравственных убеждений человека, они утверждают, что моральные оценки «ничего не говорят о состоянии моего ума» и поэтому их можно выразить не только с помощью слов, но и иных звуков, жестов. «Императив,— говорит Райхенбах,— это лингвистическое выражение, которое мы употребляем с намерением повлиять на другое лицо, заставить его делать то, что нам хочется, или не делать того, чего нам не хочется. Действительно эта цель может быть достигнута с помощью слов, хотя это не единственный путь, чтобы добиться этой цели»⁷. Как и Айер, Г. Райхенбах считает, что слова можно заменить жестом, выражением лица и т. д. Все это служит, по нашему мнению, свидетельством нарастающего иррационализма неопозитивистов в рассмотрении ими вопросов морали.

Моральные суждения выражают не только эмоции людей, но и моральные убеждения, нормы, оценки, которые различны у различных классов. Да и моральные эмоции и переживания людей сами по себе никак нельзя считать неосмысленными. Эти переживания нельзя отделить от всей области нравственного сознания, характерного для индивидов того или иного класса. Выгнать пропасть между переживаниями человека и его разумом — значит становиться на путь метафизического расчленения человеческого сознания. Практически моральные чувства и убеждения неразрывно связаны между собой; и те, и другие определены социальными условиями жизни людей.

Чарльз Стивенсон, давший наиболее систематическое изложение воззрений «эмотивной этики» в книге «Этика и язык» (1944), пытается несколько смягчить иррационализм Айера и Карнапа и дать более «рационалистиче-

⁷ Н. Reichenbach. The Rise of Scientific Philosophy, p. 281.

ское» объяснение вопросам морали. Для обозначения содержания моральных суждений и оценок Стивенсон заменяет слово «эмоции» словом «отношение» или «позиция». Отношение или позиция уже не являются выражением аффективного состояния субъекта, а направлены на объект, выражают одобрение, желание субъекта в отношении объекта. В отличие от Айера и Карнапа, Стивенсон полагает, что наряду с главным эмоциональным элементом этические суждения включают в себя также элемент описательный, что дает уже возможность решать вопрос об истинности суждений.

Стивенсон указывает далее, что «согласие в этике может быть достигнуто с помощью доводов»⁸. Это создает видимость того, что Стивенсон отходит от субъективизма в вопросах морали. Но это не так. Доводы, которые, по мнению Стивенсона, могут подтвердить истинность или ложность моральных суждений, не имеют объективного содержания. Этими доводами являются опять-таки субъективные чувства и желания людей. *«Любое утверждение по любому вопросу, которое любой человек считает подходящим для изменения позиции, — пишет он, — может быть приведено в качестве мотива за или против этического суждения»*⁹. Таким образом, Стивенсон, так же как Айер и Карнап, не признает объективного содержания моральных суждений.

От крайнего скептицизма «эмотивистской этики» пытаются отгородиться целая группа неопозитивистов так называемой «оксфордской школы», к которой относятся Н. Смит, Р. Хейер, С. Тулмин и др. В буржуазной литературе их позицию иногда называют «объективным эмотивизмом».

В отличие от представителей «эмотивной этики», Хейер и др. рассматривают моральные суждения не как выражение чувств, не как подавляющие рассудок «команды», а как предписания, указывающие на то, что нужно и что не нужно делать. Предписание, говорят они, отличается от эмотивного знака, ибо для него можно найти соответствующее обосновывающее его суждение о фактах. Поэтому объективные эмотивисты из «оксфордской школы» отвергают «магнетическое» влияние слов и го-

⁸ Ch. Stevenson. *Ethics and Language*. New Haven, 1944, p. 136.

⁹ *Ibid.*, p. 114.

ворят об осмысленном влиянии точки зрения, позиции, выраженной в предписании. Предписания могут изменить поведение людей; отсюда, представители «оксфордской школы» подчеркивают практическую функцию самой этической теории, где формулируются те или иные предписания. «Задача этики, — говорит Н. Смит, — состоит в том, чтобы давать ответ на практические вопросы, из которых наиболее важными являются вопрос о том «Что я должен делать?», «Что я буду делать?»¹⁰.

Но различие во взглядах у представителей «оксфордской школы» и «эмотивной этики» относится больше к терминологии, чем к содержанию этих взглядов. Ведь предписания также выражают волю, желание людей, как и «команды», «императивы», и принципиально от них не отличаются. Предписания, как и команды, лишены научного смысла, о чем говорят сами представители «оксфордской школы». Так, Р. Хейер в книге «Язык морали» подчеркивает, что хотя предписания указывают на определенный факт («делай то-то!»), но они, в отличие от научных суждений, не раскрывают причины фактов¹¹.

Все это дает нам основание прийти к выводу, что оттенки, имеющиеся в этических взглядах различных представителей неопозитивизма, не вносят сколько-либо существенных изменений в главные, отправные принципы этики неопозитивизма.

*

✱

Представители неопозитивизма признают, что различные люди, группы людей по-разному оценивают одни и те же поступки. Но они субъективистски интерпретируют этот факт и считают вообще невозможным говорить о моральных оценках как о правильных или неправильных, истинных или ложных. Айер и Карнап считают, что каждый человек может осуждать или приветствовать ту или иную моральную оценку в свете своих личных чувств, но он не может спорить об истинности этой оценки, поскольку объективного критерия для ре-

¹⁰ P. H. Nowell-Smith. *Ethics*. London, 1954, p. 11.

¹¹ См. R. M. Hare. *The Language of Morals*. Oxford, 1952.

шения этого вопроса нет. «Поскольку оценочные суждения нельзя свести к суждениям о фактах, они, строго говоря, не являются ни истинными, ни ложными... У нас нет путей для доказательства, что точка зрения данного лица правильна. Один выдвигает одно правило, другие — другое, и решение о выборе между ними есть вопрос убеждения и в конечном итоге, вопрос индивидуального выбора»¹².

Поскольку, говорят неопозитивисты, моральные суждения не могут быть ни истинными, ни ложными, то ни одно из них нельзя считать несправедливым, его можно признать лишь несовместимым с моим суждением на этот счет. Отсюда следует требование терпимого отношения к любому суждению в области морали, независимо от его содержания, независимо от того, что оно, это суждение, может самым коренным образом расходиться с моим суждением. Американский эмотивист Э. Мур в статье «Эмотивизм: теория и практика» пишет: «Релятивизм способствует тому, что мы становимся терпимыми и умеренными, но он не разрушает нас. Чувство, которое соответствует нашей точке зрения о том, что все идеалы одинаково произвольны, не является ни нейтральным, ни тождественным чувству непостоянства. Это чувство есть чувство милосердия»¹³.

Итак, речь идет о терпимом, милосердном отношении к любой точке зрения, независимо от тех последствий, к которым она ведет. Каждый волен выбирать любые нормы морали, следовать любому образу действий, ибо «ни один образ действий не лучше и не хуже другого»¹⁴, «из двух противоположных образов действий нельзя предпочесть какой-либо один»¹⁵.

Но в действительности, как в этом нас убеждает анализ моральных норм различных классов и эпох, моральные суждения, как и научные, имеют объективный критерий истинности. Вопрос об истинности или неистинности моральных суждений, как мы уже говорили выше,

¹² A. Ayer. The Claims of Philosophy. «Reflection in Our Age». London, 1949, p. 62.

¹³ «The Journal of Philosophy», 1958, v. 55, No. 9, p. 380.

¹⁴ A. Ayer. The Claims of Philosophy. «Reflections in Our Age», p. 62.

¹⁵ A. Ayer. On the Analysis of Moral Judgements. «Philosophical Essays», p. 247.

решается в зависимости от того, выражают они или нет потребности общественного развития. Ф. Энгельс, говоря о трех типах морали, которые имеют хождение в капиталистическом обществе,— феодальной, буржуазной и пролетарской, показал, что «та мораль обладает наибольшим количеством элементов, обещающих ей долговечное существование, которая в настоящем выступает за низвержение современного строя, защищает будущее, следовательно,— мораль пролетарская»¹⁶.

Нравственность, устремленная в будущее, неотделима от борьбы за мир, за освобождение человечества от эксплуатации, от войн, от всех видов гнета, от борьбы за создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности. Все, что способствует этой борьбе за мир и прогресс, все, что приближает победу нового общественного строя, не знающего эксплуатации и гнета, является нравственным. Это и есть тот объективный критерий, который позволяет нам решить, что является истинным, справедливым в современном мире и что является ложным, несправедливым. Следовательно, отнюдь не каждый образ действий в равной мере справедлив или несправедлив, как пытается нас убедить в этом Айер.

Этический релятивизм неопозитивистов показывает прежде всего неспособность их разобраться в острых проблемах современности, желание обойти эти вопросы и занять «нейтральную» позицию при решении острых социальных конфликтов. Неопозитивисты, правда, возражают против этого обвинения в свой адрес. Они пытаются убедить нас в том, что каждый «эмотивист» лично занимает твердую позицию при решении тех или иных вопросов, что релятивизм в теории отнюдь не ведет к релятивизму в поведении. Так, уже упоминавшийся Э. Мур пишет, что «эмотивизм, однако, не делает человека в моральном смысле калекой, неспособным привязаться к тем или иным идеалам на основании того, что он считает все идеалы произвольными»¹⁷. Об этом же говорит Айер. «Когда я говорю, что моральные суждения скорее эмотивны, нежели описательны, что они яв-

¹⁶ Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. Госполитиздат, М., 1950, стр. 88.

¹⁷ «The Journal of Philosophy», 1958, v. 55, p. 380.

ляются... выражением позиции и не являются суждениями о фактах и, следовательно, не могут быть ни истинными, ни ложными, или, по крайней мере, что для ясности лучше было бы, если бы к этическим суждениям не применялись категории истинности или ложности, то я, однако, не утверждаю, что ничто не является добром или злом, правильным или неправильным или что неважно, что именно мы делаем»¹⁸.

Мы не сомневаемся в том, что тот или иной отдельный представитель неопозитивизма может иногда правильно оценить определенные общественные явления и даже занять правильную позицию в решении того или иного важного социального вопроса, но это не устраняет вреда и опасности тех выводов, которые независимо от субъективных намерений отдельных представителей этого направления вытекают из их теории в целом. Практически их позиция в этике ведет к моральному цинизму, позволяет оправдывать любые преступления реакционных сил общества. Совершенно правильно говорит американский прогрессивный философ Б. Данэм, что «в момент несчастья, во время ужаса и бойни, он (позитивист. — К. Ш.) может только вздыхать и представляет нам только вздыхать: «Мне это не нравится». А тем временем виновники несчастья, ужаса и бойни отвечают, не прекращая своего занятия: «Нам это очень нравится»¹⁹.

Если руководствоваться принципом, что любой образ действия одинаково справедлив, то как можно осудить, например, попытки империалистов подавить стремление народов Конго и Анголы к независимости, попытки реакционных сил США задушить революционные завоевания кубинского народа и т. д.? На эти и подобные им вопросы неопозитивизм ответа дать не может, поскольку моральная оценка никогда будто бы не может претендовать на истинность. Подрывая уверенность людей в существовании истинной морали, неопозитивизм тем самым парализует их деятельность, оставляет их в полной нерешительности в отношении того, что нужно делать и как нужно жить, учит их покорности существующим буржуазным порядкам, сеет скептицизм по от-

¹⁸ A. Ayer. On the Analysis of Moral Judgements. «Philosophical Essays», p. 246.

¹⁹ Б. Данэм. Гигант в цепях. ИЛ, М, 1958, стр. 217.

ношению к революционной борьбе за прогресс. А от морального скептицизма до предательства путь может быть коротким. «Скептик превращается в колеблющегося, колеблющийся — в оппортуниста, оппортунист — в ренегата. Это не вопрос естественной испорченности. Это просто результат социального давления при отсутствии всякого критерия»²⁰, — как справедливо писал Б. Данэм. Недооценивать эти социальные последствия этической доктрины позитивизма мы не можем.

Релятивизм неопозитивистов означает, далее, отрицание всякого прогресса в области морали, отрицания того морального идеала, к которому следует стремиться. Если все моральные принципы одинаково истинны или неистинны, то тем самым снимается проблема морального воспитания людей, отрицаются те положительные примеры, на которых можно воспитать людей. Этим этическая теория неопозитивизма наносит огромный вред обществу. Английский философ-марксист Дж. Льюис в книге «Наука, вера и скептицизм» подчеркивает, что этика неопозитивизма лишает людей руководящих принципов жизни, «тех норм, с помощью которых они могут предпочесть один образ действий другому»²¹. Льюис говорит о том, что нигилизм неопозитивистов способствует росту иррационализма, особенно у молодежи, слушающей эту философию в университетах. На это указывают многие буржуазные критики неопозитивизма. В этой связи Льюис приводит в своей книге критические замечания в адрес позитивизма со стороны оксфордского профессора философии, одного из могикан «абсолютного идеализма» — Р. Коллингвуда. Коллингвуд говорит о том, что студенты, когда они слышат от своих профессоров, что последние не намерены им ни давать идеалов, ни внушать принципов, могут прийти к единственному выводу, «что для руководства в жизни, поскольку его нельзя ждать ни от мысли или мыслителей, ни от идеалов или принципов, нужно обращаться к тем, которые не были мыслителями (а глупцами), к процессу, который не был мышлением (а был страстью), к целям, которые не были идеалами (но были капризами), к прави-

²⁰ Б. Данэм. Гигант в цепях, стр. 167.

²¹ J. Lewes. Science, Faith and Scepticism. London, 1959, p. 37.

лам, которые не были принципами (а лишь правилами целесообразности)»²².

С другой стороны, неопозитивизм с его терпимым отношением к любой моральной доктрине открывает широкий простор мистицизму и религии. Если нет научных доказательств для выбора моральных норм, то остается руководствоваться теми непогрешимыми истинами, которые предписаны будто бы богом, опираться в своих действиях на веру, а не на разум.

Неопозитивисты, отрицая влияние этической теории на поведение людей, отрицают тем самым роль теории, способствующей формированию морали. Понимая этику, как «метаэтику», то есть как совокупность суждений не о фактах, а о высказываниях, неопозитивисты говорят о том, что этика нейтральна по отношению как к настоящему, так и к будущему поведению людей. Айер говорит, что мы сталкиваемся с тем фактом, что люди требуют от философов, занимающихся проблемами морали, ответа на вопрос, как они должны в дальнейшем жить, какова должна быть цель жизни и т. д. Вопросы эти, по мнению Айера, являются следствием ошибочного представления людей, что не все жизненные пути имеют одинаковую ценность, что между ними возможен выбор, и поэтому люди надеются найти в этике руководство для этого выбора. Но ни одна этическая теория, рассуждает далее А. Айер, не может ответить, какой жизненный путь правилен, поскольку решение этого вопроса лежит вне сферы эмпирических доказательств. А поскольку нет истинного ответа на вопрос о том, как дальше жить и чему следовать, «то бесполезно ждать, чтобы философ предвидел такой ответ»²³. Философ может, говорит Айер, дать определенные советы, рекомендации, но он не имеет права требовать или искать для этих советов философской санкции, ибо «он не может доказать, что его оценка правильна, по той простой причине, что ни одна моральная оценка не имеет доказательств»²⁴. Поэтому Айер считает глупым и самонадеянным того философа, который станет защищать ту или иную систему морали, ту или иную этическую теорию как истинную. Отрицая

²² J. Lewes. Science, Faith and Scepticism. London, 1959, p. 40.

²³ A. Ayer. The Claims of Philosophy. «Reflections on Our Age», p. 56.

²⁴ Ibid., p. 62.

истинность любой системы морали, Айер говорит: «Я сомневаюсь, чтобы изучение моральной философии вообще имело какое-либо заметное влияние на поведение людей»²⁵.

Эту мысль не менее определенно выражает и Райхенбах. «Если философ скажет, что он знает, что такое высшее благо, или скажет, что у него есть доказательство, что это благо станет реальностью, — не верьте ему, однако... Не спрашивайте философа, что Вы должны делать. Прислушайтесь к своей собственной воле и попытайтесь соединить свою волю с волей других. В мире нет иной цели, или иного смысла, чем тот, который Вы в него вкладываете»²⁶.

Но жизнь на каждом шагу опровергает эти «доводы» неопозитивистов. На примере подлинно научной системы морали, созданной марксизмом-ленинизмом, люди убеждаются в способности этической теории влиять на поведение людей, направлять действия людей по пути свободы и прогресса, освобождать их разум от пут буржуазного мировоззрения, от предрассудков и лицемерия буржуазной морали.

²⁵ A. Ayer. On the Analysis of Moral Judgements. «Philosophical Essays», p. 249.

²⁶ H. Reichenbach. The Rise of Scientific Philosophy, p. 302.

Маркс К. и Энгельс Ф. Святое семейство, или критика критической критики. Соч., т. 2.

Маркс К. и Энгельс Ф. Немецкая идеология. Соч., т. 3.

Маркс К. Письмо Энгельсу от 7.7 1866. Соч., т. XXIII, стр. 363.

Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Госполитиздат, М., 1948.

Энгельс Ф. Диалектика природы. Госполитиздат, М., 1952.

Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм. Соч., т. 14.

Ленин В. И. Философские тетради. Соч., т. 38.

Асеев Ю. А. Семантическая проблема в философии современного позитивизма. «Вестн. Ленингр. ун-та», 1957, № 23, серия экономики, философии и права, вып. 4.

Асеев Ю. А. Неопозитивизм и исторический материализм. «Вестн. Ленингр. ун-та», 1958, № 17, серия экономики, философии и права, вып. 3.

Асеев Ю. А. О гносеологической специфике неопозитивизма. «Вестн. Ленингр. ун-та», 1961, № 11, серия экономики, философии и права, вып. 2.

Асеев Ю. А., Кон И. С. Основные направления буржуазной философии и социологии XX века. Изд-во ЛГУ, 1961.

Асмус В. Ф. Критика буржуазных идеалистических учений логики эпохи империализма. «Вопросы логики». Изд-во АН СССР, М., 1955.

Бакрадзе К. С. Очерки по истории новейшей и современной буржуазной философии, т. I. Тбилиси, 1960.

Бегиашвили А. Ф. Метод анализа в современной буржуазной философии. Тбилиси, 1960.

Брутян Г. А. Теория познания общей семантики (критический очерк). Ереван, 1959.

¹ Составлена И. С. Нарским и В. С. Швыревым (данные на 1 августа 1962 г.).

Бурхард А. И., Горский Д. П. Решение неопозитивизмом основного вопроса философии. «Вопросы философии», 1956, № 3.

«Великое произведение воинствующего материализма» (к 50-летию выхода в свет труда В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм»). Соцэкгиз, М., 1959.

Волков Г. А. Конференция по критике неопозитивизма. (Всероссийская межвузовская конференция в МГУ на тему «Диалектический материализм и современный позитивизм»). «Вопросы философии», 1961, № 9.

Горнштейн Т. Н. Эмпириокритицизм. Современное состояние эмпириокритицизма. БСЭ, изд. 1, т. 64.

Горнштейн Т. Н. Ленин и современная физика. Соцэкгиз, М., 1936.

Горнштейн Т. Н. Современный позитивизм и философские вопросы физики. «Современный субъективный идеализм. Критические очерки». Госполитиздат, М., 1957.

Горский Д. П. Извращение неопозитивизмом вопросов логики. «Современный субъективный идеализм. Критические очерки». Госполитиздат, М., 1957.

«Диалектический материализм и современный позитивизм». Межвузовская научная конференция. Тезисы докладов и выступлений. Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР. М., 1961.

Звегинцев В. А. Теоретико-лингвистические предпосылки гипотезы Сепира — Уорфа. «Новое в лингвистике». ИЛ, М., 1960.

Звегинцев В. А. Неопозитивизм и новейшие лингвистические направления. «Вопросы философии», 1961, № 12.

Клаус Г., Цвейлинг К. Неопозитивизм (А. Логический эмпиризм. Б. Копенгагенская школа). «Немецкая буржуазная философия после Великой Октябрьской социалистической революции». ИЛ, М., 1960.

Кон И. С. Неопозитивизм против историзма (о социологической концепции К. Поппера). «Научные доклады высшей школы. Философские науки». 1958, № 2.

Кон И. С. Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли. Критические очерки философии истории эпохи империализма. Соцэкгиз, М., 1959.

Корнфорт М. Наука против идеализма. Критический анализ «чистого эмпиризма» и современной логики. ИЛ, М., 1948.

Корнфорт М. В защиту философии. Против позитивизма и прагматизма. ИЛ, М., 1951.

Корнфорт М. Наука против идеализма. В защиту философии против прагматизма и позитивизма. ИЛ, М., 1957.

«Критика современной буржуазной философии и социологии». Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, М., 1961.

Мшвениерадзе В. В. О философской сущности семантической концепции истины. «Логические исследования». Изд-во АН СССР, М., 1959.

Мшвениерадзе В. В. Венский кружок. «Философская энциклопедия», т. I, М., 1960.

Мшвениерадзе В. В. Философия неопозитивизма и семантики. Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, М., 1961.

Нарский И. С. Философия неопозитивизма и наука. «Коммунист», 1955, № 13.

Нарский И. С. Критика семантического идеализма. Изд-во МГУ, 1956.

Нарский И. С. Критика учения неопозитивизма о критерии истины (проблема верификации). «Вопросы философии», 1959, № 9 и 1960, № 9.

Нарский И. С. Марксистское понимание предмета философии и позитивизм. Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, М., 1959.

Нарский И. С. «Материализм и эмпириокритицизм» В. И. Ленина и логический позитивизм. В сб. «Великое произведение воинствующего материализма» (к 50-летию выхода в свет труда В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм»). Соцэкгиз, М., 1959.

Нарский И. С. К оценке неопозитивистского учения о предмете философии. «Научные доклады высшей школы». «Философские науки», 1960, № 1.

Нарский И. С. Очерки по истории неопозитивизма. Изд-во МГУ, 1960.

Нарский И. С. Критика конвенционализма как методологической основы современного позитивизма. «Вестн. Моск. ун-та», 1961, № 1.

Нарский И. С. Что такое доктрина Венского кружка. «Научные доклады высшей школы. Философские науки», 1961, № 2.

Нарский И. С. Современный позитивизм. Изд-во АН СССР, М., 1961.

Нарский И. С. Философия Б. Рассела. Изд-во МГУ, 1962.

Нарский И. С. Понятие существования, формальная логика и логический позитивизм. «Философские вопросы современной формальной логики». Изд-во АН СССР, М., 1962.

Нарский И. С. Понятие формального анализа и диалектика. «Вестн. Моск. ун-та», сер. экон.-филос., 1963, № 1.

Нарский И. С. Неопозитивисты в роли «критиков» диалектического материализма. «Научные доклады высшей школы. Философские науки», 1962, № 4.

«Проблемы причинности в современной физике». Изд-во АН СССР, М., 1961.

Резников Л. О. Понятие и слово. Изд-во ЛГУ, 1958.

«Современный субъективный идеализм. Критические очерки». Госполитиздат, М., 1957.

«Философские проблемы кибернетики». Соцэкгиз, М., 1961.

«Философские проблемы современной физики». Изд-во АН СССР, М., 1961.

Ходолевич Д. А. Критика «нейтрального монизма» Бертрана Рассела. «Критика современной буржуазной философии и ревизионизма». Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, М., 1955.

Шафф А. Некоторые проблемы марксистско-ленинской теории истины. ИЛ, М., 1953.

Швырев В. С. Критика неопозитивистской концепции индуктивной логики. «Вопросы философии», 1961, № 3.

Швырев В. С. Неопозитивистская концепция эмпирического значения и логический анализ научного знания. «Философские вопросы современной формальной логики». Изд-во АН СССР, М., 1962.

Швырев В. С. Некоторые проблемы применения символической логики к анализу естественнонаучного знания (на материале эволюции неопозитивистской «логики науки»). «Уч. зап. Томск. Гос. ун-та им. В. В. Куйбышева» 1962.

Яновская С. А. Предисловие к книге Р. Карнапа «Значение и необходимость». ИЛ, М., 1958.

*

Айер А. Философия и наука. «Вопросы философии», 1962, № 1.

Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. ИЛ, М., 1961.

Бунге М. Причинность. ИЛ, М., 1962.

Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. ИЛ, М., 1959.

Гейзенберг В. Философские проблемы атомной физики. ИЛ, М., 1953.

Геллнер Э. Слова и вещи. ИЛ, М., 1962.

Карнап Р. Значение и необходимость. ИЛ, М., 1959.

Райхенбах Г. Направление времени. ИЛ, М., 1962.

Рассел Б. Человеческое познание. Его сферы и границы. ИЛ, М., 1957.

Рассел Б. История западной философии. ИЛ, М., 1959.

Рассел Б. Почему я не христианин. ИЛ, М., 1962.

Франк Ф. Философия науки. Связь между наукой и философией. ИЛ, М., 1960.

Ajdukiewicz K. Logistyczny antyirracjonalizm w Polsce. «Przegląd filozoficzny», Warszawa, 1934.

Ajdukiewicz K. O stosowaniu czystej logiki do zagadnień filozoficznych. «Przegląd filozoficzny», Warszawa, 1934.

Ajdukiewicz K. Das Weltbild und Begriffsapparatur. «Erkenntnis», Bd. 4. Leipzig, 1934.

Ajdukiewicz K. Die wissenschaftliche Weltperspektive. «Erkenntnis», Bd. 5. Leipzig, 1935.

Ajdukiewicz K. Sinnregeln, Weltperspektive, Welt. «Erkenntnis», Bd. 5. Leipzig, 1935.

Ajdukiewicz K. Problemat transzentalnego idealizmu w sformułowaniu semantycznym. «Przegląd filozoficzny», 1937.

Ajdukiewicz K. O tak zwanym neopozytywizmie. «Myśl współczesna», Łódź, 1946, No. 6—7.

Ajdukiewicz K. Logika a doswiadczenie. «Przegląd filozoficzny», 1947.

Ajdukiewicz K. Konwencjonalne pierwiastki w nauce. «Wiedza i Życie», 1947, No. 4.

Ajdukiewicz K. On the Notion of Existence. Some Remarks Connected with the Problem of Idealism. «Studia philosophica», v. IV. Poznań, 1951.

Ajdukiewicz K. Język i Poznanie, t. 1. Warszawa, 1961.

Albrecht A. Darstellung und Kritik der erkenntnistheoretischen Grundlagen, der Kausalitätsfassung und der Ethik des Neopositivismus. Rostok, 1949.

Austin J. Sense and sensibilia. Oxford, 1962.

Ayer A. Criterion of Truth. «Analysis», 1935, v. 3. No. 1—2.

- Ayer A. *Language, Truth and Logic*. I ed. L., 1936; II ed. L., 1946.
- Ayer A. *Foundations of Empirical Knowledge*. L., 1940.
- Ayer A. *Thinking and Meaning*. L., 1947.
- Ayer A. *Philosophical Essays*. L., 1954.
- Ayer A. *The Problem of Knowledge*. Edinburgh, 1956.
- Ayer A. (ed.) *The Revolution in Philosophy*. L., 1957.
- Ayer A. (ed.) *Logical Positivism*. Illinois, 1959.
- Barker S. F. *Induction and Hypothesis*. N. Y., 1957.
- Beckwith B. P. *Religion, Philosophy and Science. An Introduction to logical positivism*. Philosophical library, N. Y., 1957.
- Benjamin A. C. *An Introduction to the Philosophy of Science*. N. Y., 1937.
- Benjamin A. C. *Operationism*. Springfield, 1955.
- Bergmann G. *The Metaphysics of Logical Positivism*. N. Y., 1954.
- Bergmann G. *Philosophy of Science*. Madison, 1957.
- Black M. *The Relations between Logical Positivism and the Cambridge School of Analysis*. «Erkenntnis», Bd. 8, 1939.
- Black M. *Language and Philosophy*. Ithaca, 1949.
- Black M. (ed.) *Philosophical Analysis*. N. Y., 1950.
- Black M. *Critical Thinking*. N. Y., 1952.
- Black M. *Problems of Analysis*. L., 1954.
- Braithwaite R. B. *Scientific Explanation*. N. Y., 1960.
- Bridgman P. W. *The Logic of Modern Physics*. N. Y., 1927.
- Bridgman P. W. *The Nature of Physical Theory*. Princeton, 1936.
- Bridgman P. W. *The Intelligent Individual and Society*. N. Y., 1938.
- Bridgman P. W. *Reflections of a Physicist*. N. Y., 1950.
- Bridgman P. W. *The Nature of some of our Physical Concepts*. N. Y., 1952.
- Bridgman P. W. *The Way Things are*. N. Y., 1959.
- Britton K. *Logical Positivism*. «Encyclopedia Britannica», v. 14.
- Brüning W. *Der Gesetzesbegriff im Positivismus der Wiener Schule*. Meisenheim—Glan, 1954.
- Buczynska H. *Kolo wiedenskie. Początek neopozytywizmu*, Wyd. 2. «Wiedza powszechna», Warszawa, 1960.
- Carnap R. *Der logische Aufbau der Welt*. Berlin, 1928.
- Carnap R. *Scheinprobleme in der Philosophie. Das Fremdpsychische und der Realismusstreit*. Berlin, 1928.
- Carnap R. *Von Gott und Seele. Scheinfragen der Metaphysik und Theologie*. Wien, 1929.
- Carnap R. *Die Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache*. «Erkenntnis», Bd. 2. 1931.
- Carnap R. *Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft*. «Erkenntnis», Bd. 2, 1931.
- Carnap R. *Psychologie in physikalischer Sprache*. «Erkenntnis», Bd. 3, 1932—1933.
- Carnap R. *Die Aufgabe der Wissenschaftslogik*. Wien, 1934.
- Carnap R. *Logische Syntax der Sprache*. Wien, 1934; Engl. ed. L., 1937.
- Carnap R. *Philosophy and Logical Syntax*. L., 1935.

Carnap R. Testability and Meaning. «Philosophy of Science», 1936, v. 3; 1937, v. 4.

Carnap R. The Foundations of Logic and Mathematics. «International Encyclopedia of Unified Science», v. 1, No. 7. Chicago, 1939.

Carnap R. Logical Foundations of the Unity of Science. «International Encyclopedia of Unified Science», v. 1, part I. Chicago, 1938.

Carnap R. Introduction to Semantics, 3 ed. Cambr. — Mass., 1948.

Carnap R. The Methodological Character of Theoretical Concepts. «Minnesota Studies in the Philosophy of Science», 1956, v. 1.

Charlesworth M. Philosophy and Linguistic Analysis. Pittsburgh, 1959.

Chase S. Tirany of Words. N. Y., 1938.

Chase S. The Power of Words. N. Y., 1954.

Copleston Ch. Contemporary Philosophy. Studies of Logical Positivism and Existentialism. L., 1955.

Dodd S. C. The Dimensions of Society. N. Y. 1941.

Einstein A. Mein Weltbild. Amsterdam, 1934.

Elton W. (ed.) Aesthetics and Language. Oxford, 1954.

Ewans I. L. On Meaning and Verification. «Mind», 1953, v. 62.

Feibleman J. K. Inside the Great Mirror. A critical examination of the philosophy of Russell, Wittgenstein and their followers. The Hague, 1958.

Feigl H. Logical Empiricism. «Twentieth century philosophy. Living Schools of thought». N. Y., 1943.

Feigl H. Existential Hypothesis. «Philosophy of Science», 1950, v. 17, No. 1.

Feigl H. Logical Reconstruction, Realism and Pure Semiotic. «Philosophy of Science», 1950, v. 17, No. 2.

Feigl H. The Mind-Body Problem in the Development of Logical Empiricism. «Revue Internationale de Philosophie», 1950, v. 4, No. 11.

Feigl H. Some Major Issues and Developments in the Philosophy of Science of Logical Empiricism «Minnesota Studies in the Philosophy of Science», 1956, v. 1.

Feigl H. and Blumberg A. E. Logical Positivism. «Journal of Philosophy», 1931, v. 28.

Feigl H. and Sellars W. (ed.), Readings in Philosophical Analysis. N. Y., 1949.

Feigl H. and Brodbeck M. (ed.). Readings in the Philosophy of Science. N. Y. 1953.

Feigl H. and Scriven M. (ed.) Minnesota Studies in the Philosophy of Science, v. 1. Minneapolis, 1956.

Feigl H., Scriven M. and Maxwell G. Minnesota Studies in the Philosophy of Science, v. 2. Minneapolis, 1958.

Flew A. G. N. (ed.) Logic and Language (I ser.). Oxford, 1951.

Flew A. G. N. (ed.) Logic and Language (II ser.). Oxford, 1953.

Flew A. G. N. Essays in Conceptual Analysis. L., 1956.

Frank Ph. Das Kausalgesetz und seine Grenzen. Wien, 1932.

Frank Ph. Foundations of Physics. «International Encyclopedia of Unified Science», v. 1, part 2. Chicago, 1938.

- Frank Ph. *Between Physics and Philosophy*. Cambr.—Mass., 1941.
- Frank Ph. *Modern Science and its Philosophy*. Cambr.—Mass., 1950.
- Goodman N. *The Structure of Appearance*. Cambr.—Mass., 1951.
- Goodman N. *Fact, Fiction and Forecast*. Cambr.—Mass., 1955.
- Goodman N. *Symbolic Logic and Epistemology*. N. Y., 1957.
- Haeberli H. *Der Begriff der Wissenschaft in logischen Positivismus*. Bern, 1955.
- Hahn H. *Logik, Mathematik und Naturerkennen*. «Einheitwissenschaft», 1933, H. 2.
- Hahn H. *Überflüssige Wesenheiten*. Vienna, 1929.
- Hahn H., Carnap R., Neurath O. *Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis*. Wien, 1929.
- Hampshire S. *Thought and Action*. L., 1959.
- Hayakawa S. I. *Language in Thought and Action*. N. Y., 1949.
- Hayakawa S. I. *Language and Maturity*. N. Y., 1959.
- Heisenberg W. *Physics and Philosophy*. N. Y., 1958.
- Hempel C. *On the Logical Positivists' Theory of Truth*. «Analysis», 1935, v. 2, No. 4.
- Hempel C. *Le problème de la vérité*. «Theoria», 1937.
- Hempel C. *Studies in the Logic of Confirmation*. «Mind», 1945, v. 54.
- Hempel C. *Problems and Changes in the Empiricist Criterion of Meaning*. «Revue Internationale de philosophie», 1950, v. 4, No. 11.
- Hempel C. *The Concept of Cognitive Significance: a Reconsideration*. «Proceedings of the American Academy of Arts and Science», 1951, v. 80, No. 1.
- Hempel C. *Fundamentals of Concept Formation in Empirical Science*. «International Encyclopedia of Unified Science», v. 2, No. 7. Chicago, 1952.
- Hempel C. *A Logical Appraisal of Operationism*. «The Scientific Monthly», 1954, v. 72, No. 4.
- Hempel C. *The Theoretician's Dilemma*. «Minnesota Studies in the Philosophy of Science», 1958, v. 2.
- Hutten E. H. *The Language of Modern Physics*. L., 1956.
- Ingarden R. *Główne tendencje neopozytywizmu*. Marcholt, 1935—1936.
- Jordan Z. *The Development of Mathematical Logic and of Logical Positivism in Poland between two Wars*. «Polish Science and Learning». L., 1945, No. 6.
- Jahoda M., Deutsch M., Cook S. *Research Methods in Social Reactions*. N. Y., 1951.
- Joan C. *Critique of Logical Positivism*. L., 1950.
- Joergensen J. *The Development of Logical Empiricism*. «International Encyclopedia of Unified Science», v. 2, No. 9. Chicago, 1951.
- Kaila E. *Der logistische Neopositivismus*. «Annales Universitatis Aboensis», ser. B., XIII, 1930.
- Kamińska I. *Ewolucja kola wiedeńskiego*. «Myśl współczesna». Łódź, 1947.

Korzybski A. *Science and Sanity. An Introduction to non-Aristotelian Systems and General semantics.* Lancaster, 1941.

Kotarbiński T. *Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk.* Lwów, 1929.

Kotarbiński T. *Hauptprobleme und Grundtendenzen der Philosophie in Polen.* «Slavische Rundschau», 1933, No. 4.

Kotarbiński T. *Wykłady z dziejów logiki.* Łódź, 1957.

Kotarbiński T. *Wybór pism.,* tt. I—II. Warszawa, 1957.

Kraft V. *Der Wiener Kreis. Der Ursprung des Neopositivismus.* Wien, 1950 (англ. перевод: *Vienna circle. The Origin of Neopositivism.* N. Y., 1953).

Krohn S. *Der logische Empirismus,* tt. I—II. Turku, 1949—1950.

Lasarsfeld P., Rosenberg M. (ed.). *Language of Social Research.* Glencoe, 1955.

Lewis C. I. *Mind and the World Order.* N. Y., 1929.

Lewis C. I. *Experience and Meaning.* «Philosophical Review», 1934, v. 93.

Lewis C. I. *An Analysis of Knowledge and Valuation.* La Salle, 1946.

Linsky L. (ed.). *Semantics and the Philosophy of Language.* Urbana, 1952.

Lukasiewicz J. *Z Zagadnień logiki i filozofii.* «Pisma wybrane». Warszawa, 1961.

Lundberg G. *Foundations of Sociology.* N. Y., 1939.

Lundberg G. *Social Research.* N. Y., 1942.

Lundberg G., Schrag C. and Larsen O. *Sociology.* N. Y., 1954.

Macdonald M. (ed.). *Philosophy and Analysis.* Oxford, 1954.

Margenau H. *The Nature of Physical Reality.* N. Y., 1950.

Mehlberg H. *The Reach of Science.* Toronto, 1958.

Merton R. K. *Social Theory and Social Structure.* Glencoe, 1949.

Mises R., von. *Kleines Lehrbuch des Positivismus,* 1939.

Mises R., von. *Positivism. A Study in Human Understanding.* Camb. — Mass., 1951.

Moore G. *Philosophical Studies.* L., 1922.

Moore G. *Some Main Problems of Philosophy.* L., 1953.

Morris Ch. *Logical Positivism, Pragmatism and Scientific Empiricism.* «Actualités», Paris, 1937.

Morris Ch. *Scientific Empiricism.* «International Encyclopedia of Unified Science», v. 1, No. 1. Chicago, 1938.

Morris Ch. *Signs, Language and Behaviour.* N. Y., 1946.

Nagel E. *Logic without Metaphysics.* Glencoe, 1956.

Nagel E. *The Structure of Science. Problems on the Logic of Scientific Explanation.* L., 1961.

Neurath O. *Lebensgestaltung und Klassenkampf.* Berlin, 1928.

Neurath O. *Einheitswissenschaft und Psychologie.* «Einheitswissenschaft», H. 1. Wien, 1933.

Neurath O. *Sociologie im Physikalismus.* «Erkenntnis», 1931, Bd. 2.

Neurath O. *Protokollsätze.* «Erkenntnis», 1932, Bd. 3.

Neurath O. *Empirische Sociologie.* Wien, 1932.

- Neurath O. Radikaler Physikalismus und wirkliche Welt. «Erkenntnis», 1934, Bd. 4.
- Neurath O. Le Développement du cercle de Vienne et l'avenir d'empirisme logique. Paris, 1935.
- Neurath O. Orchestration of the Sciences by the Encyclopedism of Logical Empiricism. «Philosophy and Phenomenological Research», 1946, v. 6. No. 7.
- Neurath O. Foundations of Social Sciences. «International Encyclopedia of Unified Science», v. 2, No. 7. Chicago, 1944.
- Northrop F. S. C. The Logic of the Sciences and the Humanities. N. Y., 1947.
- Nowell-Smith P. H. Ethics. N. Y., 1957.
- C. Ogden, I. Richards. The Meaning of Meaning, L., 1927. «Our Language and Our World. Selected from E. T. C. (1953—1958)». N. Y., 1959.
- Pap A. The Apriori in Physical Theory. N. Y., 1946.
- Pap A. Elements of Analytic Philosophy, N. Y., 1949.
- Pap A. Analytische Erkenntnislehre. Wien, 1955.
- Pap A. Semantics and Necessary Truth. New Haven, 1958.
- Pasch A. Experience and the Analytic. Chicago, 1958.
- Passmore J. A Hundred Years of Philosophy. L., 1957.
- Petzäll A. Logistischer Positivismus. 1931.
- Phillips B. Logical Positivism and the Function of Religion «Philosophy», 1948, v. 23, No. 87
- Pole D. The Later Philosophy of Wittgenstein. L., 1958.
- Popper K. Logik der Forschung, Wien, 1935 (англ. перевод: Logic of scientific discovery. L., 1959).
- Popper K. The Open Society and its Enemies. L., 1945.
- Popper K. The Philosophy of Science: a Personal Report. «British Philosophy in Mid-Century», Ed. by Mace, L., 1957.
- Popper K. The Poverty of Historicism. L., 1957.
- Price H. Logical Positivism and Theology. «Philosophy», L., 1935.
- Quine W. V. O. From a Logical Point of View. Cambr.—Mass., 1953.
- Quine W. V. O. Word and Object. N. Y., 1960.
- Rapoport A. Operational Philosophy. Integrating Knowledge and Action. N. Y., 1953.
- Reichenbach H. Wahrscheinlichkeitslehre. Leiden, 1935 (англ. перевод: Theory of Probability. Berkley, 1949).
- Reichenbach H. Experience and Prediction. An Analysis of the Foundations and Structure of Science. Chicago, 1938.
- Reichenbach H. Philosophical Foundations of Quantum Mechanics. Berkley, 1944.
- Reichenbach H. The Rise of Scientific Philosophy. Berkley—Los Angeles, 1951.
- Reichenbach H. The Verifiability Theory of Meaning. «Proceedings of American Academy of Arts and Science», 1951, v. 80, No. 1.
- Russell B. Meinong's Theory of Complex and Assumptions. «Mind», 1905, v. 14.
- Russell B. On Denoting. «Logic and Knowledge. Essays 1901—1905». L., 1956.

- Russell B. Our Knowledge of the External World as Field for Scientific Method in Philosophy. L., 1914.
- Russell B. Mysticism and Logic. L., 1918.
- Russell B. Philosophy of Logical Atomism. «Logic and Knowledge. Essays. 1901—1905». L., 1956.
- Russell B. The Analysis of Mind. L., 1921.
- Russell B. Logical Atomism. Contemporary British Philosophy», 1 ser., 1924. См. также «Logic and Knowledge. Essays 1901—1905». L., 1956.
- Russell B. The Analysis of Matter. L., 1927.
- Russell B. An Outline of Philosophy. L., 1927.
- Russell B. An Inquire into Meaning and Truth. L., 1940.
- Russell B. The Problems of Philosophy. N. Y., 1959.
- Russell B. The Problems of Philosophy. N. Y., 1959.
- Russell B. Sceptical Essays. L., 1960.
- Russell B. Has Man Future? L., 1961.
- Ryle G. Systematically Misleading Expressions. «Proceedings of Aristotelian Society», 1932—1933.
- Ryle G. The Concept of Mind. L., 1949.
- Ryle G. The Theory of Meaning. «British Philosophy in the Mid-century». Ed. by Mace, L., 1957.
- Schaff A. Poglądy filozoficzne Kazimierza Ajdukiewicza. Warszawa, 1952.
- Schaff A. Wstęp do semantyki. Warszawa, 1960.
- Schilpp P. (ed.). The Philosophy of G. E. Moore. Evanston, 1942.
- Schilpp P. A. (ed.). The Philosophy of Rudolph Carnap. N. Y., 1961.
- Schlick M. Allgemeine Erkenntnislehre. Berlin, 1918. 2 Aufl. B., 1925.
- Schlick M. Erleben, Erkennen, Metaphysik. «Kantstudien», 1926.
- Schlick M. Die Wende in der Philosophie. «Erkennen», 1930, Bd. I.
- Schlick M. Fragen der Ethik, 1930.
- Schlick M. Positivismus und Realismus. «Erkenntnis», 1932, Bd. III.
- Schlick M. Über das Fundament der Erkenntnis. «Erkenntnis», 1934, Bd. IV.
- Schlick M. Gesammelte Aufsätze. 1926—1936. Wien, 1938.
- Stace W. Positivism. «Mind», 1944, v. 53.
- Stebbing S. Logical Positivism and Analysis. L., 1933.
- Stegmüller W. Hauptströmungen der Gegenwärtsphilosophie. Eine historisch-kritische Einführung. Wien — Stuttgart, 1952.
- Stegmüller W. Das Wahrheitsproblem und die Idee der Semantik. Wien, 1957.
- Stevenson L. Ethics and Language. New Haven, 1944.
- Strawson P. F. The Individuals. Oxf., 1960.
- Tarski A. Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen. «Studia Philosophica», 1935, Bd. I.
- Tarski A. The Semantic Conception of Truth and the Foundations of Semantics. «Readings in the Philosophical Analysis». N. Y., 1949.

- Tarsky A. *Logic, Semantics, Metamathematics*. Oxf. 1956.
- Toulmin S. E. *Philosophy of Science*. L., 1958.
- Toulmin S. E. *The Uses of Argument*. Cambr., 1958.
- Toulmin S. E. *An Examination of the Place of Reason in Ethics*. Cambr., 1958.
- Urmson J. O. *Philosophical Analysis. Its Development between two Wars*. Oxf., 1956.
- Vouillemin. *La logique de la science et l'école de Vienne*. Paris, 1955.
- Warnock G. I. *English Philosophy since 1900*. Oxf., 1958.
- Weinberg J. *An Examination of Logical Positivism*. L., 1936.
- Werkmeister W. H. *Seven Theses of Logical Positivism Critically Examined*. «The Philosophical Review», 1937, v. 46.
- Wick W. *The «Political» Philosophy of Logical Empiricism*. «Philosophical Studies», 1951, vol. 2, No. 4.
- Wisdom J. *Logical Constructions*. «Mind», 1931—33, v. 40—43.
- Wisdom J. *Other Minds*. Oxf., 1952.
- Wisdom J. *Philosophy and Psycho-Analysis*. Oxf., 1953.
- Wittgenstein L. *Philosophical Investigations*. Oxf., 1953.
- Wittgenstein L. *Preliminary Studies for the Philosophical Investigations, Generally Known as the Blue and Brown Books*. Oxf., 1958.
-

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Акад. И. Г. Петровский. Вместо предисловия	3
Акад. М. Б. Митин. В. И. Ленин и борьба против современного позитивизма	7
С. И. Никишов. О роли современного позитивизма в идеологической борьбе нашего времени	27
И. С. Нарский. О главных идеях теории познания неопозитивизма	42
И. С. Кон. Неопозитивизм в социологии	81
В. А. Звегинцев. Неопозитивизм в лингвистике	116
С. А. Яновская. Проблема анализа понятий науки и неопозитивизм	154
Ю. А. Асеев. Современный позитивизм и иррационализм	167
Ю. П. Михаленко. Об отношении современного позитивизма к религии	191
А. С. Богомолов. Проблема развития и современный позитивизм (о позитивистском «анализе» одного из положений диалектического материализма)	198
И. Г. Петров. Понятие опыта и эмпиризма в неопозитивизме	207
Т. Н. Горнштейн. Современный позитивизм и проблема возможности	225
Н. В. Филипенко. Некоторые вопросы критики неопозитивистского понимания необходимости и случайности	246
В. А. Штофф. К критике неопозитивистского понимания роли моделей в познании	269
А. Р. Познер. Проблема единства знания в неопозитивизме и в методологии «дополнительности»	288
Н. А. Киселева. О современном состоянии операционализма П. Бриджмена	307
В. С. Швырев. О неопозитивистской концепции логического анализа науки	315
В. Н. Садовский. Кризис неопозитивистской концепции «логики науки» и антипозитивистские течения в современной зарубежной логике и методологии науки	342
В. А. Смирнов. О достоинствах и ошибках одной логико-философской концепции (критические заметки по поводу теории языковых каркасов Р. Карнапа)	364

Г. А. Брутяц. Основные черты гносеологии «операциональной философии» А. Рапопорта	379
А. Ф. Бегиашвили. Семантический идеализм о природе языка	396
В. Н. Сагатовский. К вопросу о связи значения и intersубъективности	414
Л. О. Резников. Диалектический материализм и неопозитивизм об отношении языка к действительности	427
Г. М. Андреева. К критике неопозитивистской методологии эмпирических исследований в социологии	446
Н. В. Новиков. Современная буржуазная социология и «социальный бихевиоризм»	465
Э. В. Беляев. К критике математических моделей неопозитивистской социологии	486
О. Г. Дробницкий. Критика методологии логического позитивизма в этике	496
К. А. Шварцман. Неопозитивизм и вопросы этики	515
Библиография	531



Философия марксизма и неопозитивизм

Редактор В. С. Швырев
Переплет художника В. А. Шварца
Художественный редактор К. О. Журинская
Технич. редактор М. С. Ермаков

Сдано в набор 31. VIII 1962 г. Подписано к печати 11. III 1963 г.
Л-57183. Формат 84×108¹/₃₂. Печ. л. 17,0 Условн. печ. л. 28,56
Уч.-изд. л. 29,84 Изд. № 339. Заказ 231. Тираж 3250. Цена 2 руб.

Издательство Московского университета
Москва, Ленинские горы, Административный корпус
Типография Изд-ва МГУ. Москва, Ленинские горы